

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

ВИКТОР ГЮГО

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 15 ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1956

ВИКТОР ГЮГО

ТОМ ТРИНАДЦАТЫЙ



СТИХОТВОРЕНИЯ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1956

*Издание осуществляется под редакцией
В. Н. Николаева, А. И. Пузикова,
М. С. Трескунова*

Переводы с французского

ИЗ КНИГИ.

«ГРОЗНЫЙ ГОД»

1872

ПРЕДИСЛОВИЕ

Осадное положение неразрывно связано с Грозным Годом, и оно еще до сих пор не снято. Вот почему вы найдете в этом томе строки, замененные точками.¹ По ним впоследствии можно будет определять дату появления сборника.

По той же причине некоторые стихотворения, предназначенные для этой книги — главным образом для разделов: *апрель*, *май*, *июнь* и *июль*, — пришлось отложить. Они появятся позднее.

Времена меняются. Теперь у нас республика. У нас еще будет свобода.

Париж, апрель 1872

¹ Стихи, не включенные в сборник, были восстановлены в последнем издании. (*Прим. автора.*)

ПРОЛОГ

7 500 000 «ДА»

(Опубликовано в мае 1870 г.)

О нет, мой дух толпе хвалу не запоет!

Толпа всегда низка — всегда высок народ.
Толпа — лишь призрак стен с развалинами рядом,
Лишь цифра мертвая, числа бесплотный атом,
Лишь тень неясная, что нас в ночи страшит.
Толпа спешит, зовет, рыдает и бежит;
На горести ее прольем слезу участия.
Но в час, когда она, слепая, станет властью,
Мы в этот грозный час с бестрепетным лицом
О праве скажем ей на языке мужском.
Теперь, когда она хозяйка, непреклонно
Напомним ей, что есть нетленные законы,
Которые душа читает в небесах.
Толпа свята, но лишь в лохмотьях и цепях.
Угрюм и одинок, не льстец, а прорицатель,
Выходит на борьбу с толпою созерцатель.
Со взором пламенным, в котором гнев блистал,
«Восстаньте!» — к мертвецам Иезекииль зывал;
Сурово Моисей скрижали поднял в тучах;
Был гневен Данте. Дух мыслителей могучих,
Неистов, яростен, глубокой тайны полн,
Как смерч, что башни Фив грядой песчаных волн
Покрыв и поглотил, как океан — обломки, —
Неукротимый дух, сметающий потемки, —

Томится и живет заботою иной,
Чем льстить в полночной мгле, беззвездной и глухой,
Толпе — чудовищу, сидящему в засаде
С проклятой тайною в непостижимом взгляде.
Испуган бурею бунтующий колосс;
И не от ладана у сфинкса вздернут нос.
Лишь правда — фимиам суровый и несладкий,
Которым мы кадим перед толпой-загадкой,
Чья грудь, которая за брюхом не видна,
И гневом праведным и алчностью полна.

О, люди! Свет и тьма! Бездонных душ смятенье!

Порою и толпа способна на горенье,
Но, сирота судеб, она сама собой,
Едва лишь свистнет вихрь, изменит облик свой,
И, пав в навоз клоак с сияющей вершины,
Предстанет Жанна д'Арк в наряде Мессалины.
Когда на рострах Гракх разгневанно встает
Иль Кинегир суда бегущие грызет;
Когда у Фермопил с ордою азиатов
Дерутся Леонид и триста спартиатов;
Когда союзный Швиц, дубину в руки взяв,
Смиряет Габсбургов высокомерный нрав;
Когда, чтоб путь открыть, бросается на пики
Бесстрашный Винкельрид, надменный и великий;
Когда Манин воззвал — и открывает зев
Сонливец бронзовый, венецианский лев;
Когда вступают в бой солдаты Вашингтона;
Когда рычит в горах Пелайо разъяренно;
Когда, разгромленный крестьянином в бою,
Лотрек или Тальбот бежит в страну свою;
Когда восходят, бич монаха-лицемера,
Гарибальдийцы — рать воителей Гомера —
На скалы, что воспел когда-то Феокрит,
И, вольность, твой вулкан, как Этна вновь кипит;
Когда Конвент, страны невозмутимый разум,
Бросает тридцати монархам вызов разом;
Когда, объединясь и ночь с собой неся,
Как океан на мол, идет Европа вся,
Но разлетаются во прах ее угрозы
О вас, живой утес, солдаты Самбры-Мезы, —
Я говорю: «Народ! Привет, народ-герой!»

Когда же, волочась по грязной мостовой,
Целует посох пап бездельник-ладварони;
Когда, не устояв в упорной обороне,
Под гяжестью убийц раздавлены во тьме
Отвага Колиньи и разум Ла-Раме;
Когда над гнусною громадой эшафота
Появится палач и голову Шарлотты
Поднимет, осквернив ударом кулака, —
Я говорю: «Толпа!» И мне она мерзка.
Толпа — количество, толпа — стихия злая
И в слабости своей и в торжестве слепая.
И если этот сброд из рук своих опять
Захочет завтра нам владыку навязать
И душу нам согнуть пощечиной позорной, —
Не думаете ль вы, что мы смолчим покорно?
Всегда священен нам великий форум масс.
Афины, Рим, Париж, мы чтим, конечно, вас, —
Но меньше совести и правды величавой.
Дороже праведник, чем целый мир неправый.
Не может шторм сломить великие сердца.
Толпа безлика, добыча наглеца,
Готова зверствам ты предаться упоенно,
Но, внуки Гемпдена и сыновья Дантона,
Мы говорим, враги всесилья твоего:
«Ни тирании Всех, ни гнета Одного!»
Народ-боец на смерть идет прогресса ради,
А чернь корыстно им барышничает сзади
И, как Исав, берет за старшинство свое
Похлебку ту, что Рим готовит для нее.
Народ Бастилию штурмует, беспощадно
Рассеивает мрак, а чернь глазееет жадно,
Как мучатся Христос, Зенон, иль Аристид,
Иль Бруно, иль Колумб, и плюнуть в них спешит.
Народ избрал себе супругою идею,
И сделал чернь террор наложницей своею.
Незыблем выбор мой: я славлю идеал.
Народ сменить февраль вантозом пожелал,
Он стал республикой, он правит, он решает,
А чернь Тибериев венками украшает.
Я за республику, не нужен цезарь мне.

Квадрига милости не просит у коней.

Закон превыше Всех; пусть буря гневно ропщет —
Его не повалить; над будущностью общей
Ни Одному, ни Всем не властвовать вовек.
Народ — король страны, но каждый человек —
Хозяин сам себе. Таков закон извечный.
Как! Мной повелевать захочет первый встречный?
А если завтра он на выборах слепых
Задумает меня лишить свобод моих?
Ну нет! Над принципом порой толпа глумится,
Но вал уляжется и пена разлетится —
И право над волной поднимется опять.
Кто смел вообразить, что вправе он попрасть
Мои права? Что я считать законом буду
Чужие низости иль вздорную причуду?
Что сяду я в тюрьму, раз в одиночке он?
Что в цепи стать звеном я буду принужден,
Коль сделаться толпе угодно кандалами?
Что должен гнуться дуб вослед за камышами?

О, человек толпы! Поговорим о нем —
О жадном буржуа, о мужике тупом.
Он революцию то славой осеняет,
То преступлением кровавым загрязняет;
Но, как на маляра могучая стена,
Взирает на него с презрением она.
Им переполнены Коринф, и Экбатана,
И Рим, и Карфаген; он схож с водой фонтана,
Что в яму сточную сбегает, превратясь
Из влаги девственной в вонючий ил и грязь.
Он после дней борьбы, исполненных величьем,
Умеет потрясти животным безразличьем
Того, кто видел сам его высокий пыл.
Сегодня он Фальстаф, а прежде Брутом был.
Он славу утопить спешит в распутстве пошлом.
Спросите у него, что знает он о прошлом,
Что сделал Вашингтон и как погиб Бара, —
Не помнит он о тех, кого любил вчера.
Вчера он возрождал предания былого,
Он бюсты воздвигал героям-предкам снова:
Риэго, Фокион, Ликург — он славил их,
Чтоб завтра позабыть об именах таких.
Неведомо ему, что был он чист недавно;

Не замечает он, как жалко и бесславно
Создание рук своих унижил он, творец;
Еще вчера герой, сегодня он подлец.
Невозмутим и туп, на каждом перекрестке
Он белит кабаки остатком той известки,
Которой он вчера гробницы покрывал.
Скамейкой стал его гранитный пьедестал.
На латы доблести взирает он со смехом
И называет их заржавленным доспехом.
Вчера играючи он шел на смертный бой;
Хохочет он теперь за это над собой.
Он сам себе теперь — позор и оскорбление;
Он к рабству так привык, что, полный возмущенья,
Не хочет прошлому поверить своему;
И смелость прежняя внушает страх ему.

Но разве океан ответствен за циклоны?
Но как виной толпы считать голов миллионы?
Кто станет осуждать за темные пути,
Которыми ему приходится идти,
Великий смерч людской, живую тучу, — словно
Стихия может быть невинной иль виновной?
К чему? Пускай ему рассудка не дано, —
Париж и Лондон в нем нуждаются равно:
Предшествуя огню густым и зыбким дымом,
Толпа творит прогресс, а мы — руководим им.
Пускай английская республика мертва, —
Попрежнему звучат Мильтоновы слова.
Пусть толпы схлынули, — стоит мыслитель смело;
Довольно этого, чтоб не погибло дело.
Пускай злодей сейчас счастлив, надменен, чтим, —
Восстанет право вновь и верх возьмет над ним.
Сразило небо Рим, но озарились своды
Глубоких катакомб святым огнем свободы.
За сильного — Олимп, за правого — Катон.
В Костюшко вольный дух Галгака возрожден.
Ян Гус испепелен, но Лютер остается.
Чтоб светоч подхватить, всегда рука найдется.
За правду жизнь отдать мудрец всегда готов.
Без принуждения, без ропота, без слов
От скопища рабов, что вокруг него теснится,
Уходит праведник в святую тьму гробницы,

Гнушаясь не червей, а низости людской.
О, эти Коклеса, забытые толпой,
Герои-женщины, умершие без стога:
С Тразеем — Аррия и с Брутом — дочь Катона, —
Все те, кто смел душой, чей полон света взор:
И Люкс, и Кондорсе, и Курций, и Шамфор, —
Как горд был их побег из жизни недостойной!
Так над болотами взмывает лебедь стройный,
Так над долиной змей орел, взлетев, парит.
Явив пример сердцам, в которых ночь царит,
Сердцам преступным, злым, корыстным и ползучим,
Они уснули сном угрюмым и могучим,
Закрыв глаза, чтоб мир не возмутил их вновь;
Страдальцы пролили во имя долга кровь
И молча возлегли на ложе погребальном,
И доблесть сжала смерть в объятии прощальном.

Как ласков кажется священный мрак могил
Тому, кто чист и добр, велик и светел был!
Для тех, кто говорит: «Нет правды и не будет!»,
Для тех, кто силы зла и беззаконья будит;
Для Палласов, Каррье, для Санчесов, Локуст;
Для тех, чье сердце лжет, чей мозг от мысли пуст;
Для праздных болтунов, погрязнувших

в витийстве, —

Урок и приговор в таком самоубийстве!
Когда нам кажется, что жизнь сейчас умрет;
Когда не знаем мы, итти иль нет вперед;
Когда из толщи масс — ни слова возмущенья;
Когда весь мир — одно молчанье и сомненье, —
Тот, кто сойдет тогда в глубины черных рвов,
Отыскивая прах великих мертвецов,
И головой к земле в отчаянье склонится
И спросит: «Стоит ли держаться, верить, биться,
Святая тень, герой, ушедший навсегда?» —
Услышит тот в ответ из гроба голос: «Да».

*

Что это там вокруг во тьме ночной летает?
То хлопья снежные. Кто их пересчитает?
Как охватить умом мирьяды мириад?
Темно. В пещеры львы с добычею спешат.

Зловещий нивелир, покров снегов глубоких,
Уже сровнял с землей вершины гор высоких,
И кажется, что дней остановился бег;
Тех, кто уснет сейчас, не разбудить вовек;
Поля и города лежат оцепенело;
Нечистое жерло клоаки побелело;
Лавина катится по мрачным небесам;
Вселенная во льдах. И нет предела льдам!
Не различить пути. Опасность — отовсюду.
Пусть так. И все ж, едва на снеговую груду,
На эту пелену, что с саваном сходна,
Прольется первый луч, — растопится она!

Я начал свой рассказ про грозный год страданий,
И, опершись на стол, я полон колебаний.
Могу ли все сказать? И продолжать ли мне?
О, Франция! Звезда померкла в вышине!

Я чувствую, как стыд мне сердце заливает...
Смертельная тоска. Чума чуму сменяет.
Что ж! Будем продолжать Историю, друзья!
Наш век перед судом. И здесь свидетель я.

Тулон — пустяк; зато Седан!

Паяц трагичный,
За горло схваченный рукой судьбы логичной,
Раб собственных злодейств, вдруг увидал в глаза,
Что стала им играть, как пешкою, гроза,
И рухнул в глубину бездонного позора,
И неотступный блеск карающего взора,
Свидетеля убийств, последовал за ним.
Вчера еще тиран, сегодня призрак, дым,
Он богом брошен был вглубь черного провала,
Каких история дрожащая не знала,
И поглотил его зловещей бездны зев.
Все предсказания превысил божий гнев.

Однажды этот шут сказал: «Надев порфиру,
Не ужас.я внушил, а лишь презренье миру.
Когда же стану я властителем земли?
Пред дядею моим дрожали короли.
Маренго я не знал, но знал денек брюмера.
Макиавелли ум или мечту Гомера
Мой дядюшка умел в жизнь воплощать равно.
Мне хватит первого. Мне Галифе давно
Принес присягу. Мне верны Морли, Девьенны,
Руэры. Я не взял ни Дрездена, ни Вены,

Ни Рима, ни Москвы, — что ж, надо взять скорей.
Я флаг андреевский сгоню со всех морей
И заберу себе владенья Альбиона.
Вор — прозябает лишь без мирового трона.
Великим стану я; служить мне прибежит
В тиаре папской Пий, в чалме Абдул-Меджид,
Царь в пышной мантии, в собольей шапке старой.
Ведь если я сумел обстреливать бульвары,
Я Пруссию согну; и, право, труд один —
Тортони штурмовать и штурмовать Берлин;
Взял банк я — Майнц возьму без всякой лишней
драки.

Стамбул и Петербург — две гипсовых собаки;
Эммануил и Пий схватились за ножи;
Дерутся, как козлы, столкнувшиеся в ржи,
Ирландцы с бриттами; Вильгельм полу-Аттила
И псевдо-Цезарь Франц, однако полный пыла,
Вцепились в волосы; весьма горячий град
Испанцы Кубе шлют. Я крикну всем: «Назад!» —
И, некогда босяк, паяц, я — ходом хитрым —
Над всеми тронами вдруг сделаюсь арбитром.
И без труда почти мне слава суждена:
Быть всемогуществом, всплывя наверх со дна.
Великим Карлом стать из лже-Наполеонов —
Недурно. Надо что? Взять несколько миллионов
Взаймы, — не в первый раз! — дожждаться темноты,
Когда повсюду спят и улицы пусты,
И, как халиф Гарун, бродивший столь беспечно,
Вдруг счастья попытать. Удастся ведь, конечно,
Рейн перейти, когда был пройден Рубикон.
Пьетри гирляндами украсит свой балкон.
Он умер, Сент-Арно; что ж, заменю Базеном.
Мне Бисмарк кажется плутом обыкновенным,
И втайне думаю, что я получше плут.
Пока я достигал удачи там и тут.
Помощник мой — обман, и счастье мы с ним стащим;
Я трус — но побеждал, подлец — но слыл
блестящим.

Вперед! Я спас Париж и должен мир спасти,
Я не останавлиюсь теперь на полпути.
Мне остается лишь метнуть шестерку ловко.
Но надо поспешить, удача ведь — плутовка!

Мир скоро будет мой, как я давно мечтал;
Из шара этого мне сделают бокал.
Я Францию украл, украсть Европу можно.
Декабрь — вот мой мундир, и тьма — мой плащ
дорожный.

Нет у кого орлов, тот коршунов найдет.
Неважно! Всюду ночь. Воспользуюсь. Вперед!»

Но всюду белый день — над Лондоном, над Римом;
Лишь этот человек считал себя незримым.
Насмешку затая, его Берлин стерег.
Лишь будучи слепым, он в ночь поверить мог.
Всем яркий свет сиял, лишь он во тьме скитался.

Увы! Он ни с числом, ни с местом не считался.
Вслепую, ошупью, вися над пустотой,
Своей опорой считая сумрак свой,
Самоубийца тот, свои войска построив,
Послал историей прославленных героев —
Без хлеба, без вождей, без пушек, без сапог —
Туда, где бездною зиял безмолвный рок.
Спокойно сам их вел — все ближе, ближе к краю.

«Куда ты?» — гроб спросил. Он отвечал: «Не знаю».

2

Да, в Этне Эмпедокл исчез, а Плиний был
Убит Везувием: их, мудрецов, манил
Загадкой блеск жерла. Да, в Индии брамина
Жрет невозбранно червь, и муки той причина —
Стремление рай обрести. Да, свой непрочный челн
Ловец кораллов мчит среди коварных волн,
Как кошка лижущих, меж островов Липари,
Чья лава пурпуром горит в его загаре, —
От мысов Корсики и до корфийских скал.
Да, мудрым пал Сократ, Христос безумцем пал,
Один — рассудочный, другой — в выси паривший.
Да, вопиял пророк, Иерусалим клеймивший,
Пока удар копья его не умертвил.
Да, в море Лаперуз и в воздух Грин поплыл.

Да, к персам Александр пошел, Траян к дакийцам.
Понятно это все! Подвижникам, убийцам,
Героям — было что искать! Но в бездне лет
Видал ли кто-нибудь безумный этот бред,
Нелепый балаган, — видал ли идиота,
Кто, нисходя с вершин триумфа и почета,
Держась за нитку ту, в конце которой гроб,
Могилу б рыл себе и, отирая лоб,
Под нож, таинственный и страшный, сам, с разгону,
Подсунул голову, чтоб укрепить корону?

3

Когда комета вновь летит в небытие,
Следят созвездия последний блеск ее;
И дьявол свергнутый в своем паденье грозном
Хранит величие, оставшись духом звездным;
Высокая судьба, избранница веков,
Горит сиянием последних катастроф.
Так Бонапарт: он пал, но грех его огромный,
Его Брюмер, не стал позором бездны темной;
Господь его отверг, и все ж над ним не стыд,
А нечто гордое и скорбное горит,
И грани светлые сильнее мрачных граней;
И слава с ним навек средь муки и рыданий;
И сердце, может быть, в сомнениях, смогло
Простить колоссами содеянное зло.

Но горе тем, кто стал творить злодейство в храме,
С кем снова должен бог заговорить громами.

Когда титан сумел украсть огонь с небес,
Любой карманный вор ему вослед полез.
Сбригани смеет ли равняться с Прометеем!
Теперь узнали мы, — и в ужасе хладеем, —
Что может превзойти великого пигмей,
Что смерча гибельней отравленный ручей,
Что нам еще грозят слепой судьбы измены —
Тяжеле Ватерло, больней святой Елены.
Бог солнцу черному мешает восходить.
И совесть грозная велит нам искупить

Брюмер и с ним Декабрь, еще одетый тайной,
О звездах грезящий в грязи необычайной, —
Чтоб ужасы тех дней из памяти изгнать, .
Велит нам на весы последней гирей встать,
Чтоб тот, кто всех давил, предстал бы для вселенной
Не жертвой царственной, а падалью презренной!
Тогда, о род людской, урок ты обретешь,
Тогда презрение в твою воляется дрожь,
Тогда пародия придет взамен поэмы,
И с омерзением тогда увидим все мы,
Что нет трагедии ужасней и гнусней,
Чем та, где шествует гиганту вслед пигмей.

Он был злодей, и рок так сделал непреложный,
Чтоб все ничтожество стяжал он, весь ничтожный;
Чтобы вовек ему и ужас и позор
Служили цоколем; чтоб роковой сей вор,
Чей воровской притон стал тронем величавым,
Добавил мерзости — в них погрузясь — канавам;
Чтоб цезарь, отпугнув зловонием собак,
Припадок тошноты вдруг вызвал у клоак!

4

Что Рамилы теперь? Что поле Азинкура
И Трафальгар? О них мы только вспомним хмуро.
Обида ли — Бленгейм, и скорбь ли — Пуатье?
Не скрыто ли Кресси навеки в забытье?
Нам Росбах кажется теперь почти успехом.
О Франция! Вот где твоим ниспасть доспехам!
Седан! Могильный звук! Там оборвалась нить.
Отхаркни же его, чтоб навсегда забыть!

5

Равнина страшная! Два стана ждали встречи.

Два леса подвижных — сплошь головы и плечи,
И сабли, и штыки, и ярость, и напор —
Навстречу двинулись, смешались, взор во взор...

Крик! Ужас! Пушки там иль катапульты? Злоба
Всегда смятение родит у края гроба —
И это подвигом зовется. Все бежит,
Все рушится, и червь добычу сторожит.
И смертный приговор монарших правосудий
Здесь над людьми, увы, должны исполнить люди!
Убийство ближнего — вот лавры там и тут.
Фарсала ль, Гестингс ли, Иена ли — несут
Одним триумф, другим — отчаянье разгрома.
О ты, Война! Тебя на колеснице грома
Безумно жеребцы невидимые мчат.

Ужасен был удар. Кровавой бойни ад
У всех зажег зрачки — как раскалил железо.
С винтовкою Шаспо боролся штуцер Дреза.
Дым тучею валил, и тысячи гюргон
Метнули скрежет свой в кровавый небосклон, —
Стальные гаубицы, мортиры, кулеврины;
Взметнулись вороны вокруг роковой долины:
Им праздник — всякий бой, пир — всякая резня.
Кипело бешенство средь дыма и огня,
Как будто целый мир в бой погрузился тоже —
От трепетных людей до веток, полных дрожи,
До праха жаркого равнины роковой.
Меняясь натиском, разворачивался бой.
Там Пруссия была, здесь Франция родная.
Одни — с надеждою прощались, умирая,
Другие — с радостью постыдною разя;
Всех опьяняла кровь, безумием грозя,
Но не бежал никто: судьба страны решалась.
Зерно каленое по воздуху металось:
Картель горячая хлестала все кругом;
Хрипевших раненых давили каблуком;
И пушки, грохоча в мучительной насаде,
Бросали по ветру седого дыма пряди.
Но в недрах ярости, как благодная весть,
Сияли — родина, долг, жертвенность и честь.
Вдруг в этом сумраке, где отдаленным эхом
Свирепый призрак — смерть встречала пушки смехом,
В безумном хаосе, в эпическом аду,
Где сталь врубалась в медь, ломаясь на ходу,
Где опрокинутых разили сверху бомбы,

В рычанье, в грохоте зловещей гекатомбы,
Под непрерывный плач взывающих рожков,
Где каждый наш солдат, сражаясь, был готов
Сравняться с предками, увенчанными славой, —
Внезапно строй знамен вдруг дрогнул величавый,
И в час, когда бойцы, покорствуя судьбе,
Дрались и падали в неистовой борьбе,
Раздался страшный крик: «Я жить хочу!»

И разом
Смолк рев орудий; бой, уже терявший разум,
Стих... Бездна адская свой суд произнесла,

И когти напряглись у Черного Орла.

6

Тогда вся Франция, — любой великий подвиг, —
Ее отвага — Бренн, ее победа — Хлодвиг,
Титаны галльские с косматой головой,
Сраженья гордые — Шалона славный бой,
Ужасный Тольбиак, кровавая арена
Ареццо, Мариньян, Бувин, Боже, Равенна,
Свирепый Аньядель на боевом коне,
Форну, Иври, Кутра, Фонтенуа в огне,
Денен и Серизоль — бессмертные удары,
В чьем взоре молнии и в крыльях — пламень ярый,
Маренго и Ваграм — ревущее жерло,
Последнее каре на поле Ватерло,
И все вожди: и Карл, великий средь великих,
За ним — Мартелл, Тюренн — гроза тевтонов диких,
Конде, Виллар — бойцов надежда и пример,
И Сципион-Дезе, и Ахиллес-Клебер,
И сам Наполеон, векам сложивший сагу, —
Рукой разбойника свою отдали шпагу.

Вианден, 5 июля

ГЕРМАНИИ

Нет нации, тебе подобной, на земле.
Когда весь мир еще лежал в суровой мгле,
Меж сильными одна была ты справедливой.
Тиара сумрака венчает горделиво
Тебя, но блещешь ты страной восточных снов.
Как небо синее — глаза твоих сынов.
Ты, озаренная туманным нимбом славы,
Европе темной свет являешь величавый,
Что в Исполиновых зажжен тобой горах.
И как не может жить всегда в одних морях
Орел морской, так ты — не обновлять усилий:
И реформаторы апостолов сменили,
И Шиллеры идут на смену Барбаросс.
Вершины горные страшатся ярых гроз,
И императоры трепещут молний духа.
Когда-то из твоих лесов, шумящих глухо,
На Карла нашего твой Видукинд восстал,
Но франка грозный меч твоей же славой стал.
Нередко видели согбенные народы,
Как ты, бесстрашный враг любых врагов свободы,
Несла с собой зарю; и Августа разбил
Арминий, и Мартин святых отцов громил.
Как дуб лелеет плющ, вокруг него обвитый,
Ты побежденному тогда была защитой.
Как в бронзе — олово, и медь, и серебро,

Народ единый встал, где вихрились пестро
И гунны дикие, и даки, и бастарны;
От Рейна золото тебе, и клад янтарный
От серой Балтики. Твое дыханье — та
Святая музыка, где сила, чистота,
И жаворонка трель, и мощный орлий клекот.
Порою видятся неясно и далеко
Над башнями твердынь, завещанных тебе,
Воитель и дракон, сплетенные в борьбе.
Как свежи, зелены, светлы твои долины!
Туманы зыблются, их луч пронзает длинный;
Деревня мирно спит у замка под крылом,
И дева юная, склонившись над ручьем,
Стоит, на ангелов похожа белокуроых.
Германия — как храм, построенный на хмурых
Столбах — на двадцати безжалостных веках.
Из их теней — лучи, и тень умрет в лучах.
Земля тевтонская, героев мать суровых,
Растит своих сынов под сенью темнобровых,
Звездой и молнией сверкающих небес.
И копыа острые щетинятся, как лес.
Победы ей трубят, и была ее седая —
Уже не была, уже легенда золотая.
В Тюрингии, где был владыкой грозный Тор,
С косою разметанной в священный темный бор
Гадать о будущем ходила Ганна, жрица.
На реках медленных, где пела водяница,
В волнах мерцал огонь — нездешний, странный
свет;

Таунус и мрачный Гарц, которые велед
Вещанья слышали, пророчиц босоногих,
Полны их отзвуков, таинственных и строгих.
В ночи Шварцвальд похож на сумрачный эдем;
От призрачной луны становится совсем
По-новому живой листва, где шепчут феи.
Возносятся у вас гробницы, как трофеи, —
Геройских пращуров огромные следы.
Тевтоны, будьте же и славны и горды!
Вся пышность рыцарства, блиставшего когда-то,
Знамена и гербы вам золотит богато,
Мифический титан по вас равнял бы шаг.

У римлян Коклес был, у вас же был Галчак.
Бетховен — ваш Гомер. Вы — сила молодая,
Величье гордое...

ФРАНЦИИ

О мать, о мать родная!

2 января



Меж императором и королем — война.

«Что ж! Революциям откроет вход она, —
Мы думали б. — Война! Но в ней — родник величий.
Желает лавров ад, желает смерть добычи.
Монархи поклялись свет солнца утасить;
Алеющая кровь должна весь мир залить;
Людей пойдут косить, как бы траву на поле;
Быть победителям в грязи, но — в ореоле...»
И мы, желавшие крепить меж наций мир
И землю для плугов хранить, не для мортир,
Взывали б, скорбные, но гордые: «Пруссак!
Французы! Что вам в той — голландца с немцем —
драке?»

Оставьте их, царей. Свершится божий суд.
Бой Вишну с Индрой мы узреть мечтали б тут —
Преображение из светопреставленья
И пламень благодный, пронзающий затменья!
О схватках яростных мечтали б мы ночных,
О диком хаосе раскатов громовых,
Где безднам ураган грозит; где в схватке тесной
Гигант с архангелом сплетен, с его небесной
Кровь черную свою сливая; мнилсЯ б он —
Левиафана в тьму прогнавший Аполлон.
Воображали б мы бред и безумье мрака.

Мы сталкивали бы свирепую атакой
Иену с Росбахом, с ордой вестготов Рим;
Наполеон бы шел за Фридрихом Вторым.
Мы верили б, что к нам, сквозь ужасы и беды,
Как ласточки, спешат крылатые победы
И, как в гнездо, летят из глубины небес
Туда, где Франция, где право, где прогресс!
Мы верили б, что нам — узреть крушение тронов
И роковой распад одряхших Вавилонов,
Что над материком растоптанным, горя,
Свободы вскинется прекрасная заря,
Что, может быть, во тьме разгромов и возмездий
Родится новый мир из рухнувших созвездий!

Так думали б мы. Пусть, сказали б, нам стократ
Арбелу, Акцииум и Зару воскресят —
В крови, но в славе. Пусть над бездной, над провалом
Опять повиснет мир, как при Лепанто алом,
При Тире, Пуатье и Тольбиаке. Три
Угрюмых призрака, пучины вратари, —
Мощь, Ярость, Ночь, — пускай разверзнут зев могилы,
И Север с Югом пусть сойдут в тот мрак застылый,
Пусть племя — то иль то — исчезнет в глубях рва,
Где разлагаются князья и божества!
В раздумье, блеск побед провидя и удары
Боев, какие встарь вели бойцы Луары,
И славу Лейпцига сквозь мерзость, и Ваграм,
И слыша, как Нимрод, и Кир, и Цезарь к нам
Идут, — мы вздрогнули б от смутных ожиданий...»

Вдруг чья-то, чувствуем, рука у нас в кармане.

✱

Суть в том, чтоб кошелек спереть у нас. — Пустяк!

*

Давно уж сказано, что Бонапарт-голяк
Был жуликом и млеял в приятнейшей надежде
Ограбить Пруссию (нас он ограбил прежде).

Он трон украл. Он подл, и мерзок, и лукав.
Всё так. Но мы мечту хранили, что, напав
На старца-короля, кто горд веками трона,
Кому кирасой — честь и лишь господь — корона,
Он встретит одного из паладинов тех,
Что в годы Дюнуа сражались, чей доспех
Турниры украшал и ныне мнится в тучах,
Исполненных зари и ропотов летучих...
Все чушь! Иллюзия! Совсем другой наряд!
Свистки разбойничьи, а не рога, звучат.
Ночь. Дебри дикие, сплошь полные клинками.
Стволы ружейные сверкают меж ветвями.
Крик в темноте. Врасплох! Засада! Кто там? Стой!
Все озаряется, и в заросли густой
Разверзлись просеки, где свет багряный льется.
Стой! Череп раздробят тому, кто шевельнется.
Ложись, ложись! Никто чтоб не вставал! Ничком!
И — денежки теперь давайте, целиком.
Вздор, коль не нравится, что вас по грязи стелят,
Обшаривают вас и в лоб из ружей целят.
Их — пять на одного; оружия — до зубов;
Кто заупрямится, немедленно «готов»!
Ну! Исполнять!.. Приказ — как будто из берлоги.
Что ж! Кошелек отдать, согнуть в коленях ноги,
Упасть, покорствуя, лежать на животе,
Не смея двинуться, — и вспомнить земли те,
Что звались Гессеном, Ганновером и Польшей...
«Готово». Можно встать... И денег нету больше,
И вокруг — сплошной Шварцвальд!.. Тут ясно стало
нам,

Неподготовленным к изменничьим делам,
Невеждам в таинствах правленья, нам, профанам,
Что наш Картуш войну затеял — с Шиндерганом!

ДОСТОЙНЫЕ ДРУГ ДРУГА

Вот поглядите: здесь — кровавый дурачок;
Там — радостных рабов подмявший под сапог,
Зверь божьей милостью, святоша, враг скандалам,
Рожденный для венца, оставшийся капралом.
Здесь — жулик, там — вандал, короче говоря.
Притон за глотку сгреб Второе декабря.
Тут — заяц трепетный, а там — шакал трусливый.
Овраг разбойничий с берлогою блудливой,
Как видно, — колыбель иных монархов. Бред!
В самой Калабрии рубак столь страшных нет.
Грабеж — вот их война! Искусство их разгула,
Пленяя Пулайе, Фолара бы спугнуло.
Все это — как в ночи на дилижанс наскок.

Да, низок Бонапарт, ну а Вильгельм жесток.
И не было глупей у подлеца капризов,
Чем нагло брошенный бандиту злему вызов.
Один пошел ни с чем в атаку, а другой,
Дав подойти, взметнул вдруг молнию рукой,
В кармане скрытую с предательской усмешкой.
Он императора избрал гремушкой, пешкой,
Манил его, смеясь: «Иди, малыш!» Болван
Шел, расставлял силки — и угодил в капкан.
Резня, отчаянье, измена, трупов горы
И громом полные зловещие просторы!
И в этих ужасах, которым нет числа,

Слепит мыслителя неведомая мгла.

О небо, сколько зла! О, грозный час расплаты!

О, Франция! Встал смерч — и во мгновение смяты

И призрак цезаря и призрак войска с ним...

Война, где был один — огонь, другой же — дым.

ОСАЖДЕННЫЙ ПАРИЖ

Париж, история твои прославит беды.
Убор твой лучший — кровь, и смерть — твоя победа.
Но нет, ты держишься. И всякий, кто смотрел,
Как цезарь, веселясь, в твоих объятьях млея,
Дивится: ты в огне находишь искупленье.
К тебе со всех концов несутся восхваленья.
Ты много потерял, но ты вознагражден
И посрамил врага, которым осажден.
Блаженство низкое есть то же умиранье.
В безумстве павшего, тебя спасло страданье.
Империей ты был отравлен, но сейчас,
Благополучия позорного лишаешься,
Развратников изгнав, ты вновь себя достоин.
О город-мученик, ты снова город-воин.
И в блеске истины, геройства, красоты
И возрождаешься и умираешь ты.

Париж, ноябрь 1870

Я, старый плаватель, бродяга-мореход,
 Подобье призрака над бездной горьких вод,
 Средь мрака, гроз, дождя, средь зимних бурь
стенанья

Я книгу написал, и черный ветер изгнания,
 Когда трудился я, под гнетом темноты,
 В ней перевертывал, как верный друг, листы.
 Я жил, лишен всего, — лишь с честью непреклонной.
 И видел город я ужасный, разъяренный:
 Он жаждал, голодал — и книгу я ему
 На зубы положил и крикнул так во тьму
 Народу, мужество пронесшему сквозь бури;
 Парижу я сказал, как клефт орлу в лазури:
 «Ешь сердце мне, чтоб стать сильнее в ураган!»

Как смертный вздох Христа слышал Иоанн,
 Как Пана стон дошел до Индии далекой,
 Хоть он и прозвучал мгновенно, одиноко,
 Так дрогнула земля от африканских скал
 До нив Ассирии, когда Олимп упал.
 Как, цоколь потеряв, вдруг рушится колонна,
 Так дрогнул весь Восток с паденьем Вавилона.
 Коснулся ужас нас, забытый с давних пор:
 Качнулось здание, лишенное опор.
 Все в страхе за Париж. Над ним тевтон глумится.
 Погибнет целый мир, когда умрет столица.
 Он больше, чем народ, он — мир, что короли
 Распятым на кресте погибнуть обрекли.
 Нет, человечеству не жить уже в покое!

Что ж, будем биться мы! Нуманции и Трое
Париж дает пример. Да будет дух наш тверд!
Тиранов посрамив, отбросим натиск орд.
Вернулись гунны к нам, как в дни старинных хроник.
Хоть враг орудия к стенам Парижа гонит,
Мы город отстоим, — пусть преданы, в плену, —
Неся тяжелый труд, спасем свою страну.
Пасть, не склонив чела, — уже победа. Это
Для славы в будущем достойная примета.
Сиять отвагою, добром, избытком сил,
Чтобы потомок вас своей хвалою чтил, —
Вот честь людей, страны, что ввек неодолима!
Катон велик вдвойне, когда он выше Рима:
Рим должен подражать ему, сравниться с ним.
Рим побеждал врагов, Париж — непобедим.
Наш труд окончится победы жатвой правой.
Сражайся, о Париж! Народ мой величавый,
Осыпан стрелами, без пятен на гербе,
Ожесточенным будь и победи в борьбе!

Париж, октябрь 1870

И вот вернулись к нам трагические дни,
 И знаки тайные с собой несут они
 О том, что мир идет к какой-то страшной эре.

Творец трагедии и бледный Алигьери,
 Вы, очевидцы войн с бесстрашною душой,
 Один в Флоренции и в Аргосе другой,
 Умы, орлиною овеянные славой,
 Писали строки вы, где отблеск есть кровавый
 Еще сокрытых гроз, грядущих бед печать,
 И вас без трепета никто не мог читать.
 Вы, мудрецы, чья речь слышна нам из могилы:
 «Мы боги среди людей, провидцы тайной силы», —
 О Данте и Эсхил, глядите!

Жалок трон,
 И слишком узок лоб носителей корон.
 Вы б презирали их! В них нет и стати гордой
 Того, кого терзал ваш стих — и злой и твердый.
 Не Греции тиран, не Пизы феодал, —
 Живет в них дикий зверь, так каждый бы сказал.
 Потомки варваров, их облик сохраняя,
 Ордой из своего они приходят края
 И гонят на Париж саксонских семь племен.
 Все в касках, в золоте, в гербах со всех сторон,
 Убийством, грабежом привыкшие кормиться;
 Эмблемой хищную они избрали птицу,
 Иль зверя дикого на шлеме боевом,
 Иль вышитых химер, что дышат только злом,

Иль гребень яростно поднявшего дракона.
А их верховный вождь взял на свои знамена
Окраски траурной ужасного орла,
Чья тень чернеет днем, а в ночь, как день, бела.
С собою в грохоте влекут они заранее
Орудия убийств всех видов, всех названий —
Тьму пушек, мигральез — к уступам наших стен,
И бронзовый Немой, прервав молчанья плен,
Наполнив ревом зев для дела разрушенья,
Вдруг исполняется неистового рвенья
Рвать камни города, с земли его стереть,
И злобной радостью как будто дышит медь
И жаждет мстить за то, что человек когда-то
В ней матерьял нашел для самых гнусных статуй,
И словно говорит: «Когда-нибудь народ
Во мне, чудовище, владыку обретет!»
Трепещет все кругом. Семь венценосцев вместе
Напали на Париж. Его подвергли мести.
За что? Он — Франция, и целый мир притом,
Он у обрыва бездн горит живым лучом,
Он факел свой вознес рукою Прометея
И льет в Европу свет, высоко пламенея.
Парижу мстят они — Свобода, Разум он.
Парижу мстят они — ведь здесь рычал Дантон,
Сверкал Мольера стих, был едок смех Вольтера.
Парижу мстят они — ведь в нем вселенной вера
В то, что должно расти и крепнуть с каждым днем,
Он светоч, что горит под ветром и дождем,
Идея, рвущая завесу тьмы растущей,
Прогресс, сиянье дня средь ночи, всех гнетущей.
Парижу мстят они — за то, что тьме он враг,
Что провозвестник он, что правды он маяк,
Что в грозной славе их он чует смрад гробницы,
Что снял он эшафот, смел трон и стер границы,
Преграды, распри, рознь, что войн смирил он гром,
Что будущее — он, когда они — в былом!

Но то не их вина. Сил черных порожденья
Ведут их в тьме ночной лишь к славе
 преступленья —
Кир, Каин и Нимрод, Рамзес, Тимур хромой.
Они попрали честь, любовь и свет дневной;

Не став великими, они уже уроды.
Им страшно, что Земля, — в объятиях свободы
И счастья вечного, — горя любви огнем,
Вступает в мирный брак с немеркнущим умом.
Они хотели бы, чтоб бились насмерть братья,
Народ шел на народ; и в том для них проклятье,
Что все их помыслы для ада зажжены,
Во имя дьявола, но для небес темны.
О изверги цари! Не раньше тяготенье
Остынет в вас к мечу, к позорной жажде мщенья,
К коням и вою труб, грозящему бедой, —
Чем птицы вить гнездо откажутся весной,
Сдружится с ними тигр, и позабудут пчелы
Над ульем, им родным, кружить свой рой веселый!

Семерка. Страшный знак. Число, где провиденье
 Скопило, как в тюрьме, людские преступления.
 Нассау, Мекленбург, Бавария, пруссак,
 Саксонец, Вюртемберг и Баден! Страшный враг!
 Они, на город наш ползя ордой упорной,
 Семь траурных шатров разбили ночью черной:
 Смерть, злобу, стужу, мор, болезни, голод, страх.
 Полузадушенный Париж — в семи петлях.
 Как в Фивах, семь царей с него не сводят взгляда.

Какое зрелище! Звезда в объятьях ада.

Ночь приступом идет на Свет, и страшный крик
 Звезды в ответ на смех Небытия возник.
 День Слепота теснит, и Зависть дерзновенно
 Жизнь хочет расплескать, разбить сосуд священный,
 Великий пламенник, звезду средь звезд родных.
 Светила говорят в просторах мировых:
 «Как! Что случилось здесь? Небесное сиянье
 Ушло. Стон ужаса бежит средь мирозданья.
 Спаси, господь, звезду! Ты некогда туман
 Рассеял, где, таясь, залег Левиафан».
 Но поздно. Началось бесчестное сраженье.

Как средь опасных скал горит предупреждением
 Маяк, так из звезды поднялось пламя — знак
 Того, что ад встает, что ночь сгущает мрак,
 Что бездна черная растет стеною дыма,
 Где армий движется поток неудержимый.

Сгушается туман, где блещет сталь штыков,
Где преисподней гул, вой адских голосов —
Смешались в страшный рев бушующего ада,
Где рыку хищников подобна канонада.
Бесформенная топь, куда залег Тифон,
Растет, и катится, и длит ужасный стон.
Всю злобу хаоса звезда встречает эта.
Он — пламенем разит, она — лучами света.
У бездны — молния, а у звезды — лучи.
Тьма, буря, ураган, круженье туч в ночи,
Все пало на звезду — еще, еще и снова,
Чтобы душить, гасить свет утра молодого.
Как знать, кто победит? Надежда? Страх? Беда?
Прекрасный лик звезды бледнеет иногда
Под ярым натиском и тьмы и урагана.
Тогда она дрожит, тускнеет средь тумана,
Покрыта бледностью, почти свой гасит взор!
Ужели над звездой свершился приговор?
Но кто дерзнул на то, и кто имеет право
Гасить священный свет, души свет величавый?
Ад страшную свою разверз над нею пасть —
И в небе нет звезды... Ужель ей должно пасть?

Но сквозь завесу туч пробившееся пламя
Вдруг гривой огненной, разодранной ветрами,
Встает!..

Она, звезда, горит и гонит прочь,
Прочь ослепленную ее лучами ночь,
Встает во всей красе, сиянием одета,
И заливают тьму безмерной пеной света.

И хаос побежден? Нет... Сумрак гуще стал;
Прилив кипящих бездн вновь катит черный вал,
И, кажется, сам бог отчаялся, и снова
Неистовством стихий, круженьем вихря злого
Звезда поглощена. Ловушка! Где же свет?..

Остановилось все и ждет. Ответа нет.
Мир стал свидетелем позора, преступления.
Глядит вселенная, как бездна в исступленье
Из непроглядной тьмы, разъяв ужасный зев,
На солнце без конца свой извергает гнев.

ВЕЧЕРОМ, НА КРЕПОСТНОЙ СТЕНЕ ПАРИЖА

Черным-чернел восток, но светел был закат.
Казалось мне — рука костлявая, сухая,
На траурных столбах простерла пышный плат,
Два белых савана по небу развевая.

Так надвигалась ночь и все брала в полон.
И птицы плакали, и листья трепетали.
Я шел. Потом опять взглянул на небосклон —
Он был полоскою окровавленной стали.

И мне почудилось: окончен страшный бой.
Какой-то светлый бог сражался против змея,
И меч небесных сил, грозящий, роковой,
На землю тяжко пал — и вот лежит, алея.

ПАРИЖ ПОНОСЯТ В БЕРЛИНЕ

Рассвет для мглы ночной — ужасное виденье,
И эллин — варвару прямое оскорбление.
Париж, тебя громят, пытаясь делать вид,
Что некий приговор тебе за дело мстит.
Педант и солдафон, объединив усилия,
Бесчестят город наш геройский. В изобилие
И бранные слова и бомбы к нам летят;
Продажный ритор лжет, бесчинствует солдат:
Париж, мол, оскорблял религию и нравы.
Потребна им хула, чтоб оправдать расправы;
К убийству клевета удобно подведет.
Сенату римскому подобен твой народ,
О город, вынь же меч для подвигов победных!
Строитель мастерских, защитник хижин бедных,
О, город равенство изведавших людей!
Пускай беснуется орда тупых ханжей —
Защита алтарей и тронов, лицемеры,
Позорящие свет во славу темной веры,
Спасатели богов от мудрости земной.
Сквозь всю историю нам слышен этот вой
На римских площадях, в Мемфисе, Дельфах, Фивах,
Как отдаленный вой и лай собак паршивых.

Князья тевтонские! Стремясь к успехам славным,
Не подражаете вы пращурам державным:
Они старались быть, круша врагов своих,
Не многочисленней, а доблестнее их.
Другой обычай — ваш.

Без шума, понемногу,
Во мраке тайную прокладывать дорогу
В соседнюю страну, обманывать дозор,
Как это делают любовник или вор,
Среди кустов, нигде открыто не маяча,
Прокрасться, поползти, фонарик слабый пряча,
Потом внезапно, вдруг, крича: «Ура!» и «Хох!»
И обнажив клинки, миллионом грубых ног
В азарте боевом топтать поля соседа...
Тому же лишь во сне пригрезится победа:
Нет войска у него, бездарный генерал.
Мартина Лютера торжественный хорал
С молитвой слушали недаром деда ваши:
То были воины, и из подобной чаши
Не стали бы они вино победы пить, —
Им честь была важней, чем радость победить.

А вы на всем пути к Версалью от Седана,
Пути жестокостей, коварства и обмана,
Успели натворить немало гнусных дел.
От гнева бы, о них услышав, покраснел
Суровый предок ваш, бесстрашный рыцарь-воин.

Ни песни меч войны, ни славы не достоин,
Когда предательство ему расчистит путь,
Когда обману он крестом украсит грудь.
Вильгельм — и Бисмари с ним: при Цезаре —
ворюга,

Обрел Великий Карл в Робер-Макере друга!
Уланам, рейтарам, пандурам отдана
В добычу Франция. Да, некогда она
Великой армией к народам приходила;
Огромной бандою к ней вторглась ваша сила.

Спешат, и пропасти они перед собой
Не видят. Так медведь на льдине голубой
Не чует, что она растрескается скоро.

Да, Франция в плену. Но от ее позора,
От Страсбурга — бойца, чей не угаснет пыл,
От Меца, — вами он за деньги куплен был, —
Получите вы то, что взять насилье может
От женщин, распятых на оскверненном ложе:
Нагое тело их и неумный гнев.

У гордых городов и непорочных дев
Для тех, кто их терзал, насильно обнимая,
Есть только эта плоть — холодная, чужая.

Так убивайте же побольше: Гравелот
И Шатоден — поля, где жница-смерть идет,
Чтоб красным вы могли гордиться урожаем.
Хвалитесь: «Мы Париж блокадой удушаем!»
Орите: «Никому теперь пощады нет!»
Знамена треплются, надувшись от побед.
Но в шуме празднества недостает чего-то:
Не открываются небесные ворота,
Чтоб выпустить лучи; и лавры на земле
Зачахнут, кажется, в кровавой вашей мгле.
А сонмы горних Слав молчат; не слышны клики,
Опущены крыла, угрюмо-скорбны лики.
Смотреть и узнавать и слышать не хотят,
И видно нам с земли, как, темные, скорбят
Они над трубами поникшими своими.

И правда, ни одно не прогремело имя
Средь гула стольких битв! О слава, кто герой?
Как! Победителей великолепный строй —
Надменных, дерзостных, своим успехом пьяных,
Но — диво-дивное! — каких-то безымянных?
И доля наша тем постыднее, что так
Ужасен был разгром и так ничтожен враг!

Что это с Францией? К ничтожествам презренье
Трагическое ей внушает ослепление.
Она не хочет знать, что говорят о ней
На нищих чердаках иль в залах королей.
Будь вы бродягою или министром властным,
Ее величию вредили б вы напрасно.
Не в силах Франции вы сделать ничего.
Хотите вы клеймить — подумайте, кого?
Среди своих торжеств и горестных волнений
Она не видит вас, вы для нее лишь тени.
Когда б пред ней предстал Тиберий, Чингисхан,
Завоеватель-бич иль человек-вулкан,
Она подумала б, уместно ль счесться с вами,
Презреньем вас казнить. Прославьтесь же делами!
Тогда увидим. Нет? Идите прочь! Червяк
Все ж будет червяком, хотя б всегда, как враг,
Копил он злобы яд. Что сделать мелочь может,
Хотя тупая злость ее всечасно гложет?
И что ничтожеств власть? Она лишь миг живет.
Чем может повредить колоссу, что встает
Среди песков пустынь, гиен трусливых стая
Иль птицы жалкие, что, низко пролетая,
Стремятся запятнать тот горделивый лик,
Который в свете звезд недвижим и велик?

Париж, январь 1871

Твердить все о войне, мир утвердив сперва!
«Омудрость, лживые ты говоришь слова! —
Сказал мудрец. — Когда ты столь жестокой стала?
Иль ты ослеплена, иль разум потеряла?
Что с Братством сделано тобою? Ты встаешь,
Чтоб Каина убить, вонзить в Аттилу нож». —
«Нет, Человек, ты мне поверить можешь смело.
Где Скупость начала, кончает Щедрость дело;
Нас Ненависть ведет к Любви, зима к весне,
Ты вздумал отрицать — и утвердил вполне».
Противоречия свои плодя бессчетно,
Блуждают истины в таком тумане плотном,
Что глубиною их совсем мы смущены.
Вот отчего пути судьбы всегда темны.
И Ночь, святая Ночь густое покрывало
Из мириад светил таинственно соткала.

Я атеист? Пойми, о поп, не много толку
Разыскивать в моей душе такую щелку,
Через которую ты разглядеть бы мог,
Насколько верю я, что миром правит бог.
Шпионить, уличать меня по сплетням, слухам,
Подсчитывать грехи по дьявольским grossбухам —
Все это тщетный труд. Мой символ веры прост.
Готов перед тобой предстать я в полный рост:
Я выложу все сам и ничего не скрою.

Да, если бог — старик с предлинной бородою
И восседает он, как сказочный король,
На троне золотом, как бы играя роль
В большой феерии: святой пророк ошую,
Голубка на плече, архангел одесную,
А на руках Христос... И если этот бог,
Един и тройственен, завистлив и жесток,
Действительно таков, каким иезуиты —
Гаррас ученый, Плюш, Трюбле, Ноннот маститый —
Представили его в писаниях своих:
Бог, угнетающий свирепо малых сих;
Казнящий правнуков за древний грех Адама
И разрешающий куренье фимиама
В честь царственных убийц; сказавший солнцу:
«Стой!»,
Едва тем не сломав порядок мировой;
Весьма посредственный географ и астроном;
Бог, созданный людьми и ставший их патроном,

Их грозным судьей и злобным палачом;
Привыкший наобум разить своим мечом;
Всегда карающий и редко милосердный;
Казнящий часто тех, кто молится усердно;
За щедрые дары прощающий блудниц;
Владыка, правящий державой без границ
И подражающий порокам человека;
Тиранами людей терзающий от века;
Бог, допускающий злодейства, подлость, ложь...
В такого бога я не верю ни на грош!

Но если бог — вещей предвечное начало,
Обозначение иное идеала,
Который хаосу единство придает
И в коем мир себя как личность познает;
Вселенская душа, чьим пламенем чудесным
Возжен бессмертный свет в моем земном, телесном
И обреченном в прах вернуться существе;
Когда он — Абсолют, с которым я в родстве;
Тот голос внутренний, который возвещает,
Где истина, и злых деяний не прощает,
Дает мне знать, какой из сил враждебных двух
Я к действию влеком; свободный ли мой дух,
Животный ли инстинкт — мой подлинный водитель;
И коль он бытия таинственный зиждитель,
Кем полнится душа в неизреченный час,
Час взлета к небесам, когда святой экстаз
Ей крылья придает и, чуждая метаньям,
Стремясь творить добро, готовая к страданиям,
Она взмывает ввысь, ветрам наперекор,
Чтоб вырваться из туч на голубой простор,
Влечется тем сильнее, чем тьма черней и гуще,
За горизонт, к заре, и славит день грядущий;
Коль божий промысел — такая глубина,
Которой ни постичь, ни обнаружить дна
Не в состоянии попы мастей различных;
Коль не разъять его и не расчесть первичных
Частей, слагающих понятие «божество»;
И в образе людском нам не узреть его —
Затем что он есть бог безликий и незримый
И в сыне божием отнюдь не воплотимый:

Отнюдь не «бог-отец», но жизни всей родник,
Источник юности, а не брюзга-старик;
Когда он тот, о ком создатели религий
Не знают ничего, о ком молчат их книги,
Но ведают о ком младенец и мертвец,
Которым явлен он, как сущего венец;
Коль съесть его нельзя при таинстве причастья;
И если он не враг любви, земному счастью;
Когда собой он все объемлет существа;
Коль он есть Целое, которое едва
Помыслить можем мы без головокруженья,
Но чувствуем душой в минуты озаренья;
Когда его нельзя сковать, вогнать в канон;
Коль катехизисом он не узаконён;
А речь его слышна нам в грохоте циклона —
Не в бормотании с церковного амвона;
Коль он в величии своем для нас незрим,
Но есть во всем, везде — везде неуловим —
В былинке крохотной, в безмерности надзвездной...
Коль небо — храм его, вероученье — бездна;
Когда им созданы гармония светил
И равновесие присущих духу сил
И волею его пребудут в постоянстве
Добро, Любовь, Мораль — как и миры
в пространстве;
Когда он столь велик, прекрасен и высок,
Что жалким кажется и слабым слово «бог», —
Тогда, епископ, мы меняемся ролями!
С тобою мы идем различными путями:
Тебя влечет во тьму, где смерть, и тлен, и зло,
Меня — туда, где жизнь и где всегда светло.
Тогда, епископ, ты плутуешь, как картежник;
Тогда я верую, а ты вот — злой безбожник!

27 июля

А! Это — дикий бред! Не примиримся, нет!
 Встань, с яростью в душе, с мечом в руке, средь бед,
 О Франция! Хватай дреколья, камни, вилы,
 Скликай сынов, полна решимости и силы!
 О Франция, тобой отвергнут был Мандрен, —
 Теперь Аттилу бог послал тебе взамен.
 Покончить пожелав с народом благородным,
 В ком род людской явил свой пламенный восход нам,
 Опять, как искони, орудьем рок берет
 Чудовищ и зверей невиданных пород.
 О Франция моя, ты ль покоришься? Ты ли
 Согнешься? Никогда! Конечно, заслужили
 Мы участь горькую — врагу попасться в пасть!
 Но горше будет нам, коль скажут: «Мнили пасть,
 Как некогда Мемфис, Солим, Афины, Троя, —
 В громах и молниях эпического боя!
 И — чувствуют себя среди могильной тьмы
 Немыми жертвами насилия, чумы,
 Разбоя, голода, — бессмысленны и тупы!»
 Мы ждали грозных львов, а оказались — трупы!

О, что за жуть! Народ — палач народа-брата!

А нашего родства издревле узы святы!
 Из чрева одного мы вышли, и слита
 Ты с Галлией была в давнишние лета,
 Германия! Деля и радости и беды,
 Как братья мы росли — и в том была победа.
 Росли мы дружною, счастливою четой,
 И Каин Авеля не донимал враждой.
 Велик был наш народ, и Тацит не впустую
 Сказал о нас и вас, германцы, повествуя:
 «Они горды. У них лишь женщина скорбит,
 Мужчина ж — учится не забывать обид».
 Чуть Рим орлов своих вносил в наш край,
 бывало,
 Клич вендов боевой подхватывали галлы,
 И консул погибал, сражен ударом в тыл,
 И к Ирменсулу Тевт на помощь приходил.
 Опору верную в столетях пронесли мы —
 Удар меча и взмах крыла неукротимый.
 Пред алтарем одним, во глубине лесов,
 Распластывались ниц, услыша тайный зов,
 Бретонцы нантские и кельнские тевтоны.
 Когда сквозь мрак неслась валькирия
 смятенно,
 Одну и ту ж звезду, что на ее груди,
 Наш Бренн и Герман ваш видали впереди.

Высокомерье сбавь, германец, и взгляни-ка
На дальний небосвод! Покуда в галла дико
Ты всаживаешь нож, победой опьянен,
Покуда топчешь ты и право и закон,
Венчаясь лаврами отпетого бандита, —
Там наши пращуры посмертной дружбой слиты.

Как! Провозвестница невиданной весны,
Ты, кем Франклин, и Пенн, и Фультон рождены,
Страна, где воссиял свободы свет когда-то,
Приветствия шлешь тьме? С бесстыдством ренегата
Благословляешь ты немецкую картечь
И в ризы белые пытаешься облечь
Чернейшие дела, отступница свободы!
Зачем же некогда фрегат французский воды
Атлантики рассек и храбрый Лафайет
На помощь поспешил к повстанцам в Новый Свет?
Ты, факел погасив, во тьме провозгласила:
«Кулак — вот божество! Всего превыше — сила!
Мы отменяем всю историю земли.
Растоптанный прогресс пусть корчится в пыли!
Мы перл создания: народом-эгоистом
Нам подобает быть. Меж чистым и нечистым
Нет грани никакой, и кто силен, тот прав,
Свободу, долг, закон и истину поправ.
Пусть, прусским кованым примята сапожищем,
Стенает Франция над горьким пепелищем.
Все выбросить пора: Вольтера и Христа...
Пусть правит солдафон ударами хлыста!»
О ты, чей эшафот своей зловещей тенью
Затмил Америку, обрек ее крушенью,
Джон Браун, мученик, веревку палача
Сорви с себя, воспрянь и отхлещи сплеча
Того, кто, сея зло измен и преступлений,
Навеки заклеيمن проклятьем поколений!

Да! Франция пришла Америку спасти:
Свой обнажила меч и вольность обрести
Ей братски помогла в суровую годину.
Америка же ей кинжал вонзила в спину!

Допустим, что дикарь, издав победный клич,
Скальпировал врага, подбитого как дичь,
И, человечины дымящейся отведав,
Пред прусским королем, главой всех людоедов,
Простерся ниц; его я оправдать готов:
У них один закон — закон глухих лесов.
Когда же человек, в котором воплощение
Мы видим истинно гуманного правленья,
Который озарен сиянием лучей
Америки — страны прославленной своей,
На брюхе ползает пред скипетром державным,
Пятная Новый Свет деянием бесславным;
Великий свой народ постыдно предает
И Франции в лицо бессовестно плюет;
Когда он делает народ свой сопричастным
Победам мерзостным и торжествам ужасным;
Когда — убийцам друг и честным людям враг —
Он втаптывает в грязь свободы гордый флаг;
Когда Америку он делает блудницей;
Когда она, склонясь пред гнусной колесницей,
Целует сапоги злодея-короля, —
То содрогается от ужаса земля!
Встревожены в гробах борцов великих тени:
Костюшко гонит рой чудовищных видений;
Волнуется Спартак, и стонет Джефферсон;
Линкольн сегодня вновь злодейски умерщвлен!

Америка! К твоей я совести взываю!
Я тяжко оскорблен. Я плачу, я рыдаю...
Я слишком горячо любил тебя всегда.
Светила миру ты, как юная звезда, —
Нет, не одна звезда, а целое созвездье!
Поруган звездный флаг! Он требует возмездья!
Когда-то Вашингтон пустил коня в галоп,
И где он проскакал, там искр блестящих сноп

Взметнулся до небес; на знамя искры пали,
И вот — тринадцать звезд над миром засверкали!
Теперь, увы, их свет почти совсем померк...
Проклятье же тому, кто вероломно вверх
Народ Америки в пучину дел позорных
И знамя превратил в созвездье пятен черных!

Внимай. Придет пора — твоё услышу слово.
 Орудие! Гроза! Боев герой суровый!
 Дракон неистовый, чей раскаленный рот
 Однажды пламенем и грохотом рванет!
 Громада грузная, отлитая из молний, —
 Слепую смерть пошли и строгий долг исполни:
 Мой город охраняй. Вот мой завет тебе!
 В братоубийственной безмолвствуя борьбе,
 С родного рубежа — рычи! Вчера из горна
 Ты вышло, гордое, сверкая непокорно.
 «Красавец!» — женщины тебе шептали вслед.
 Тевтоны под стеной. Из блеска их побед
 Ползет позор. Париж, великий брат свободы,
 Князьям грозит призвать в свидетели народы.
 Нам предстоит борьба. Приди, мой сын! Припав
 Друг к другу, мы с тобой в один сольемся сплав,
 Мы обменяемся с тобою, мститель черный:
 Мне в сердце бронзу дай, влей в медь мой дух
 упорный!

Он близок — день: с валов твоя раздастся речь.
 В зарядном ящике уже лежит картечь.
 Гремя по мостовой за восьмерной упряжкой,
 Меж радостной толпы, ты повлечешься тяжко
 Среди разрушенных домишек бедноты —
 Занять почетный пост, где высятся форты,
 Где, саблю сжав, Париж встречает натиск вражий.
 Там непреклонно стой на неусыпной страже!

И так как я всегда, насколько было сил,
Прощал, и снисходил, и кротостью лечил;
И между буйных толп, — бродя ль в изгнание сиро,
На форум ли придя, — я сеял зерна мира
Под вечный спор людской, средь гула и тревог;
И цель великую, что дал нам кроткий бог,
Я всем указывал, смеясь или печалюсь;
И мне, мечтателю, кто ведал скорбь, казались
Единство — библией, евангелием — любовь, —
Ты, страшный тезка мой, лей беспощадно кровь!
Ведь перед ликом зла любовь должна стать злобой:
Не может светлый дух склониться пред утробой,
Не может Франция стать варварству рабой;
Величье родины — вот идеал святой!
Теперь он стал, наш долг, столь ясным и великим —
Быть непреклонными пред ураганом диким
И охранить Париж — и всю Европу с ним —
Своею твердостью и мужеством своим!
Ведь если Пруссия избегнет должной кары,
На все прекрасное падут ее удары:
На братство, равенство, надежду и прогресс;
Кто Францию громит, тот гонит свет с небес
И тигру отдает народ на растерзанье!
И надо возвести, во тьме слышав ржанье,
Аттилиных коней, несущих смерть и плен,
Вокруг души — кольцо несокрушимых стен!
Так Рим, чтоб мир спасти, стоящий под ударом,
Быть должен божеством, Париж — титаном ярым!

Вот почему, строфой лазурной рождены
И лирой встречены, орудия должны
Направить на врага зияющие глотки;
Вот почему поэт, задумчивый и кроткий,
Творить зловещее из блеска принужден;
Пред злобой королей, лакеев бездны, он,
Желая мир спасти от наступленья ада,
Узнал, что не мечтать сейчас, а драться надо,
Сказал: борись, рази, разбей, громи, гори! —
И создал молнию из трепета зари!

Как свора верных псов, наш город сторожат
 Могучие форты: ведь мог же гнусный гад
 Порою доползать до самых стен Парижа!
 Хитер опасный враг; его орда все ближе.
 Их девятнадцать здесь, на кручах, на холмах;
 Тревожно ждут они, врагу внушая страх,
 И, чтоб не удались коварные затей,
 Всю ночь вытягивая бронзовые шеи,
 Бессонно стерегут людей, объятых сном,
 И в легких бронзовых хлопочет смертный гром.
 По временам холмы внезапно в тьму густую
 Бросают молнии — одну, потом другую.
 И снова ночь, — но вот почуяли они
 Угрозу в тишине, в покое — западни.
 Напрасно кружит враг, — он лишь теряет время;
 Они же — бдительны и сдержат вражье племя
 Орудий, рысущих вдали, сквозь плотный мрак.
 Париж — могильный склеп, темница, бивуак,
 Средь мира темного безмерно одинокий,
 Стоит, как часовой, покуда сон глубокий
 Его не свалит с ног. Покой объемлет всех —
 Мужчин, детей и жен. Стихают плач и смех,
 Стихают площади, мосты, колеса, топот
 И сотни сотен крыш, откуда сонный шопот
 Исходит — голоса надежды, что твердит
 О вере, голода, который говорит
 О смерти. Смолкло все. О, сны! О, души спящих!
 Тишь, забытье... Но их не усыпить, грозящих.

И вот внезапно ты очнулся... Страх и дрожь...
Прислушался едва дыша — и узнаешь
Густой, глубокий гул, как будто стонут горы;
Селенья вздрогнули, внимает мрачный город,
И вот на первый гром отвечает второй —
Безжалостный в своей угрюмости, глухой,
И новые во тьме раскаты возникают,
И громы тяжкие друг друга окликают.
Форты! В густых зыбях полночной темноты
Отчетливы для них зловещие черты:
Они заметили орудий очертанья,
Заметили в лесу, чье мертвое молчанье
Нарушил птиц ночных встревоженный полет,
Передвижение чужих полков и рот,
Огни в кустарниках — как волчьи злые очи...

Вы славно лаете, форты, во мраке ночи!

20 ноября 1870

Кто за тебя? Никто! Все в сговоре! Гладстон
Спасибо говорит твоим убийцам. Он
Не одинок — есть Грант и Банкрофт есть, которым
Привычно поносить, клеймить тебя позором.
Один — трибун, другой — солдат; а там — судья,
Там — поп: на севере, на юге; и твоя
Кровь растекается, и, на кресте распятой,
Тебе плюют в лицо. Но в чем ты виновата
Перед народами? Рыдавшим в мире зла,
Слова Надежды ты всем нациям несла:
То — Мир и Радость. Ты взывала благородно:
«Цвети, Америка! Будь, Греция, свободной!
Италия! Ей вновь великой сгать пора.
Я этого хочу». Ты отдала, щедра,
Той — золото, той — кровь; для всех была ты
светом,

Прав человеческих защитницею; в этом
Ты видела свой долг пред каждою страной.
Как с водопоя бык бредет к себе домой,
Так люди собрались под кровлею одною,
Тобою слитые, великой их сестрою,
Твоей заботою, твоей борьбой за них.
Ах, знак их низости — неблагодарность их!
Да что там! Слышен смех — довольна их орава,
Что горе у тебя, что на ущербе слава
И ты, обнажена, под молотом невзгод
И кровью залита, взошла на эшафот.
Французов им не жаль — сынов, которым надо

Краснеть за мать свою. У палачей досада,
Что ты не умерла, что быть тебе живой.
Склонила в темноте ты лик лучистый свой.
Ночной орел твою расклеывает печень
И, побежденную, тебя прикончит, встречен
Восторгом королей — убийц с больших дорог, —
Европы, мира... Ах, когда б я только мог
Не быть французом, чтоб во дни мученья злого
Я, Франция, тебя мог предпочесть и снова
Провозгласить, что ты, чья бурно льется кровь,
Мой край, мой гордый лавр и вся моя любовь.

НАШИ МЕРТВЫЕ

Простерты на земле безгласной и суровой,
Они лежат в крови запекшейся, багровой.
Живот распоротый им вороны клюют.
Огонь сражения, чудовищен и лют,
Обуглил их — прямых, давно окоченевших
И черных среди трав, завянуть не успевших.
Снег белым саваном облепит всех зимой
Вот череп — как валун, холодный и слепой.
Рука сраженного — она еще готова
Зажатой шпагою пронзить кого-то снова.
За ночью ночь они, без речи и без глаз,
Оцепенелые, валяются сейчас.
И столько ран на них и рваных сухожилий,
Как будто лошади их рысью волочили.
Переползают их червяк и муравей.
Тела в земную твердь врастают — вглубь морей
Так погружается корабль, терпя крушение.
Над бледными костями и сумрак и гниенье,
Как Иезекииль изрек о мертвецах.
Они лежат везде — то в сабельных рубцах,
То в ранах ядерных, то в штыковых, багряных.
Над крошечным их тел в увечиях и ранах —
И морозящий дождь и ветер ледяной.

Завидую тому, кто пал за край родной!

О внуки, скажут вам, что дедушка когда-то
Вас обожал, что он был долгу верен свято,
Знал мало радостей и много горьких бед,
Что были вы детьми, когда был стар ваш дед;
Что он, добряк, не знал слов гнева и угрозы,
Что он покинул вас, лишь распустились розы,
И умер в дни весны беззлобным стариком,
Что в трудный, черный год, под вражеским огнем,
Через ночной Париж, где громыхали пушки,
Он пробирался к вам и нес с собой игрушки —
Паяцев, куколок, в корзинку уложив.
Вздохните же о нем в тени могильных нв ..

ПИСЬМО К ЖЕНЩИНЕ

(Отправлено воздушным шаром 10 января 1871 г.)

Париж сражается. Сейчас он весел, страшен,
В нем жив народ, жив мир, дух доблестью украшен.
Здесь каждый служит всем, не мысля о себе,
Хоть и без солнца мы, без помощи в борьбе.
Все будет хорошо, хоть сна у нас — ни тени.
Пусть публикует Шмитц пустые бюллетени —
Эсхила б иезуит так перевел, губя.
Семь франков — два яйца! Купил не для себя,
Для Жоржа моего и для малютки Жанны.
Мы ели лошадей, мышей — и было б странно
Иное: ведь Париж зажат в кольцо врагом.
Ковчегом Ноевым желудок свой зовем;
Нечистой, чистой там уже немало твари:
С собачиною кот, пигмей с колоссом в паре,
И крыса и осел там рядом со слоном.
Бульваров больше нет: срубили топором;
Уж Елисейские Поля горят в камине.
Мы дрогнем в холоде, всегда на окнах иней,
Не развести огня, чтоб высушить белье,
Рубашке смены нет. По вечерам в жилье
Доходит смутный гул из мрака городского.
Там движется толпа ворчливо и сурово:
То пенье долетит, то возглас боевой.
По Сене медленно плывут за строем строй
Обломки тяжких льдин; за канонеркой смелой,
Идущей среди них, след остается белый.

Живем ничем и всем, не клоним головы,
И на столе у нас, где голод ждет, увы,
Картофель — это царь, покоившийся в Крипте,
А луковица — бог, как некогда в Египте.
Угля нет, но зато наш хлеб черней в сто крат.
Без газа спит Париж, гасильником прижат.
С шести часов темно. Привыкли к гулу, вою,
Когда снаряд врага летит над головою.
Чернильницей давно осколок служит мне.
Но город-мученик не дрогнет в тишине,
И горожане здесь на страже у предместий;
Под пулями — отцы, мужья и братья вместе;
В военной форме все, окутаны плащом,
На жестких досках спят иль мокнут под дождем.
Да, Мольтке нас бомбит, сулит нам Бисмарк голод,
А все ж, как женщина, Париж и свеж и молод.
Весь обаяния и силы полный, он
С улыбкою глядит, мечтая, в небосклон,
Где голубь кружится с воздушным шаром рядом.
Беспечность, красота соседствуют в нем с адом.
Я здесь. Я тем горжусь, что город мой не взять.
Я всех зову любить, с врагом лишь враждовать,
С ним биться до конца. Кричу перед другими:
«Я больше не Гюго, и Франция — мне имя!»
И не тревожьтесь, друг, за женщин. В час беды,
Когда все клонится, они у нас горды.
Все то, что доблестью считалось в древнем Риме, —
И святость очага, и дом, хранимый ими,
И ночь за прялкою, и труд, что грубым стал,
И мужество, когда так близок Ганнибал,
А братья и мужья встречают смерть на стенах, —
Все это есть у них. Пруссак, гигант надменный,
Париж зажал в кольцо и сердце мира в нем,
Как тигр, когтями рвет в неистовстве своем.
В Париже, где беда гнетет неотвратимо,
Мужчина — лишь француз, а женщина — дочь Рима.
Парижа женщины выносят всё: и страх,
И гаснущий очаг, и ломоту в ногах,
И гнет очередей у лавок ночью черной,
Холодный ветер, снег, валяющийся упорно,
Бой, ужас, голод, смерть — и видят пред собой
Одну лишь Родину и долг священный свой.

Сам мог бы Ювенал их мужеством гордиться!
Врагу огнем фортов ответствует столица.
С утра бьет барабан, вдали поет рожок,
И гонит сон труба, чуть бросит луч восток.
Из тьмы встает Париж, огромный, горделивый;
Фанфар по улицам струятся переливы.
Все братья — верим мы в победу до конца,
Грудь отдаем огню и мужеству — сердца,
А город, избранный несчастьем и славой,
Встречает ужас свой осанкой величавой.
Что ж! Стужу, голод — всё мы вынесем сполна.
Что это? Ночь. Но чем окончится она?
Зарей. Все вытерпим, и это будет чудом.
Да, Пруссия — тюрьма, и стал Париж Латюдом.
Мужайтесь! Наш народ, как в древности, суров.
Лишь месяц — и Париж прогонит пруссаков.
Я твердо убежден, что буду с сыновьями
В деревне жить, куда поедете вы с нами,
И в марте на родной все отдохнем земле, —
Когда не будем мы убиты в феврале.

НЕТ, НЕТ, НЕТ!

Нет, нет, нет! Как! Нас немцы разгромят?
Как! Наш Париж, святой, подобный лесу град,
Необозримое идей жилище это,
Влекущее к себе сердца снопами света;
Гул, что творцам наук познание дает,
Средь толп живых зари блистательный восход!
Париж! Его закон, и воля, и дерзання —
Передовым борцам завет и приказанье;
И площадь Гревская, где Лувра смывает разврат,
То страхов, то надежд исполненный набат;
И в лабиринте стен союз такой несродный —
Рабыня Нотр-Дам и Пантеон свободный;
Как! Бездна эта, где, блуждая, бродит взгляд,
Тот сказочный, в лесах незримых мачт фрегат!
Париж, что урожай свой жнет, растит, лелеет,
В величье мира свой посев чудесный сеет —
Науку мятежей, что он преподает,
Гром кузницы его, где чудо он кует...
Как! Все, что плавил он в поту своих усилий...
Как! Мира будущность в сени его воскресил, —
Исчезнет это все под пушек прусских гром?
Мечта твоя, Париж, забытым станет сном?

Нет, нет, нет, нет! Париж — прогресса пост опорный.
Пусть катит с севера Коцит поток свой черный,
Пришельцев толпы пусть наш град сквернят пока...
Пусть *час* — против него, но за него — *века!*
Нет, не погибнет он!

О, в реве урагана
Уверенность моя лишь крепнет неустанно,
И слышу я, куда мой долг меня зовет,
И к истине любовь в душе моей растет.
Опасность, что пришла, ведь есть не что иное,
Как повод, чтоб росла в бойцах готовность к бою.
Страдания крепят колеблемый закон,
И ты тем больше прав, чем более силен.
Что до меня, друзья, мне трудная задача —
Понять бойца, что вдруг находит повод к сдаче;
Искусство чуждо мне пред боем отступать,
Надежду потеряв, скулить, рыдать, дрожать,
Отбросить честь и стыд, мне трудно стать унылым —
Все эти подвиги мне, право, не по силам!

Париж, январь 1870

ГЛУПОСТЬ ВОЙНЫ

Работница без глаз, предательская пряжа
Качает колыбель для тлена и для праха;
Ведет она полки, ведет за трупом труп,
И, опьяненная безумным воем труб
И кровью сытая, потом с похмелья вянет,
Но человечество к своей попойке тянет.
Нагнав ораву туч и накликая ночь,
Все звезды, всех богов она сшибает прочь
И вновь безумствует на черных пепелищах,
В пороховом дыму, в тяжелых сапожищах.
Распространеньем зла, как прежде, занята,
Животных выгонит, но предпочтет скота
И может лишь одно придумать бестолково:
Снять императора, чтоб возвести другого.

Не троньте Францию с ее бессмертной славой!
Вам направлять ее? Но по какому праву?
Хоть смелый воин вы, однакоже не прочь
Просить угодников, не могут ли помочь.
И для Парижа вы, чей ореол могучий
Уж пробивается сквозь мерзостные тучи,
Для гневной нации — чрезмерно вы полны
Терпенья, благодати. Они нам не нужны
Во дни опасности, поднявшейся над миром.
Не думаете ж вы взаправду стать буксиром
Светила дивного, встающего из тьмы,
Которого в тюрьме сдержать не в силах мы?
Оставьте Францию! Косматою звездою
Она появится, разгонит сумрак боя.
Для королей и войск соседних с нею стран
Она опустошит сверкающий колчан,
В боях с пруссаками окажется счастливой
И, гневная, тряхнет своей горящей гривой
И каски медные, глаза под низким лбом
И души все пронзит карающим лучом!

Но эта ненависть, порыв ее священный
Вам непонятны, нет. Ночь встала над вселенной,
И надо, чтобы мы, прогнав ее, спасли
Лазурь грядущего, встающую вдали,
И с темной пропастью сражались без пощады.
Париж, в огне, велик, — вы опустили взгляды.
Вы ограничены, и близорук ваш глаз;
Как демагогия, страшит сиянье вас.
Оставьте Францию! Ее пожара пламя

Не угасить. Оно, усилено ветрами,
Пронзает молнией окрестных туч валы.
Пускай же каются князья бегущей мглы,
Что, солнечный вулкан забрызгав мраком ила,
Они великое разгневали светило.
Для гнусных, мерзостных, кровавых королей
Встающая заря чем дале, тем страшней.
Так дайте же расти сверкающей богине!
Ваш путь — на поводке итти при господине.
Оставьте сбросивший ярмо свое народ!
Вот Марсельезы зов; она уже идет
На бой, уже звучит ее припев могучий.
Луч — это тот же меч. Он ударяет в тучи,
Как некогда таран бил в крепостной гранит.
Уйдите в сторону, пусть солнце отомстит.
Не помощь вы ему. Оскорблена свобода,
И дивным будет гнев великого народа.
Когда коварный мрак покроет все вокруг
И станет кладбищем казаться вешний луг,
Речонка — пропастью, а роща — вражьи́м станом,
И под покровом тьмы все, что живет обманом,
Вся тварь презренная, ничтожный каждый гад
На волю выползет, упиться кровью рад,
И лисьей хитрости и волчьей злобе — воля,
Когда шакал и рысь, дремавшие дотоле,
Гиена и змея зарыскают в ночи, —
Тогда как мстители являются лучи,
И восходящий день исполнен возмущенья.
Лишь призрак — Пруссия, Вильгельм — лишь
привиденье.

Пусть свора королей насытых, пусть орда
Жестоких хищных птиц стремится свой лет туда,
Где началась резня, пускай царит над миром
Война, являясь нам то гидрой, то сатиром,
Пускай вослед за ней глубокий мрак идет,
Скрывая от людей лазурный небосвод, —
Оставьте их, солдат, священникам любезный,
О, Франция сама сумеет встать над бездной,
Окрасит пурпуром окрестных гор зубцы
И, залпами лучей разя во все концы,
Одних ввергая в прах, другим неся защиту,
Освободит лазурь до самого зенита!

БОМБА В ФЕЛЬЯНТИНАХ

Что ты такое? Как! Ты возникаешь в небе?
Как! Ты—свинец, огонь, убийство, страшный жребий,
Коварный, скользкий гад, взлелеянный войной?
Ты — неприкрашенный, невиданный разбой,
Ты, брошенная нам владыками мирскими,
Несущая разгром и горе, ты, чье имя —
Страх, ненависть, резня, коварство, гнев, — и ты
Вдруг падаешь на нас с небесной высоты!
Лавина страшная металла, взрыва пламя,
Раскрывшийся цветок из бронзы с лепестками,
Горящими огнем! Людской грозы стрела,
Ты мощь разбойникам, тиранам власть дала.
Продавшись королям, ты злему служишь делу.
Каким же чудом ты с небес к нам мечешь стрелы?
Как настоящий гром, разишь ты с высоты;
Ад породил тебя, так как же с неба ты?

Тот, близ кого сейчас твое промчалось жало,
У этих бедных стен, задумчивый, усталый,
Сидел, во мраке лет стараясь вызвать сон
Прошедший: мальчиком, совсем ребенком он
Здесь, помнится, играл; и прошлого глубины
Раскрылись перед ним: здесь были Фельянтины...
Нелепый этот гром упал на райский сад.
Какой здесь смех звучал — о, много лет назад!
Вот эта улица была когда-то садом.
То, что булыжник здесь уж повредил, снарядом
Вконец разрушено. На склоне наших лет

Мы обесцвеченным, поблекшим видим свет.
Здесь птички ссорились среди листвы дрожащей.
О, как дышалось здесь! В густой зеленой чаще
Казался отблеск дня сияньем неземным.
Ты белокурый был — и вот ты стал седым.
Ты был надеждою — ты тенью бродишь ныне.
Ты мальчиком смотрел на купол той твердыни —
Теперь и сам ты стар. Прохожий погружен
В воспоминания. Здесь с песней крылья он
Раскрыл, и расцвели перед его глазами
Цветы с бессмертными, казалось, лепестками.
Вся жизнь была светла. Здесь проходила мать,
Под вешней зеленью любившая гулять,
И за подол ее держался он рукою.
О, как стремительно исчезло все бывшее!
Там, где цветы зари цвели для юных глаз,
На тех же небесах — горят над ним сейчас
Цветы ужасных бомб. О, розовые дали
Той утренней зари, где горлинки летали!
Тот, кто сейчас угрюм, был счастлив, весел, рад.
Все искрилось кругом, все чаровало взгляд,
Казалось, купы роз, и голубой барвинок,
И маргариток тьма, белевших меж травинок,
Смеялись, нежились под солнечным теплом,
И, сам еще дитя, он тоже был цветком.

Холодная заря едва столицу будит.
Идут по улице военным строем люди.
За ними я иду: всегда меня влечет
Бодрящий гул шагов, сгромающихся вперед.
То наши граждане спешат на подвиг славный.
И ростом не велик, но смелым сердцем равный
Любому из бойцов, шагает за отцом
Счастливый мальчуган. И с мужниным ружьем
В рядах идет жена, и нет в глазах печали:
Так жены галльские мужчинам помогали
Оружие нести и тоже шли на бой
То с римским цезарем, то с гуннскою ордой.
Смеется мальчуган, а женщина не плачет.
Да, осажден Париж, и ныне это значит,
Что граждане его легко сошлись в одном:
Им страшно только то, что им грозит стыдом.
Пускай умрет Париж — чтоб Франция стояла,
Чтоб памяти отцов ничто не оскверняло.
Все отдадим, себе одно оставим — честь.
И вот они идут. В глазах пылает месть,
На лицах — мужества, и голода, и веры
Печать. Они идут вдоль переулков серых.
Над ними знамя их — священный всем лоскут.
Семья и батальон совсем смешались тут;
Их разлучит война, но только у заставы.
Мужчин растроганных и женщин, бранной славы
Защитниц, льется песнь. Вперед, за род людской!
Провозят раненых. И думаешь с тоской

И гневом: короли чужие захотели,
И вот я вижу — кровь алеет на панели.
До выступления лишь несколько минут;
В предместьях — топот ног, и барабаны бьют.
Но горе чаявшим Париж сломить осадой!
И если западни поставят нам преградой,
То слава и почет — сраженным смельчакам,
А одолевшим их позор и стыд врагам.
Бойцы уже влились в отряды войск. Но мимо
Внезапный ветерок проносит клочья дыма:
То первых пушек залп. Вперед, друзья, вперед!
И трепет пробежал вдоль выстроенных рот.
Да, наступил момент; открыты все заставы;
Играйте, трубачи! Долины и дубравы
В неясном далеке, с залегшим в них врагом,
Немой, предательски спокойный оком —
Он загремит сейчас, заблещет, пробужденный.
Мы слышим: «Ну, прощай!» — «Давайте ружья,
жены!»

И те, безмолвные, кивнув мужьям своим,
Целуют ствол ружья и возвращают им.

Со львом из Африки медведь сошелся белый.
Он ринулся на льва и, злой, остервенелый,
Пытался разорвать его, расвирепев.
А лев ему сказал: «Глупец, к чему твой гнев?
Мы на арене здесь. Зачем казать мне зубы?
Вон в ложе человек — широкоплечий, грубый.
Его зовут Нерон. Ему подвластен Рим.
Чтоб он рукоплескал, мы бьемся перед ним.
Обоим нам дала свободно жить природа;
Мы видим синеву того же небосвода,
Любуемся одной и той же мы звездой, —
Что ж хочет человек, обрекший нас на бой?
Смотри, доволен он, нас видя на арене.
Ему — смеяться, нам — лежать в кровавой пене!
По очереди нас убьют, и в этот миг,
Когда готовы мы вонзить друг в друга клык,
Сидит на троне он, за нами наблюдая.
Всесилен он! Ему забавна смерть чужая!
О брат, когда мы кровь в один ручей сольем,
Он назовет ее пурпурной... Что ж, начнем!
Пусть будет так, простец! Готовы когти к бою.
Но думаю, что мы сейчас глупцы с тобою,
Коль яростью своей хотим упиться всласть.
Уж лучше, чтоб тиран попался в нашу пасть!»

Париж, 15 января 1871. Во время бомбардировки.

Так величайшие идут ко дну народы!
Страданья ни к чему: лишь выкидыш, не роды.
Ты скажешь, мой народ: «Вот для чего, средь тьмы,
Стояли под огнем на бастионах мы!
Вот для чего, храня упорство пред судьбою,
Мишенью были мы, а Пруссия — стрелою;
Вот для чего, дивя подвижничеством мир,
Мы бились яростней, чем бился древний Тир,
Сагунт воинственный, Коринф и Византия;
Вот для чего вокруг нас пять месяцев тугие
Сжимались кольца орд, принесших из лесов
Оцепенелый мрак — там, в глубине зрачков!
Вот для чего дрались; взнося топор и молот,
Дробили в прах мосты; презрев чуму и голод,
Крепили строй фортов, копали мины, рвы,
И тысячи бойцов, отдавших жизнь, — увы! —
Как житница войны, себе взяла могила!
Вот для чего картечь нас день за днем кропила.
О небо! После всех терзаний, после всех
Надежд мучительных на помощь, на успех,
Которые таил в крови, в надсаде, в муке
Великий город мой, протягивая руки,
Творя под пушками великие дела,
И стену грыз свою, как лошадь — удила,
Когда в безумстве бед его душа твердела,
И дети малые, под бурей обстрела,
Сбирали, хохоча, осколки и картечь,
И ни один боец своих не сгорбил плеч,

И триста тысяч львов лишь вылазки желали, —
Тогда три маршала геройский город сдали!
И над величием и доблестью его
Там трусость справила в безмолвье торжество.

Глядит история, блестя слезой кровавой,
Дрожа, на этот срам, пожравший столько славы!

Париж, 27 января

ПЕРЕД ЗАКЛЮЧЕНИЕМ МИРА

Когда свой подлый мир пруссаки
Предпишут нам невдалеке,
Пусть Францию считает всякий
Стаканом в грязном кабаке:

Вино допив, стакан разбили.
Страна, что ярко так цвела,
В таком богатом изобилье, —
Кому-то под ноги легла.

А завтра будет вдвое горше, —
Допьем ничтожество свое.
Вслед за орлом явился коршун,
Потом взовьется воронье.

И Мец и Страсбург — гибнут оба,
Один — на казнь, другой — в тюрьму.
Седан горит на нас до гроба,
Подобно жгучему клейму.

Приходит гордости на смену
Стремленье жизнь прожить шутя
И воспитать одновременно
Не слишком честное дитя;

И кланяются лишь на тризне
Великим битвам и гробам,
И уважение к отчизне
Там не пристало низким лбам;

Враг наши города увечит,
Нам тень Аттилы застит свет,
И только ласточка щебечет:
Французов больше нет как нет!

Повсюду вопли о Базене.
Горнист, играющий отбой,
И не скрывает омерзенья,
Когда прощается с трубой.

А если бой, то между братьев.
Огонь Баярда отблистал.
Лишь дезертир, залихорадив,
Из трусости убийцей стал.

На стольких лицах ночь немая,
Никто не встанет в полный рост.
И небо, срам наш понимая,
Не зажигает больше звезд.

И всюду сумрак, всюду холод.
Под сенью траурных знамен
Мир меж народами расколот,
Он тайной злобой заменен.

Мы и пруссаки в деле этом
Виновны больше остальных.
И наш закат стал их рассветом,
И наша гибель — жизнь для них.

Конец! Прощай, великий жребий!
Все преданы, все предают.
Кричат о знамени: «Отребье!»,
О пушках: «Струсили и тут!»

Ушла надежда, гордость — тоже.
Повержен вековой кумир.
Не дай же Франции, о боже,
Свалиться в черный этот мир!

Бордо, 14 февраля

Я сын Республики и сам себе управа.
Поймите: этого не голосуют права.
Вам надо назубок запомнить, господа:
Не выйдет с Францией ваш фокус никогда.
Еще запомните, что все мы, парижане,
Деремся и блажим Афинам в подражанье;
Что рабских примесей и капли нет в крови
У галлов! Помните, что, как нас ни зови,
Мы дети гренадер и гордых франков внуки.
Мы здесь хозяева! Вот суть моей науки!
Свобода никогда нам не болтала зря.
И эти кулаки, свой правый суд творя,
Сшибали королей, сшибут прислугу быстро.
Наделайте себе префектов и министров,
Послов и прочее! Целуйтесь меж собой!
Толстейте, подлецы! Пускай живет любой
В наследственном дворце среди пиров и шуток.
Старайтесь тешить нрав и ублажать желудок.
Налейтесь до краев тщеславьем, серебром, —
Пожалуйста! Мы вас за горло не берем.
Грехи отпущены. Народ презренье копит.
Он спину повернул и срока не торопит.
Но нашей вольности не трогать, господа!
Она живет в сердцах. Она во всем тверда,
И знает все дела, ошибки и сужденья,
И ждет вас! Эта речь звучит ей в подтвержденье.
Попробуй кто-нибудь, посмей коснуться лишь, —
Увидишь сам, куда и как ты полетишь!

Пускай и короли, воришек атаманы,
Набьют широкие атласные карманы
Бюджетом всей страны и хлебом нищих, — но
Права народные украсть им не дано.
Республику в карман не запихнете, к счастью!
Два стана: весь народ — и клика вашей масти.
Голосовали мы, — проголосуем впредь.
Прав человеческих и богу не стереть.
Мы — суверен страны. Нам все-таки угодно
Царить как хочется, и выбирать свободно,
И списки составлять из нужных нам людей.
Мы просим в урны к нам не запускать когтей!
Не смей мошенничать, пока здесь голосуют!
А кто не слушает, такой гавот станцуют,
Так весело для них взмахнут у нас смычки,
Что десять лет спустя быть им белей муки!

Увы, она придет, последняя война!

Неужто смерть и скорбь без края и без дна
С прогрессом мировым в союзе неизменно?
Какой же странный труд творится во вселенной!
Каким таинственным законом человек
К расцвету через ад введом из века в век?
Неужто там, вверху, божественная сила
Во всемогуществе своем определила
Для крайней цели той, где уловить намек
Мерцанья вечного наш жалкий глаз не смог,
Что должен каждый шаг указывать, какая
Волочится нога, в пути изнемогая,
Какая точит кровь; что муки — дань судьбе
За счастье некое, добытое в борьбе;
Что должен Рим сперва являть одну трущобу;
Что роды всякие должны терзать утробу;
Что так же мысль, как плоть, кровоточить должна
И, при рождении железом крещена,
Должна, с надеждой скорбь сливая воедино,
Хранить священный шрам на месте пуповины,
Клеймо страдания и бытия печать;
Что должен в темноте могильной прозябать
Зародыш нового, чтоб стать ростком в апреле;
Что нужно, чтоб хлеба взошли и в срок созрели,
Поимы ранами борозд; что рьяней стон,
Когда он кляп из рта выталкивает вон;
Что должен человек достичь пределов рая,

Чьи дивные врата уже встают, сияя
Глазам его — сквозь мрак вопросов роковых,
Но что затворены две створки, если их —
Взамен бессильного Христа, святых, пророка —
Там дьявол с Каином не распахнут широко?

Какие крайности ужасные! Закон,
Мечтам и помыслам горящий испокон
Лучами счастья, любви, добросердечья,
И — голос, где укор и горесть человечья.
Мечтатели, борцы, чьей правдой мир дышал,
Какой ценою вам достался идеал?
Ценою крови, мук, ценою скорби mnogой.
Увы, прогресса путь — сплошных могил дорога!

Судите. Человек придавлен кабалой
Первоначальных сил, создавших мир земной,
И, чтоб исход найти, он должен, раб суровый,
Сломить материю и взять ее в оковы.
Вот он, с природою схватясь, напружил грудь.
Увы, упрямую не так легко согнуть.
За неизвестностью засело зло ночное;
Мерещится весь мир огромной западнею;
Пред тем, как присмиреть, вонзает людям в бок
Свой страшный коготь сфинкс, коварен и жесток;
Порой лукавит он, к себе маня на лоно,
И откликается мечтатель и ученый
На тот насмешливый и пагубный призыв,
И победителям, в объятья их схватив,
Ломает кости он. Двуличная стихия
К себе влечет сердца и помыслы людские;
Земными недрами навеки соблазнен
Великий Эмпедокл; простором вод — Язон,
И Гама, и Колумб, и паладин надменный
Азорских островов, и Поло незабвенный;
Стихией огненной — Фультон, и, напослед,
Воздушной — Монгольфье; вступив на путь побед,
Упорней человек, смелей, неутомимей.
Но гляньте, сколько жертв принесено во имя
Прогресса! До того чудовищен итог,
Что смерть изумлена и озадачен рок!
О, сколько сгинуло таинственно и глухо,

До цели не дойдя! Открытие — это шлюха,
Что душит в некий час любовников своих.
Закон! Могилы все — приманка для живых;
В сердцах великих страсть фанатиков таится,
А бездны блеск влечет переступить границы.

Те стали жертвами, другие — стать должны.

Растут и множатся, как травы в дни весны,
Уродства дикие. Зловещий рок — на страже!
Развитью служит все — позор с бесстыдством даже.
Разврат вселенную заполонил собой;
Злодейство черное становится судьбой;
Набухли ядами зародыши растленья.
Что любишь, рождено предметом сожаленья.
Лишь мука явственна — везде ее устав.
Вступают в лучшее, крик ужаса издав;
И служат худшему со скукой и тоскою
Витая лестница, творение людское,
Ныряет в ночь — и вновь ведет к лучам дневным.
Перемежается хорошее с дурным.
Убийство — благо: смерть спасением избрали;
Скользит безвыходно по роковой спирали
Закон моральных сил, исчезнуть обречен.
В эпоху давнюю был Тир и был Сион,
Где преступлению возмездье отвечало, —
Резня, откуда брал расцвет свое начало.
Плитняк истории, где грудой нечистот —
Разврат, предательство, насилие и гнет,
Где, грязь разворошив, всех цезарей колеса
Промчались чередой, стремительно и косо,
Где Борджа оставлял следы своих шагов...
Он был бы мерзостной клоакою веков,
Конюшней Авгия, зловонным стоком рока,
Когда б его струей кровавого потока
Не промывал господь. Ведь на крови взошли
Рим и Венеция! И голос издали:
Крыло и червь — в родстве. Век, распутивший
крылья, —

Дитя столетия, что ползало в бессилье,
Мир к обновлению чрез ужасы идет.
Он — поле мрачное, где пахарем — Нимрод.

Цветенье зиждется на гнили, и природа
В ней силы черпает, рождая год от года.
Приходят к истине, неправду осознав.
Род человеческий, чей след всегда кровав,
Идет к развитию средь буйства бури грозной
С проклятьем бешеным и с жалобою слезной.
Высок и светел труд, работник — мрачен, дик.

Чуть колесница в путь, он поднимает крик.

Невольничество — шаг один от людоедства;
И гильотина, вся багровая, — наследство
Секиры и костра, стальных крюков и пик;
Война — настолько же пастух, как и мясник;
Кир восклицает: «В бой!» Вожди, что прорубали
Путь человечеству в пылающие дали,
Хранят печать зари на лбах; с дороги прочь
Они сметают мрак, туман, ошибки, ночь.
Завоеватели — всегда миссионеры
Луча, кем сдержан гром. Рамзес лил кровь без
меры

И — оживлял, губя; свирепый Чингисхан,
Народов грозный бич, завоеватель стран,
Был смертоносною и плодородной лавой;
Засеял Александр; удобрил гунн кровавый.
Наш мир, возвращаемый ценой скорбей и бед, —
Мир, где сиянье льет заплаканный рассвет,
Где разрушение предшествует рождению,
Где расхождение способствует сближению,
Где, мнится, бог исчез в хаосе буревом,
Он — плод усилий зла, венчавшихся добром.
Но что за мрак, и дым, и пенистые клубы!
Что за миражи в них, чудовищны и грубы!
Тот злобный тигр ужель свободу людям нес?
Злодей ли этот вождь, иль он — герой всерьез?
Загадка! Кто решит? В непостижимой смене
Зверств, добродетелей, торжеств и преступлений,
Где все обманчиво и смутно, как в бреду,
Средь стольких ужасов как высмотреть звезду?
Не потому ль тщетой казалось все когда-то
Умам, подавленным бедою и утратой?
Крушенья бурных дел, их гибель без следа,

Побоища, коварств безмерных череда,
И Тир, и Карфаген, и Рим, и Византия,
И в бездны катастроф падения людские —
Несли расцвет земле, очищенной грозой,
И, следом приходя, как град за бурей злой,
За холодом — тепло, являли, круг свой ширя,
Одну лишь истину: ничто не прочно в мире.
Пред этой истиной народы искони
Склоняли голову; от них в былые дни
Ускальзывала цель той распри бесконечной.
Флакк восклицал: «Увы, все в мире скоротечно!
Давайте же, пока в нас пламень не иссяк,
Жить и любить, глядеть, как тает горный мрак:
О, смейтесь, пойте в лад, кистями винограда
Украйте головы — и большего не надо!
Пусть перевозчик душ, безрадостный Харон,
Поведает о том, какой конец сужден
Героям и царям — их славе окрыленной!»

Прошли века, и вот — прозрели миллионы.
До понимания пыливый ум дорос,
И пятна светлые пробилась сквозь хаос.

Как это так! Война — удар, попеременно
Обвалами боев гремящий по вселенной,
Где, вздыблен яростью, идет на брата брат...
Как! Дикие толчки, которые бодрят
Народ проснувшийся, родящееся право,
Свирепый лязг мечей среди борьбы кровавой,
Над сечей клубы искр, туман пороховой,
С героем врукопашь схватившийся герой...
В сумятице резни неистовость людская...
Как! Буря всадников летящих, превращая
Полки блестящие в трусливые стада...
Как! Пушечный огонь, сносящий города,
Взлет копий, взмахи шпаг, отпор и нападенье,
Кирас эпических железное гуденье,
Победы, жрущие людей, весь этот ад...
Как! Звон клинка о шлем и залпов перекат,
Вопль умирающих за дымною завесой,
Все это — в кузнице стук молотов прогресса?
Увы!

И вместе с тем божественная высь,
Великой совести обитель, где сошлись
Мир и терпение в прозрачности без края,
Заране зная цель и средства выбирая,
Как часто из добра выводит зло! — Таков
Порядок роковой: невозмутим, суров,
Он утверждается чрез самоотрицанье.
Ведь это Коммода, вселенной в наказание,
Аврелий произвел; ведь это гнусный змей
Лойола, исподволь заворожив людей,
С согласия небес, из подвига Христова,
Непогрешимости и твердости святого,
Заветов кротости, чей свет не угасить, —
Скорбящего утешь, голодного насыть,
Другому не желай того, что не желалось
Тебе, — морали той, где все — любовь и жалость,
Из догм, воспринятых у неба и светил, —
Свою кошмарную ловушку сотворил!
Паук, которому на ткань свою предвечный
Принес сынов зари и блеск созвездий млечный!

Кто, даже устремлен к высокому всегда,
Воскликнуть сможет: «Я — нетленная звезда,
Я не грешил вовек ни явно, ни заглазно,
Стучатся попусту в окно мое соблазны!»
О, есть ли праведник, что чистотой дерзнет
Похвастать пред лицом лазоревых высот?
Кто б ни был человек — но верен он природе,
В нем страсти темные теснятся, колобродя, —
Их будит женщина, свой пояс разреша.
Порой великий ум, высокая душа
Обуреваемы влечениями плотскими,
И похотливо дух глядит, забыв о схиме,
На непристойное окно и ввечеру
Идет, горя стыдом, в слепую конуру.
«Да, эта дверь гнусна, но я вхожу однако», —
Вслух говорит Катон, Жан-Жак — чуть слышно.
Флакка

Прельщает Хлоя; льнет к Аспазии Сократ.
Марону «эвоз!» сириянки кричат.
О смертный! Раб страстей! На муки без предела
Осуждены твои живые кровь и тело;

Ведь ни один мудрец, носитель дивных сил,
Не мог сказать, что род людской он исцелил.

Зло и добро — таков в столетиях сплав печальный.
Добро — и пелены и саван погребальный.
Зло — это гроб глухой и зыбка заодно.
Всегда одно из них другим порождено.
Философы, полны надежд и опасений,
Запутываются в их непрерывной смене
И об одном всегда по-разному гласят.
Твердили мудрецы былые, что назад
Стремится человек; что он идет из света
Во мрак безвыходный, от пышного расцвета
К уничтожению. «Добро и зло», — они
Твердили. «Зло, добро», — твердим мы в наши дни.

Зло и добро — то шифр, где точный смысл нам
виден?

То догма? То покров последний ли Изи́дин?
Зло и добро — ужель в них весь закон? Закон!
Кто знает? Разве кто проникнул, отрешен
От самого себя, в ту бездну и под грудой
Дел и эпох открыл взыскуемое чудо?
К началу всех начал сумели ль мы прийти?
Видал ли кто конец подземного пути?
Видал ли кто в глаза фундамент или своды?
Сумели ль мы познать все таинства природы?
О, что такое свет? Магнитная игла?
В чем суть движения? И почему тепла
Не шлет нам лунный круг? Скажи, о ночь глухая,
Душа ль в тебе звездой горит, не потухая?
Не пестика ль душа нам запахом кадит?
Страдает ли цветок? И мыслит ли гранит?
Что есть морская зыбь? Откуда огнецветный
Столб дыма из котлов Везувия и Этны?
О Чимборасо, где могучий блок с бадьей
Над кратером твоим — плавильнею былой?
В чем сущность бытия, живущие на свете?
Что есть рождение, смерть? Их смена средь
столетий?

Вы к фактам тянетесь — но в них ли весь закон?
Отлично, поглядим. Ты бездной увлечен?

Ты рвешься к тайнам недр? Но ты постичь ли
в силах
Горячих соков труд в глухих глубинных жилах?
Ты в силах подглядеть сквозь ночь и рудный слой
Слиянье струй земных с пучиною морской?
Ты рыскать в силах ли по тайникам подземным,
Где медь, свинец и ртуть, столь ревностно, что всем
нам

Сказать бы смог: «Вот так на недоступном дне
Родится золото, и зори — в вышине», —
Скажи на совесть! Нет. Тогда будь сдержан
в скорых

Сужденьях о творце и людях; в приговорах,
Что бесконечности ты выносить привык.
Найдется ль человек, кто может напрямик
О всем — будь разум, дух, материя иль сила —
Сказать: «Я подглядел закон! Объединило
Лучи бессмертного огня здесь божество.
Прошу принять мой вклад, — да на замок его,
Иль удерет он». Кто ж укажет, посвященный,
Нам двух начал судьбу: на фабрике ль ученый,
Иль в пышном стихаре служитель алтаря?
По светлой вечности кто, славою горя,
Пройдет, как встарь Ленотр аллеями Версаля?
Кто тьму крошечную измерит в жуткой дали,
И жизнь, и смерть, — простор невиданный, где мрут
Под грудой ночей дни, знающие труд,
Где мутный луч скользит и тает, сумрак тронув,
Где уничтожились все крайности законов?

Тот сумрачный закон, которым испокон
Расцвет чрез бедствия и скорби утвержден, —
Он ложен, полон ли он правды благородной,
Он — зверь у входа в рай, иль он — мираж
бесплодный,

Но пред загадкою, как пред своей судьбой,
В недоумении, в покорности тупой,
И духом сильные склоняются порою.
Лишь только цепь вершин блеснет за тьмой глухою,
Другие скрыть спешит туманной мглы набег;
Хребты, чей мнилсЯ блеск зажегшимся навек,
Где, верилось, нет бездн, встают черны сквозь дымы

И, тая медленно, становятся незримы.
Все истины, мелькнув, чтоб нас на миг увлечь,
Мглой облакаются; косноязычна речь.
Лишенный ясности, день водит мутным оком
В неверном сумраке, бескрайном и глубоком.
Не видно маяков; и толком не понять,
Куда уводит путь, — идут вперед иль вспять?
Как тягостен подъем, как гибельны отвесы
И как бесчисленны от выступов прогресса
Подтеки на плечах у тех, чей скромный труд —
Для блага общего! Как, смотришь, там и тут
Все гибнет исподволь, — все зыбко и порочно.
Нет твердых принципов и нет победы прочной.
То здание, что, мнят, завершено трудом,
Вдруг рушится, давя всех грезивших о нем.
О, даже славный век кончается позором:
Порой проходит гул по мировым просторам,
Звереет человек, неистовством объят,
И караибам вновь их европейский брат —
Соперник в гнусности, поправшей все законы.
Являет варвара британец просвещенный,
Обрушивающий на Дели свой кулак.
Цель человечества покрыл позорный мрак.
Ночь на Дунае, ночь на Ганге и на Ниле.
На севере — гульба: там юг похоронили.
«Ликуйте! Франции — капут», — гласит Берлин.
О род людской, досель тебе закон один
Всех предпочтительней — закон вражды и злобы.
Кого евангелие теперь увлечь смогло бы?
Согласье и любовь — в изгнание, и Христа
Никто не снимет вновь с кровавого креста.

Шарль, мой любимый сын! Тебя со мною нет.

Ничто не вечно. Все изменит.

Ты расплываешься, и незакатный свет

Всю землю сумраком оденет.

Мой вечер наступал в час утра твоего.

О, как любили мы друг друга!

Да, человек творит и верит в торжество

Непрочно сделанного круга.

Да, человек живет, не мешкает в пути.

И вот у спуска рокового

Внезапно чувствует, как холодна в горсти

Щепотка пепла гробового.

Я был изгнанником. Я двадцать лет блуждал

В чужих морях, с разбитой жизнью,

Прощенья не просил и милости не ждал:

Бог отнял у меня отчизну.

И вот последнее — вы двое, сын и дочь, —

Одни сстались мне сегодня.

Все дальше я иду, все безнадежней ночь.

Бог у меня любимых отнял.

Со мною рядом шли вы оба в трудный час

По всем дорогам бесприютным,

Мать пред кончиною благословила вас,

Я воспитал в изгнание трудном.

Подобно Иову, я, наконец, отверг
Неравный спор и бесполезный.
И то, что принял я за восхождение вверх,
На деле оказалось бездной.

Осталась истина. Пускай она слепа, —
Я и слепую принимаю.
Осталась горькая, но гордая тропа —
По крайней мере хоть прямая.

Вианден, 3 июня 1871

ПОХОРОНЫ

Рокочет барабан, склоняются знамена,
И, от Бастилии до сумрачного склона
Того холма, где спят прошедшие века
Под кипарисами, шумящими слегка,
Стоит, в печальное раздумье погруженный,
Двумя шпалерами народ вооруженный.

Меж ними движутся отец и мертвый сын.
Был смел, прекрасен, бодр еще вчера один;
Другой — старик; ему стесняет грудь рыданье;
И легионы им салютуют в молчанье.

Как в нежности своей величествен народ!
О, город-солнце! Пусть захватчик у ворот,
Пусть кровь твоя сейчас течет ручьем багряным,
Ты вновь, как командор, придешь на пир
к тиранам,

И оргию царей смутит твой грозный лик.
О мой Париж, вдвойне ты кажешься велик,
Когда печаль простых людей тобою чтима.
Как радостно узнать, что сердце есть у Рима,
Что в Спарте есть душа и что над всей землей
Париж возвысился своею добротой!
Герой и праведник, народ не бранной славой —
Любовью победил.

О, город величавый,
Заколебалось все в тот день. Страна, дрожа,
Внимала жадному рычанью мятежа.

Разверзлась пред тобой зловенная могила,
Что не один народ великий поглотила,
И восхищался он, чей сын лежал в гробу,
Увидя, что опять готов ты на борьбу,
Что, обездоленный, ты счастье дал вселенной.
Старик, он был отец и сын одновременно:
Он городу был сын, а мертвецу — отец.

*

Пусть юный, доблестный и пламенный боец,
Стоящий в этот миг у гробового входа,
Всегда в себе несет бессмертный дух народа!
Его ты дал ему, народ, в прощальный час.
Пусть душа борца не позабудет нас
И, бороздя эфир свободными крылами,
Священную борьбу продолжит вместе с нами.
Кто на земле был прав, тот прав и в небесах.
Умершие, как мы, участвуют в боях
И мечут в мир свои невидимые стрелы
То ради доброго, то ради злого дела.
Мертвец — всегда меж нас. Усопший и живой
Равно идут путем, начертанным судьбой.
Могила — не конец, а только продолженье;
Смерть — не падение, а взлет и возвышенье.
Мы поднимаемся, как птица к небесам,
Туда, где новый долг приуготован нам,
Где польза и добро сольют свои усилия;
Утрачивая тень, мы обретаем крылья!
О сын мой, Франции отдай себя сполна
В пучинах той любви, что «богом» названа!
Не засыпает дух в конце пути земного,
Свой труд в иных мирах он продолжает снова,
Но делает его прекрасней во сто крат.
Мы только ставим цель, а небеса творят.
По смерти станем мы сильнее, больше, шире:
Атлеты на земле — архангелы в эфире.
Живя, мы стеснены в стенах земной тюрьмы,
Но в бесконечности растем свободно мы.
Освободив себя от плотского обличья,
Душа является во всем своем величье.

Иди, мой сын! И тьму, как факел, освети!
В могилу без границ бестрепетно взлети!
Будь Франции слугой, затем что пред тобою
Теперь раздернут мрак, нависший над строною,
Что истина идет за вечностью вослед,
Что там, где ночь для нас, тебе сияет свет.

Париж, 18 марта

МАТЬ, ЗАЩИЩАЮЩАЯ МЛАДЕНЦА

В глуби густых лесов, где филины гнездятся,
Где листья шепчутся тревожно, где таятся
В кустах опасности, — дикарка-мать вдвойне
Новорожденного лелеет, что во сне
Трепещет на груди, и прочь бежит в испуге,
Лишь только ночь зальет ветвей сплетенных дуги
И волки в темноте завоюют, чуя кровь...
О, женщины лесной свирепая любовь!

Париж! Лютеция!.. Столица мировая,
Искусством, славою и правом насыщая
Дитя небесное — Грядущее, — она
С зарей, чьи кони ржут за гранью тьмы, дружна
И ждет ее, склонясь над люлькой, с твердой верой!
Мать той реальности, что началась химерой,
Кормилица мечты священной мудрецов,
Сестра былых Афин и Рима, слыша зов
Весны смеющейся и неба, что зардело,
Она — любовь, и жизнь, и радость без предела.
Чист воздух, день лучист, в лазури облачка;
Она баюкает всесильного божка;
О, торжество! Она показывает людям,
Гордясь, мечту — тот мир, в котором жить мы
будем,
Зародыш трепетный, в ком новый род людской,
Гиганта-малыша — Грядущий День! Судьбой
Ему распахана времен дальнейших нива.
Мать, с безмятежным лбом, с улыбкою счастливой,

Глядит, не веря в зло, и взор ее — кристалл,
Где отражается и светит Идеал.
В столице этой — да! — надежда обитает;
В ней благость, в ней любовь. Но если возникает
Затмение вдруг, и мрак ввергает в дрожь людей,
И рыщут чудища у дальних рубежей,
И тварь змеистая, слюнявая, косая,
К младенцу дивному всползает, угрожая, —
То мать лютеет вмиг и, ярости полна,
Парижем бешеным становится она;
Рычит, зловещая, и, силою напряжась,
Вчера прелестная, внушает миру ужас!

Брюссель, 29 апреля 1871

О, время страшное! Среди его смятенья,
Где явью стал кошмар и былью — наважденья,
Простерта мысль моя, и шествуют по ней
Событья, громоздясь все выше и черней.
Идут, идут часы проклятой вереницей,
Диктуя мне дневник страница за страницей.
Чудовищные дни рождает Грозный Год;
Так ад плодит химер, которых бездна ждет.
Встают исчадья зла с кровавыми глазами,
И, прежде чем пропасть, железными когтями
Они мне сердце рвут; и топчут лапы их
Суровый, горестный, истерзанный мой стих.
И если б вы теперь мне в душу поглядели,
Где яростные дни и скорбные недели
Оставили следы, — подумали бы вы:
Здесь только что прошли стопою тяжкой львы.

Наступит ли конец? Закончится ль раздор?
Слепцы! Не видно вам, как черен ваш позор?
Великую страну он запятнал на годы.
Казнить кого? Париж? Париж — купель свободы?
Безумен и смешон злодейский эгот план:
Кто может покарать восставший океан?
Париж в грядущее прокладывает тропы;
Он — сердце Франции, он — светоч всей Европы.
Бойцы! К чему ведет кровавая борьба?
Вы, как слепой огонь, сжигающий хлеба,
Уничтожаете честь, разум и надежды...
Вы бьете мать свою, преступные невежды!
Опомнитесь! Пора! Ваш воинский успех
Не славит никого и унижает всех:
Ведь каждое ядро летит, — о стыд! о горе! —
Увеча Францию и Францию позоря.
Как! После сентября и февраля здесь кровь
Рабочих и крестьян, мешаясь, льется вновь!
Но кто ж тому виной? Вершится то в угоду
Какому идолу? Кто ценит кровь, как воду?
Кто приказал терзать и убивать народ?
Священник говорит: «Так хочет бог»? Он лжет!
Откуда-то на нас пахнуло ветром смрадным,
И сделался герой убийцей кровожадным!
Как отвратительно!

Но что это за стяг?
Как символ бедствия, как униженья знак,

Белее савана, чернее тьмы могильной,
Лоскут ликующий — и наглый и всеильный —
Полощется вверху над вашей головой.
То — знамя Пруссии, покров наш гробовой!
Смертельным холодом повеяло нам в лица.
О, даже торжество и славу Аустерлица
Могла бы омрачить гражданская война,
Но если был Седан, — вдвойне она гнусна!
О, мерзость! Игроки в азарте кости мечут:
Народ, отечество — для них лишь чет иль нечет!
Безумцы! Разве нет у вас других забот,
Как, ставши лагерем у крепостных ворот
И город собственный замкнув в кольцо блокады,
Сограждан подвергать всем ужасам осады?
А ты, о доблестный, несчастный мой Париж,
Ты, лев израненный, себя ты не щадишь
И раны свежие добавить хочешь к старым?
Как! Ваша родина — под вашим же ударом!
А сколько предстоит еще решить задач, —
Вы видите ль сирот, вы слышите ли плач:
К вам женщины в слезах протягивают руки;
Повсюду нищета, страдания и муки.
И что же, — ты, трибун, ты, ритор, ты, солдат, —
На раны льете вы взамен бальзама яд!

Вы пропасть вырыли у городских окраин.
Несутся крики: «Смерть!» Кому? Ответь мне,
Кани!

Кто вас привел сюда, французские полки?
Вы к сердцу Франции приставили штыки,
Вы ныне рветесь в бой, готовые к атакам;
Не вы ль еще вчера сдавались в плен пруссакам?
И нет раскаянья! Есть ненависть одна!
Но кем затеяна ужасная война?
Позор преступникам — тем, кто во имя власти
Париж и Францию бесстыдно рвут на части;
Кто пьедестал себе воздвиг из мертвых тел;
Кто раздувал пожар и с радостью смотрел,
Как в пламени войны брат убивает брата;
Кто на рабочего натравливал солдата;
Кто ненависть взрастил; кто хочет, озверев,

Блокадой и свинцом смирить народный гнев;
Кто, растоптав права, обрек страну на беды;
Кто, замышляя месть, бесславной ждет победы;
Кто в бешенстве своем на все пойти готов
И губит родину под смех ее врагов!

15 апреля 1871

К невзгодам будничным привыкнуть должен я.
Вот, например, вчера пришли убить меня.
А все из-за моих нелепейших расчетов
На право и закон! Несчастных идиотов
Толпа в глухой ночи на мой напала дом.
Деревья дрогнули, стоявшие кругом,
А люди — хоть бы что. Мы стали подниматься
Наверх с большим трудом. Как было не бояться
За Жанну? Сильный жар в тот вечер был у ней.
Четыре женщины, я, двое малышей —
Той грозной крепости мы были гарнизоном.
Никто не приходил на помощь осажденным.
Полиция была, конечно, далеко;
Бандитам — как в лесу, вольготно и легко.
Вот черепок летит, порезал руку Жанне.
«Эй, лестницу! Бревно! Живей, мы их достанем!»
В ужасном грохоте наш потерялся крик.
Два парня ринулись: они в единый миг
Притащат балку им из ближнего квартала.
Но занимался день, и это их смущало.
То затихают вдруг, то бросятся опять,
А балки во-время не удалось достать!
«Убийца!» Это — мне. «Тебя повесить надо!»
Не меньше двух часов они вели осаду.
Утихла Жанна: взял ее за ручку брат.
Как звери дикие, опять они рычат.
Я женщин утешал, молившихся от страха,
И ждал, что с кирпичом, запущенным с размаха

В мое окно, влетит «виват» хулиганья
Во славу цезаря, изгнавшего меня.
С полсотни человек под окнами моими
Куражились, мое выкрикивая имя:
«На виселицу! Смерть ему! Долой! Долой!»
Порою умолкал свирепый этот вой:
Дальнейшее они решали меж собою.
Молчанья, злобою дышавшего тупою,
Минуты краткие стремительно текли,
И пенье соловья мне слышалось вдали.

29 мая 1871

«Предписано страну покинуть господину
Гюго». И я уйду. Хотите знать причину?
А как же иначе, любезные друзья?
В ответ на возглас: «Бей!» — отмалчиваюсь я.
Когда толпа бурлит, заряженная злобой,
На вещи у меня бывает взгляд особый.
Мне огорчительны злопамятство и месть;
Я смею Броуна Писарро предпочесть;
Я беззастенчиво браню разгул кровавый.
Порядок в той стране, где властвуют оравы
Убийц, где топчут в грязь, где каждый зол, как пес,
По-моему, скорей походит на хаос.
Да, мне как зрителю нисколько не по нраву
Турнир, где мрачную оспаривают славу
Ригу у Винуа, и у Сиссе — Дюваль.
Любых преступников, — то знать ли, голытьба ль, —
Обычай мой — валить в одну и ту же яму
Да, преступления я не прощу ни «хаму»,
Ни принцу, кто живет в почете отродясь.
Но если б выбирать пришлось, то я бы грязь,
Наверно, предпочел роскошной позолоте.
Винить невежество! Да что с него возьмете?
Я смею утверждать, что чем нужда лютей,
Тем злоба яростней и что нельзя людей
Ввергать в отчаянье; что если впрямь, как воду,
Льют кровь дикгаторы, то люди из народа
Ответственны за то не больше, чем песок
За ветер, что его мчит вдоль и поперек.

Они взвиваются, сгустясь в самом железный,
И жгут огнем, крушат, став атомами бездны.
Назрел переворот — и зверству нет помех,
Стал ветер деспотом. В трагичных схватках тех
Уж если нужно бить, заботясь о престиже,
То бейте по верхам, минуя тех, кто ниже.
Пусть был Риго шакал, к чему ж гиеной слыть?
Как! Целый пригород в Кайенну заточить!
Всех сбившихся с пути — в оковы, без изъятия?
Претит мне Иль-о-Пен, Мазà я шлю проклятья!
Пусть грязен Серизье и хищен Жоаннар,
Но представляете ль, какой тоски угар
В душе у блузника, кто без тепла, без крова,
Кто видит бледного и, как червяк, нагого
Младенца своего; кто борется, ведом
Надеждой лучших дней; кто знает лишь о том,
Что тяжко угнетен, и верит непрестанно,
Что, разгромив дворец, низвергнет в прах тирана?
И безработицу и горе он терпел —
Ведь есть же, наконец, терпению предел!

Я слышу: «Бей! Руби!» — терзаясь и бледнея;
Мне совесть говорит, что гнусного гнуснее
Расправа без суда. Да, я дивлюсь тому,
Как могут в наши дни схватить людей в дому,
Что близ пожарища, их обвинить в поджоге,
И наспех расстрелять, и, оттащив к дороге,
Известкою залить — и мертвых и живых!
Я пячусь в ужасе от ямин роковых,
От ямин стонущих: я знаю — там, единой
Судьбой сведенные, заваленные глиной,
Пробитые свинцом, увы, и стар и мал,
Невиноватые с виновными вповал.
На ледяной засов я б запер эти ямы,
Чтоб детский хрип избыть, тяжелый и упрямый!
От смертных голосов утратил я покой;
Я слышать не могу, как под моей ногой
Тела шевелятся; я не привык на плитах
Топтать истошный крик и стоны недобитых.
Вот почему, друзья, изгнанник-нелюдим,
Всем, всем, кто побежден, отвергнут и травим,
Готов я дать приют. Причудлив до того я,

Что увидеть хочу неистовство людское
Утихомирным без грозных кулаков.
Я широко раскрыть наавтра дверь готов
И победителям, в черед свой побежденным.
Я с Гракхом всей душой, но я и с Цицероном.
Достаточно руки, заломленной в мольбе,
Чтоб жалость и печаль я ощутил в себе.
Я сильных к милости дерзаю звать открыто —
И потому, друзья, опаснее бандита.

Вон это чудище! Пускай исчезнет с глаз!
Подумайте! Пришлец, заняв жилье у нас
И подати платя, как гражданин достойный,
Посмел надеяться, что будет спать спокойно!
Но если не убрать уroda, то страна —
В большой опасности! Ей гибель суждена!

За дверь разбойника, без лишнего раздумья!
О, ведь предательство — взывать к благоразумью,
Когда безумны все. Я — изверг, вот каков!
Ягненка вырвать я способен из клыков
Волчицы. Как! В народ я верю по сегодня,
И в право на приют, и в милости господни!
Священство — в ужасе, дрожит сенат, смущен...
Как! Горла никому не перерезал он?

Как! Он не в силах мстить, в нем сердце —
не шакалье;

Отнюдь ни злобы нет, ни ярости в каналье!
Да, обвинения те к истине близки, —
Хотел бы я в хлебах полоть лишь сорняки;
Мне ясный луч милей, чем молния из тучи;
По мне — кровавых ран не лечат желчью жгучей;
И справедливости нет выше для меня,
Чем братство. Чужды мне раздоры и грызня.
Доволен я, когда не рушат в прах, а строят.
По мне — открытое мягкосердечье стоит
Всех добродетелей. И жалость в бездне мук,
Служанка страждущих, мне — госпожа и друг.
Чтоб оправдать, стремлюсь понять я, не лукавя.
Мне нужно, чтоб допрос предшествовал расправе.
Взвод и огонь в упор, чтоб водворить покой,
Мне дики. Убивать ребенка — смысл какой?

Пусть был бы школьником, пусть жил бы!

И мгновенно

Бросает клику в дрожь от речи откровенной:

«И, в довершение всех ужасов, скоты
Заговорили». Там не терпят прямоты.

«Субъекта» прозвище дано моей особе.

Вот новый факт. К моим трясущимся в ознобе
Стенам однажды в ночь, под исступленный рев,

Прихлынула толпа каких-то молодцов,

И вопли женщин трех и двух младенцев стоны

Под камнем ожили. — Ну, кто ж злодей

прожженный?

Я! Я!

Через день гудел в перчатках белых сброд
Злорадно у моих разметанных ворот:

«О, мало этого! Пусть тотчас дом с землею

Сровняют, пусть сожгут, чтоб наваждение злое

Избыть!» Он прав, тот сброд. Кто убивать не звал,

Достоин смерти. Так. Согласен. Стар и мал

Пускай облавою идет на негодя!

Я — искра, что пожрет, в Брюсселе пребывая,

Париж; и раз мой дом сровнять хотят с землей,

То ясно: Лувр сожжен не кем иным, как мной.

Так слава Галифе, почтение Муравьеву!

Я изгнан поделом — и льну к чужому крову!

О, красота зари! Могущество звезды!

Что ваша ярость мне, поборники вражды, —

Иорк с Ланкастером, Монтекки с Капулетти, —

Когда бездонный свод — повсюду на примете!

Душа, с тобой нам есть где угол обрести.

Да, мы, опальные, у солнца не в чести.

Куда ни повернись, повсюду деспот дикий

С двояким профилем — лакея и владыки.

Но чист восход, глубок и волен оком;

В спасительную высь, не мешкая, уйдем!

О, величавый свод! Мечтатель бледнолицый

Спешит в твой девственный румянец погрузиться,

Уйти под сень твою, святую испокон.

Бог создал пир — людьми в разгул он превращен.

Претит мыслителю веселие тиранов.
Творца спокойного он видит, в бездны глянув,
И, бледен, изможден, но истину любя,
Желанным глубине предчувствует себя.
С ним совесть верная — тот компас, чьим магнитом —
Стремленья высшие: им на пути открытом
Не противостоят ни межи, ни столбы.
Идет он. Перед ним чудовище судьбы
Раскидывает сеть, где в гибельном сплетенье
Вражда и ненависть до умоисступленья.
Что значит гнусный сброд, где каждый — как

вампир,

Коль благосклонна высь к теряющему мир,
Коль дан ему приют в глубинах небосвода,
Коль может он — о, свет! о, радость! о, свобода! —
Поправ зловещий рок, бежать, людьми травим,
В пределы дальних сфер, к созвездьям огненным!

Концерт кошачий был за кротость мне наградой.
 Призыв: «Казнить его!» — звучал мне серенадой.
 Поповские листки подняли страшный гам:
 «Он просит милости к поверженным врагам!
 Вот наглость! Честными он нас считал, презренный!»

Раз барин в ярости — лакей исходит пеной.

Пономари в бреду, и ктитеры в огне.
 Кадилом выбито стекло в моем окне;
 Со всех кропил летит в меня вода святая,
 Дождем булыжников мне крышу обдавая;
 Они убьют меня, чтоб изгнан был мой бес!
 Пока же изгнан я — по благости небес.
 «Прочь!» — все булыжники гремят, скрипят все перья.
 От этой музыки чуть не оглох теперь я;
 Над головой моей весь день набат гудит:
 «Убийца! Сжег Париж! Бандит! Злодей! Бандит!»
 Но остается всяк руке судьбы покорен:
 Они — белы как грач, я — точно лебедь черен.

3 июля

Нет у меня дворца, епископского сана,
 Доходов и пребэнд, растущих неустанно;
 Мне трона никакой не выставит собор;
 Привратник в орденах мой не возглавит двор;
 Чтоб пыль пускать в глаза порой простолюдинам,
 Не появляюсь я под пышным балдахином.
 Мне Франции народ — пусть в унижение он —
 Великим кажется, я чту его закон.
 Я ненавижу всех, кто рот заткнул народу,
 За деньги никогда не стану я приходу
 Показывать Христа, что написал Ван-Дик,
 Не нужен мне ключарь, причетник, духовник,
 Церковный староста, звонарь или викарий;
 Не ставлю статуй я Петру, святой Варваре;
 Не прячу я костей в ковчеге золотом;
 Нет у меня одежд, расшитых серебром;
 Привык молитвы я читать без всякой платы;
 Я не в ладах с двором, и я вдовы богатой,
 Бросающей гроши на блюдо у церквей,
 Ни митрой не дивлю, ни ризою своей.
 Я дамам не даю руки для поцелуя,
 Я небо чту, и я живу, им не торгуя;
 Нет, я не монсиньор, я вольный человек;
 Лиловых я чулок не нашивал вовек.
 Блуждаю лишь тогда, когда путей не вижу,
 И лицемерие глубоко ненавижу.
 Нет лжи в моих словах. Душа моя чиста.
 Сократа в узах чту не меньше, чем Христа.

Когда на беглеца натравливают стаю, —
Пусть он мне лютый враг, я все ж его спасаю;
Над дон Базилио презрительно смеюсь;
Последним я куском с ребенком поделюсь;
Всегда за правду в бой я шел без колебання
И заслужил себе лишь двадцать лет изгнания;
Но завтра же готов все сызнова начать.
Мне совесть говорит: «Иди, борись опять!» —
И повинуюсь я. Пусть сыплются проклятья, —
Я выполню свой долг. Вот почему мне, братья,
Епископ Гентский сам в газете говорит:
«Так может поступать безумец иль бандит».

Брюссель, 31 мая

Я, сотворив добро, наказан. Так и надо.
О вы, которая в ужасный год осады,
В год испытания великого, сильны,
Прелестны, доблестны, средь ужасов войны
Умели помогать невзгодам и недугам,
Жена мыслителя, который был мне другом,
Умевшая всегда, везде, во всем помочь,
Бороться и терпеть, с улыбкой глядя в ночь, —
Смотрите, что со мной случилось! Сущий, право,
Пустяк: в родной Париж вернулся я со славой,
И вот уже меня с проклятьем гонят вон.
Все менее, чем в год. Афины, Рим, Сион
Так тоже делали. Итак, Париж не первый.
Но вряд ли города на свете есть, чьи нервы
Так взвинчены. Ну что ж, таков судьбы закон:
Коль Капулетти чтим, Монтекки возмущен
И, властный, тотчас же воспользуется властью.
Разбойник, значит, я, да и дурак, к несчастью.
Так оскорбление почету вслед идет;
Так, чтоб низвергнуть вниз, вознес меня народ.
Но славой я сочту как то, так и другое,
А вы, сударыня, вы, с вашей добротой,
И вы, изгнанники, чей дух несокрушим,
Я знаю, верю я, что нравлюсь вам таким:
Я защищал народ, громил попов и честью
Сочту проклятие, что с Гарибальди вместе,
С Барбесом я делю. И вам милей герой,
Побитый камнями, чем признанный толпой.

Вианден, июнь 1871

«Ведь это ты поджег Библиотеку?» —

«Да.

Я подложил огня». —

«Что думал ты тогда?

Злодейство совершил ты над самим собою!
Ты в собственной душе свет затоптал ногою!
Свой факел собственный безумно ты задул!
Все то, что темный гнев испепелить дерзнул, —
Твое сокровище, твой клад, твоё наследство!
Ведь книга, враг царей, — твоей защиты средство,
Ведь книга для тебя держала речь всегда.
Библиотека ведь — акт веры: в ней года,
В ней поколения, утопленные в горе,
Свидетельствуют мгле о том, что будут зори!
Как! В это строгое святилище ума,
Где блещут молнии, где поникает тьма;
В гробницу всех времен, что летописью стала;
В века истории, где мудрость заблистала,
Где робко учатся грядущие года;
Во все, что двинулось, чтоб двигаться всегда,
В поэтов, в библию, в творения гигантов,
В тот род божественный — в толпу Эсхилов, Кантов,
Гомеров, Иовов, встающих над землей,
В Мольеров и Руссо, в храм мысли мировой, —
Несчастный, ты метнул горящее полено!
Ты в пепел превратил все то, что драгоценно!
Ужель ты позабыл, что избавитель твой
Есть книга? Книга — там, парит над высотой;

Сверкает; и куда прольет свой свет спокойный —
Там гибнут голод, скорбь, и эшафот, и войны!
Где говорит она — там больше нет рабов.
Открой ее. Платон. Беккария. Умов
Блестящих строй. Читай Шекспира или Данта —
И зазвучит в тебе дыхание их таланта,
И ты почувствуешь себя подобным им;
Ты станешь вдумчивым, и нежным, и живым;
Они в твой бедный дух вдохнут свой дух огромный;
Они сверкнут в тебе, как солнце в келье темной;
Чем глубже яркий луч проникнет в сумрак твой,
Тем шире обоймет тебя святой покой;
Ты станешь лучше весь; огнем ума одеты,
Растают, точно снег, в тебе авторитеты,
И зло, и короли, и ненависть твоя,
И суеверия — весь ужас бытия.
Ведь первым знание в дух человека входит,
Свобода — вслед за ним. Они тебя уводят
От бездн, от сумраков. И ты сразил их, — ты!
Ведь книгою твои угаданы мечты.
Ведь с книгою в твой ум вступает мощный гений,
Срывая с истины оковы заблуждений:
Как узел гордиев, рассудок спутан наш.
Ведь книга — спутник твой, твой врач, твой верный
страж.
Она разит в тебе безумства, страхи, боли.
Вот что ты потерял — увы! — своею волей!
Она — сокровище, врученное тебе,
Ум, право, истина, оружие в борьбе.
Прогресс! Она — буссоль в твоём стремленье к раю!
И это сжег ты сам!» —
«Я грамоте не знаю».

Вианден, 25 июня 1871

Вот пленницу ведут. Она в крови. Она
 Едва скрывает боль. И как она бледна!
 Ей шлют проклятья вслед. Она, как на закланье,
 Идет сквозь ненависть дорогою страданья.
 Что сделала она? Спросите крики, тьму
 И яростный Париж, задохшийся в дыму.
 Но кто она? Как знать... Ее уста так немы!
 Что для людей — вина, то для ума — проблема.
 Мученья голода? Соблазн? Советчик злой,
 Внушивший ей любовь и сделавший рабой? —
 Достаточно, чтоб пасть душе простой и темной...
 Без умолку твердят — и случай вероломный,
 И загнанный инстинкт, влечений темных ад,
 Отчаянье души, толкнувшее в разврат, —
 Все то, что вызвано жестокою войною
 В столице, где народ задавлен нищетою:
 «Одни имеют все, а у тебя что есть?
 Лохмотья на плечах! Тебе ведь надо есть!» —
 Вот корень страшный зла. Кто хлеба даст
 несчастным?

Не много надобно, чтоб стал бедняк «опасным»!
 И вот сквозь гнев толпы итти ей довелось.
 Когда ликует месть, когда бушует злость,
 Что окружает нас? Победы злоба волчья,
 Ликующий Версаль. Она проходит молча.
 Смеются встречные. Бегут мальчишки вслед.
 И всюду ненависть, как тьма, что гасит свет.
 Молчанье горькое ей плотно сжало губы;

Ее уж оскорбить не может окрик грубый;
Уж нет ей радости и в солнечных лучах;
В ее глазах горит какой-то дикий страх.
А дамы из аллей зеленых, полных света,
С цветами в волосах, в весенних туалетах,
Повиснув на руках любовников своих,
Блестя камнями колечек дорогих,
Кричат язвительно: «Попалась?.. Будет хуже!» —
И пестрым зонтиком с отделкою из кружев,
Прелестны и свежи, с улыбкой палачей,
В злорадной ярости терзают рану ей.
О, как мне жаль ее! Как мерзки мне их лица!
Так нам отвратны псы над загнанной волчицей!

6 июня

Рассказ той женщины был краток: «Я бежала,
 Но дочь заплакала, и крепче я прижала
 Ее к груди: боюсь — услышат детский крик.
 У восьмимесячной и голос не велик,
 И силы, кажется, не больше, чем у мухи...
 Я поцелую рот закрыла ей. Но в муке
 Хрипела девочка, царапала, рвала
 Мне грудь ручонками, а грудь пуста была.
 Всю ночь мы мучились. Ей стало тяжелее.
 Мы сели у ворот, потом ушли в аллею.
 А в городе — войска, стрельба, куда ни глянь.
 Смерть мужа моего искала. В эту рань
 Притихла девочка. Потом совсем охрипла.
 И занялась заря, и, сударь, все погибло.
 Я лобик тронула — он холоден как лед.
 Мне стало все равно, — пускай хоть враг убьет, -
 И выбежала вон из парка как шальная.
 Бегу из города, куда — сама не знаю.
 Вокруг прохожие... И на поле пустом,
 У бедного плетня, под молодым кустом,
 Могилу вырыла и схоронила дочку,
 Чтоб хорошо спалось в могиле ангелочку.
 Кто выкормил дитя, тот и земле предал».

Стоявший рядом муж внезапно зарыдал.

За баррикадами, на улице пустой,
 Омытой кровью жертв, и грешной и святой,
 Был схвачен мальчуган одиннадцатилетний.
 «Ты тоже коммунар?» — «Да, сударь, не последний!» —
 «Что ж! — капитан решил. — Конец для всех —
 расстрел.

Жди, очередь дойдет!» И мальчуган смотрел
 На вспышки выстрелов, на смерть борцов и братьев.
 Внезапно он сказал, отваги не утратив:
 «Позвольте матери часы мне отнести!» —
 «Сбежишь?» — «Нет, возвращусь!» — «Ага, как
 ни верти,
 Ты трусил, сорванец! Где дом твой?» — «У фонтана».
 И возвратиться он поклялся капитану.
 «Ну живо, чорт с тобой! Уловка не тонка!» —
 Расхохотался взвод над бегством паренька.
 С хрипением гибнущих смешался смех победный.
 Но смех умолк, когда внезапно мальчик бледный
 Предстал им, гордости суровой не тая,
 Сам подошел к стене и крикнул: «Вот и я!»

И устыдилась смерть, и был отпущен пленный.

Дитя! Пусть ураган, бушуя во вселенной,
 Смешал добро со злом, с героем подлеца, —
 Что двинуло тебя сражаться до конца?
 Невинная душа была душой прекрасной.
 Два шага сделал ты над бездною ужасной:

Шаг к матери один и на расстрел — второй.
Был взрослый посрамлен, а мальчик был герой.
К ответственности звать тебя никто не вправе.
Но утренним лучам, ребяческой забаве,
Всей жизни будущей, свободе и весне —
Ты предпочел прийти к друзьям и встать к стене.
И слава вечная тебя поцеловала.
В античной Греции поклонники, бывало,
На меди резали героев имена,
И прославляли их земные племена.
Парижский сорванец, и ты из той породы!
И там, где синие под солнцем блещут воды,
Ты мог бы отдохнуть у каменных вершин.
И дева юная, свой опустив кувшин
И мощных буйволов забыв у водопоя,
Смущенно издали следила б за тобою.

Вианден, 27 июня

РАССТРЕЛЯННЫЕ

Во вкусе Тацита и мерзость для Гомера,
Подобная «война» полна убийств без меры.
В ней победивший — зверь. Я слышу здесь и там
Крик: «С недовольными пора покончить нам!»
Сегодня расстрелять спешит Филинт Альцеста.

Да! Всюду — только смерть. И жалобам нет места.
Колосья, что в полях до жатвы пасть должны, —
Народ!..

Его ведут к подножию стены.

Тому, кто целится, средь пепла и пожарищ
Так пленный говорит: «Ну, что ж? Прощай,
товарищ!»

И женщина: «Мой муж убит — с ним жизнь моя.
Он прав иль виноват — не знаю. Знаю я,
Что с ним все пополам в несчастье мы делили.
Мы общей связаны судьбой. Его убили, —
Пускай умру и я. Одна, в тоске своей,
Зачем я буду жить? Стреляйте же скорей!»
И трупы множатся на каждом перекрестке...
Вот двадцать девушек ведут. То всё подростки.
Они поют; у них невинный, гордый вид.
Толпа в смятении. Прохожий говорит,
Дрожа от ужаса: «Куда вас? В чем здесь дело?»
И слышит он в ответ: «Уводят для расстрела».
Все время катится в казармах мрачный гром;
Что ни раскат, то смерть — все чаще, день за днем;
И трупы всё растут. Но не слышать рыданий —

Как будто людям смерть уже мила заране,
Как будто, навсегда покинуть мир спеша, —
Ужасный этот мир! — ликует их душа.
Их шаг так тверд, хоть всем стать у стены придется.
Вот внук и рядом дед. Старик еще смеется,
Дитя с улыбкою кричит: «Огонь, друзья!»

В презренье, в смехе их так много слышу я.
О, пропасть страшная! О, мудрецу загадка!
Им жизнь не дорога. Не так уж, значит, сладко
Жилось тому, кто шел спокойно умирать!
И это в майский день, когда легко дышать,
А людям суждено любить, лить счастья слезы!
Всем этим девушкам срывать бы надо розы,
Ребенку — тешиться веселою игрой,
И таять — старости, как тает снег весной!
Должны бы полниться их души, как кошницы,
Дыханием цветов, жужжаньем пчел; и птицы
Должны б им песни петь в чудесный день весны,
Когда сердца любви дыханием полны.
В прекрасный этот май, пронизанный лучами,
Террор, ты — смерть сама, вдруг вставшая над нами,
Слепец, на чьем челе — жестокости печать.
О, как бы надо им, дрожа в тоске, кричать,
Рыдать, на помощь звать Париж для дел отмщенья,
Всю Францию, всех тех, кто полон отвращенья
К жестокости врагов, к убийствам впопыхах!
Как надо было бы в отчаянье, в слезах
Им умолять штыки, и пушки, и снаряды,
Цепляться за стены, просить себе пощады,
Искать в толпе того, кто б смерть остановил,
И в ужасе бежать от этих рвов-могил,
Крича: «Нас гибель ждет! На помощь! Где же
жалость?»

Но нет! Они чужды всему, что с ними случилось,
И все идут на смерть, с презреньем, может быть, —
Она уж их ничем не может удивить.
Им помышлять о ней уже привычно было,
И вырыта давно у них в душе могила.
«Приди же, смерть, скорей!»

Им тяжело жить средь нас.
Идут. И чем помочь мы можем им сейчас?

И мы обличены. Что ж мы такое сами,
Раз с легкостью такой они расстались с нами,
Совсем не жалуясь, не плача ни о чем?
Нам надо плакать, нам! Им страх был незнаком.
Что наша жалость им? Какое заблужденье!
Чем помогли мы им, чтоб отвратить мученье?
Спасли ли женщин мы? И на груди своей
Сумели ли укрыть от ужаса детей?
Нашли ль работу им? Читать их научили?
Невежество ведет к безумью, к черной силе.
Заботу и любовь несчастным дали мы?
Могли ли их спасти от голода и тьмы?
Вот почему пылал пожар в дворцовом зале.
Я говорю за тех, кого вы расстреляли!
Свободен я и чужд всех ваших благ земли,
И мне ребенка жизнь дороже Тюильри.
Они сейчас страшны для вас и умирая —
Тем, что уж слез не льют, что их душа живая
Смеется вам в лицо, что с гордостью она
Сама идет на смерть, презренья к вам полна.
Размыслим же! У тех, кто пал под вашей властью,
Отчаянья уж нет, — жить не пришлось им в счастье.
У всех своя судьба. Пускай живет народ
В довольстве, — а не то и вверх гроза пойдет!
Научим жизнь любить того, кто знал лишь стоны.
Вот равновесие! Порядок неуклонный,
Характер мирный, честь, и гордость, и закон —
Все есть у бедняка, когда доволен он.
Ночь — тайна. Ключ же к ней дает нам звезд сиянье.
Проникнем в души! Их раскроет нам страданье.
И сфинкс под маскою нам явит облик свой;
В нем справа только ночь, а слева — свет дневной.
Загадка темная окно нам приоткрыла:
В нем грозных бед видна бушующая сила.
Подумаем о тех, кто встретит смерть сейчас.
Попробуем понять! Да, общество у нас
Не может мирно жить, пока есть эти тени,
И смех ужасный их — одно из проявлений
Того, что вас страшит, и вы должны дрожать
Пред тем, кто так легко уходит умирать!

Вианден, 20 июня

ТЕМ, КОГО ПОПИРАЮТ

Я с вами! Мне дано то сумрачное счастье.
Все угнетенные и попранные властью
Влекут меня. Как брат, тех защищаю я,
Кого в дни их торжеств разила мысль моя.
Там, где для всех лишь тьма, могу я видеть ясно,
Забыть угрозы их, забыть их гнев ужасный,
Их ненависть, какой бывал я заклеимен.
Мне враг уже не враг, когда несчастен он.
Ведь то народ, — пред ним в долгу мы неоплатном, —
Народ, что перестал быть смиренным и приятным,
Союз несчастных жен, мужей, детей, отцов!
Их труд, права и скорбь я защищать готов.
Я защищаю тех, кто слаб, кто заблуждался,
Кто без защиты в тьме, гнетущей их, остался
И впал в безумие в трагические дни, —
По темноте своей жестоки так они.
Увы! Мне повторять вам, сытым, надоело,
Что опекать народ — прямое ваше дело,
Что беднякам Париж отдать бы долю мог,
Что в вашей слепоте — их слепоты залог.
Скупыми были вы для них опекунами,
И в них нашли то зло, что вырастили сами.
Взяв за руку, вы их не вывели из тьмы,
И правого пути не знают их умы.
Вы в лабиринте их оставили скитаться,
Для вас в них ужас, но и вас они боятся.
Они, кому от вас давно участия нет,
Блуждают, а душе, как пища, нужен свет.
Все чувства добрые заглушены в них тьмою.
Как проблеск им найти за пеленой густою
И мрачной, словно лес под пологом ветвей?

Где свет? Уж нету сил, а ночь еще темней.
Как может мыслить тот, чья жизнь — одно мученье?
Кружась в одном кругу, дойдешь до отупенья.
За колесом нужды мрачнеет Иксион.
Вот почему хочу, отринув ваш закон,
Я требовать для всех жилища, хлеба, света...

Не черный вандемьер, в дым пушечный одетый,
Не ядра летние, не бомбы майских дней
Погасят ненависть, излечат боль скорбей.
Чтоб разрешить вопрос, помочь родному краю,
К народу я иду. С любви я начинаю.
И все наладится.

Я с вами потому,
Что добрым быть хочу наперекор всему.
Я говорю: нет! нет! Довольно наказаний!
Ты, сердце старое мое, дрожишь заране
При виде слез скупых, отчаянья мужей,
Убитых скорбью жен и плачущих детей.

Когда в беременных вонзают штык солдаты,
И руки из земли видны во рвах проклятых,
И в плен захваченных подводят к тем же рвам,
Не надо говорить: «Я изгнан, жертва сам.
Что наши горести пред бездной их мучений?
Они прошли весь ад и мук и оскорблений,
Они развеяны по ветру, чтобы прах,
Как в черной пропасти, рассеялся впотьмах.
Где? Разве знает кто? Они к нам тянут руки;
Но уж встают из тьмы понтоны — область муки —
С их трюмом сумрачным, где огражден больно
От бездны лишь бортов дрожащею стеной.
Не встанешь во весь рост. Качает в океане.
Руками надо есть из общей всем лохани,
Гнилую воду пить, стирая жаркий пот,
Пока волна тюрьму пловучую чesет,
А море бьет в борта, и в трюме всё мрачнее
Орудия свои вытягивают шеи.
Мне этот мрачный ад уже давно знаком.
Никто не хочет зла, — а столько зла кругом!

О, сколько душ сейчас дрожат в тисках угрозы
На море стонущем, под небом, льющим слезы,

Перед неведомым, пред страшной крутизной!
Быть брошенным сюда с тревогою, с тоской,
Песчинкой быть в толпе, от ужаса дрожащей,
В тумане и грозе, средь пустоты мертвящей,
Средь всех и одному, без помощи, без сил,
С сознанием, что любовь жестокий рок разбил.
Где я? Поблекло все, пришло в оцепененье.
Все распадается, везде опустошенье.
Земля уходит, с ней из глаз и мир исчез.
И превращается вдруг вечность в дикий лес.
Из боли, праха я. Во всем непостоянство.
Нет дела никому здесь до меня. Пространство —
И бездна! Где же те, с кем я делил покой?
Как страшно чувствовать себя во тьме ночной!
Для самого себя я стал лишь сном напрасным.
Невинных столько душ под бременем ужасным
Обмана гнусного и кары без конца!
«Как! — говорят они. — То небо, что сердца
Нам грело, отнято? Отчизны нет нам боле?
Верните мне мой дом, мое хозяйство, поле,
Жену мою, детей! Верните радость дня!
Что сделал я, чтоб так вам отшвырнуть меня
В жестокий вой стихий и моря пену злую?
Кто прав меня лишил на Францию родную?»

Как, победители! Не смея заглянуть
В провалы общества, во тьму, что душит грудь,
Не изучив до дна то зло, где зреют беды,
Не пробуя найти рычаг для Архимеда,
Ключ, что открыть нам путь в грядущее готов,
Как! — после всех боев и тягостных трудов,
Порывов мужества, усилий непреклонных, —
Вы видите одно решение — понтоны,
И, братья старшие, страны ведущий ум,
Несчастных узников швырнули в душный трюм?
Приказано изгнать навек — кого же? Тайну!
Загадку закрепить декрет дан чрезвычайный.
Стал на колени сфинкс, смущавший вам умы?
Какие ж старики, какие дети мы!
То бред, правители! Во имя государства,
Чтобы найти от бед и катастроф лекарство,

Чтоб нищету избыть, узлы все развязать,
Вопросы разрешить — их надобно изгнать?
И, возвратясь к себе, кричать: «Ведь мы министры!
Порядок водворен». А где-то мечет искры
Из туч, нависнувших над морем, небосвод,
И средь угрюмых волн Смерть — рулевой — ведет
Под адскою зарей не бриг, несущий грузы,
А полный трупами разбитый плот «Медузы».
Как! Страхи кончены, беда отвращена,
Раз тех, кто побежден, уносит прочь волна?
Как! Пропасть им открыть для долгого мученья,
Виновных, правых в ад столкнуть без сожаленья,
Добро и зло смешать и погрузить во тьму,
В разверстый океан, сказав: «Конец всему»?
Быть черствыми людьми, чей суд немилосердный —
Несправедливый суд — работать рад усердно
Вплоть до того, что всех сразил бы грозный меч!
Чтоб члены исцелить, ужель их все отсечь?
Как! Выхода искать в пучине волн суровых
И, позабыв о том, что вы — страны основа,
Низвергнуть в бездну все: и мысли, и дела,
И грусть, которая нам душу облегла,
И правду, и людей с отважными сердцами,
Жен, выходявших в бой за братьями, мужьями,
Детей, сносивших к ним каменья мостовой!
Как! Знак давать ветрам, ища лишь в них покой,
И бросить все, что мир нам делает несчастным,
На дикий произвол метельщикам ужасным?

Что вам могу сказать? Неправы вы стократ!
Я слышу стоны жертв, их скорбный вижу взгляд,
Морскую бездну, страх, кровь, митральезы, ямы —
И я проклятье вам в лицо бросаю прямо.
О боже, неужель мы только к злу идем?
К чему же призывать и молнии и гром
На нищих и слепых, на все их заблужденья?
Охвачен страхом я.

Ведь эта жажда мщенья
Отплаты ярость вам в грядущем принесет!
Работать лишь для зла и видеть в нем оплот,
Кончать, чтоб завтра же отметить вновь начало,

По-вашему, умно? Вас глупость обуяла!
Прилив. Отлив. Увы, страданье, месть — одно.
Гнетомым угнетать в грядущем суждено.

Ужели, виноват невинностью, я снова
Укрыться принужден в изгнании сурово
И одиночеству обречь себя опять?
Ужели надо мной дню больше не сиять,
Когда рассвета луч на небе показался?
Единый друг теперь вам, бедняки, остался,
Единый голос мой — чтоб там, где ждет судья,
За вас свидетелями стали Ночь и я.
Нет права. Нет надежд. Но разве в мире целом
Уж нету никого, кто б мог в порыве смелом
Протестовать, сказать, кто вверг вас в тьму и ад?
Я в этот грозный год товарищ ваш и брат;
Хочу — а для меня немало это значит —
Быть тем, кто никогда не делал зла и плачет.
Я всем поверженным и угнетенным друг,
И сам хочу войти я с вами в адский круг.
Вас предали вожди. Истории скажу я
Об этом. Я не там, где зло царит, ликуя,
Я с тем, кто пал в борьбе. Я, одинок, суров,
Не знамя — саван ваш поднять за вас готов.
Могилой я раскрыт.

Пусть ныне вой протяжный
Оплаченной хулы и клеветы продажной,
Сарказмов бешеных, лжи свыше всяких мер,
Той, что от Мопертюи уже терпел Вольтер,
Кулак, что некогда изгнал Руссо из Бьенна,
И крик, которому дивилась бы гиена,
Гнусней, чем свист бича, чем каркал изувер,
Когда к могиле путь свой совершил Мольер,
Ирония глупцов, стон злобы неизменной,
Смесь бешеной слюны и ядовитой пены,
Которой плюнули в лицо Христа, и тот
Булыжник, что всегда изгнанника добьет, —
Ожесточайтесь же! Привет вам, оскорбления!
Пристали вам и брань, и злоба, и глумленья.
А вставшим за народ венка прекрасней нет,
Что славою сплетён из ваших же клевет!

Вианден, июнь 1871

У нас действительно было преувеличенное понятие о силе, возможностях, значении национальной гвардии... Бог мой, вы все видели кепи господина Виктора Гюго, способное дать настоящее о ней представление.

(Генерал Трошо в Национальном собрании 14 июля 1871 г.)

Ты, генерал «Прошу!», благочестивый, строгий,
 Чьим добродетелям бесчисленным — в итоге —
 Грош ломаный цена; испытанный солдат,
 Хоть слишком отступать спешащий, говорят;
 Храбрец из храбрецов с христианином в смеси,
 Готовый услужить отечеству и мессе, —
 Как видишь, должное тебе я воздаю.
 Но нынче, изощрив тупую речь свою,
 Стремглав ты на меня напал, как на пруссака!
 Осадною зимой, средь холода и мрака,
 Я был лишь стариком, кто, стоя в стороне,
 Лишения делил со всеми наравне;
 Я в меру сил своих старался быть полезным
 Фортам, что злобный враг разил дождем железным;
 Но не был все-таки я горе-генерал, —
 Я города врагу на милость не сдавал!
 Глянь, лавр в руках твоих становится крапивой.
 Ты, что же, нас решил сбить вылазкой ретивой?
 Считали, не охоч ты ввязываться в бой, —
 Видать, ошиблись: вздут изрядно я тобой.

Ты Марну не дерзал оставить за собою,
А на меня идешь атакой лобовою!
Чем досадил тебе мой головной убор,
Что сделал четкам он твоим наперекор?

Как! Недоволен ты? Пять месяцев сносили
Мы голод, холод, страх, — был каждый полн усилий
Предельных и тебя ни в чем не укорял.
Воображай, что ты — великий генерал!
Не стану возражать. Но если надо войско
Вести в поход иль в бой за славою геройской,
Я барабанщика простого предпочту.
Манина вспоминай и о Дезе мечту
Лелей — и пыл умерь. Париж был агонии
Ужасной обречен, затем что в дни крутые
Не мужество, а честь утратил ты сполна,
И о тебе сказать история должна:
«Он Францию лишил свободного размаха,
И трижды гордый край, вовек не знавший краха,
Тот край, что на ноги поставил Гамбетта, —
По милости Трошю, постигла хромота».

Вианден, июнь 1871

СУД НАД РЕВОЛЮЦИЕЙ

Вершат суровый суд прислужники Фемиды
Над революцией; неслыханны обиды,
Что нанесла она в свирепости своей
Сычам и вóронам. Служители церквей —
Факиры, дервиши, попы, иезуиты —
Все вышвырнуты вон, развеяны, разбиты;
Вы, судьи, вне себя.

И гнев понятен ваш.

Отныне навсегда рассеялся мираж:
Нет славных королей, есть бледные убийцы;
И нет святых отцов, есть папы-кровопийцы;
Сорвал с них ураган обмана яркий плащ!
О, горе! Стон стои́г среди лесов и чаш.
Прожорливая ночь оторвана от пира;
В агонии хрипят сыны ночного мира!
Ужасно! Брезжит свет, и исчезает мрак;
Ничтожным червяком становится светляк;
И слепнет нетопырь; и слезы льет лисица;
И мечется, крича, жестокая куница;
Проносится в лесу протяжный волчий вой;
Дрожит зверье, во тьме творящее разбой;
Рой призраков взлетел: восходит день, блистая;
Кружит стервятников испуганная стая;
И если не затмить сияния зари,
От голода умрут в могилах упыри.
Навек исчадий тьмы стряхнет с себя планета...

Что ж, грозный трибунал, суди лучи рассвета.

11 ноября 1871

Их диатрибами глаголет сам творец.
В них все смешалось: поп, разбойник и писец.
Рожденный в дворницкой, их слог пропитан желчью.
Под масками святых встречаешь морду волчью.
Все их молебствия поддерживает меч,
И пуля подтвердит, что благостна их речь.
Их плоть, увы, слаба, — не в святости их сила.
Они поносят все. Как брызги от кропила,
Летит лишь брань из уст, суливших благодать.
Они помощника хотели б смерти дать.
Ругают палача лентяем, лежебокой.
Они готовы кровь разлить рекой широкой.
Их бесят новшества, им жаль былых времен.
Где Бем? Где Лафемас? Где мрачный Трестальон?
Где почитатели Христа и папской власти,
Чьей бандой Колиньи разорван был на части?
Нет, революция наделала нам бед!
Так Карла на престол, взамен ружья — мушкет,
А Монтревель пускай хранит покой владыки!
Где вы, носильщики из авиньонской клики,
Что Брюна теплый труп вдоль Роны волокли?
Где трона мясники, меч церкви, соль земли,
С которыми Бавиль пытал повстанцев пленных,
Любимцы Боссюэ, потевшие в Севеннах?
Конечно, пушки есть, но времена не те,
И склонен буржуа к опасной доброте.
Вид крови вынудил задуматься кретина,
Разжалобилась вдруг двуногая скотина:

Он Галифе хулит, откушав свой обед!
Ох, как бы нужен был нам президент д'Оппед!
О, где Лобардемон? Меж радугою мира
И саблей сходство есть; таков порядок мира.
При всех наркотиках, не обнажив клинка,
Не выйдет общество вовек из тупика.
И лишь одна теперь незыблема основа:
Чтоб самому спастись, отправь под нож другого.

Бандит поэтом стал. Продажный виршеплет,
Он убивает, льстит, кусает, лает, врет.
Он императора лакей, приспешник папы,
Он ищет всюду жертв и шлет их смерти в лапы.
О, подлые ханжи! Они исподтишка
В Рошфора целили, в могучего стрелка,
Чьи стрелы помогли свалить колосс имперский.
Флуренса вырыв прах, шакал пирует мерзкий!
Что им покой гробов, и вдовий плач, и стон?
Им голубей чернить да обелять ворон,
Дающим кланяться, просящих гнать с порога,
В погемке предку мстить, в народе ранить бога,
В мужьях позорить жен, а в сыновьях — отцов,
И силой мнить своей бесстыдство подлецов!

*

Ты слышишь, мой Париж, какой галдеж в их стане?
Так воронье шумит, кружа над полем брани,
Так Шаппа телеграф умы смущал порой
Движений сбивчивых загадочной игрой.
Но нам ясна их цель. Империи холопы!
В позоре Франции, в позоре всей Европы —
Венец их замыслов. Непогрешимый Рим
Прибег, чтоб им помочь, к святым дарам своим,
Пустил интриги в ход, и произвол кровавый,
И каннибальское божественное право, —
Да возвеличатся злодейство и порок!
Им — пир, а бедняку — объедки за порог.
Изгнание всех надежд с возвратом всех бастилий —
Вот цель их. Чтоб разврат и мерзость победили —
В грязь затоптать народ! Убийцы! Их мечта —
Варавве дать венец и развенчать Христа.

Всех — под давяльный пресс! Все превратить
в равнину!

Кто поднял голову — того на гильотину!
Кто первым был — назад! Последнего вперед!
Вольтер? Руссо? Долой! На свалку старый сброд!
Кто там вздохнул? Катон? В колодки за измену!
И, Тацита судьей, Гаво спешит на сцену!
Как прошлое вернуть? Вот роковой вопрос.
Все годно: клевета, убийство, ложь, донос.
Вопи, слюну пускай и вой истошным воем —
И к нам хороший вкус вернется с крепким строем!



Над скорбью Франции глумиться — что гнусней?
Все, чем она горда, в вину вменяют ей.
Что человечеству свободу подарила;
Что Спарту из руин Содома сотворила;
Что у работника отерла пот с чела;
Что ярким светочем и бурей была;
Что, поднята зарей и жаворонка пеньем,
Над миром вспыхнула сияющим виденьем,
Народы повела к заветным берегам
И тем, чей в Риме бог, сказала: «Он не там»;
Что с мертвой догмою живой столкнула разум;
Что робкий луч во тьме прозрела зорким глазом,
Поняв, что для добра, для счастья нет границ,
Когда раскроются все двери всех темниц;
Что нас звала: «Вперед!», когда, ликуя, шли мы
Низвергнуть все ярма, все старые режимы;
Что подняла весы недрогнувшей рукой,
Держа на чаше долг и право — на другой;
Что превратила в прах, в бесформенные груды
Те стены, где вотще искали брешь Латюды;
Что рабство изгнала, — о, это ль не вина?
Что маяком была для всей земли она;
Что столько звезд зажгла для тысяч поколений, —
Средь них — мудрец Мольер, насмешки острый гений,
Паскаль, Дидро, Дантон, — их всех не перечесть;
Что красоту несла, добро и правду, честь;
Что революцией весь мир преобразила
И повела вперед, не выпустив кормила,

Пересоздав людей и дав им новый свет,
Хотя уж были — кто! — Христос, Кекропс, Яфет!
И что ж, за это все преследовать хулами
Отчизну, ангела с орлиными крылами?
Она в крови, в слезах... «Долой! — они орут. —
Долой ее борьбу, надежды, славу, труд!
Всех ужасов и зол лишь в них причина скрыта!»
Ее, бессмертную, лягают их копыта;
Она для них глупа, нелепа и смешна;
Слезами тяжких бед их веселит она.
Да как посмели вы, шут, негодяй, тупица,
Над матерью своей, над родиной глумиться?
Но час возмездия уже недалеко.
Как! Желчью платите вы ей за молоко?
Чтоб раны растравлять, поите ядом слово?
Отцеубийцы — нет вам имени другого.

Когда ж устанет зло творящая рука?
Уничтожает миг, что сделали века.
Но мне их жаль, глупцов: история их слышит.

О муза мщения! Твой голос гневом дышит,
Узнай же, грозная, великого судьбу:
Героев волокут к позорному столбу;
Народ, как прежде, стал и жертвой и добычей,
И тысячи на казнь ведут, блюдя обычай.
Но спят Вольтер и Локк в тиши могильных плит.
В нечистом воздухе наш век других плодит:
Монлюки, Санчесы, Фрероны и Таванны, —
Их больше, чем травы на пастбищах саванны.

Нет! Карликам на зло ты все ж велик, народ.
Воскреснет Франция, тот славный день придет!
И, новый Прометей, воссев на Апеннинах,
Ты молнии за Рейн метнешь из глаз орлиных;
Ты в блеске юных зорь, могуч и невредим,
Грозою явишься могильщикам твоим
И грянешь, точно гром, звучащий с небосвода:
«Жизнь! Милосердие! Надежда! Мир! Свобода!»
Тогда близ Арно Дант и в Аттике — Эсхил,
Чтобы тебя узреть, восстанут из могил,
Гордясь и радуясь, как бы сказать желая,

Что здесь Италия иль Греция былая.
Ты крикнешь: «Мир земле — отныне и вовек!»
Мы все — один народ, единый Человек!
Един наш бог! О мать! О Франция святая!
Как все потянутся к тебе, благословляя!
Ни гидра, ни змея, ни всех нечистых рать
Тебе в твоём труде не смогут помешать.
Еще французы мы! Еще, тая тревогу,
Мир ждет — какую же мы изберем дорогу?
Пусть гул срываемых оков еще не стих,
Она зашелестит, листва дубов святых!

Альтвис, 27 сентября

С т а р ы й м и р

Волна! Не надо! Прочь! Назад! Остановись!
Ты никогда еще так не взлетала ввысь!
Но почему же ты угрюма и жестока?
Но почему кричит и воеет пасть потока?
Откуда ливень брызг, и мрак, и грозный гул?
Зачем твой ураган во все рога подул?
Валы вздымаются и движутся, как чудо...
Стой! — я велю тебе! Не дальше, чем досюда!
Все старое — закон, столбы границ, узда,
Весь мрак невежества, вся дикая нужда,
Вся каторга души, вся глубь ее кручины,
Покорность женщины и власть над ней мужчины,
Пир, недоступный тем, кто голоден и гол,
Тьма суеверия, божественный глагол, —
Не трогай этого, не смей сдвигать святыни!
Молчи! Я выстроил надежные твердыни
Вкруг человечества, прочна моя стена!
Но ты еще рычишь? Еще растешь, волна?
Кипит водоворот, немилосердно воя.
Вот старый часослов, вот право вековое,
Вот эшафот в твоей пучине промелькнул...
Не трогай короля! Увы, он утонул!
Не оскорбляй святых, не подступай к ним близко!
Стой — это судия! Стой — это сам епископ!

Сам бог велит тебе — прочь, осади назад!..
Как! Ты не слушаешь? Твои валы грозят
Уничтоженьем — мне, моей ограде мирной?

В о л н а

Ты думал, я прилив, — а я потоп всемирный!

1871

Германия честна, и Франция отважна.
Но горе той стране, в которой власть продажна.
Сумеет всю страну растлить один подлец,
Началу славному постыдный дав конец.
Что мученик народ, а государь мучитель —
Известно; но когда и душ он развратитель —
Тогда прощенья нет! Проклятие тому,
Кто солнце погрузить старается во тьму!
Я чту ваш бранный труд, германские солдаты;
Свой выполняя долг, вы в том не виноваты,
Что лавры храбрецов похитил наглый вор.
Честь доблестным войскам! Их королю позор!
Я старый друг солдат. Мне дорога их слава.
Мелодия войны мрачна, но величава;
Сраженья гул зловещ, и лязг оружия груб,
Но мужество звучит в победных кликах труб.
И горько сознавать мне, сыну ветерана,
Что стала армия игрушкой тирана.
Пусть во дворцах живет уродливый недуг:
Насилье деспотов и раболепье слуг;
Но гадко мне, когда примешан яд растленья
И к торжеству побед и к скорби пораженья;
Проказа мерзкая пятнает шелк знамен
И превращает в сброд геройский легион.
Где добродетели, которыми природа
Отметила в веках два гордые народа?
Один из них творит бесчинства и разбой,
И бежеством от врага спасается другой.

В анналы наших лет, история, впиши ты:
Два императора постыдно знамениты —
Грабительством один и трусостью другой;
Под скипетрами их утратив блеск былой,
Лишенные огня, величия, порыва —
Бесчестна Пруссия, и Франция труслива.

ИЗ КНИГИ

**«ИСКУССТВО
БЫТЬ ДЕДОМ»**

1877

Я был непримирим. Во дни лихих годин
 На многих деспотов я шел войной один;
 Я бился с полчищем содомской гнусной рати;
 Валы морских глубин, валы людских проклятий
 Рычали на меня, но я не уступал,
 И видел под собой я не один провал;
 Я объявлял войну бурлящему прибою
 И преклонял главу пред силой роковую
 Не больше, чем скала под натиском волны;
 Я не из тех, кому предчувствия страшны,
 Кто, полны ужаса пред смертью беспощадной,
 Боятся глянуть в пасть пещеры непроглядной;
 Когда в меня бросал презрительный тиран
 Гром гнева черного и молнии таран,
 И я метал свой стих в зловещих проходимцев,
 Я королей клеймил и подлых их любимцев.
 'Ложь всех религий, всех идеологий ложь,
 Трон императора и эшафота нож,
 И меч наемника, и скиптр самодержавья —
 Все это делал я добычею бесславья,
 И каждый великан — будь то король иль князь —
 Мною не единожды ниспровергался в грязь!
 Со всем, чему кадят, пред чем склоняют выи,
 Со всеми, кто в миру вершит судьбы мирские,
 Я дрался сорок лет, с опасностью шутя!
 И кто же, кто теперь меня сразил? — Дитя!

¹Побежденный победитель (лат.).

В душе моей бурлит клокочущее пламя,
И стаи черных туч шуршащими крылами
Мне застят небосклон.
Я чую смерть и гниль! Везде — ее угрозу!
Повсюду зло царит! Но вот я вижу розу —
Я умиротворен...

Все блещет, светится, все любит, мир во всем;
А птиц тепло и свет свели с ума кругом;
И чудится душе в безбрежности улыбка.
К чему ссылать и гнать вам, короли? Ошибка!
От лета, от цветов ушлете ль вы меня?
Возможно ль помешать сиянию, зною дня
И ветеркам быть тут, несчетным и свободным,
И радовать меня в изгнание безысходном?
Возможно ль умалить приливную волну
И пенный океан, безумную весну,
Что ароматы вокруг чудесно расточила,
И у меня отнять луч щедрого светила?
Нет. Я прощаю вас. Живите, чтоб царить
И, если можете, век королями быть.
Я мародерствую меж тем — срываю ветку,
Как вы империю срываете нередко,
И уношу цветок, победный мой трофей.
Задира ли самец, вверху, среди ветвей,
С подругой кроткою своей затеет ссору, —
Вмешавшись в их дела, конец кладу раздору:
«Потише, господа пернатые, в лесу!»
Им примирение я окриком несу:
Пугнув любовников, мы сблизим их друг с другом.
Нет у меня скалы, ручья с обширным лугом;
Лужок мой мал, лежит на берегу морском,
И не велик, зато не горек водоем.
Мой уголок мне мил: ведь надо мной просторы,
А в них парит орел, слепит светило взоры,

И бешеный Борей там ширит свой полет.
И этот скромный сад и этот вышний свод —
Мои; со мной дружат листва и травы сада;
Забвенья гордого во мне растет отрада.
Хотел бы знать, с какой мне взяться стороны,
Чтоб, жителю лесов, мне вспомнить в день весны,
Что где-то на земле есть некто, для забавы
Ссылающий людей, воюющий без славы:
Пред бесконечностью ведь здесь я одинок,
И неба вешнего свод надо мной глубок;
И слышу — лирному звучанью ветра вторя,
Смеются дети здесь, в саду моем у моря.

ОТКРЫТЫЕ ОКНА.

УТРО. СКВОЗЬ ДРЕМУ

Голоса... Голоса... Свет сквозь веки... Гудит в переулке
На соборе Петра затрезвонивший колокол гулкий.

Крик веселых купальщиков: «Здесь?» — «Да не медли,
живей!»

Щебетание птиц, щебетание Жанны моей.

Оклик Жоржа. И вскрик петуха во дворе. И по
крыше —

Раздражающий скреб. Конский топот — то громче, то
тише.

Свист косы. Подстригают газон у меня под окном.

Стуки. Грохот тяжелых шагов по железу, как гром.

Шум портовый. Шипенье машин паровых. Визг
лебедки.

Музыка полковая. Рывками. Сквозь музыку — четкий

Шаг солдат. Голоса. Два француза. Смеющийся бас:

«Добрый день!» Я заспался, как видно. Который же
час?

Красношейка моя заливается. На наковальне

Молотков перебранка из кузни доносится дальней.

Плеск воды. Пароход на ходу задыхается, споря

С необъятною гладью, с могучим дыханием моря.

Когда я подошел, она в траве сидела,
Задумавшись. «Скажи, чего бы ты хотела?» —
Спросил я девочку. Желания детей
Люблю я исполнять. Невинность их затей,
Проказ и шалостей мила мне несказанно.
«Зверей мне покажи!» — пролпетала Жанна.
Полз рядом муравей с былинкой на спине.
«Смотри!» — я ей сказал. Но Жанна не вполне
Была довольна. «Нет! Он зверь не настоящий:
Зверь больше, и страшней, и бродит в дикой чаще!»
Да! Детская мечта от мира ждет чудес;
И бурный океан и полный тайны лес
Величием своим ее страшит и манит..
«Кто ж из кармана вдруг слона тебе достанет!
Ну, попроси еще чего-нибудь, мой друг». —
«Вот!» — Жанна молвила, все оглядев вокруг,
И нежным пальчиком на небо показала:
Там, над землей, луна огромная вставала.

Сыроватый туман, вересняк сероватый.
К водопою отправилось стадо быков.
И внезапно на черную шерсть облаков
Лунный диск пробивается светлой заплатой.

Я не помню, когда, я не помню, где он
На волынке поигрывал, дядя Ивон.

Путник шествует. Степь так темна, неприятна.
Тень ложится вперед, сзади стелется тень,
Но на западе — свет, на востоке — все день,
Так — ни то и ни се. И луна светит мутно.

Я не помню, когда, я не помню, где он
На волынке поигрывал, дядя Ивон.

Ткет паук паутину. Сидит на чурбане
Вислогубая ведьма, трясая головой.
Замерцал на болотных огнях домовой
Золотою тычинкою в красном тюльпане.

Я не помню, когда, я не помню, где он
На волынке поигрывал, дядя Ивон.

Пляшет утлая шхуна в бушующем море,
Гнутся мачты, и сорваны все невода;
Ветер буйствует. Вот они тонут! Беда!
Крики, вопли. Никто не поможет их горю.

Я не помню, когда, я не помню, где он
На волынке поигрывал, дядя Ивон.

Из Авранша в Фужер едет почта — и резкий
И, как молния, быстрый расхлопался кнут.
И, усилены мраком, растут и растут
Еле внятные шорохи, смутные трески.

Я не помню, когда, я не помню, где он
На волынке поигрывал, дядя Ивон.

Где-то вспыхнул костер, озаряя багрово
Обветшалый погост на пригорке... Где ты
Умудрился, господь, столько взять черноты
Для скорбящих сердец и для мрака ночного?

Я не помню, когда, я не помню, где он
На волынке поигрывал, дядя Ивон.

На отлогих песках серебристые пятна.
Опустился орлан на обрыв меловой.
Слышит старый пастух улюлюканье, вой,
Видит — черти летают туда и обратно.

Я не помню, когда, я не помню, где он
На волынке поигрывал, дядя Ивон.

Дым стоит над трубой пышно-серым султаном.
Дровосек возвращается с ношей своей.
Слышно, как, заглушая журчащий ручей,
Ветви длинные он волочит по бурьянам.

Я не помню, когда, я не помню, где он
На волынке поигрывал, дядя Ивон.

Бродят волки, бессонные от голодовки,
И струится река, и бегут облака.
За окном светит лампа. Вокруг камелька
Малышей розоватые сбились головки.

Я не помню, когда, я не помню, где он
На волынке поигрывал, дядя Ивон.

Известный граф Бюффон, достойнейший старик,
 Затем лишь создавал роскошный сей цветник,
 Где кажется медведь ученым из Сорбонны,
 Чтоб Жанне в нем гулять в сопровожденье бонны.
 Бюффон предвидел все, и он имел в виду,
 Что в этом, так сказать, тигрическом саду, —
 Где трудно отличить, кто зверь, кто посетитель, —
 Для Жанны райская откроется обитель.
 Ведь у детей глаза настолько широки,
 Что лес находят там, где только цветники.
 И вот отец Бюффон, используя свой гений
 Для удовольствия тех маленьких творений,
 Чей вид и в ангеле бы зависть пробудил,
 Устроил этот сад, где даже волк так мил.

Я старика могу понять. Ведь наши дети
 Нередко видят то, чего и нет на свете,
 И истинный мудрец рад воплотить их сны.

Здесь лета признаки особенно ясны:
 Блестит здесь июнь, цветы благоуханны,
 И здесь ворчит медведь. Здесь я, и Жорж, и Жанна!
 Тут будто собраны красоты всей земли:
 Так захотелось ей — и мы сюда пришли.
 Ей это нравится — и спорить тут излишне!
 Тут предо мною рвы, и дети, и всевышний,
 Писк новорожденной, и вольный взмах творца,
 И все великое без края и конца,

И все мельчайшее: одна и та же сила
Живет в людской душе и в ярости светила.

Я слышу здесь в тени Бюффовых лиан
Бурчанье буйволов, безумства обезьян;
Здесь предо мной набор живейших безобразий,
Но богу я прошу размах его фантазий.
Ведь, что ни говори попы или жрецы,
Бог может сделать все, смешать все образцы;
Он может приказать, чтобы ручей журчащий
Мартышку сторожем приставил к дикой чаше;
Он создает мещан, похожих на собак
(О, горе псам!). Еретики учили так:
Господь не кто иной, как Сатана с изнанки;
Небесный промысел поработен Ананке;
Природе не всегда дается верный путь:
Зло хочет от Добра хоть малость отщипнуть!
Ведь Правда искони для Лжи была добычей:
Слепой природою был создан сей обычай.
И тут бессмыслица без края и конца!
Немало мы найдем заскоков у творца.
Не знает меры он в смешенье разных планов;
Он уток делает и создает орланов;
Он истинный чудак, и не претит ему,
Что Колардо Лагарп препроводит в тюрьму.
Он сам себе позволил все! Кто с ним сравнится?
Предела нет ему, и нет ему границы.
Он сорнякам поля запакостить велит,
Чтоб не был урожай столь пышен и велик;
Он создал ястребов суровых, мощнокрылых;
Он выдумал рога и всем распределил их —
От рогачей-жуков до рогачей-мужей;
Он спорит с логикой, дурит он, ей же ей;
Когда захочет он, подложит он свинью нам:
Вот мы глядим на мир, и с упоеньем юным
Мы восхищаемся творенья красотой,
И шкурой тигровой пятнистой золотой,
И антилопою со взором светлосиним,
И оперением изысканным павлиньим, —
А он, создатель наш, мешает всю игру
И сталкивает нас неожиданно с кенгуру!

Бог ищет и мудрит, он лезет вон из кожи.
То негры у него на обезьян похожи;
Тут создает он рысь, а там, глядишь, кота;
В одном лесу столкнет бандита и шута,
Мартышку и слона, орла и попугая,
И, песнь высокую с насмешкой сочетая,
Он здесь в лесу ведет их волею своей
Среди разлапистых уродливых ветвей.
Все это так сплелось, что нам и не дознаться,
Пристало ль нам дрожать, иль смехом заливаться,
Когда нам солнца луч иль молния блеснет
Иль призрак гибельный лукаво вдруг моргнет.
Я думаю, господь привык работать спешно.
Но обвинять творца не следует, конечно, —
Его, который, всем вниманье уделя,
Сумел изобрести цветенье миндаля
И радугу взметнул над укрошенным Понтом,
Коль ставит колибри он рядом с мастодонтом.
Сказать по правде, вкус плохой у старика.
То гидру прячет в ров, то в яму червяка,
И Микеланджело божественный и жуткий
Перекликается с раблезианской шуткой.
Таков господь. Таким его я признаю.

А что касается детей, то я стою
На том же: ведь на них печати нет сословья,
И часто малыши от полноты здоровья
В хорошем обществе ведут себя не так.
Я этим не смущен. Все это кавардак —
Львы и служители, малютки и мамыши;
Все здесь мне кажется еще сильнее и краше.
Здесь великанов я и карликов нашел,
Здесь в уши мне жужжат миллионы звонких пчел,
Здесь деду предстоит апостольская мука —
Приходится терпеть от внучки и от внука!
Я все вбираю: писк ребят, и птиц помет,
И злобное зверей рычание — и вот,
Я чувствую, что я в саду чудесном этом
Меж детским лепетом и девственным расцветом.
Смотря на этот блеск, пленяясь их игрой,
Мирюсь с создателем, а также с детворой.

Таким мой создан дух, что не смутил ни разу
Меня ни человек, ни мысль его, ни разум;
Ни библию не` чту я в сердце, ни коран,
Смешит меня софист и не страшит тиран;
И алчность хищная мою не мучит душу,
Лишь честь — вожатый мой, и страх меня не душит.
Окаменев, стою утесом гордым я;
Не сдвинут никогда меня, клянусь, друзья,
Вспять — страх, или вперед — корыстное стремленье.
Я сильных не щажу, но слабым — снисхожденье.
Мирские почести меня не привлекают.
Поверьте мне, друзья, я всем доволен тут,
И высшее мое исполнено желанье.
У неба не прошу иного воздаянья,
И божества ко мне добрей быть не могли.
О, не завидны мне в пределах сей земли
Ни олимпийский лавр, ни славный столп Траяна,
Пока передо мной твоя улыбка, Жанна.

ПЕСНЯ НАД КОЛЫБЕЛЬЮ

Усни. Я бодрствую в заботе терпеливой.
Пусть ангелов уга смежат твои ресницы.
Не надо страшных снов. Пусть сон тебе счастливый
Приснится.

Меня увидев здесь склоненным над тобою,
Изменит ветер вой на лиры звук певучий,
И улыбнется ночь зарницей голубою
Сквозь тучи.

Любя, поэт хранит от страха и угрозы
Покой беспомощных, дрожащих колыбелей.
Он песни им поет, и песни — словно розы
В апреле.

Свежей он, чем апрель, рожденный в ароматах,
Чем май, из чьих даров гнездо свивает птица,
И в голосе его нектар для пчел мохнатых
Таится.

В восторге трепетном он каждым очарован
Атласным гнездышком, что мы свиваем сами.
Исполнен нежности, излить ее готов он
Слезам.

Для вдохновенного, восторженного взора
Все радостно кругом. Но если, угрожая,
Приходят короли и хищных слуг их свора
Большая,

И если Ватикан, или Берлин, иль Вена
Готовят западню, грозя мечом и словом, —
Разгневанный поэт становится мгновенно
Суровым.

Когда коварный Рим, и злой паук Игнатий,
И коршун Бисмарк вновь свершают преступленья,
В негодовании он шлет слова проклятий
И мщенья.

Довольно. Песен нет. Его зовет свобода,
Уносит бурный вихрь, где все смешалось вместе:
Мечты о будущем и о правах народа,
О мести.

О Франция, воспрянь! Поэт, свой долг исполни!
Освобождение! Еще не перестали
Пылать в душе — огонь, во взорах — отблеск молний
И стали.

И мысль его летит, как в океане птицей
Стремительный корабль, как знамя в схватке рьяной,
Как зарево зари в крылатой колеснице
Багряной.

Увесистый шлепок дает мне крошка-ручка.
«Вы наказать ее должны! Как! Деда — внучка?
А вы еще нежней глядите на нее!»
Дед говорит: «Бранить — то дело не мое!
Как быть? Улыбку лишь сберег я и прощенье.
Предательство Иуд, Неронов притеснение,
Победу сатаны и власть плутов познав,
Все то, что против них на сердце есть, сказав,
Излив свой мрачный гнев при виде совершенных
Злодейств, апостольским престолом разрешенных,
Терпимых церковью, допущенных попом,
Дав выход ярости своей, рычащей львом;
Нашествия парфян чудовищные жатвы,
И Бонапартовы предательские клятвы,
Всех добродетелей погром, всех прав запрет,
Без Брута — Рим, Париж — где уж Барбеса нет,
Тиранов выплывших и тонущие страны —
Все в строфах обозрев, что скорбью обуяны;
Усиьем тягостным тюремный сдвинув свод;
Заставив громы все низвергнуться с высот —
Проклятья, гиканья, перуны гроз великих
Из тьмы пещерной туч священных, жутких, диких;
И в дни, подобные ночам, из бездн глухих
Стенанья вызвав, вопль всех голосов земных,
И плач о Франции, лишенной славы, чести,
И Ювенала тень, и тень Исайи вместе,
И ямбов яростных обвалы, словно те,
Что рушат ненависть скалами в высоте;

Казня, не пощадив и мертвецов в могилах
И покарав орла из-за голубок хилых;
Нимроду, Цезарю, Наполеону, всем
Пощечины раздав; сам Пантеон затем
Заставив трепетать под пыткою порою;
Расправу на земле свершив и под землею;
Очистив горизонт от гибельных паров, —
Ну, да! — устало мы под свой плетемся кров.
Не сердят нас тогда мушиных жал уколы,
Легчайшие клевки, что шлет вольер веселый,
И сладкозвучных гнезд нежнейшие смешки.
Плутушки гадкие и милые божки,
Что ребятишками зовутся, нас чаруют;
Они кусают нас, а кажется — целуют.
Прощенье — вот покой! Нам должно для властей
Катоном, Дантом быть, но не для малышей.
Кто станет распекать в ответ на свежий лепет?
Кто против воробьев меч на себя нацепит?
Кто с утренней зарей воюет, как с врагом?
Перуну надлежит быть дома добряком».

Я друг лесов, я воспитатель
 Дичков. Но осень так сыра.
 И шепчет ласточка: «Приятель,
 Менять квартиру нам пора!»

Но лишь дождусь конца нивоза,
 Опять я тороплюсь сюда:
 Не пострадали ль от мороза
 Мои питомцы? В чем нужда?

Я обращаюсь к ежевике:
 «Расти нетронутой. А ты,
 Благоухай, тимьян мой дикий,
 Блюдите чистоту, цветы!»

Слежу за ветром из-за двери, —
 Хочу по свисту угадать,
 Что он несет нам: ведь доверья
 Нельзя к обманщику питать.

И лишь рассвет забрезжит серый,
 Минуты не теряя зря,
 Смотрю, апрель какие меры
 Предпринял против января.

Куда ни взглянешь — обновление,
 Свершенье таинств и чудес:
 Великого преображенья
 Тьму побеждающий процесс.

Люблю лишайник на ограде,
Ползучий плющ, кусты ожин —
Прически, солнцем шутки ради
Придуманные для руин.

Когда же, назло башням хмурым,
Султанами их украшать
Приходит май, — я дряхлым дурам
Кричу: «Не смей весне мешать!..»

Уснула. Утро лишь откроет ей глаза.
Спит, в кулачке зажав мой палец, стрекоза.
Благочестивые читаю я газеты.
Уж как меня честят! Одна дает советы:
Читателей моих всех в Шарантон упечь,
Мои развратные произведения сжечь;
Другая просит всех прохожих со слезами,
Чтоб самосуд они мне учинили сами;
Мои писанья — о, тлетворней нет зараз! —
Кишмя кишат в них все ехидны зла зараз;
Для третьей это ад, а я — апостол чорта;
Нет, сам я сатана, антихрист для четвертой;
Для пятой — встретиться со мной в лесу — конец!
Кричит шестая: «Яд!»; седьмая: «Пей, подлец!»
Я — Лувр ограбил. Я — когда-то обезглавил
Заложников. Народ я бунтовать заставил.
На мне горит пожар Парижа. Я — злодей,
Я — поджигатель, я — бандит, прелюбодей,
Скупец... Но я бы стал не столь свиреп и мрачен,
Будь императорским министром я назначен,
Я — отравитель масс, убийца, троглодит...
Так каждая из них орет, вопит, галдит,
И скопом все меня чернят, хулят, поносят...
Но тут дитя сквозь сон бормочет, словно просит:
«Да ну их, дедушка! Будь милосердней к ним!»
И нежно палец мой жмет кулачком своим.

Внучата милые! Сегодня за обедом
Вы оробели вдруг перед сердитым дедом,
И лепет ваш умолк.
Не бойтесь! На меня вы поднимите глазки:
От солнца вам лучи, от деда — только ласки, —
Так нам велит наш долг.

На вас я не сержусь. Другие есть причины
Тому, что гневен я и грозные морщины
Пересекли мой лоб.
До наших мирных куш известье долетело:
Творит постыдное, несправедное дело
Жестокий, лживый поп.

Попы, как филины, живут во мгле туманной.
Но если с Жоржем я и с маленькою Жанной, —
Не страшен мне мой враг.
Поля, и хижины, и взрослые, и дети, —
Все, все нуждается в дневном горячем свете;
Попам нужнее мрак.

Люблю я малышей, но мне пигмеи гадки,
Противен голос их, их мерзкие повадки.
А к вашим голосам
Прислушиваюсь я с немим благоговеньем:
Мне кажется тогда, как будто провиденьем
Внесен я к небесам.

Ведь вы еще вчера парили там, незримы,
Резвясь в кругу свежил, и божьи серафимы
Как братья были вам.

Вы в этот грубый мир явились, словно чудо
Сияющих небес. Вы только что оттуда,
Я — буду скоро там.

Всегда, когда дитя заговорит со мною,
Я полон радостью высокой, неземною.
У ваших голосов

Фальшивых звуков нет. В природы строгом храме
Свой приобщают хор они к эпиталаме
Таинственных лесов.

Люблю я слушать вас, мне лепет ваш понятен;
Мне кажется в тот миг, что в мире меньше пятен,
Я просветлен душой,
Хоть звук уже иной мое тревожит ухо:
Я слышу, как вода со свода каплет глухо
На камень гробовой.

В природе жизнь и смерть дуэт слагают дивный,
У них один язык, и цепью неразрывной
Он их соединил.
Душа должна мечтать. Она, взлетая к звездам,
Находит истину, понятную и гнездам
И тишине могил.

Священники вопят: «Анафема! Проклятье!»
Природа говорит: «Приди в мои объятья
И радуйся, живи!»
Повсюду яркий свет, везде благоуханье,
Вселенная полна лазури и сиянья,
Душа полна любви.

Опять пришла весна, жизнь пробуждая в зернах.
Какое дело вам до этих гномов черных
И грязных их затей?
И у меня для вас — всегда любви излишек.
Пугаю я? О да! Но — маленьких людишек,
Не маленьких детей.

ПО ПОВОДУ ТАК НАЗЫВАЕМОГО ЗАКОНА О СВОБОДЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Святые пастыри! Вы с благостным коварством
Хотите нас лечить испытанным лекарством,
Тьму напуская вновь.
Чтоб нас освободить, вы нам надели цепи,
Вы из гуманности замуровали в склепе
Преступницу-любовь.

Вы многочисленны, вам чужд и ненавистен
Пытливый гордый ум — под снежной шапкой истин
Гигантская гора.
Светильник разума во тьме глухой сияет,
И догмы черные вокруг него летают,
Как злая мошкара.

Напрасно грозный лев рычит, ревет сердито:
Рычаньем не прогнать докучного москита,
Который вьется тут.
Нет, мракобесие, одетое в сутану,
Должны мы презирать. Опасен ли Титану
Мятежный Лилипут?

Бессильным и тупым смеемся мы попыткам,
И как стовратных Фив мокрицам и улиткам
Осадою не взять,
И как от взмахов крыл вороньей хищной стаи
Не упадет Олимп и ниже Гималаи
Не станут ни на пядь, —

Так не свалить и вам столпов нерукотворных:
Не зашатаются от взмахов крыльев черных
Вольтер, Дидро, Платон
И Данте пламенный, и гневный, и суровый,
Пришедший в темный мир как вестник жизни новой
На рубеже времен.

Огромный монолит, гранитная твердыня,
С кем спорит ураган, утес, на чьей вершине
Рождается заря,
Заметит ли гадюк, что меж камней гнездятся?
Неуязвим для бурь, он может ли бояться
Когтей нетопыря?

Грядущий день встает, и лик его прекрасен.
Ничей злой умысел, друзья, нам не опасен
И заговор ничей.
Лук истины звенит, ложь в муках издыхает,
И не боимся мы, что солнце исчерпает
Колчан своих лучей.

Итак — презренье вам, бессильные шакалы!
Вы существуете, но наши идеалы
От вас мы защитим.
С насмешкой истина прощает суеверьям.
А я — я, как всегда, с надеждой и доверьем
Пойду путем своим.

Есть два сокровища; в них жизнь моя и сила:
Мне солнце разума, великое светило
Сияет вдалеке,
А здесь, вблизи меня, смеется Жанна звонко.
В моей душе — любовь, и детская ручонка —
В моей большой руке.

И все-таки — вперед. Вперед! Оставим споры.
Когда у нас ключи, нам не страшны запоры.
Быть может, ночь сама, уставшая от зла,
Упорству уступив, охотно бы ушла:
Препятствия всегда настойчивости рады,
Дать победить себя — лишь в этом долг преграды.

Да, пятится, ворча и огрызаясь, тьма.
Оглянемся ж на них, апостолов ума,
Титанов прошлого, вперед шагавших смéло;
Их оторвала смерть от праведного дела;
Тернистым был их путь к звездам грядущих дней.
Почтим нелегкий труд развьюченных коней
И, на плечи себе переложив их бремя,
Начнем свой переход. Не ждет погонщик — время.
Итак, скорее в путь! Должны продолжить мы
Не нами начатый поход сквозь толщу тьмы,
Из мрака прошлого, из мглы средневековой.
Уже забрезжило сиянье жизни новой.
Великие умы предшествовали нам:
Тут был еще Платон, а Лютер был вон там;
Лучи их мудрости дорогу освещают
И в лабиринте тьмы проходы отмечают.
Вон там, боясь упасть, Паскаль замедлил шаг;
Вот здесь, где я иду, шел некогда Жан-Жак;
В своем стремленье ввысь, к небесному простору,
Вольтер шагнул сюда, но потерял опору.
«Я вижу!» — он успел воскликнуть, как пророк.

Пускай теперь и нас покроет пыль дорог!
Должны преодолеть и мы крутые склоны;
Нам предстоит открыть безвестные законы;
Пока жива душа и разум не умолк,
Мы будем выполнять апостольский свой долг.

О люди! Радуйтесь, стремитесь к счастью, верьте!
— Но что я слышу там? То хриплый хохот смерги!
Столетия вражды, усобиц и угроз,
Несправедливостей, изгнаний, горя, слез,
Вся злоба и весь гнев, все, все, что накопилось
И что в глубинах душ осадком отложилось,
Неслыханной грозой не разразится ль вдруг?
Озлобленность вокруг и ненависть вокруг;
Уже притихло все, ждет грозового гула,
И молния вдали меж черных туч сверкнула!
Но тщетно хочет месть сорвать свой горький плод:
Нам в этот страшный миг бог просветленье шлет,
Он стрелы молнии в зарю преображает.

Бог в нашем сердце гнев и злобу пожирает;
Он в душу грешную свергается с высот,
И все, что видит в ней, он казни предает,
Щадя одну любовь; он зависть рвет на части,
Он клювом совести выклевывает страсти;
Он когти разума вонзает в мысли нам
И исторгает ложь, что угнездилась там;
Он очищает нас от грязи и страданий,
Инстинктов низменных и суетных желаний;
И, нас освободив, очистив нас от зла,
Взмывает в небеса; и вновь душа светла;
Смущенная, она взирает в удивленье:
Кто в хватке огненной принес ей дар прощенья,
Кто вырвал ненависть, и радость от кого,
Кто это был — орел? Нет, — это божество.

Вперед, в великий путь, народы,
За тесный свой предел и грань!
Личинка, чудом стань природы;
О стадо, легионом стань.
Орел, спеши навстречу свету.
Лишь совы, верные запрету,
Свет не приемлют заревой.
Угадан в солнце бог от века;
Луч вяжет душу человека,
Как нить, с божественной душой.

К нам луч слетает с небосвода;
С ним свет и разум к нам сойдут;
Он пламя там, он здесь свобода,
Архангел там, апостол тут!
Творец Горация и Данта,
Он позлащает лист аканта
И хаос, где плывем в ладье;
Блеск придает он изумрудный
И перышку колибри чудной
И гада скользкой чешуе.

Стези держитесь озаренной,
Держитесь солнечных путей.
Чтоб сеять, собирать бессонно,
Вперед, вперед, вперед смелей!
Вчерашний раб, сойдя с понтона,
Развратник, выйдя из притона, —

Смелей вперед — и к высям гор!
На них взбираться — ваше право.
Пусть возвеличит вас и слава
И вами поправленный позор!

Моря переплывая, киньте
Былое в пену; фитилем
В фонарь пеньку веревки вдвиньте
От виселицы, сданной в лом.
О человек, иди к вершине,
Грозой всех чудищ стань отныне,
Стань новым Аполлоном ты.
Меч правый чист. Рази, бесстрашен:
Ведь кровью гидры ты украшен,
Пятнающей твои пяты.

ПАПА

1878

СЦЕНА ПЕРВАЯ

сон

Ватикан. Папская спальня. Ночь.

Папа
(в постели)

Ах, наконец засну!

.

(Засыпает.)

Глагол звездного неба

О смертные, усните!

Мужчины, женщины, — забудьте, отдохните!

Потребный для земли настал покоя час.

Уймись, волнение душ! О злые, хватит с вас!

От злопыхательства устали вы и сами.

Во сне людским сердцам божественное пламя

Господне сердце шлет. Нас возвышает сон.

Не в неизвестное ты, смертный, погружен —

Ты знаешь все, познав, что зла творить не надо.

Судьба — вертеп; душа — священная лампада.

Бог высшей мудростью своей соединит

С твоей невинностью сияющий зенит.

Лучится мысль твоя, чтоб к небу прикрепиться.

Жизнь — это в сумраке раскрытая страница;

Ты только в смертный час прочтешь ее сполна,

Так расшифровывай ее во время сна.

Сон — это шелест крыл, плеск, мрака просветленье,

Меланхоличных стад и бледных толп движение
 Под взглядом вечности в божественный предел.
 Взнесись, Ответственность, над тьмою наших дел!
 Сковала, смертные, нас цепь одна и та же.
 Почувствуй, о пастух, как твой ягненок тяжек.
 А вы, властители, непрочные весьма,
 Старайтесь, чтобы вас терпела эта тьма.
 Ведь бездна яростью великою вскипает,
 Но только сильному она и угрожает,
 А атом мыслящий надеется, что он
 Спокойно может спать, сей бездной защищен.
 Так спите, зло, добро, и горе, и страданье
 Под чистым серебром небесного сиянья.
 И счастлив человек, почувствовав во сне:
 Вот звезды ясные сияют в вышине,
 Чтоб слабых защитить, над скорбными склониться,
 Над всеми, кто во сне осмыслить явь стремится
 И хочет получить таинственный совет.
 Так пусть же проплывет над вами этот свет
 Высокоchimых звезд! О бедняки, владыки,
 Как тени в саванах вы жалки, вы велики!
 Да содрогнут вас всех сейчас во время сна
 Виденья многие, но пусть чиста, ясна,
 О смертные, душа не спит в вас!

.

ВХОДЯТ КОРОЛИ

К о р о л и

Папа, здравствуй!

Мы — власть, мы — господа.

П а п а

Привет вам, люди.

К о р о л и

Пастырь,

Всесильны мы.

Па па

Зачем?

Короли

На то мы короли!

Па па

А бог?

Короли

Сам знаешь: есть вершины у земли!

Па па

С господней высоты увидел лишь одно я —
Равнину.

Короли

Мы — цари, мы — власть!

Па па

Тень все земное!

Короли

Мы — лучшие!

Па па

Равны все люди меж собой.

Короли

Нет! Мы — Хорив, Галгал. Над ровною землей
Встаем мы, как Синай. Мы — дубы над горами!
Мы — небо, созданное божьими руками.

Па па

На ликах гор — заря, на ваших лицах — ночь.
Бог не творил владык!

Короли

Но сам же ты точь-в-точь —

Король!

Папа

Я? Царствовать? К чему мне власть такую?

Короли

Так что ж ты делаешь?

Папа

Что делаю? Люблю я!

ПАПА НА ПОРОГЕ ВАТИКАНА

Внимайте, Рим и мир! Вам говорю я так:
Вас долго, смертные, томил крошечный мрак,
И трепетали вы при виде сильных мира;
Но знайте: темен трон, и дешева порфира.
Итак, сыны Отца, внимайте! Вот вам весть:
Под этим благостным и темным небом есть
Власть лишь одна — любовь; и трон один навеки —
Невинность! Свет и мрак сегодня в человеке —
Как два противника, готовые убить.
Священник — кормчий ваш. Он должен свет ловить,
Пока его душа не озарится светом.
Мысль, травка, человек — все хочет в мире этом
Расти при свете дня. Настали времена:
Заря рассветная торжествовать должна.
Господь доверил нам свою обитель. Люди,
Совсем не для того дано нам правосудье,
Чтоб попирать его, и множить мрак невзгод,
И шар земной крутить назад, а не вперед.
Я слеп, друзья, как вы. Ни мира я не знаю,
Ни бога, ни людей. И, это понимая,
В согласии с моих неведений числом,
Я, пастырь, три венца имею над челом.
Считаюсь папою по облику и платью,
Считаю слугами я вас, о люди-братья.
Зачем живу в дворце вот этом — не пойму,
И диадемою украшен почему.
Верховный я глава, властителей властитель,
Наместник господа, монарх, первосвященник,
Но, люди, слушайте — мне ясно наконец:
Я — нищ! И я уйду, покину я дворец,

И да простят меня все эти самоцветы,
Все ткани пышные, что на меня надеты.
Весь этот страшный блеск, что случай мне вручил,
Пусть не клянет меня, что здесь, как тень, я жил,
Рожден для хижины, в роскошествах коснея!
Людская совесть — вот сестра моя. И с нею
Иду беседовать. Я ненавижу зло,
Не ненавидя злых. И время мне пришло
Монахом только быть, таким же вот, как были
Святой Антоний, и Гонорий, и Василий.
И туфлю, наконец, носить я перестал,
Ту, на которой крест нередко трепетал
От королевского кровавого лобзания.
Ковчег покинул Ной, и я иду в скитанья.
Бог в помощь страннику. Одетый в дождь и пыль,
Лишь дней своих концом владею я, бобыль,
Но свет несу я вам, от скорби отупевшим.
Я помогу сердцам, крушение потерпевшим.
Сольюсь я с темной, сольюсь я с беднотой,
Меж терний я пробьюсь. Пушусь я в путь святой
Босым, как Иисус; ведь те, кто неимущи,
Как он, те всех сильнее! Уйду в людские гущи
Я, веры сеятель, ловец сердец. А Рим
Оставлю римлянам, чтоб сделать мир своим.
Бог — это Человек. Иду к нему. Не стойте
Здесь, на моем пути!

СОБОР ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ

Восточный патриарх в тиаре и в ризах первосвященника, окруженный епископами в полном облачении

Хвалу и радость пойте,
Народы, города, и горы, и поля!
Бог Саваоф — жених, невеста — церковь! Я,
Апостол, небесам даю благословенье.

Появляется человек в платье из грубой черной ткани, с деревянным крестом в руках.

Человек

Прекрасно! Но и ад нуждается не мене
В благословении твоём, святой отец!

П а т р и а р х

Ад?

Ч е л о в е к

Да, отец мой, ад. Нужда и скорбь сердец —
Вот что такое ад! Беду благослови ты.
А где добро со злом вступает в бой открытый,
Не столь ты нужен там. Благословенья ждут
Все, за кого молитв не возносилось тут.
Трущобы, нищета, от горя мутный разум,
Цепь страшной каторги — все зло земное разом,
Итог возмездия — вот что такое ад!

П а т р и а р х

Кто этот человек?

Ч е л о в е к

Не знаешь? Я твой брат.
Епископ Запада — епископа Востока,
Тебя, приветствую! Задумайся глубоко!
О господе тебе напомнить я хочу!

П а т р и а р х

Как? Это вы, отец? Вы — в саване!

П а п а

Грушу.

П а т р и а р х

Вы? Первый на земле?

П а п а

Увы!

П а т р и а р х

Но в чем же дело?

П а п а

Все страждут. а тобой веселье овладело.

Делает шаг по направлению к патриарху и пристально на него
смотрит.

Погрыз ты в роскоши. Венец свой растопчи.
Он — ореолу враг. Небесные лучи
На злато не меняй. Ты, пастырь, в ликованье,
Но содрогаются народы от звучанья
Часов свершившихся, и бледный небосвод
Их боем полнится. С погостов звон плывет.
В набат ударили сегодня колыбели
По новорожденным, которых мы отпели.
Невинных берегись, которых превратил
Ты в проклятых! Страшись страстей, что распалил
Ты вождельеньями своими и тщеславьем.
О, эта суетность! Как гибельно мы правим!
Нет, братья, не затем дана нам в руки власть!
Ведь мы не короли, чтоб друг у друга красть
Все эти Страсбурги, Ганноверы, Эльзасы!
Из чьих сокровищниц богатствами запаса
Служитель господ? Обогатился ты
Не чем-нибудь иным — трудами бедноты.
И чем в твоей мощне бывает больше денег,
Тем меньше святости в душе твоей, священник.
Знай: много нищеты и горя на земле.
Блуждают девушки по вечерам во мгле.
А стихари твои, блеск риз в цветах Востока
И драгоценности, ласкающие око, —
Как призраки в ночи встают со всех сторон;
Из ясель ими взят Христос и умерщвлен.
Знай: нынче женщины с публичным свыклись ложем;
Ведь жить-то надо все ж; ведь мы им не поможем:
Там — голод бедности, здесь — похоть богача.
А у тебя атлас, и бархат, и парча,
И золото тиар... Для вас, для нищей голи,
О августейшие колодники бездоля,
Священным кажется богатый наш убор;
Для нас, священников, он — горе и позор!
Вот этот бриллиант, что митре дал сиянье,
Вот этот изумруд, чьи искристые грани
Покажутся морской пучины зеленей,
Все это темное мерцание камней —
Кровь ваша, молоко из грудей истощенных,
Дрожь, охватившая малюток обнаженных,
Паденье в пропасти неведомые! Вот
Что значит этот блеск! Расстался ты, народ,

С невинной радостью. Вы голодны, вы нищи;
Нет денег, чтоб платить за хлеб и за жилище,
И нет достоинства, и в сердце меркнет свет,
И нет плодов труда, и чести женской нет —
Утехи вашей! — Вот позор твой, пастырь! Все ты
Верни им! А себе оставим нечистоты!
Как! Есть предвечный бог. Он мыслит. Яркий свет
Нам шлет он без конца. Он движет сонм планет
И все живущее премудро образует,
И бытие свое он этим доказует.
Господь из темноты, где блещет метеор,
Зрачками ясных зорь глядит на нас в упор,
И цементирует он всю громаду мира,
Чтоб трещин не было в лазурности эфира,
И в ночь, когда вог здесь, над нашей головой,
Бушует ураган, сорвав намордник свой,
Вот эти небеса другими небесами
Уравновесил бог, даря нас чудесами,
Что и не снились нам: обильем голосов,
Зарниц над кручами, огней во мгле лесов.
Да, есть он, этот дух, непостижимый, зоркий!
Здесь, старцы, пастыри, мы рядимся в оборки,
Как девки падшие, и падки точно так
До драгоценностей и всяких мнимых благ,
И в криводушные впадаем мы восторги.
Но, не участвуя в презренном этом торге,
Властитель темных гроз, он жив! А мы в церквах
Иль под порталами в своих монастырях,
Меж складок мантии иль ткани золоченой,
Священнодействуя, толпе ошеломленной
Показываем: «Вот малюточка господь —
Глаза эмалевые, розовая плоть!»
Картонный Иисус! Из воска бог предвечный!
Несут его гулять, и славят бесконечно,
И перед алтарем на цыпочки встают —
А вдруг всевышнего столкнут и разобьют!
Что церковь, то святой... Мы их обожествляем, —
На это прихожан мы данью облагаем,
На ладан дышащих мы грабим без конца.
Рождает ненависть гремящие сердца,
И голода клыки вонзаются в людские
Жилища жалкие, в мансарды, в мастерские.

А мы? Наделали мы кукол золотых, —
Зовут Иоаннами Крестителями их, —
И уйма дев Марий в футлярчиках блистает;
Чтоб пустоту одеть, Голконды не хватает.
Порок гигантом стал, и прикрывает тьма
Девичью каторгу — публичные дома.
Я повторяю вам: все свечи вы зажгите,
И цугом, по два в ряд, все церкви обойдите, —
Но этой гнусности вам все же не унять.

Да! Хлеб вы у людей осмелились отнять.
Вы богатеете на нищете народной.
Невинность ангельская, будучи голодной,
Во тьму провалится! Вы даже голубка
Хотите превратить в орлана-буряка,
Чтоб идол пребывал в парче и позолоте.
Ведь эти женщины из крови и из плоти —
Цветы невинности, цветы любви святой —
Заплатят чистотой своей, и наготой,
И добродетелью, погибшей безвозвратно,
За ваших куколок нелепых. Вам понятно?
Вы слышите меня? Господь на высях гор
Так со сновидцами вел древле разговор.
А вы мечтательно воссели на престоле —
Затем, чтоб в демонов преобразиться, что ли?
О, будем же любить, любить, любить, любить!
О братья, следует нам рубище носить
И деревянное иметь в руках распятье,
Но голову держать должны мы выше, братья,
Чтоб нами помыкать не смели короли.
О старцы! Никаких поклонов до земли!
Лишь перед господом душа должна склониться.
Колеса — короли, вы — ось! Но колесница
Помчалась на́ народ, а он — опора вам!
Торговцы черные, заполнили вы храм.
Паденье жалкое — все ваше возвышенье.
Избыток ваш — грехов печальное кишенье.
Христос здесь распят вновь. Увидел он, что тут,
Под сытой церковью, голодный стонет люд, —
И скрылся; для него сокровища прелата —
Как блеск шакальих глаз. О рубище, будь свято!

Ведь в алой мантии я был души лишен.
Коль пастырь в саване, одет прекрасно он;
Всех добродетелей пример тогда он явит,
Служа страдающим; он судит тех, кто правит,
И слабостью своей он в ужас вгонит власть.
Ведь бог — со слабыми! В дерюгу облачась,
Я сею доброе. А вы? Плодите зло вы.
Вы сердцем злы... Да нет, скорей — пустоголовы!
Сапфиры, ониксы, рубины, жемчуга...
И мне вся эта пыль казалась дорога.
Да, братья, это все и я когда-то прежде
Имел в своей душе и на своей одежде,
Но роздал беднякам все это я в один
Прекрасный день, отцы.

П а т р и а р х

Наставник, властелин,
Ты — папа, наш отец и наш левит великий!
Но ведомо тебе, епископу, владыке:
Скрижаль закона есть; ни буквы в книге той
Не можешь изменить и ты, отец святой.

1 - й е п и с к о п

Обязан человек страдать для процветанья
Отца небесного. Слепящее сиянье
Церковной утвари полезно бедноте.
И, как нужна звезда небесной высоте,
Так догмату нужна жемчужина; и надо,
Чтоб все живущие, их орды, их громады
Летели к свету митр, чьи звездные лучи
Весьма спасительны для смертных в их ночи.
Не манит бедный храм, он паству отвращает.
Ведь пастырю всходить как солнцу подобает!

2 - й е п и с к о п

Оставим королей в покое. Неспроста
Бывает тень меча подобием креста.
Основа церкви — бог, но короли — вершина.
Пал князь — падет и бог!

3 - й е п и с к о п

Толпа для властелина

Сотворена, солдат ли этот властелин,
Судья или пророк. И первый господин —
Священник, а второй — король!

4 - й е п и с к о п

Чем плуг острее,

Тем лучше урожай! Основывая, сея,
Вы землю раните. Но это ничего.

5 - й е п и с к о п

Когда ж господь хотел, чтоб поняли его?

6 - й е п и с к о п

Для нищих духом — рай! Поменьше школ! Поставим
На знание крест. Одну лишь книгу мы оставим.

7 - й е п и с к о п

Народам — быть внизу. А если хочешь ввысь,
Так на коленях к нам на паперть подымись.

8 - й е п и с к о п

А мысль вне догмата подобна сорным травам.
Сей правдой праведной, сим правосудьем правым
Мы крепки. Я тебя анафеме предам,
Восставший человек!

9 - й е п и с к о п

Да, свет, врученный нам,
Способен жечь! Суров обязан быть священник.
Он богу своему доподлинно изменник,
Коль, видя ереси, испытывает страх
Свой факел поднести к соломе на кострах.

П а т р и а р х

То — бездна, что теперь свободой называют.
Ужасный херувим об этом возвещает,
Где вечности стена чернеет, громоздясь:
«Смиритесь! Веруйте! Князь — пастырь. Пастырь —
князь».

К сему прислушайтесь, поникши головами,
В повиновении, с дрожащими сердцами.
Желаньем понимать, желаньем думать, быть
Дорогу господу стремитесь преградить.
О вы, кто вздумали бороться с полной гнева
Огромностью ветров, как безрассудны все вы!
Поймите: проклял бог всю эту суету,
И все усилия, и замыслов тщету,
И первородного греха сестру — познание,
И этот, выросший из серного пыланья,
Огнем зализанный ваш суетный прогресс!
Лишь эту истину вещает вам с небес
Гроза, что над горой Хоривом загремела.

Папа

О братья, я прозрел, поймите — в этом дело!

1-й епископ

О чем толкует он?

Патриарх

Что думаешь, скажи?

Папа

От вас я ничего не слышу, кроме лжи!

Патриарх

Как! Страшным и живым вы стать противоречьем
Задумали своим блистательным предтечам?

Папа

Тревожный ропот я почуял в этой мгле.

Патриарх

Корабль идет ко дну, а вы на корабле
Ослепли, рулевой? О, не стремитесь, отче,
Навстречу гибели, по направлению к ночи!

Папа

Я к жизни путь держу.

П а т р и а р х

Придется дать ответ.

П а п а

Да!

П а т р и а р х

Небо вспомните! Вы падаете.

П а п а

Нет!

Я ввысь иду!

Е п и с к о п ы

Он слеп!

П а п а

Нет! Все я вижу ныне!

Я говорю: я был на золотой вершине,
На троне восседал, вдыхая фимиам
Средь песен праздничных, среди эпиталам;
Но пало на меня, стоящего над всеми,
Душ человеческих огромное бремя,
И я сказал себе: «С вершины вниз спустись;
Лишь низойдя с высот, подымешься ты ввысь».
Поддержка догматов, опора церкви божьей —
Лишь наши слабости. Так надо быть им все же
Хотя бы чистыми! О братья, наблюдал
Я поношения, и часто я видал
Ущерб правдивости и кривды нарастанье.
Я думал: «В небе тьма. Повсюду злодеянья.
Один виновник есть, и ждет его судья».
Зыбучие пески неправды видел я,
Дремучие леса я видел преступленья,
Разврата оргию, невинности паденье.
И я сказал себе при виде двух миров,
Где мерзких маклаков полно и шулеров:
«О нечестивый поп, склоненный над мошною,
Судья, с преступником сошедшийся ценою,
Цыганка, девушка с безумным взором, — чью
Вы душу продали? Свою? О нет — мою!»

И в страхе я бежал. Растет во мне желанье
Из сердца своего извергнуть злодеянье;
Хочу благословлять, дать божески дышать,
Спасать...

П а т р и а р х

Ваш долг — разить!

П а п а

Нет, предостерегать!

П а т р и а р х

Бог — мститель...

П а п а

Нет, Христа я помню страстотерпца.

П а т р и а р х

Король...

П а п а

Такой престол мне вовсе не по сердцу,
Который тронем стал. Какой разврат! Христос
Над миром царствует и нищ, и наг, и бос.
А королевский сан — ведь это отречение
От власти над душой. Мое вооруженье —
Тростиночка Христа. Коль стану князем я, —
Лишь скипетр получу, чтоб быть, как все князья,
В глазах людей царьком, другим царькам послушным,
Дрожащим за престол, хитрящим, двоедушным.
Опасно пастырю державу приобрести —
В ней раболепия гнуснейший привкус есть.
Я не хочу казнить, и я не принимаю
Участия в войне. Сидеть я не желаю
Среди властителей, — у них на лицах мрак.
Поймите: я люблю! И чувствую я, как
Во мне рождается живительное пламя.

Е п и с к о п ы

Умей нас возглавлять, последовав за нами!
Чтоб нас вести с собой, иди, куда и мы.

Вовек не будет так! Ушел из вашей тьмы
 Я, отвращением и ужасом охвачен.
 Пускай не говорят: «Земля! Он был назначен
 Одну высокую идею охранять,
 Светлейшую из всех, которые сиять
 Могли когда-нибудь над этой глубочайшей
 Пучиною сердец. Он маг был величайший.
 Наперекор смерчам, что, налетев на нас,
 Мгновенье властвуют и пропадают с глаз,
 Он, этот человек, посредником являлся
 Меж небом и землей; он связью оказался
 Меж тихой пристанью и трепетом ветрил,
 Меж бездной и людьми лучом он света был
 Как! Только потому, что лживые кумиры —
 Все эти цезари, владыки, триумвиры,
 Князья и господа, которым несть числа,
 Все идолы, каких удача вознесла,
 Кому везет в бою иль повезло родиться,
 Все темные, как ночь, сиятельные лица
 Пришли за ним, за тем, кто бдит и у кого
 Иных здесь нету прав сверх права одного —
 Осанну возгласить и указать при этом
 На душу вечную, рожденную рассветом,
 На сына ясных зорь, который должен там
 Оплакивать все зло, весь смрад, присущий нам,
 И средства измышлять, чтоб дать нам свет
 прощенья, —
 О, только потому, что эти принцы, тени,
 Любители огня, и пепла, и руин,
 Пришли к священнику, и каждый властелин
 Кричал: «Ты с нами будь!» — по этим вот причинам
 Он стал подобен им и на торгу бесчинном
 В часы, когда весь мир отчаялся в ночи,
 Задумал продавать небесные лучи
 Он покупателям в могильном облаченье!
 Даритель света, он, посланник провиденья,
 Права народные владыкам продавал,
 Вулкан благословлял, рабами торговал,
 И справедливостью, и честью, и законом;
 Молился за убийц, проклятья слал казненным,

В голубку повелел он молнии метать,
Христа он заставлял слугой Аттилы стать!»
Как! Это обо мне кричат, меня позоря:
«Хранитель наших душ, он растерял их! Зори
Вставали в небесах, но продал он рассвет;
Звезду рассветную растлил он!» Нет! О нет!

П а т р и а р х

Вы богохульствуете, папа!

П а п а

От гордыни,
Священник, откажись! И ты, алтарь, отныне
Сияй без золота! О, кровь из ран Христа!
Кто смеет, господи, замкнуть тебе уста?
Заговори! Все ждут твоей правдивой речи!
Ты, обездоленный несчастный человеке,
Владей своим добром. И душу возымей,
Народ! И есть права у женщин и детей! —
А вы, священники, за мною поспешая,
Учите истине, что я провозглашаю:
Будь сердцем прост, умей под ясным небом жить
Вблизи своих детей, чтоб к богу ближе быть.
Тем величавей храм, чем пастырь духом кротче

Все вокруг папы замирает и исчезает.

Как! Ни священников, ни храма! В бездну ночи
Все скрылось! Вавилон вот так когда-то весь
Разрушился. И я — один во тьме.

Г о л о с и з б е с к о н е ч н о с т и

Я здесь!

ЧЕРДАК

Зима Нищенское ложе. Бедняк, его семья.

Б е д н я к

Не верю в бога я!

П а п а (входя)

Ты голоден.

(Разламывает хлеб и отдает половину бедняку.)

Б е д н я к

Кусочек

Дай и ребенку.

П а п а

(отдавая остальное ребенку)

На!

Р е б е н о к

Как вкусно!

П а п а

(глядя на ребенка)

Ангелочек!

Благословлю его!

Б е д н я к

Как хочешь...

П а п а

(высыпая содержимое своего кошелька на нищенское ложе.)

Можешь взять.

Купи белья.

Б е д н я к

И дров!

П а п а

Одень дитя, и мать,

И самого себя. О брат мой, жизнь сурова!

Тебя бросает в дрожь от холода такого.

Работу дам тебе, воспрянет вся семья.

Теперь поговорим о боге.

Б е д н я к

Верю я!

Из глубины ночей, в печали и в тревоге,
Придите все ко мне, кто нищи и убоги,
Кто проклят, побежден! Ко мне, я говорю!
Я ваш! Один из вас! О толпы, я горю
Пыланьем вашего смертельного озноба.
Я ваших каторг раб. Готов служить до гроба
Я рабству вашему. Я, первый средь владык,
Последний между вас. Воистину велик
Вид вашей нищеты святой и вопиющей.
Как ни старается добро творить имущий,
Но ближе к богу тот, кто голоден и бос;
Чем небеса темней, тем больше звезд зажглось!

Люблю я вас, как сын, и лишь по той причине
Я — пастырь и судья над пастырями ныне.
Я лишь бедняк, стремлюсь я всем принадлежать!
Несчастные! Ко мне! Хочу я кротким стать.
Но помогите же! Разделим все — и холод,
И голод, и посты. Средь молодых я молод,
А между стариков глубокий старец я,
И прадед я отца, и всех детей дитя.
Все ваши возрасты в себе я воплощаю.
О сыновья мои, в себе я совмещаю
Все вожеления и каждый аппетит:
Как агнец, лакоплюсь побегами раки,
Но и влекут меня лишенья, слезы, боли;
Во всех страданиях иметь хочу я долю;
Хочу отведать я от всех земных тревог.
Ведь всеобъемлющ я, хотя и одинок.
Все дай мне, нищета: дай мне свой день голодный,
И кочки мостовой, и свой очаг холодный,
Помойки, синяки, и жесткость тюфяка,
И небо звездное дай вместо потолка.
О неимущие, всё дайте мне! В чахотке,
В лохмотьях и в крови, пройдя сквозь все решетки,
Дойдите до меня! Несите, бедняки,
Все ваши горести, обиды, гнойники,
Чтоб вашу ночь я днем сменил хотя б отчасти
И превратил в любовь все беды, все несчастья!
Придите, жалобы, рыдания и злость!

О братья, спорить мне с несчастьем довелось,
И мы по-своему судили, каждый здраво.
Несчастье каялось, я говорил: «Ты право!»
Оно винилось в том, что плачут от него,
Но в этом-то и есть несчастья торжество —
Что любят тем сильнее, чем мучались жесточе.
Несчастье — небеса, но под покровом ночи.
У вас — мучения, лекарство — у меня.
Я честолюбец. Взять хотел бы души я...
Но ничего б не спас! О нищета, вот где ты!
А вечность ото всех потребует ответа!
Перед лицом того, кто ждет за гробом нас,
Весьма рискованно предстать в вечерний час
Вот так, без ничего, без всяких оправданий.
О, дайте, бедняки, мне часть своих страданий!
Я ваш помощник, друг. Так будьте же со мной,
Проказа, бедность, скорбь, и всех болячек гной,
И те, кто без надежд, и те, кто вне закона,
И сонм погибших душ, и разум помраченный!
Увечья, скудости, разбитые сердца —
О, все это мое! Мученьям нет конца;
Родятся на земле они всегда, повсюду.
Так пусть же окружен и здесь я ими буду,
И перед господом предстану я с земной
Несчастной беднотой. Так будьте же со мной,
Все проклятые, все достойные презренья.

Все несчастные окружают его со всех сторон

П р о х о ж и й

Что делаешь, старик?

П а п а

Коплю я сбереженья.

НЕПОГРЕШИМОСТЬ

Ах! Я непогрешим!

Ах, мне лишь одному

Все ясно.

А господь?

Неведомо ему,
Что ведал Галилей, знал Кеплер, понял Ньютон.
Все недостатки в нем: гневлив, завистлив, лют он.
Он сбился с толку там, под сводами из звезд.
Не возражает он, чтоб солнце под арест
Взял человек. О, бог! Весь мир он проклиняет
За кражу яблока. Он громом поражает
Вслепую, наугад; охоч он до смертей;
На волю выпустить готов он всех чертей.
Мольеровский Альцест прочел бы наставленье
Отцу небесному. Дает господь прощенье
Кровосмесителям, а с бедными — жесток.
Разрушив весь Содом, он Лота уберег.
Свой лицемерный рай он дополняет адом.
Он противоречив бывает сплошь и рядом
И в дьявольский огонь суёт своей рукой
Сонм негорящих душ! Ах, вздумал род людской
Такого господя дополнить, исправляя!
Я бога этого прекрасно представляю:
Восстав из хаоса, людей казнит он зря.
Он слеп в своей ночи. Он ждет поводыря.
Сего поводыря ему мы подыскали
И верим: несмотря на скептицизм Паскаля
И отрицания Вольтера, наш господь
Кой-где препятствия сумеет побороть.
Я, папа, божий пес, но убедился все же,
Что зорек человек и слепы очи божьи!

Насмешка мрачная! Обида небесам!

Так папа говорит. Он лгать не может вам.
Все безошибочно, что папа изрекает.
Непогрешимостью суровою сверкает
Его верховный взор.

Ночь, пощади людей!
Быть человеком; быть игрушкою страстей;
Быть хрупче стебелька; встревоженным прохожим
Брести по сей земле, по зыбким бездорожьям;
Быть дуновением; быть рябью, что дрожит
На водяной струе, которая бежит;
Ничтожной тенью быть, томимою желаньем

Ничтожный вызвать шум... О, быть таким созданием,
Висеть над бездною и мнить, что выше нет
Вершины; чувствовать ужасный свой скелет
Под плотью жалкою — и говорить при этом:
«Бог, равен я тебе. Я вечен. Правлю светом.
По одиночеству я на тебя похож.
Мы, — папа и господь, — совсем одно и то ж
Над этим вот Ничто, что всеми Всем зовется
И лишь для нас Ничем навеки остается.
Ты ведаешь конец, я знаю цель и суть.
Держу тебя в руках. Умею отомкнуть
Тебя своим ключом. О, темный бог, до дна я
Всю глубину твою постиг. Лишь я сияю
Во мраке вечности. Не ошибаюсь я.
Вершить по-моему — обязанность твоя.
И если истину какую возглашаю —
Все этим сказано! И если я решаю,
Что должен ты, господь, быть чем-то разъярен,
То я установлю порядок, и закон,
И точку, где, свое отринув милосердье,
Наморщишь грозный лоб ты под небесной твердью».
Да! Колесница звезд стоит на двух осях —
То папа и господь!

О солнце в небесах,
Что можете сказать вы о непогрешимом
Наместнике творца? Порядок, данный Римом,
Вселенную попрали. Что скажешь ты о них,
О небо грозное, — о мудрецах пустых,
Над тайной тайн твоих которые глумятся
И земляным червем дополнить бога тщатся?

ПРИ ВИДЕ СТАДА СТРИЖЕННЫХ ОВЕЦ

Вот ветры сумрака летят со всех концов.
О овцы, о стада, народы, лязг зубов!
А где же ваша шерсть, плачевные бродяги?
Идете от своих овчарен вы, бедняги,
Под инеем, дождем вперед, вперед, вперед!
Вы всех питаете и — голодны! Народ,
Где все твои права? И душу кто похитил

Твою, о человек? О каменщик, строитель,
Где дом твой? Где умы, что воспитали вы,
Мужи ученые? Где женский стыд? Увы,
Я слышу, как звенят бубенчики вот эти.
О девы, где любовь? О матери, где дети?
Дрожи от холода, зубами лязгай, скот!
Шерсть ваша не для вас, она — доход господ.
Не для кого-нибудь, для них собака лает!
Ленивцы короли шерсть вашу состригают.
Не ваша ли судьба рабыня их сейчас?
Ведь шерсть священную бог сотворил для вас,
И в глубине души создатель проклинает
Дурные ножницы стригальщика. Он знает:
Добычей сильного стал слабый. О, грехи!
Но где ж священники, где эти пастухи?
Никто не защитит тебя, народ, о стадо
Мое любезное! Я знаю, что им надо:
Состригли шерсть — возьмут и мясо погода.

Наступает ночь.

Порой они бегут... Сечет их бич дождя,
И кажется, что ждет такая же расправа
Не только их, но мысль, рассудок, правду, право.
Куда же следует, в ужасной тьме дрожа,
Угрюмая толпа? И кто ей сторожа?
Куда растерянно бежите по дороге,
О вы, овчарками искусанные ноги?
Не в сновидении ли это вижу я?
Зол ветер северный, он жалит как змея.
Не сам ли тайный рок враждует с бедняками?
Столь много ястребов зачем парит над вами?
И если черные есть ангелы среди
Такой крошечной тьмы, мне жаль их! Пощади,
О ветер! Сжался, тьма! Ах, сколько здесь мученья!
Кто против бедняков в таком ожесточенье?
Пусть буре духи тьмы другой приказ дадут!
Пусть забавляется, коль хочет, ветер тут,
Играя космами могучего пророка;
Но бить убогого не надо столь жестоко!
Да, обвиняю я! Лишь по твоей вине,
О небо, свысока внимающее мне,

Здесь столько темноты. О, скорбь! Здесь все в тумане,
Все в заблуждении, в сомнении, в обмане.
Здесь ледяная пыль, дрожь, страх со всех сторон.

Темнота усиливается.

Кем послан этот вихрь? За мрачный небосклон
Сгинь, стадо бледное! Уходят и уходят...
Когда скрываются, что с ними происходит?
Они невидимы становятся для нас,
В рассеявшейся мгле теряясь с наших глаз;
В ночь, в бездну, голые, за этот склон без края
Они срываются, бесследно исчезая.
О толпы бледные! О черные стада!
Во мрак, где плыл ковчег, уйдите навсегда!
О, никакая скорбь с той долей не сравнится —
Вот так уйти в ничто, так с горизонта скрыться,
Оставив по себе лишь нечто вроде сна.
Необходимыми загадками полна,
Судьба — одна для всех, кто кровью истекает
И стонет, бедствуя. Увы, судьба решает
Закончить это все, рассеять все лучи
Исчезновением блуждающих в ночи!

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СУДЬБЕ

Пощады просит все, что мыслит, возникает,
Трепещет, движется, живет и умирает.
Неошибающихся не было и нет;
И мучатся твои потомки, Иафет,
И слезы горькие льют все на этом свете:
Мать плачет над детьми, над матерями — дети.
Зачем так много мук, и бездна так страшна,
И догматы черны, и библия темна?
Мы грешны — вот в чем суть. Отсюда — мрак,
мученья,
И преисподними полны вероученья,
И бездна пред тобой отверста, человека
Рек «ужас!» — Элевзис, «проклятье!» — Рим изрек.
От тюрем до казарм, я говорю, повсюду,
От императоров до крепостного люда,
Взглянуть на хищников, взглянуть на вьючный скот, —

Повсюду ужас, месть, укусы, злоба, гнет!
Живому существу одно дается право
На судьбы скорбные. Грозит впотьмах расправа.
Приблизься — это ночь. Здесь ад — беги скорей.
Кто ангел? Люцифер. Кто смертный? Прометей.

СТРОЯТ ЦЕРКОВЬ

А р х и е п и с к о п

Строители церквей, запомните, что двери
У храма быть должны прекрасны в высшей мере,
Чтоб в них легко втекал благочестивый люд.
Не только золото и бронза нужны тут, —
Брильянты, ониксы употребите в дело:
Для храма ничего прекрасным сверх предела
Не может быть. Фасад мы с вами возведем
Такой величественный, чтобы все на нем
Прочли «Иегова» как через вспышки молний.
Пусть благовеста гимн плывет, пространство полня,
И в душах у людей гремят колокола,
Чтоб старцев, и детей, и женщин дрожь брала
И чувствовал народ, что место, где стоит он,
Священно — этот дом на господу рассчитан.
Пусть будет неф высок, пусть будет склеп велик,
Чтоб отпущенья глас, хоть глухо, но достиг
До грешника; чтоб шло от алтаря звучанье
Раскрытого на нем священного писанья.
Трон для епископа и стойло для Христа
Установите здесь. И пусть, тепла, густа,
Лежит ковровая дорожка под ногами
Священников, что здесь, вот в этом самом храме,
Ваш искупают грех. Пусть люди всей душой
Поверят, что плывет во мгле корабль святой,
И да почудится им звездное сиянье,
Как сквозь листву лесов, как вечером в тумане.
Пусть здесь торжественно бормочут и кадят,
И пусть алтарь горит зловещим блеском лат —
Небесный разум здесь с земным пришел сражаться.
Без страха к господу не смейте приближаться.
Не надо мишуры и низменных даров.
Сказал царь Соломон, созавши мастеров:

«Не стройте на песке, а стройте на твердыне».
И внял ему Хирам — и строил храм. А ныне
Послушайте меня. В невиданную смесь
Мощь Микеланджело объединятся здесь
И Рафаэлева невинность. На стене вы
Изобразите все: грехопаденье Евы,
И Моисея на Синае, и Христа,
Когда к Голгофе шел под тяжестью креста,
И величайших гигантов низвержение,
И конницу в бою, и всадников смятение,
Пир в Кане свадебный, и Валгасара пир,
И язвы Иова! Все, что дивило мир,
На фресках пусть горит с отчетливостью яркой.
Где мавританский свод сплетён с ломбардской аркой.
Пусть темнота картин и статуй белизна
Там чередуются. Ведь церковь быть должна
От бурь ограждена крепчайшими стенами.
Пусть церковь в праздники наполнится цветами.
Все, что идет с небес, находят люди там.
Король, задумавший украсить должно храм,
Голконду б расточил, и все ж бы не хватило.
Так расточайте же и золото, и бериллы,
И все, чему не быть добычей червяков.

Папа

Кровати ставьте там зимой для бедняков.

ВИДЯ КОРМЯЩУЮ МАТЬ

Господь с тобою, мать! Кормилица священна.
О материнство, будь всегда благословенно.
Чтоб вечно создавать, явилось ты на свет.
Бог Еву соговорил, чтоб вырос Иафет.
Луч бездны, напоен священным женским млеком,
Дух с плотью сочетав, зовется человеком.
Неизреченные седьмые небеса
Из блага сотканы; в них свет, любовь, краса.
А что наш зримый мир? О, пропасть, стык дорожный!
Лишь беспорядок здесь творится всевозможный...
Но вот приходит мать, ребенку день даря, —
Из темного соска является заря,
И звезды падают, в румянном небе млея:

Плеяды наверху, а ниже Маккавей —
Подобны лону дня. И должен этот свет
Умом и кровью стать. Исток грядущих лет —
Любая колыбель! На подвиг бесконечный
Всегда употребить готов господь предвечный
И света искорку, блеснувшую во мгле,
И каплю молока на грешной сей земле,
Где без своей звезды дитя несовершенно.
Будь, человечество, всегда благословенно!

(Задумчиво)

Но если вспомню я содомские дела,
Молоха, Карфаген, всю эту бездну зла,
Что ваш закон творит, — коль все это измерю,
То дрожь берет. Дракон ужасней, чем Тиберий,
Ареопэг — вертеп, где правит Сатана.
Фемида неспроста людьми ослеплена —
Она гнуснейшие свершает преступленья
И, если бы прозреть сумела на мгновенье,
То испугалась бы она своих весов.
Ведь мира этого закон давно таков,
Что он казнит Христа и милует Варавву,
И превращает он, творя свою расправу,
Крик новорожденного в замогильный стон.
Да, страшно жить! И я умом был помрачен:
Раб долга, королем себя я мнил когда-то.
И в Риме как-то раз во мраке каземата
Я видел женщину. Повешенья ждала.
Уж виселица ей воздвигнута была,
И яма вырыта. О приговоре зная,
Сказала женщина: «Дитя родить должна я».
«Тогда мы подождем», — отвечивал судья.
О, если бы тогда не чувствовал и я,
Что милосердием полно к нам небо будет,
То как бы я дрожал за души тех, кто судит!
Чего же было ждать? А вот чего: чтоб мать
Дала бы жизнь, чтоб смерть взамен ее принять.
Так подчиняется и рок людским приказам,
И даже без того, чтоб содрогнулся разум!
Над этой женщиной и жизнь и смерть сплелись,
Темницу озарив. О, скорбь! Чем ближе жизнь
К ребенку, тем скорей колодницы кончина.

Два призрака: один — смеющийся невинно,
Другой же — сумрачен и преисполнен тьмы,
Для двух живых существ свои ключи тюрьмы
Несли откуда-то из дали небосклона.
О, как прискорбно быть добычею закона!
Здесь правосудие доходит до того,
Что от бандита мы не отличим его.
И если бы дитя в утробе закричало,
Воззвало бы оно: «Закон, ты для начала
Мать умертвил мою! Ты зол, закон слепой.
Вот мать охвачена смертельною тоской,
И будет ли она дрожать, стонать, молиться —
Заставишь ты меня в убийцу превратиться.
О, колыбель моя! Она уже темна,
Хотя еще пуста; и вся в крови она.
Родившись, я убью. Еще на белом свете
И нет меня, а я за смерть уже в ответе!»
Но циркуль взял закон и взвесил урну зла:
Мала! Измерил он преступные дела,
Помножил зло на зло, печальной дал могиле
Из ясель выступить, велел, чтоб освятили
Над колыбелью гроб, и говорит: «Вот суд!»
О, тягостный закон! Желает он, чтоб тут,
Где милосерден бог, где день во всем цветенье,
Мать с отвращением бы встретила мгновенье,
Когда на белый свет появится дитя.
Я видел все это. В безмолвии, грустя,
Склонилась женщина и не ждала пощады.
И погребальный звон вещал в ночи: «Так надо!»
И чувствовала мать, что скоро срок придет:
Уже шевелится во чреве эшафот.

ПОЛЕ БИТВЫ

Две армии лицом к лицу.

Папа

Мне страшно. Ужас душ я чувствую. О боже,
Здесь человек — стрела, но и мишень он тоже.
А кто стрелок? За что погибнет добрый люд?
Как! Друг на друга здесь две нации идут!

(Приближаясь к армиям.)

Вы одурачены, обмануты, бедняги!
Но кто вам право дал из ножен вынуть шпаги?
Что означать должны орудья и щиты?
Вас дикий трубный рев довел до глухоты.
О, вы сильнее чем львы, ничтожнее чем мухи!
Кто будет ликовать средь скорби и разрухи?
Вы право лишь одно имеете: любить.
Здесь на земле господь велит вам вместе жить.
Суровый долг сокрыт под благостным законом.
Как вязам, и дубам, и тополям, и кленам,
Велел господь расти и размножаться вам.
Ведь хижин жалкий кров — опора всем дворцам.
О принцы, меж собой грызясь остервенело,
Вы видите кругом лишь землю для раздела,
Химеры, славу, власть, и псов, и егерей,
А я вокруг себя увидел матерей,
И вижу я сердца, которые разбиты,
И вижу урожай, попавший под копыта.
У света ясный взор, зарей блистает твердь,
А здесь с народами играет в кости смерть,
И в ужасе бежит отсюда жизнь. Но кто вы,
О люди, моему внимающие слову?
Вас множество! Вы мощь! Вы корень, ствол и плод
Всеобнимающего древа. Пламень, лед,
Моря, пески и соль — все ваше! А в пространстве
Решите вы летать — для ваших смелых странствий
Даль бесконечности. Владеете вы ей!
Вы можете сиять, любить, рождать детей.
Вихрь подает пример вам для полета в воздух,
Для храмов образцы вы усмотрели в звездах,
Работник, держишь все ты мощною рукой.
Господень исполин — вот кто ты, род людской.
И вдруг начать войну! О, гнусная затея!
Титан становится невольником пигмея!
Да, невозможное возможно! Ты, народ,
О всемогуществе забыл своем. И вот
Два жалких короля, два призрака, вампира
Два королевства рвут; и кажутся для мира
Они великими — безумец молодой
И старый дуралей! И скипетр их пустой
Колеблется меж них по мере накопленья
Людской испорченности, зла и преступленья.

Два жалких атома в неистовстве своем
Друг другу зло творят, — а ты, народ, при чем?
Несчастные рабы! Несется с поля брани
Лишь вашей глупости чудовищной рычанье.
Марионетки вы! Вам в руки дан клинок,
А за кого война — вам это невдомек;
И вы не знаете, кого вы здесь убьете,
Да и убьете ли, не сами ли умрете —
Кто знает? Смерть крыло раскинет над землей,
Вы вступите во мрак нестройною толпой,
Зачем — не сможете вы объяснить могиле:
Носители корон о том не объявили.
И все ж пошел в поход народ, неискушен
Во лживых ветерках, что обвевают трон.
Вы кто? Разбойники? Трубя и барабаня,
Вы ломитесь! Одно известно вам заранее:
Здесь надо встретиться, вступить в смертельный бой,
Чтоб *против* был глухой, коль за идет слепой.
Вы за отсутствующих бьетесь властелинов.
Вот для чего пришли вы, жен своих покинув!
Вот для чего вы вдов оставите, сирот!
Вы сильный, молодой, бесчисленный народ, —
И вы позволили, чтоб эти псы-жандармы,
Как будто бы овец, загнали вас в казармы.
Война! Австрийцы, в бой! На битву, пруссаки!
Вот шомпола, кнуты, победные венки!
Под крепким батожьем к победе вы идете
И мощь нелепую свою вы отдаете
Своим мучителям, вот этим королям.
О вы, в составе цифр подобные нулям,
Шагайте, гибните, безмозглые созданья!
А ваши господа пируют в ликование
Средь черных дел своих. Вы грудой мертвецов
Поляжете в траве; оставите отцов
Под небом сумрачным; и голубиным взором
В мир глянут сироты, оплаканные хором
Над колыбелями склоняющихся птиц.
О, скорбь великая! Не будет ей границ!
Так нет же! Встану я меж вами и могилой.
Дрожите! Это я! Я обладаю силой
Над чуждеческой душой повелевать.
Я запрещаю вам друг друга убивать.

О вы, чудовища, сыны мои, о братья,
Друг другу броситься велю я вам в объятия.
Как! Неужели здесь, средь гибельных полян,
В вас оживет Пифон, взревет Левнафан?
О человечество! Вообразишь едва ли,
Чтоб где-нибудь в лесах дерсвья воевали
И, потеряв покой, освирепели вдруг,
В драконьей ярости сцепляя ветви рук,
И смерч вокруг себя заставили крутиться,
Чтоб все смешалось в нем — листва, цветы и птицы.
Вот хаосом таким и стали вы сейчас
Под бурей, что невесть откуда принеслась.
А! Вы опьянены победными мечтами,
Но вы побеждены своими королями:
Их славу на себе любой из вас несет
И их ничтожество. Тень королей идет
За вами по следам. Вас держат злые длани.
Влачите вы ядро, как будто каторжане,
А стражники у вас — тщеславие и спесь.
Освободитесь же, покуда сила есть;
Разбейте эту цепь! Покиньте эти стены —
На них кровавое пылание геенны!
Ложь, злость, тщеславие, невежество — долой!
Мир и согласие! Живите! Кончен бой!
Нет! Не дадим земле тонуть в крови и смраде!
Невинность глупую использовали ради
Преступной выгоды. Не быть орудьем зла
Руке, которая бы пользу принесла!
Львы, тигры, к вам босой пришел я; умоляю:
О, будьте же людьми! Пришла пора такая,
Чтоб дать земле покой, чтоб дать расти цветам,
Колосьям, и лозе, и всяческим плодам.
Да не потонет мир ни в ужасе, ни в горе!
Пусть улыбаются нам розовые зори,
Чтоб люди благодетельными стали, как они;
Пусть в подданство возьмут нас светлой жатвы дни
И колыбели с их живительным качаньем.
Мир людям нескольким мы жертвовать не станем!
Кровь драгоценную не будем лить мы зря.
Не может быть, чтоб вопль хмельного дикаря,
Рев, что лишь адского владыку умиляет,
Поля бы возмутил, где божий свет сияет!

Как! Снова в хижине наденет траур мать,
И руки к небесам заломятся опять,
И снова ужаснет нас белизною мрачной
Мертвец среди полей и под водой прозрачной?
Как! Вдовы, сироты и старцы-бобыли
Вновь будут слезы лить? Страшитесь, короли!
Дела творите вы мрачнейшие такие,
Что услышал господь советы громовые!

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Другое поле битвы. Улицы и площади.

Папа

(появляясь среди сражающихся)

С меня начните! Как! Вы, бедняки, душить
Друг друга вздумали? Хотите завершить
Взаимной ненавистью бедствия сплошные?
Ведь Франции одной вы сыновья родные!
Я слышу: подле вас рыдает эта мать.
Крестьянин, ты пришел рабочих убивать.
Зачем же? Как твоя работа ни зовется,
Он в ней участвует. Единство пусть не рвется!
Велик ваш труд в полях, где род людской взращен.
Ты колос, гвоздь, кирпич, а право — это он.
От славного труда не надо отвлекаться.
Ведь с трудолюбием все больше крепнет братство.
Тот полет огород, другой колосья жнет.
Бог — средоточье бездн; свет разума он льет,
И оживляет он, и оплодотворяет,
И лица потные он одухотворяет.
Труд — высший ваш закон; и свят он! Но сейчас
Не заступ, не пила, а меч в руках у вас.
В чем суть? Опередив крестьянина, шагает
Рабочий; он спешит, грядущему внимает.
Он слишком быстр; другой уж слишком отстает.
Возможно. Бог — судья! Но можно ль, о народ,
Слать души в небеса, и копошиться в тине,
Кровь проливать рукой, презренною отныне,

И заставлять рыдать над крышами набат?
Все — жизнь! Нигде господь не выстроил преград.
Ах, если есть он там, где явь — лишь ось вселенной,
Коль существует цель, порядок неизменный,
И коль звезда чиста, и коль заря не лжет,
И верный друг земле вот этот небосвод,
И если жизнь есть плод, а вовсе не отрава,
И если радостны обязанность, и право,
Долг, и любовь, и труд, — то, чем бы ни была
Небесной молнии мгновенная стрела,
Нет ярости такой жестокой, бесконечной,
Безбожной, варварской, тупой, бесчеловечной,
Которую была б не в силах обуздать
Ребенка малого качающая мать.
Как! Всюду ярость? Как! Повсюду корчи, муки,
Смерть, множество гробов, в крови людские руки?
Как! Солнце ясное, и на цветке росу,
И милый месяц май в сияющем лесу
Тревожит мерзкое зияние могилы?
Ах, если победить вы наберетесь силы,
То много ль радости? Сердца как лед у вас,
И души черными в победный будут час.
Подумать только: чем вы братство заменили!
Бог создал вас, чтоб вы творили и любили,
Растили бы детей у ваших очагов,
А вы умсете плодить лишь мертвецов!
Вы, преходящие, к чему вы так гневитесь
На преходящее? Вы — братья! Примиритесь.
Очнитесь!

Боже мой! Все ускользает прочь,
И уж апостолу внимает только ночь.
Но должен он вещать и в мировой пустыне,
Где бездна для него подобна толпам ныне.

(Он продолжает говорить.)

ГОВОРIT В ДАЛЬ, ОКУТАННЫЙ МРАКОМ

Живите, мыслите, надейтесь на успех,
И к цели двигайтесь, и все любите всех.
Никто не одинок на сей земле. Потребен
Любой для каждого. И ты не будь враждебен,

Богатый, к бедняку; а ты, о голытьба,
Богатому прости. Взаимы дает судьба,
Но не дарит она. И рано или поздно
Уравновесятся таинственно и грозно
Богатство с бедностью. Ублюдочен доход,
Который родился из чьих-нибудь невзгод,
И кривобокое фальшиво процветанье,
Добытое ценой народного страданья.
Зловеще дерево, коль труп вблизи него, —
Страшитесь, короли, тщеславья своего.
Вы, с ним престол деля, души себя лишили
И власти. Звук пустой, что вы Романов, или
Брауншвейг, или Бурбон, иль Габсбург. И не впрок
Вам ваши титулы. Жестокие, как рок,
На стройку пирамид гоняли фараоны
Народ закованный и зноем истомленный.
Что ж в эти глыбищи вместить они могли?
Лишь только бренный прах. О, верьте, короли:
И Сезострис, и Кир, и Александр могучи,
Но суетна их мощь, и быть гораздо лучше
Вот этим бедняком по имени Христос.
Могущественны вы, но как бы не пришлось
О милосердии вопить вам из-за гроба!
Здесь — лесть, но кара — там. Умерьте вашу злобу!
А ты, о труженик, согбенный под ярмом,
Ты, лев, которого считают муравьем,
Терпи, мой друг, и жди. Не вздумай только драться.
Да, да! Ты вправе жить и даже добиваться,
Чтоб плата возросла и труд твой легче был.
Согласен я, чтоб ты однажды получил
От бесконечности, от благ ее огромных
Назначенную часть услад житейских скромных, —
Жизнь боле сносную и даже вместе с ней
Гармонию, любовь, зарю и гименей.
Грядущее — не мрак. Свет в полусне сочится
Сквозь пальцы детские. И можешь ты добиться,
Чтоб справедливые настали времена.
Работа спорится, оплаты ждет она.
Очаг свой защищай, не уступай законам,
Когда лжесвятость их правам твоим законным
Помехой сделалась; ребенку хлеб достань,

Но брата не убий, и родины не рань,
И город не губи, разгром его затеяв.
Ни Вандемьеров, ни святых Варфоломеев
К сиянью своему не хочет идеал
Примешивать! О, свет возвышенных начал!
Надежда не должна быть тщетной и обманной.
Не помещают смерть в Земле Обетованной
Над безобразною клоакою резни.
Палач, кто б ни был ты, кого ты ни казни,
Одно бесчестие твое всегда всплывает —
Стыд победителя. О, люди! Умирает
Свобода бледная, пронзенная клинком.
Да, опозорь себя и всех убей кругом —
Вот славу извлекать возможно лишь какую
Из всех фальшивых дел, затеянных вслепую.
Увы! Невозмутим небес бесстрастный взор,
Нет для него убийц. И в глубине их нор
Оставим палачей. Победу ненавижу,
Коль ноги красные я у победы вижу.
Мне отвратительно, коль может вдруг попасть
Власть в руки мясника и вынуждена власть,
Победу одержав, замазывать тотчас же
Провалы мостовых песком. И стал бы даже
Мне ненавистен рай господень, если б он
Убийством был добыт. Как! Значит, и закон —
Преступник? И прогресс — разбойник? Опасаться
Нам следует весов, где могут оказаться
Те злодеяния, которые творим,
Тяжеле добрых дел, о коих говорим.
О, бойтесь запятнать грядущий день, народы!
Убийце не бывать посланником свободы.
Светило, чей восход разверзнул бездну, — зло.
Не провиденье нам такой прогресс дало,
Коль он, устроив ад, стремится в свод небесный.
Нет солнц, которые равны объемом с бездной.
Смертельных ужасов творить не может суд.
Нет прав, которые убить права дают.
Коль право смерть несет, оно лишь мститель дикий,
И очи демона горят на божьем лице.
Звезда бела, и кровь она не смеет лить.
Добро, чтоб быть добром, должно невинным быть.

И толпы прокляты, и разразились громы
Над одинокими. Покою не найдем мы
Здесь, в мире сумрачном. Как пропасти без дна —
Священники; их тьма кошмарами полна.

Копнешь — все рушится. Взлетаем для паденья.
Тоска смертельная!

Увы, кругом смятенье.
Так много наших грез ниспровергает век!
Так много призраков встает! А человек?
Добыча ночи он. И ей помог священник.
Ведь это человек взывает со ступенек
Ужасной лестницы мучений: «Надо так!»
Плутает род людской вслепую. Через мрак
Мерещится ему лишь дикий пламень бездны.
Итак, все пагубно? Надежды бесполезны?
Жизнь — долг, расплата — смерть, у власти Сатана,
И зло — закон, и всем геенна суждена.

И корчи видел я, и слышал я стенанья.
В глубоком, никому не ведомом тумане
Народы скорбные томятся. Знаю я —
Немилосердны к ним священники, князья,
Министры, книжники, и палачи, и судьи.
О, участь волн милей, чем ваша участь, люди!
Томится океан, но столь не истомлен
Немым дыханием безмерных ветров он.
С небес, где человек хотел бы видеть бога,
Ужасных призраков склоняется там много,
И неизвестности стенания звучат.
«Плачь!» — говорит рассвет. «Умри!» — твердит закат.
Индусов божества из камня всех расцветок —
Как люди голые среди древесных веток,
И Вакх у эллинов хмельной и дикий бог,
И сфинксы нильские и пламенный Молох,
Ваал чудовищный, Юпитер — бог обмана,
И Доминик в крови под сводом Ватикана —
Все угрожают вам! Народы всей земли,
Вы прокляты! В раю — одни лишь короли.

Что им, избранникам, до всех житейских громов?
Глаза презреннейших придворных астрономов
На пышных лжесветил всегда возведены.
Довольны короли судьбой своей. Их сны,
Их пробуждения, их ложа, их забавы,
Кареты их, дворцы и троны их — кровавы.
От них — война. Купил священника тиран.
Талмуд не менее мне мерзок, чем коран,
В провинцию свою ты, цезарь-победитель,
Сегодня превратил небесную обитель.
Лойола гнет народ, но сильным мира льстит;
Факир жестокосерд, и бонзы гнусен вид.
Распятие — меч в руке у Юлия Второго.
Кайафа, в чьей душе кипенье ада злого,
Готов истолковать нам Моисея так,
Как это выгодно Тиберию. О, мрак,
Плач, крики, кровь и пот, мир изнемогший, темный,
Тьма неба, скрытого анафемой огромной.

Любовь и ненависть караются. Как быть?
За то, что родились, за то, что смели жить,
Вы, люди, прокляты! Вы платитесь за это.
Средь грозной ночи сам я не найду ответа.

К чему бросать свой лот в безмерность? Надо мною
Лазурный небосвод стал бездною ночной.
Все, что пришло, уйдет. Лишь скорбь не исчезает.

О, где ж — я спрашивал — надежда обитает?
Порой казалось мне: народы-бедняки
Благословляющей все ж видят тень руки,
И что-то все же есть спасительное где-то...
И вот над страждущим увидел луч я света,
И поглядел я ввысь и понял: луч тот нес
Скиталец благостный, таинственный, — Христос!

ГЛЯДЯ НА МЛАДЕНЦА

Чист взор младенческий, смеется ротик алый.
С незримым ангелом дружит ребенок малый.
О, тайна: он ни в чем еще не виноват!
Все, что избранники здесь на земле творят,

Не стоит и одной возвышенной улыбки
Младенца этого. Дивится он из зыбки
На все и любит всех. Ни пятнышка на нем,
И этой ясностью затмил он все кругом.
Он чистой свежестью нам жажду утоляет,
И рубит все узлы, и жар наш утишает.
Глаза прекрасные лазурностью полны.
Из эмпирея к нам, из дивной глубины
Является дитя. Когда б заговорило,
Могло б по именам назвать нам все светила.
И, глядя на дитя, мы на себя глядим,
Задумчиво себя мы сравниваем с ним,
И всех умнее тот, кто, вспомнив прегрешенья,
Перед невинностью склонившись на колени,
Захочет всей душой, всем сердцем одного —
Чтоб это нежное дышало существо.
Ему все сущее внимает. Шлет укоры
Оно порой тому, что тешит наши взоры,
И даже небесам, коль тьма в них все же есть,
И даже святости, поддавшейся на лесть.
Ребенок чист. Пред ним не вправе быть мы злыми.
Лепечет нежно он. Но криками своими
Мы песнь его глушим. Во мглу мирских смерчей
Вмешал он свой зефир. Хватило бы лучей
Его сиянию, чтоб укротить сердца нам,
Но мы кичливы, злы, и нет конца обманам;
Мы не стесняемся невинности святой.
И все же на земле не кончен век златой —
Прекрасная пора, век Реи и Сатурна:
Есть детство все-таки, хоть и грохочут бурно
В своем неистовстве железные века,
И беспощаден меч, и цепь еще крепка.

Вы — радость, между нас блуждающая, дети.
Растите счастливо, резвясь на этом свете!
Венчает слабость вас трепещущим венцом.
Для вас — весна! Без вас и день бы не был днем.
Так пойте! Но судьбе порой как будто жалко,
Что угрожает вам земная эта свалка,
И вот, чтоб избежать лишений и обид,
С благоуханием цветов душа летит
Обратно в небеса, в лазурный свод бездонный.

Когда безвременно умрет новорожденный,
Природа в трауре — скорбит она по дням,
Которые прожить предназначалось вам.
И зори ясные тогда роняют слезы:
Вас к братьям-ангелам вернули сестры-розы.
Не только в саване крыло заключено,
Но и в пеленках есть младенческих оно!
И это в сущности совсем одно и то же.
О нежные друзья, взлетите ввысь, но все же
Останьтесь! И тюрьма, ниспосланная нам,
По вашей милости да превратится в храм!
Подайте нам пример: молитесь и любите,
Невинно веруйте, без ярости живите...
Душа несчастная, что сделала ты с той —
О милостивый бог! — великой чистотой,
В которую была облачена от века?

ЭШАФОТ

Судья на возвышении. Приговоренный, связанный веревками. Палач
с топором в руках В глубине — толпа.

П а п а

(глядя на эшафот)

Не понимаю...

С у дья

Знай, священник: человека
Убьет здесь человек...

П а п а

Злодейство!

С у дья

...ибо он

Убил, и потому казнит его закон.
Понятно?

П а п а

Да. Закон творит здесь преступление.

Судья

Законы осуждать как смеешь ты?

Папа

Паденье!

Судья

Священник, чти закон!

Папа

Чти господа, судья!

Непостижимости иного бытия

Вот этот зримый мир — огромное признание!

Голоса в толпе

Убил! — Убить! — Отмстить! — По праву! —

По писанью! —

Эй, друг палач, руби!

Папа

(осужденному)

Итак, ты смерть принес...

А что такое смерть?

Убийца

Как знать!

Папа

(палачу)

На мой вопрос

Ответишь ли, палач?

Палач

Откуда знать мне это?

Папа

(судье)

Судья, перед лицом встающего рассвета

Ответь: что значит смерть?

Судья

Не знаю я.

Папа

Увы!

Судья

А мне-то что?

Папа

За меч, за смерть беретесь вы,
Хотя не знаете вы, что она такое.
Несчастливы вы и злы. Оставил за собою
Бог своего раба. Не пробуйте отнять!
Не вы построили, не вам и разрушать.
Вы вправе лишь сказать вот этому злодею,
Который только сам и знает, что содеял:
«Убил? Живи и знай, что бог тебя сразит».
О! Небо чувствует невыразимый стыд
При виде вашего глубокого паденья,
И сводит эшафот оно и преступленье
На ставку очную: и оба полны зла.
Хотите вы, чтоб кровь законно потекла.
Рукой свободного убийцы вы готовы
Из жизни вышвырнуть убийцу рокового,
Создав в противовес убийце палача,
Смерть обнажив во мгле, как лезвие меча!
Бог сделал смерть святой, вы сделали — греховной.
Насилье мрачное. Есть бог — судья верховный.
Рвать бесконечности завесу, чтоб злодей
Стал жертвой! Вот она, чудовищность людей:
Брать с изверга пример! Одни злодейства стали
Причиною других. Ужель так низко пали
Вы, люди скорбные, что и закон, увы,
Лишь продолженье зла, в каком погрязли вы?
Нагую гоните вы душу человеческую
Навстречу вечности: ужасна эта встреча!
Так душу обнажать, судья, запрещено:
Ища пристанища, она пойдет на дно.
Мы слепы. Бог ведет нас всех: тьмы покрывалом
Прикрыл он лица нам. Недаром же не дал он
Нам быть прозрачными. И этот саван — плоть —

Слетает с нас тогда, когда решит господь.
Усталой старости кратчайшие мгновенья
Бог для раскаянья нам дал, для размышленья.
А умерщвлять так вдруг — великая беда!
Кто б ни был ты, но бог — незрим и добр всегда —
Сам бездну вечности пред нами отверзает.
Он может! Всех, кто пал, к себе он принимает,
Задумчивый творец. А что закон земной?
Мы, бранные тела с бессмертною душой,
Под звездами небес расстлались темнотою.
Я тайна для себя. Господь лишь знает, кто я.
Не вправе маску снять со своего лица
Ты, человек; не тщишь перехитрить творца.
Как! Прерываете вы бытие земное,
Захлопнув наугад окошко роковое?
Но знайте: умерший родится где-то вновь.
Вновь! Ужас этих слов пусть леденит вам кровь,
О бледные творцы чернейшего злодейства!
Вам ясны судьбы душ?

(Указывая на осужденного.)

Чтоб накормить семейство,
Задумал он убить. А вы сытей его!
Вы убиваете его. А для чего?
Чему же собственно вы радуетесь, люди?
Что схожи сделались и зло и правосудье?
Смерть, птица дикая! Кто вымерит размах
Твоих могучих крыл на суше и морях?
Ты белое крыло возносишь в мир надзвездный,
А сумрачным крылом коснулась адской бездны.
Что знаем? Библия священника страшит,
А разум наш, увы, беспомощно скользит
Лишь по зловещему пределу вероятий,
И совесть узницей томится в каземате.
В поступках ваших дать не можете ответ.
Падение во тьму вы наблюдали? Нет,
Вы не имеете об этом представленья.
О, это темное, огромное паденье
Во тьму крошечную, в ее отверстый зев,
Где бесконечностью кипит неясный гнев!
Представьте же себе: летит приговоренный,
И руки страшные расставил мрак бездонный.

О, скорбь! Святой покой как смеешь нарушать
Ты, смертный, чей удел — лишь терпеливо ждать?
Кричит небесному земное правосудье:
«Я только праведно!» О, верьте старцу, люди, —
Мы только плевелы, и еле виден нам
Серп; а рука жнеца, который где-то там,
В глубокой темноте, что будущим зовется,
И вовсе не видна... Но увидеть придется!
Казнить вот этого?.. О, небо! Плачу я.
А что он мне? Кто он? Лишь бог ему судья!
Убить, не выяснив, кто этот, над которым
И небо благодное медлит с приговором!
Вы точно взвесили намеренья свои?
Все ль ясно для тебя, премудрого судьи,
И для тебя, народ немилосердный? Крылья
Раскинет тот, кого толкнули вы к могиле.
Но смерть насильственная может породить,
Быть может, ястреба, — голубку, может быть.
А вдруг невинен он? Терзали вас сомненья?
Быть может, будет взлет, а вовсе не паденье,
И вашему суду могила даст отпор.
Чем перед господом ваш будет приговор?
Коль вы не знаете, так осторожны будьте.
Земля — песчиночка средь безграничной мути
Соседних с нею бездн, туманностей, глубин;
Но лишь затронете вы атом хоть один —
И содрогается тогда вся бесконечность.
О, величайшую творит бесчеловечность
Род человеческий, безумен, исступлен:
Уравновесил он злодейство и закон!
С холодной вышины глаза следят за вами:
Не ждите, чтоб они наполнились слезами.
Есть соглядатаи! Внимательно глядят!
Не возмущайте их убийством наугад.
Ведь скажут: стали мы неистовства рабами.
Куда бросаем, что? — Не ведаем и сами,
Что именно пожрать должна немая тьма.
Ах, покушения прискорбные весьма —
Бросать в неведомое то, что неизвестно!
Зачем усугублять оцепененье бездны
Звучаньем топора и гнать куда-то прочь
Неведомую тень в неведомую ночь?

Молитве — созерцать, а знанью — быть упорным,
Искать. В монастыре святой Минервы черном
Был суд. И от кого ж отрекся Галилей?
От бога! Видит бог томление людей.
Пусть глубочайший мрак распространен над нами —
Миры спасаются обменными огнями;
Хоть небо столь темно, что счета безднам нет,
Но шлет звезда звезде сквозь эти бездны свет.
Немирна и лазурь — бывают там заботы
И бедствия свои. Порою звездочеты
На тверди золотой усматривают вдруг
Смерть солиц. Падучих звезд вещает нам испуг,
Что где-то в страшной тьме зенита, нам чужого,
Заря последняя рассеяться готова.
Все знает лишь господь, вполне определив
Неведомый прилив, а также и отлив.
Мир только облако, и ветры, что колышут
Такое облако, своим порядком дышат.
Ученый спросит: «Как?», мыслитель: «Почему?»
Во тьму ушел ответ, непостижим уму.
Тьма — нисхождение чудес. Мы увидали
Лишь неизвестное. Но это навсегда ли?

О правосудии взывает эта мгла.
Нет бури, что б смести с небес ее могла.
И вот поэтому, о пастыри людские,
Должны предпринимать мы действия такие,
Чтоб человек был добр и в смутные часы,
Когда в руках творца колеблются весы.

ВХОДЯ В ИЕРУСАЛИМ

Да слышат Рим и Мир! Народ, войны не надо!
Междоусобья — прочь! Казнимому — пощада!
Под небом голубым Свободу обретем,
Пред Смертью — Равенство, и Братство—пред Отцом!
Любите! Сильные, слабейших поддержите.
Вредящих вразумим. Калечащих лечите.

Мир и прощение! И снисхождение к злым.
Ведь вправе добрые прийти по-братски к ним.
Что пользы в чистоте, коль чистый позабудет
Про заповедь любви? Не солнцем солнце будет,
Коль тиграм и волкам в сиянье даст отказ.
Разоружение великое сейчас
Я вам показываю в небе. Наблюдайте
Звезду, зарю, лазурь, закон и мир. О, дайте
Раскаянью расцвести! Уймьтесь, палачи.
Задумайся, судья. Ты, Каин, жизнь влачи.
У тех, кто без Вчера, хоть Завтра не отыщем —
Пусть право каяться останется за ними.
Чем кротче наши сны, тем выше духа взлет.
Так сейте! Богачи — богаче от щедрот.
Нужда — не ненависть. Вы, бедные, любите
И во спасение любовь употребите.
Как траур ни глубок, надежда быть должна,
И тьма как ни черна, а все ж небес полна.
О, ненависти вихрь! Темны его порывы.
Любить, любить, любить по-братски все должны вы.
И вот, лицом к лицу с безумцами побыв,
Уменьшив зло земли, купели дно омыв,
Священник средь владык и средь народов нищий,
Я, возлюбивший скорбь и бедные жилища,
Задумчивый старик, бредя в крошечной мгле,
Пришел к тому, что даст увидеть на земле
Всю меру господ, который — в человеке:
Вам оставляя Рим, беру себе навеки
Я Иерусалим. Достойней не найти
Мне места, чтоб к творцу молитву вознести.
Там, в Капитолии, лишь призрак, а душою
Здесь, на Голгофе, я. Здесь стал я сам собою.
Здесь ангел и святой считают, что я прав,
Покинув цезаря, Христа взамен избрав.
Из мглы, где трон погроз, к кончине, как к вершине,
Помогут мне взлететь орел с голубкой ныне.
Я сердца твоего величье, Иисус,
Познал — и вот слугой гробницы становлюсь.
Я саван полюбил и пурпур ненавижу,
Но в жизни я живу, а вы, князья, как вижу,
На черных костяках престолы возвели.
Прах — всемогущество земное, короли!

К надежде человек рукою потянулся,
Другой рукою к злу он тянется. Споткнулся,
Вновь подымается, торопится, бежит...
И понимаю я, что быть мне надлежит
Поддержкой для людей; они изнемогают.
Я буду светочем для всех, кто пролагает
Для человечества пути вперед. Всех вас
Зову итти вперед. Мрак умер. И сейчас
Тепло грядущего мы чуем. Легче стало!
Друг друга мы нашли. Искали мы немало.
Сквозь жуткий сумрак душ пришел я к вам, друзья.
Я вам сказал: «Я день. Для вас рождаюсь я».
Итак, я к вам иду, и вы ко мне стремитесь.
Мирского подвига сподвижники, трудитесь.
Пусть вечно молоты по наковальне бьют.
Будь чист, и праведен, и кроток, добрый люд!
Все заняты святой, великою работой.
Священник — молится. И полон он заботой
Любовь в мольбе излить, чтоб в вас вошла бы вновь
Она. Любите же! Вас озарит любовь.
Мир оскорбляет тот, кто солнцу тьмой ответил.
Бог создал истину, и долг, и добродетель,
Чтоб темное нутро людское озарить.
Когда лазурь чиста, не следует скорбить.
Так пусть под полною незримых взоров бездной,
Отнюдь не менее, чем небо ночью звездной,
Сияет целый сонм ликующих сердец!
Любите. Мир вам всем!

Люди

И мы тебя, отец,
Благословляем.

Бог

Сын, прими благословенье!

СЦЕНА ВТОРАЯ

ПРОБУЖДЕНИЕ

Ватикан. Папская спальня. Утро.

П а п а
(просыпаясь)

Ужасное меня томило сновиденье!

ИЗ КНИГИ

«ЧЕТЫРЕ ВЕТРА ДУХА»

1881

Сатира нынче — песнь, с которой крик сплетён,
 Железные уста, откуда рвется стон.
 Она совсем не та, какой была когда-то,
 В те дни, как, щуплые и робкие ребята,
 В Сорбонну строгую ходили мы, и в срок
 Нам, плохо слушавшим, толкуя свой урок,
 Как будто нить сучил, тянущуюся тонко,
 Невзрачный Андриё с облищем лягушонка,
 Макбета, Гамлета покусывая зло
 Зубами, взятыми у мэтра Буало.

В наш век тревожный жизнь — все путаней, труднее,
 И правда голая зовет, во тьме коснея,
 На помощь ум — с тех пор как с ложью роковой
 Она вмурована в колодец узкий свой.
 К нам в душу, после дней Жан-Жака и Дантона,
 Тьму возвращает рок — упорно, непреклонно;
 Долг с Правом сражены; свой слабый луч с высот
 Дракону черному трусливо солнце шлет;
 Старинный компас — честь швыряют люди в море;
 Льстит победителю поверженный в позоре;
 Удача — вот словцо, что движет мир собой;
 Удача — падишах; его визирь — разбой;
 Вновь опьянение бесчестьем ввертелось
 И чокаться спешит с тиранами, за милость
 Их вознося, и вновь пьет чашу мук до дна
 Народ истерзанный. Вот почему гневна
 Сатира. Сонм царей, чье гордое величье

Пел Буало, родит в ней только злословье;
Им ставит всем на лбы позорную печать.
Помост, что исподволь потребно разобрать,
Законы гнусные, что, букву соблюдая,
Стоят на страже плах, — зловещих гарпий стая, —
И что лишить когтей нам должно, укротя:
Невежеством в кулак зажатое дитя,
Что, птица вольная, крылами плещет слабо,
И часовые те, что нам сменить пора бы, —
Зло, заблуждения, чудовищ римских строй,
Хранящий вход в тюрьму, где разум спит людской;
Война, чьи коршуны — с чумой в союзе вечном,
Затычки, что должно из ртов людских извлечь нам,
Чтоб слово дать скорбям; рожденье новых дней —
Таков прямой предмет сатиры; долг, что в ней
Гнев с горечью крутой сплавляет в гром железный
И делает ее для общества полезной.

Чтоб утвердить закон добра и правоты,
Достаточно того, чтоб ясные черты
Явь обнаружила и в горизонт широкий
Изгнала жуть ночей. Величье, грязь, пороки —
Все перемешано, покуда длится ночь,
И фальшь от прямого нам отличить невмочь
В безмерной темени, двусмысленной и злобной.
И что такое луч во тьме? Он — камень пробный.
Свет испытует все, чем мир издревле жив,
И, справедливости вершину озарив,
Сияет истина у заревых преддверий.

Итак, свет Истины, Ума и, в большей мере,
Во гневе Доброта и Жалости тепло,
И злость прощенная, но поправленное зло —
Вот все, что делает дней нынешних сатиру,
Как в Риме в старину, необходимой миру.
Но не профессия, не каста ей нужна,
А человек. Казнит не вздорное она,
А только подлое, чья сила не иссякла.
Для малых подвигов — и малые Гераклы;
И сделал Дебрео насмешливый — что мог.
К былому карлику ей больше нет дорог.
Когда воруют власть пройдохи, попирая

Права народные, — от края и до края
Она летит сквозь мрак и грохот катастроф,
Бледна и велика, средь урагана строф.
Она кричит: «Ату!» своей ужасной своре,
И, гончих псов своих крылатых раззадоря,
Она всех деспотов им растерзать велит.
Отчаянье царям ее внушает вид.
Она — как приговор для венценосных бестий;
Как птица по весне, она по зову чести
Является, и с ней друзья во дни разрух —
Иосафата страж и Эльсинора дух.
Она мерещится безумьем одержимой —
Так полнит небо вопль ее невыразимый.
Чтоб рваться ввысь ему и ширить свой полет,
К себе приворожить ей нужно весь народ,
Огромный, яростный, не знающий пощады.

Она Колумбу вслед со скал бросала взгляды.
К тебе ее любовь, Барбес! И свой виват
Вам шлет она, Фултон, Браун, Гарибальди, Уатт,
Сократ, Христос, Вольтер! Из ямы позабытой,
Где погребен мертвец, делами знаменитый,
Она выводит сень лаврового шатра
И побежденному, как добрая сестра,
Спешит перевязать запекшиеся раны.
Всех проклятых семья душе ее желанна,
И всех отверженных она целует в лоб,
Хоть пошлый приговор выносит ей холоп;
О да, ведь смертный грех в глазах злодейской
власти —
Не ликовать, когда собратьев рвут на части,
Тянуться к пленникам, касаться их плеча;
Кто жертву пожалел — унизил палача!

Она печальна? Нет, в ней гнев сильнее печали.
На праздник буйный к тем, что восторжествовали
И низостью своей довольны, там и сям
Возносят без стыда осанну небесам,
Поют и пляшут, рвут добычу плотоядно, —
Приходит и она. Туда, где мглою чадной
Клубятся пиршества, туда, в хаос и жар,
В которых смешаны Книд, Пафос и Клармар,

Неумолимая, за кровь и за обиды
Она приносит смех зловещий Эвмениды.

Но мощь безмерную дает ей жизнь одна.
Стремится ночь стереть и смерть изгнать она,
Хотя б любимца толп пришлось толкнуть ей грубо.
Она — нежна в любви и в гнев — острозуба.
Как! Отречение — покойный пуховик?
Не просыпается людская совесть вмиг,
И пламень чести вял — он прячется бессильно
Под грудями золы, как под землей могильной.
Возмездья божество, чьих песен грозный пыл
Не раз в безумный страх тиранов приводил,
Ожесточенная, язвительная муза,
Богиня — красотой, свирепостью — Медуза, —
Она, взрастившая все то, что Дант нашел,
И все, что Иову открылось в бездне зол, —
Такая ж и когда побольше в ней порыва
Будить сердца, чем зло наказывать ретиво.
Народ, немеющий средь мертвенного сна,
Тебе свой горький ямб от сердца шлет она!
Дрожит строфа, полна трагического рвенья,
Краснея, силится из мрачного забвенья
Извлечь, упорная, хоть искорку в ответ,
И — вспыхивает стих, преображенный в свет.
Так в сумраке лицом краснеют, раздувая
Поленья, чтоб зажглась в них ярость огневая.

26 апреля 1870

Раз существует мир, то с ним считаться надо.
Давайте ж говорить о людях без досады.
Вот это — наших дней мещанский идеал.
Когда-то мыло он и сало продавал,
Теперь же у него сады, луга, дубравы.
К народу он жесток. Дворянство он по праву
Не любит, будучи привратника сынком
И род Монморанси считая пустяком.
Строг, добродетелен, он член незаменимый
(С коврами под ногой, когда приходят зимы)
Великой партии порядка. Кто умен
И кто влюбляется, тех ненавидит он.
Немного филантроп и ростовщик немного,
«Свобода, — он кричит, — права людей, дорога
Прогресса светлая? Не надо мне их, вон!»
Да, здрав, и прост, и груб, как Санчо-Панса, он,
Сервантес же пускай кончины ждет в больнице.
Он любит Буало, не прочь обнять девицу,
Развлечься с горничной и, смяв передник ей,
Кричать: «Безнравственны романы наших дней!»
Он мессу слушает всегда по воскресеньям.
В сафьяне дорогом и с золотым тиснением
Подмышкой у него Голгофа и Христос.
«Не то чтоб этому я верил бы всерьез, —
Твердит он, — но затем вхожу я в храма двери,
Чтоб сброд уверовал, увидев, что я верю;

Чтоб одурманен был голодный и глупец.
Какой-то боженька ведь нужен наконец».
Дорогу! Входит он. На месте самом видном
Церковный староста с животиком солидным;
Сидит он, гордый тем, что все уладить смог:
Народ на поводке и под опекой бог.

**НАПИСАНО НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ КНИГИ
ЖОЗЕФА ДЕ МЕСТРА**

Зловещий храм, сооруженный
В защиту незаконных прав!
По этой плоскости наклонной
Алтарь скатился, бойней став.

Строитель жуткого собора,
Лелея умысел двойной,
Поставил рядом два притвора:
Для света и для мглы ночной.

Но этот свет солжет и минет;
Его мерцанье — та же мгла,
И над Парижем Рим раскинет
Нетопырные крыла.

Философ, полный жаждой мести,
Своим логическим умом
Измыслил некий Реймс, где вместе
Сидят два зверя за столом.

Хотя обличья их несхожи:
Один — блестящ, другой — урод,
Но каждый плоть народа гложет
И кровь народа алчно пьет.

Два иерарха, два придела:
В одном венчает королей
Бональд; в другом де Местр умело
Канонизует палачей.

Для тирании нет границы —
Ее поддерживает страх.
На тронах стынет багряница,
Стекающая с черных плах.

Один царит, другой пытается.
Давно я знал, что будет так.
Ведь шпага с топором вступает
От века в незаконный брак.

ПУСКАЙ КЛЕВЕЩУТ

Как, чернью оскорблен, уж ты глядишь уныло!
Не знаешь, видно, ты простой улыбки силу!
Когда освистан ты, оплеван, уязвлен
Глупцами темными, поправшими закон,
Сто раз менявшими занятия, роли, веру,
Ты клеветой шутов расстроен свыше меры,
Ты омрачаешься, теснится грудь твоя
От ядовитых слов продажного хамья.
А я, смотри, один посереде арены
Смеюсь, обрызганный слюны их злобной пеной.
Иду. И крут мой путь. Но вера глубока,
Что нынче в этом честь и слава — на века.

О, ты, конечно, знал, что с гордой высоты
Падешь, но как падешь, о том не ведал ты!
Ты утешал себя предположеньем ложным,
Что вниз тебя толкнут движеньем осторожным,
Что тихо, в сумерках, сместит тебя народ,
Что гром не на тебя, а рядом упадет,
Что все произойдет тихонько, под секретом,
И будет послан друг сказать тебе об этом, —
Так вазу ценную на землю ставим мы.
И ты заранее, в стране, где нет зимы,
Воздвиг себе дворец, подобный виллам Рима,
И ложе мягкое, чтоб падать невредимо.
Но в полдень на тебя упал небесный гром,
Блеснула молния на небе голубом,
При людях, в ясный день, стрела слетела свыше,
Ошеломив тебя, как рухнувшая крыша.
А те, пред чьим лицом ты был повергнут в прах,
Объяты ужасом, застыли на местах;
И, распростертое твое увидев тело,
Шептали мудрецы: «О, как же ослабела,
Как измельчала власть, когда ничтожный крот,
Рожденный в прахе жить, упал с таких высот».

Да, пушки делают счастливыми людей.
 Освободились мы от взбалмошных идей:
 Свобода, равенство, естественное право
 И Франции родной призвание и слава.
 Сократ безумцем был. Лелю его разнес.
 Социалистом был, скажу я вам, Христос,
 И вознесли его напрасно так высоко.
 Ядро, как бога, чтим, Пексана — как пророка.
 Цель человечества — пристойно убивать.
 Лишь меч несет с собой покой и благодать.
 Ядро с нарезкою, как чудо, всех пленило.
 Свет бомбы разрывной — вот дивное светило!
 И весь порядочный и весь достойный мир,
 Любуясь пушками, в восторге от мортир.
 Ошибся, видно, бог — тиран его поправил:
 Бог людям слово дал, тиран молчать заставил.
 Опасен, дерзостен излишек слов и дум;
 Уста должны молчать, и пресмыкаться — ум.
 И духом гордые склоняются, робея.
 «Молчать!» — кричит война, и все дрожит пред нею.

Мне отдохнуть? О нет, не может быть об этом
 И речи до тех пор, пока владеют светом
 Коран, и Библия, и Веды, и Талмуд,
 Пока кровавые обряды нас гнетут.
 Легенда, сказка, миф, и страшные преданья,
 И предрассудков тьма, гнущая сознание,
 Я слышу, роются во глубине сердец.
 Грифон, химера, сфинкс и золотой телец,
 Вы, демонов князья, и вы, жрецов владыки —
 Синод, синагог, муллы, старейшин клики,
 Вы, посылавшие в неправый бой солдат
 И подмешавшие в вино Сократу яд,
 Наймиты кесаря, платившие Иуде,
 Вы, лицемерные, продавшиеся люди,
 Вы, павшие с небес, чтоб демонами стать,
 Вы все, что на кресте распяли бы опять
 Христа, — повсюду вы! Подземных сил держава!

Ничтожен ваш укус, но в нем была отравка.

Бог — это истина, а догмы — догмы лгут.
 Противоречие, которое, как зуд,
 Терзает разум наш и жжет сильнее ожога,
 Неизлечимая и вечная тревога...

О, Магомета труд! Старанья гнусных сил!
 Лойола начал их, а Уэсли завершил.
 Кальвин оставил нам дымящиеся раны.

Пророки ложные, фигляры вы! Обмана
Полны, идете вы по непрямым тропам,
И страх, а не любовь законом служит вам.
И образ божий вы бессмертный исказили;
Вы зарождаетесь в крошечной тьме, в могиле;
Все прорицатели, как злое воронье,
У гроба черпали могущество свое;
И все восточные и римские факиры
Сумели баснями затмить рассудок мира,
Лобзая саваны, вздымая прах могил.

Бог виден лишь очам заоблачных светил,
И учат мудрецы, постигнувшие это,
Что с верою должны смотреть мы на планеты.
Бог замкнут в некий круг, чей ключ — в руках зари.
Молящийся творцу, на небеса смотри!

«Но нет, — кричат жрецы, — свершайте в храмах
требы!

Не мыслите читать в открытой книге неба.
Астарта с Евою, Венера и Молох —
Вот ваши божества, а не единый бог!»
Так суеверий мгла пришла на смену веры,
Затмила разум наш своею дымкой серой,
И гадов множество во мраке развелось.

Храм веры истинной разрушил в прах колосс,
В котором без числа заключены пигмеи.
Так саранча страшна бессчетностью своею.
О Рима, Индии, Израиля жрецы,
Вы расползаетесь ордой во все концы,
Грызете род людской невидимо для взгляда
И открываете ему все муки ада,
И за кошмарами вы шлете вслед кошмар
На бедный род людской. Едва исчез Омар,
Как Торквемады тень уже грозит. Вы рады
Полнощной темноте и в ней кишите, гады.
Вы всюду на земле: в глуши лесов, полей,
На ложе брачных нег, в альковах королей,
Под сенью алтаря, во мраке тесных келий —
Вы всюду расползлись, проникли, зашумели,
Вы всё умеете: хватать и осуждать,

Благословлять и клясть, господствовать, блистать,
Ведь пресмыкательство для блеска — не помеха.
Шуршанья вашего везде я слышу эхо.
Впились в добычу вы (вот счастье для обжор!),
Вы называете друг друга «монсиньор».
Так мошкара зовет «сиятельством» москита.
Ничтожен ваш размер, вам служит ночь защитой,
И вы стараетесь подальше скрыться с глаз,
Но всюду в глубине угадываю вас.
Вы — как шахтеры мглы, что под землею скрыты;
От ненависти к вам я болен, паразиты.
Вы — зла плоды, вы — то, что нас язвит, что лжет;
Вы — копошащийся, жестокий, мрачный род;
Неуловимые, вы — как песчинки моря,
Что чудом ожили на всем земном просторе.
Миллионы и нули, ничто и все — вот вы.
Вы меньше червяков, и вы сильнее, чем львы,
О как ужасны вы в чудовищном контрасте:
Нет карлика слабей и нет обширней власти!
Мир вам принадлежит. Во мраке, вы во всем,
Неисчислимы в грядущем и в былом;
Вы в вечности, во сне и на бессонном ложе.
Полны зловония, во мгле, на нашей коже
Переплетаются следы от ваших ног.
И всё растете вы. С какой же целью бог
Все отдал, — не пойму, — все государства мира,
И очаги селян, и храмы, и порфиры,
Супругов, девственников, кудрявых малышей,
Весь род людской — во власть неисчислимых вшей!

Хотим как боги быть. Твой бог — понтифик Рима —
Он собственных детей пожрал неумолимо.
Твой бог Авгур — он врал; твой бог мулла — он лечь
Заставил целый мир под Магометов меч;
Бог Рима агнец был, но вскормлен был волчицей.
Доминиканцев бог с карающей десницей
Восторженно вдыхал костров ужасный чад;
В кровавых капищах свершали свой обряд,
Подобно мясникам, жрецы Кибелы дикой;
Брамин, твой темный бог бежит дневного лика;
Раввин, твой бог восстал на Иафета род
И солнце пригвоздил среди немых высот;
Бог Саваоф жесток; Юпитер полон злобы;
Но как устроен мир, они не знают оба.
А человечеству свободный выбор дан
Пред кем склониться ниц: здесь блеет истукан,
Там идол рыкает, тут божество заржало.
Так каждый человек, в стремление к идеалу,
Жесток, коварен, зол, невежествен, упрям,
Чтоб уподобиться по мере сил богам.

4 августа 1874

О муза, некий поп, епископ, весь в лиловом,
 По имени Сегюр, ночным на радость совам,
 Тупой риторикой обрушился на нас.
 Что ж, как игрушками, набором злобных фраз
 Пускай он тешится, в нелепом заблужденье,
 Что это — гром небес.

А впрочем, сожаленья
 Достоин, бедный, он. Однажды, как овца,
 Он, блея «Господи помилуй» без конца,
 На гуся гоготом бессмысленным похожий,
 Воскликнул: «Зрения лиши меня, о боже!» —
 Как будто для него и так не всюду тьма, —
 И внял ему господь, лишив его ума.

Да, обругать у нас умеют тонко ныне.
 Лишь сажу надо взять для этого в камине,
 Навоза на дворе, в трубе для нечистот
 Зловонной грязи взять, — и это все сойдет
 За ум, за слог, за стиль. Все это нынче модно.
 Любезные муллы! И вам оно доходно,
 И рад усердному служению аллах.
 В бессильной злобе вы и с пеной на губах,
 Улыбку заменив речей поповских ядом,
 Не смея нас изгнать, вы нам грозите адом,
 О бонзы милые, подъявши кулаки,
 Вы зубы скалите, вращаете зрачки!

Простил бы это я. Но заклинать стал беса
Во мне Сегюр. А там?

Там, прерывая мессу,
Кричит: «Анафема!» и в красках мой портрет
Рисует:

«Вот он, зверь, каких не видел свет!
Он хочет сжечь Париж, разрушить стены Рима, —
Страшилище, урод, развратом одержимый,
Он, разоряющий издателя, главарь
Бандитов; может быть, и бога, и алтарь,
Святыню, и закон — поправший все ногами».

Так в унисон ему давайте выть волками,
Начнем ослиный рев. — Так сам Сегюр ревет.
Что у него за слог! В нем каждый оборот —
Базарный, дивный стиль! Он обдает вас дрожью,
Приводит вас в экстаз и тонко пахнет ложью.
Как стали бы, аббат, смеяться над тобой
Рабле, Мольер, Дидро. Двоится образ твой, —
Сам дьявол, видимо, старался над картиной:
Не то епископ ты с тряпичника корзиной,
Не то тряпичник ты, но в митре. Антифон
Прелестен, если вдруг со злобой прерван он:
Аббат — и сердится!.. Ну что ж, судьба судила,
Чтоб каждый пострадал от своего зоила:
При Данте Чекки был, с Вольтером был Фрерон.
Вдобавок этот стиль продажен. Стоит он
Шесть су с души. Глупцов орава захотела
Смеяться челюстью своей окаменелой.
Их надо забавлять. Ряды их всё растут,
И все церковников оплачивают труд.
Всегда наполниться пустой сосуд стремится.
Во всем, везде инстинкт. Как пчелка в улей мчится,
Как Борджу привлекли Лукреции глаза,
Как ищет волк козу и клевера — коза,
Как нежный Алексис любезен Коридону,
Так глупости творит, как будто по закону...
Сегюр.

О муза, тот, кто истинный мудрец,
Мечтая, слушая, смягчится, наконец,

И, глядя на людей, измерив все людское,
Не к озлоблению приходит, а к покою.
Да будет так, аминь.

Но к делу перейдем.

Лучи святых даров горят пред алтарем,
Но радуюсь ли им, как солнцу? В день воскресный
Пойду ли я к попам в толпе молиться тесной?
Вошел ли я хоть раз в исповедальню их,
Чтоб тихо о грехах рассказывать своих?
Порочил ли я сам свои же убеждения
И бил ли в грудь себя в порыве исступленья?
Закоренелый я безбожник наконец:
Я сомневаюсь в том, что любит бог-отец
У адского огня погреть порою руки;
Не верю я, что он, во славу вечной муки,
В людей—глупцов, невежд, тупых, лишенных сил—
Непоправимое, греховное вложил;
Что сунуть чорта в мир пришла ему охота,
Что мог он всех спасти и в ад замкнуть ворота,
Что инквизитора нарочно создал он,
Чтоб сотворить того, кто должен быть сожжен,
Что мириады солнц, сверкающих алмазом,
В один прекрасный день вдруг упадут все разом.
Поверить не могу! Когда в полночный час
Горит Медведица, не верю, что на нас,
Как потолок, падет небесная громада
И семизвездная обрушится лампада.
Читал я в библии, что рухнет небосвод;
Но ведь наука же ушла с тех пор вперед.
Стал басней Моисей; и даже обезьяны
Не ждут теперь с небес к ним падающей манны.
И получается, что шимпанзе в наш век
Сообразительней, чем древний человек.
Твердить, что папа — бог, простое суесловье.
Люблю я готику, но не средневековые.
В искусстве пусть живут и догмат и обряд,
Но ненавижу их, когда разбой творят,
Влекут к преступному, пугают чертовщиной.
Прочь, злые идолы! Нужней, чем ладан, хина!
Когда игуменья монашке молодой

Прикажет, как ослу, питаться лишь травой,
То пыткой голодом назвать я это смею.
И мне цветущий куст огней костра милее.
Люблю Вольтера я, но полюбить не смог
Ни Купертена стиль, ни Кукуфена слог.
Святых Панкратия, Пахомия я знаю,
Святой есть Лабр и Луп, но всем предпочитаю
Я стих Горация. Таков мой дерзкий вкус.
Когда же флореаль от долгих зимних уз
Освободит поля, и стих мой, словно пьяный,
Помчится по волнам шалфея и тимьяна,
И в небе облаков зардеются края, —
То в бога запросто, по-детски верю я.

И одновременно как я душой болею,
Что всюду вокруг меня не люди, а ливреи,
Низкопоклонники, несчастные, шуты,
Здесь — ложе пурпура, там — тряпки нищеты.
Мой бог не грозный Зевс, не Иегова суровый,
К нему, перед лицом страдания людского,
Взываю я, боец, до белой головы
Доживший, в сумраке кричу ему: «Увы!
На побережье людского океана,
Куда прилива час приносит из тумана
Кипящие валы, седую пену вод,
О, кто же в этот мрак народам принесет
Парижа молнию иль Франции сиянье?
О, кто же, как маяк, зажжет им упование?»

Я не святоша, нет, и в том вина моя,
К тому же и властям не поклоняюсь я.
Вы возмущаетесь, что против грозной кары
Я восстаю, что я упавших от удара
Всегда, везде прощал. Я не забыл, что мать
В вандейских зарослях должна была блуждать,
И проповедовать я жалость нынче смею,
Бунтарь, сын матери — бунтарки в дни Вандеи.
Пусть милосердие на взгляд ваш — ерунда,
Но я ему служил повсюду и всегда.
Все ястребы кругом, так пусть я гусем буду.
Пусть малодушная бушует низость всюду,

Последним остаюсь и одиноким я.
Когда упавшего лишает прав судья,
«Vae victis»¹ — всем закон, и рушатся начала,
Тогда кричу толпе, что в страхе побежала,
«Вот я!» — но все бегут, не разбирая троп.

И думаете вы, что это стерпит рок!

¹ «Горе побежденным!» (лат.)

О, древний демон зла, и тьмы, и отупенья!
 Он из гвоздей Христа цепей кует нам звенья,
 Из чистых юношей творит он старичков,
 И Гуса с Мором он всегда казнить готов,
 Громит Горация, когда ж Вольтер болтает
 За партою с Руссо, молчать их заставляет.
 Шалит ли боженька, — его по пальцам хлоп!
 Он охладить спешит зарей согретый лоб,
 Высоких в женщине не признает влечений
 И презирает все: цветы, искусство, гений.
 Он в шорах, с факелом смолистым, плутоват
 И педантично хмур. Ему приятен чад
 Испепеленных тел, погашенной идеи,
 Он на колени стать заставил Галилея
 На самой той земле, что вертится. Шлет он
 Едва открывшимся зеницам тяжкий сон,
 Он, души захватив, грызет их с аппетитом.
 Он Планшу друг, Вейо, Низару — иезуитам,
 Идет... и путь за ним безжизнен, хладен, гол...
 Там не растет трава, где шел его осел.

Порой наш высший долг — раздуть, как пламя, зло;
Пусть мрачный свет падет тирану на чело.
И вот «Возмездий» том. Увы! Так было надо.
Я, для которого всегда была отрада
В прекрасном, в чистоте, я нехотя на месть
Призвал гармонию. Ушла в изгнание честь,
И я почувствовал, что долг — над преступленьем
Зажечь возмездие карающим виденьем, —
И, как звезда во мгле, вот этот том возник.
Мне тяжело злобствовать. Но если бунтовщик
Прервал движение великого народа,
Чтоб умертвить его и стать кумиром сброда,
Пускай рассеется сгустившаяся мгла!
И вот приподнял я ужасный саван зла,
И книгу гневную пронзил лучами света,
И, нарушая мрак, венчал его кометой.

О, надо действовать, спешить, желать и мочь!
 Но грезить, как султан, спать, как сурок, всю ночь,
 Ходить в поля, в леса и в храмы наслажденья, —
 О, так не сможем мы спасти свои селенья,
 Вернуть свои права, поднять свое чело
 И средство отыскать, карающее зло.
 Мы — в розовых венках, но шею жмут оковы.
 В мечтах мы созданы для века золотого,
 Где мера счастья — животная любовь.
 Немного пошлы мы, но молода в нас кровь.
 Ведь это же позор! Ведь в этом извращенье —
 Предвестье гибели и душ и поколений.
 Безумной гордостью напрасно мы полны:
 Вослед за сном сердец приходит смерть страны.
 Долг — настоящий бог, и он не допускает
 Неверья. Родина оскорблена, страдает,
 А вы играете... Ступайте в бой! И трон
 Верните вновь правам, изгнав тирана вон.
 Тогда и смейтесь вы. Сейчас же к вам взываю:
 Проснитесь, при смерти страна лежит родная!
 Несчастной матери, чьи крики вас зовут,
 Нужней всего сейчас не Сибарит, а Брут,
 Бойцы суровые, встающие с угрозой;
 Мечи поднятые нужны ей, а не розы.
 Вот почему и я — хоть стар, и хил, и сед, —
 На площадь людную опять несу на свет,
 Под солнце, чьи лучи даруют жизнь посевам,
 Все тот же старый дух все с тем же старым гневом.

Май 1868

Итак, все кончено. Все разлетелось пылью.
 Да, революция была безумной былью,
 Брюссель ей приказал: «Прочь, негодяйка, вон!»
 И вот дворянами повергнут ниц Дантон,
 И бедный Робеспьер дрожит в руке Корнесса,
 И заперли Париж в кутузку, как повесу...
 Мы стали овцами; вся доблесть наша в том,
 Что за Бурбонами на бойню мы идем.
 Четыре сотни лет мы повторяли с жаром
 Все тот же вздор. Прогресс стал анекдотом старым.
 Довольно с нас химер. Умножить свой доход —
 Вот дело. Санчес нам мораль преподает.
 И гильотины нож и виселица — благо,
 А совесть — лишь обман: забудь о ней, бедняга!
 Не суть религии, а догма в ней важна.
 В исповедальнях есть с решеткою стена:
 Прильни же ухом к ней, явись глупцом примерным —
 И будешь ты спасен. К обычаям пещерным
 Давайте пятиться по мере сил назад,
 А цели чистые пусть позади горят.
 Вернулись к нам и трон и храм с поповской кликой.
 Забудь же, Франция, что ты была великой.
 Раз папа заявил, что бог он, — значит, так.
 Безумных помыслов в Париже был очаг,
 Откуда в мир они неслись, как ветры в поле.
 Священные права — комедия, не боле.
 Народ — мощный путь для царственных карет.

И ни идей у нас, ни достижений нет:
Открытья наши — чушь; не придавать им веры!
По справедливости Тартюф клеймит Мольера,
Вольтер писакой был, Жан-Жак был мужиком,
И Плюш и Патулье сияют торжеством.

Альтвис, 20 сентября 1871

Да, верно, я глупец — вы правы, без сомненья...
 Да, небо, сохранив под сицилийской сенью
 Ту флейту Мосха, чей любезен эху звук,
 На крыльях вознося твой, Ариосто, дух,
 Пророку говорить с орлом повелевая, —
 Оно, великое, нам свет и тень давая,
 Мечтателем меня создав, влекло мой взор
 К путям туманным, где брожу я с давних пор,
 И сделало меня созданием незлобивым,
 С нежнейшею душой, на гнев неторопливым.
 Старик по грузу дней, по склонностям юнец,
 Я создан был пасти в полях стада овец.
 Но, как Эсхилу, две души мне рок дарует:
 В одной растут цветы, в другой огонь бушует.
 И в сердце Феокрит столкнулся с д'Обинье.
 Так, негодуя, я взираю в тишине
 На зло извечное, которому и деды
 И мы, увы, даем название победы.
 Я склонен проклятых благословлять в аду.
 Что ж, смейтесь надо мной, своим путем иду
 Я без раскаянья и нахожу желанным,
 Почетным, сладостным слыть человеком странным...
 И, видя, каковы все умники, я рад,
 Я счастлив быть глупцом, я этим горд стократ!
 Я в бурю ринулся один, по доброй воле.
 Но смелость глупым быть редка, и, в тайной боли,

Я понимаю смех, что на устах у вас.
В надежной гавани я был, но пробил час —
И, видя тонущих во тьме, я безрассудно,
Бесстрашно бросился на гибнущее судно:
Мне вашей радости дороже горе их;
Чем с вами царствовать, погибну среди них!

Мы все изгнанники, мы в бездне обитаем.
Мы счастье гнусное злодейства наблюдаем.
Мы видим гордый ум, что зверем побежден,
Удачи поцелуй тому, кто злом рожден.
Мы видим подлецов, обласканных судьбою.
Мы речь высокую ведем между собою:
«Свобода умерла, обманут наш народ!..»
Мы — молнии, что бог вам с колесницы шлет.
Бросаем яркий свет мы в гущу толп огромных,
И животворный луч то гаснет в водах темных
И падает на дно, то вспыхивает вновь...
Мы знаем лишь одну печальную любовь:
Мы любим Францию! Но каторжные норы —
Наш дом... Велите нам, чтоб потрясли мы горы,
Схватили на лету орла средь черной тьмы,
Гром, ветер, молнию — на все решимся мы!
Мы оправдания не ищем у злодеев.
Мы ждем, суровые, проклятье злу взлелеяв,
Чтоб в грохоте громов вновь бог обрел венец
И право сделалось законом наконец,
Чтоб род людской узнал счастливые мгновенья.
Мы на предателей подъемлем в возмущенье
Те черные ключи, что отпирают ад.
Как ели не сменить зеленый свой наряд,
Как солнцу не стоять мгновения на месте, —
Нам не забыть вовек о праве и о чести!
И перед ликом зла, что деспоты творят,
В свидетели берем мы неба грозный взгляд,

И бронзовым пером мы пишем неустанно.
Филипп Второй, Нерон, Людовики-тираны
Дрожат: мы видим их!.. Времен проходит строй —
Пусть! Негодуя, мы страниц опасных рой
С ветрами вольными шлем в дальнюю дорогу.
Коль император — бог, так мы не верим в бога!
А видя иногда победу сатаны,
Мы отрицаем все, отчаянья полны;
И гнева нашего разбуженная сила
Терзает душу нам, что этот гнев вскормила.
Но богу жалоба правдивая мила.
Пускай была жара в день летний тяжела,
Мы рады помечтать, когда поют стрекозы.
Мы детвору растим... Пускай пришлец сквозь слезы
Шепнет: «Я голоден», — его к столу зовем.
Мы, глядя в небеса, освобожденья ждем:
«О Немезида, с насними скорей вериги!»
И пишем у морей суровые мы книги,
И наши все дела, и мысли, и слова
Напоминают гнев рассерженного льва.

Вся низость клеветы, что за спиной шипит,
Клеймя нас злобой мрачной,
Озер души моей ничем не замутит,
Не тронет вод прозрачных.

Она, упав на дно, где даже солнца нет,
Рассеется в молчанье,
А мир и чистота, любовь и правды свет
Всплывут, струя сиянье.

И вера, и мечты, и светлых дум полет
Свободно, без усилия,
Как прежде, отразят в просторе чистых вод
Сверкающие крылья.

Пускай же клевета, коварна и черна,
Рвет глубь души невинной, —
Что этот мутный ил и злая темень дна
Для стаи лебединой?

Прямой удар меча, но не кинжала, нет!
Ты в честный бой идешь, подняв чело, поэт,
Разишь врага клинком, без ярости змеиной,
Грудь с грудью и лицом к лицу, в отваге львиной.
Ты — истины боец, и воин ада — он...
Ты бьешь при свете дня, и верность — твой закон;
Ты страшен и суров, но ты и добр при этом;
И если ты падешь в бою, то пред поэтом
Предстанут завтра там, где сумрак и покой,
Они, Баярд и Сид, с протянутой рукой.

О, если б, родина, мне снова
Увидеть шелк твоей травы,
Миндаль, сирени куст лиловый...
Увы!

О, если б лечь на холм унылый,
Отец и мать, где спите вы!
Но ваши далеко могилы,
Увы!

О, если б вам, родные тени,
Во тьме гробов, под крик совы,
Шептать — брат Авель, брат Евгений, -
Увы!

О, если бы к твоей гробнице,
Не поднимая головы,
Голубка милая, склониться!..
Увы!

Как руки я б к звезде неясной
Простер под кровом синевы,
Как землю целовал бы страстно!
Увы!

Звон черный слышу над могилой...
Бежать туда б, где спите вы!
Но остаюсь в стране немилой,
Увы!

Все ж неправа судьба слепая,
Поверив голосу молвы,
Что путник изнемог, шагая,
Увы...

Пока любовь грустна, а ненависть смеется,
 И правит ад,
 Нерон в изгнание шлет и в церкви ложь куется,
 Христос распят;

Пока есть короли, и ложные идеи,
 И пыток страх,
 Пока народ — в цепях, и коршун Прометея
 Клюет в горах;

Пока, твой гордый долг, о сердце, исполняя,
 Я сознаю,
 Что гневною строфой я тучи разгоняю
 В своем краю, —

Оружья не сложу! И знаю — трусом буду,
 Свернув с пути!
 О небо, никогда я клятву не забуду
 Свой долг нести!

Ничто не соблазнит меня — ни первый шелест
 Зеленых риз,
 И ни цветущий луг, и ни нагая прелесть
 Амарили́с!..

Народы на нужду, на слезы злобным роком
 Обречены;
 Тираны церковью оправданы, но богом
 Осуждены...

А человечество — добыча лжи, бесправья,
Воров-царей, —
Живущее мечтой, владеет в грустной яви
Лишь злом скорбей.

Перед лицом гордынь, ошибок, преступлений,
И долгих битв,
И поднятых голов, и низких душ и мнений,
И злых обид, —

О Франция, пока могу пролить луч света
На мрак вокруг,
Немому трауру и гневному обету
Я верный друг;

И правду возвещать без устали я стану
В краю родном;
И в черной пене вод вовеки не устану
Быть маяком.

Я призрак-судия, мой голос в час расплаты —
Как грозный звон,
Как отзвук страшных труб, разрушивших когда-то
Иерихон!

Я не покину, нет, о Франция родная,
Мой трибунал;
Я смолкну лишь тогда, о горестный Исая,
О Ювенал,

О Дант, Езекииль со взором ясновидца,
О д'Обинье, —
Когда иссякнет гром и молния затмится
Там, в вышине!..

2 декабря

Когда вставал Эсхил в защиту Прометея,
 Рим Ювенал хранил от ярости злодея,
 А Данте низвергал тиранов в черный ад,
 Поэты были те подобны эвменидам;
 Их озаренный лик пугал всех мрачным видом,
 Был маской бронзовой, чьи в ночь уста кричат.

И ужас шел от них. В их черепах горящих
 Клубился мыслей рой, стремительных, свистящих,
 Что жгли надменный грех, боролись с подлым злом
 И гордой на чело ложились диадемой —
 Неумолимою и грозною эмблемой
 Змей, что сплелись клубком.

О змеи тайные Минервы исступленной,
 Драконы-божества, пророчицы-горгоны,
 Стон подхватив людской в неистовстве своем,
 Всем нам несете вы пример и поученье.
 Вы для народных масс, для зла и преступленья —
 И мудрость светлая и черной кары гром.

Джерси, 1 ноября

О жалкий сплав людских сует, пустых желаний, —
Мечты! Вы вянете при первом же дыханье
Степных ветров, что вас разносят по земле.
Любовь, и власть, и скорбь, горящая во мгле,
Гордыня, ненависть, и гнев, и сладострастье, —
Как мимолетный дым, все исчезают страсти.
Зачем такой порыв и пыл зачем такой,
Раз он сменяется уныньем и тоской?
К чему весь этот шум, о люди? Для того ли,
Чтоб слыть титанами? Мир верит поневоле,
Когда рычите вы в костре глухих страстей,
Средь вспышек ярости, тщеславия затей,
Желаний, страхов, мук и ухищрений мозга,
В то, что из бронзы вы, меж тем как вы — из воска!

ПАРИЖАНИН ПРЕДМЕСТИЙ

В беседке лиственной, беспечный,
Он пьет, он веселится вечно;
Напившись, валится он с ног.
И, снова жаждущий веселья,
Едва оправясь от похмелья,
Он за шесть су идет в раек.

Смеяться, пить — святое дело!
Толчется он у почернелой
Свинцовой стойки день-деньской.
И тащит будни воскресенье
В домишко под зеленой сенью
Своею длинною рукой.

В листе поблескивают жбаны...
Подружкам протянув стаканы,
Их чмокнем в щеки лишний раз.
Для счастья ведь немного надо!
Имела портики Эллада, —
Повсюду кабачки у нас.

Вот — отдохнуть на камни сели,
О, этот, удержу в веселье
Не знающий, народ низов,
Кто, полн ребяческих замашек,
Дает из столь глубоких вспашек
Бесплодных несколько цветов!

«О, что за сибарит врожденный!» —
Рим восклицает, пораженный;
А Сибарис: «Какой квирит!»
Он склонен к диким переменам,
И, если б не был он гаменом,
Архангела б он принял вид.

Афинянин — его родитель.
То он своей судьбы властитель,
То — в малодушие роковом.
Попробуйте решить загадку!
Он все, что начал, выйдя в схватку,
Заканчивает шутовством.

Без крови в жилах, в пляске праздной,
Проводит он с душой развязной
Июль и август — день от дня.
О, что за легкость в человеке! —
Но вот поднялся ветер некий,
И он, исполненный огня,

Провозглашает, пробуждаясь:
«Я Франциею называюсь!»
В стремительной своей красе,
С душой, поющей в гибком теле,
Он — как пчела, во дни апреля
Купающаяся в росе.

И он встает, грозой сверкая,
Несокрушимое свергая!
Огонь взяв в руки и со злом
В борьбе неистовой испытан,
Во взгляде божество хранит он,
И человека под крылом.

Эдем — в его зловонной яме;
Он в сталь вгрызается зубами,
Вождей и воинов родит.
И, горд, победу торжествуя,
Свою он песенку хмельную
Кончает криком: «Леонид!»

И пусть его иной бесчестит.
Народ — и женщина он вместе!
Ребенок он, что, полн чудес,
Вдруг превращается в героя.
Он низко падает порою,
Но достигает и небес!

РЕВОЛЮЦИЯ

поэма

Наездник бронзовый стоял во тьме, — прямой.

Спал город вокруг него — домов несчетных строй;
На небе сумрачном чертились колокольни,
Подобны пастухам, пасущим гурт свой дольний;
Стыл Богоматери двухбашенный Собор,
И башня каждая страшилась кинуть взор
В безлунной мгле на стан своей сестры огромной;
Зенит заволокло такую мутью темной,
Что блеск небесных бездн бесследно в ней исчез;
Хрипя под сводами полуночных небес,
Лишь ветер мял ее, отчаянье впуская;
Висела облаков завеса гробовая;
Казалось, что заре воскреснуть не дано,
Что утру не открыть прозрачное окно,
Что солнце — страшный уголь, очаг, навек разбитый, -
Здесь, в беспредельности, где ночь сомкнула плиты
Над уstraшенной, застылою землею,
Угасло навсегда, задушенное мглой:
Такое из небес, исполненных томленья,
Полуночь пролила на мир оцепененье!

Как бы для зрителей угрюмых — небосвод
Разверз до самых недр ночного мрака грот.

Спокоен, при мече, вздымая шлем пернатый,
Старинных рыцарей надев крутые латы,
Был там он, выпрямясь, в одежде боевой.

Фигурой — исполин, улыбкою — герой,
Поводья черные перчаткой стиснув черной,
Гигант и властелин, недвижимый и упорный,
Он вечным жестом ночь, казалось, леденил
И, с тенью траурной вплотную слитый, стыл,
С небесной теменью могильной медью сплавясь.

Кумир, загадочно перед собой уставясь,
Видением вершин, фантомом горных гряд,
Стоял, недвижимостью зловещею объят:
Ведь он — от вечности, поскольку — от могилы!
Конь этот, никогда не ржавший и застылый,
Безмолвный воин сей, чей образ воплотил
Всю мощь молчания, как признак скрытых сил,
Сей цоколь сумрачный, царящий над толпою,
Вознесший свой покой над бурей живою,
И, гроба выходец, державный сей колосс,
В нас нагнетающий воспоминанье гроз,
В ком до сих пор король, палач и деспот мнится
(Которого б теперь не испугалась птица),
Вся эта статуя — чудовище мечты.
И если даже день плеснет в его черты,
Их солнечным лучом светля и уточняя,
И если даже вокруг кишит прохожих стая,
То жутью тайною он все же облачен,
Тоской кладбищенской... Но вечерами он,
Король задумчивый, солдат и вождь угрюмый,
Вновь обретает ночь с ее ужасной думой.

В бездонном сумраке стоит он, жуть струя.

И все величие, всю мощь небытия,
Все то спокойствие, что лоб его надменный
В трагическом плену у меди неизменной
Мог сохранить, все то, что пристальный зрачок,
Став вечным, сохранить из блеска молний мог,
Всю эту полужизнь за гранью гробовую,
Что знаменитому оставлена герою
Во сне, под черными крылами похорон,
Все то усилие, что совершает он,
Воитель, чтобы стать не королем, а богом,

Всю мрачность местности в ночном безмолвье
строгом, —

Все это истукан сумел в единство слить,
Чтоб одиночество державное хранить!
И Сена мрачная струит свой шум унылый
Под этим всадником из ночи и могилы...

И ветер вопль стремится, и плещет пена вод,
И тяжкоарочный в тумане мост растет
Каким-то призраком расплывчатым и смутным
Под гордым рыцарем, над бегом бесприютным
Реки униженной; и в арках темнота —
Как триумфальные для статуи врата.

Внезапно в тишине, неведомо откуда,
Из непроглядной тьмы, где туч сгрудилась груда,
Где дремлет страшная, пустая глубина, —
Над этой статуей, томящейся без сна,
Глядящей, медное свое чело нахмуря,
В даль, в гробовой простор, где ночь, тоска и буря,
Раздался голос — чей? — из ледяных глубин:
«Узнай, на месте ли еще стоит твой сын?»

*

И если кто-нибудь бродил бы этой ночью
Над берегом пустым, где ветер треплет в клочья
Свет угасающий и дымный фонарей, —
Он услышал бы там, средь облачных зыбей,
Что делают зимой Париж чернее чаши,
Какой-то странный звук, какой-то лязг рычащий,
Как бы бряцание огромных лат ночных.
И холод ужаса на позвонках своих
Он ощутил бы вдруг; его язык — признанья
Залепетал бы в ночь; испуг и содроганье
Вздыбили б волосы; зуб ляскнул бы во рту:
На пьедестале том, взнесенном в темноту,
Где в ветре яростном скопление туч клубилось,
Внезапно статуя — о страх! — пошевелилась.

Ничто, ни даже медь сковать навек нельзя.

Король рванул узду; конь дрогнул, сталь грызя.

Тряхнуло землю; зыбь глубинная, глухая
Прошла, священные порталы сотрясая,
Веками чтимые, и в башнях прозвения.

И мышцы напряглись у медного коня,
Круп задрожал; нога, застывшая согбенной
Над камнем в трещинах, где мох пророс зеленый,
Копытом грянула; с карниза сорвалась
Другая; всадник лоб понурил, в тьму вперясь;
Скакун, залязгавший суставами металла,
Ужасный, сдвинулся до края пьедестала
(Взор человеческий таких не знает грез!),
И, точно отыскав невидимый откос,
Неспешно статуя сошла с гранитной глыбы.

Проулки жуткие, где убивать могли бы,
Лавчонки, чердаки с их черной нищетой,
Строй бесконечных крыш, нависших над рекой
И отраженных в ней, пустые перекрестки,
Где днем толпа снует и слышен говор хлесткий,
Ряд ржавых вывесок, повисших на крюках,
Дворцы суровые с оградами в зубцах,
Вдоль берегов крутых шаланды на причале —
Все с изумлением пернатый шлем встречали,
Что и под бурю не шевельнет пером,
И, чуя под землей как бы кузнечный гром,
Покуда на часах старинной башни время
Не смело звон стряхнуть на городское темя,
Глядели, замерев, как в недрах тьмы идет
И близится, прямой, оцепенев как лед,
Вещая грохотом о гробовой победе,
Наездник бронзовый на скакуне из меди.

Река под арками лила свой плач в туман.

*

О, ужас взвезенной! Идущий истукан!

Тяжелой поступи дивится мостовая.
Тень движется, скользит, закинув лоб, немая,
Окоченелый труп, — и стан ее и лик
Под бурей черных бездн не дрогнут ни на миг.

Закон полуночи нарушен этой тенью!
Внимая тяжкому и мерному движенью,
В безмолвии гробниц, в могилах ледяных
Скелеты привстают, дрожа, в гробах своих
И вопрошают ночь: «О, кто прошел? Что это?»
Сама смущенная, ночь не дает ответа.
Когда бы взор проник в то царство гнусных ям,
В их тайны мерзкие, он увидал бы там,
Как бьет фантомов дрожь пред явью невозможной:
Та тень, чей взор снести б лишь Дон Жуан безбожный
Сумел, не побледнев, — чем славился б века! —
Виденье то, чья плоть иззубрит сталь клинка
И руку — только тронь — оледенит мгновенно, —
Все в нем: борьба, любовь, страстей свирепых смена,
Злодейство, гордость, месть, все тайны мертвеца
И вся ответственность героя и бойца,
Что на гранит ступил, став бронзой роковою!
Кто, кто, охваченный горячкой мозговою,
В хаосе городов, грозит которым рок, —
Кто видеть статую блуждающую мог?
Такое существо, немислимо, ужасно,
Идет, — и ночь дрожит, и стынет мрак безвластно,
И мгла в смятении; да и сама мечта,
Которой по ночам рисует темнота
Свой мир таинственный сквозь сомкнутые веки,
Мечта, привычная встречать вдруг мóрок некий, —
И та пугается, завидя тот фантом,
В полночном сумраке блуждающий пустом,
И бьет ее озноб: у призрака такого
Не поступь мертвеца и не шаги живого.

Тень шла — и глубь тряслась под тяжестью копыт.
Быки мостов, где волн немолчный стон звучит;
Кладбища мрачные, где гулче гром металла;
Соборов паперти под сводами портала,
Что в коронацию видали строй карет;
Канавы боен тех, где кровь за много лет,
Сгустившись, загнила; мансарды, где во мраке
Свой гнев задумчивый растили Равальяки;
Подполья тайные безмолвных башен, где
Висят ошейники людские на гвозде;
У старых крепостиц крюки мостов подъемных;

Дороги, где зимой льет дождь из туч огромных
Как из ведра иль снег сплошной стеной валит, —
Всё содрогается под бронзою копыт.

И так как истинно (то подтвердит гробница!),
Что вслед за королем, кто б ни был он, влачится
Все королевство, встав как призрак, — то Париж
От замков до лачуг, от погребов до крыш,
От самых жалких нор до башни самой главной
Глубинный отзвук дал на этот шаг державный.
То как бы дикий крик возник из темноты —
Вопль рабства вечного и вечной нищеты,
Рычание веков, безумных и мятежных,
Стон тяжкий времени и бедствий безнадежных.
Рыдало Прошлое в тех жалобах ночных —
Тоска исчезнувших и с ней тоска живых.
Там кровь была и плоть, железо, яд и пламя,
Чей хриплый зов летит к тому, за облаками;
То недра кладбища свою стремили речь.
Там, в грозном ропоте, рвались огнем — картечь,
Убийства, гордый блеск победоносной власти
Под плач младенческих и девичьих несчастий,
Со свистом пули там летели из бойниц;
Вой сумасшедших плыл из гнусной тьмы больниц;
В застенках пыточных под горн мехи дышали;
Подвалы карцеров рыдали и стонали;
Ужасный Сен-Лазар чумой дышал из недр;
Всех парий гноище, хрипел в тоске Бисетр;
Там шло Отчаянье со свитой прокаженных,
Смерть — с палачами, Власть — с толпой
вооруженных;
Терзали матери седые космы; битв
Курилась кровь под гром торжественных молитв;
Все, все звучало там: турниры, состязанья,
Тяжелый четверной галоп четвертованья,
Секира, плаха, бич, и кол, и цепь — набор
Орудий пыточных, что придан с давних пор,
С повязкою для глаз, Фемиде человечьей,
Кто самого Христа за дерзостные речи
Распяла на кресте, одежды разыграв,
И числит господа среди лишенных прав;
Все там смешалось: скорбь, убийства, и набаты,

И, с аркебузою, в окошке Карл Девятый;
Крик, заглушаемый забывчивой водой
Близ Нельской башни, гуд колоколов ночной;
Марго, что в гроб альков опорожнять умела;
Брюнгильда лютая, скупая Изабелла;
Столбы позорные средь лавров и венков.

Порой, как ураган, чей вдруг стихает рев,
Иль океан, чья зыбь свои снижает горы,
Тот ропот умолкал, — и оглашал просторы
Лишь страшной статуи тяжеловесный шаг.

И бледным ужасом ночной струился мрак
С небес загадочных в лохмотьях черной тучи.
И беспредельность их клубилась мглой летучей.

И воин к площади Дофина путь избрал,
Потом — проулочком, что, узенький, бежал
От Кордегардии туда — к «Дворцу закона»,
Где спят и мантия судейская Немона,
И Приматиччио написанный портрет;
Палату обогнул, откуда сотни лет
На головы людей летит судьба слепая;
Проехал Мост Менял и, вдоль реки ступая,
На площадь Гревскую близ Ратуши вступил;
Аркады пересек, что ныне заменил
Дворец новехонький тяжелою стеною;
Ворота Сен-Жерве оставил за собою;
Взял влево, и, пройдя петлистых улиц ряд,
Теперь исчезнувших, — трущобы, где грозят
Жилища ветхие бандитскими глазами, —
И, тяжкий, медленный, проследовал вратами
(Там королеву ждал когда-то Бассомпьер)
На площадь скучную, где стыл в аркадах сквер.

*

Там, в центре, под листвою, во тьме оцепенелой
Сквозил неясственно огромный призрак белый.
Был гордый всадник тот из мрамора.

Суров,

На стройном цоколе, один, во власти снов,

Как цезарь, лаврами победными венчанный,
Он властно высился, недвижимый и туманный.
Рукою опершись на перевязь у чресл,
Он императорский сжимал другою жезл.
Длань правосудия подножье украшала.
Семья деревьев вкруг, пугливая, дрожала,
Как будто им стволы холодный ветер гнул.

И к этой статуе тот истукан шагнул.
Он, двигаясь, глядел неотвратимым оком
На грустный лик того, кто, как во сне глубоко,
Безмолвно грезил там, меж зыблемых дерев.

И бронза мрамору сказала, прогремев:

«Ступай и погляди: твой сын на том же ль месте?»

*

Как бы слышавший рогов далеких вести,
Луи Тринадцатый очнулся от дремот.
И, скиптроносец, он, и, меченосец, тот,
Он, цезарь мраморный, и тот, воитель медный,
Спустились с лестницы, сквозь тьму зловеще бледной,
И, через площадь взяв, решетку перешли.
Фантом Бастилии приметил издали,
Что к сердцу города их пролегла дорога.
Наездник бронзовый был впереди — и, строго
Вздвиг перст, указывал извилины пути.
Под сводом арочным им не пришлось пройти;
Тропою Мула шли — и дальше по бульварам,
Где толпы выются днем, хлеща прибоем ярим,
И — к центру, спящему в тиши ночных часов.
И у Дворца Воды четверка мокрых львов,
Скопление ветхих крыш, где птичьих гнезд без счета,
Ворота Сен-Мартен и Сен-Дени ворота,
Таверны Поршерон, где вечен звон стекла, —
Глядели с трепетом, как пара та прошла.

Два грозных всадника упорно вдаль стремились,
Без слов, без оклика, — и оба очутились
На новой площади, на перекрестке том,
Где третий встал колосс в безмолвии литом.

Вблизи он выглядел не человеком — богом.

Со лбом закинутым, в высокомерье строгом,
Он, точно сын небес, негодовал на тьму.
Казалось, ореол обвинил главу ему;
Он сумрачно сиял, и в нем та мощь блистала,
Что смертным свойственна, глядящим с пьедестала, —
Священный ужас тот, что явлен на челе,
Коль бог творящий скрыт в разящем короле.
Как первый конник, он из бронзы был изваян;
Ни шлем на нем не взвит, ни панцырь не запаян;
Как Аполлон красив, он, как Геракл, был наг.
Под бронзою копыт, черны сквозь бледный мрак,
Клубились Ду, Эско, Дунай и Рейн — четыре
Реки, им попранных, чей плач пронесся в мире.
Казалось, он внимал, бесстрастен и велик,
Стон взятых городов и грозных армий клик.
Он гриву льва вздымал; недвижный и безгласный,
Он правил; королям грозил он шпагой властной;
Длань к богу возносил, к его лазурной мгле
И подставлял стопу — чтоб лобызать — земле.

Казалось, ослеплен навек он сам собою.

Два всадника прямой к нему влеклись тропюю,

Слепая ночь глядеть старалась; ветер стих
Внезапно.

Конник тот, что в латах боевых,
Другого обогнал, в тунике. И его там
Зов прогремел:

«Луи, Четырнадцатый счетом!
Очнись! И, раньше чем блеснут лучи зари, —
Еще на месте ли твой правнук, посмотри!»

И бронзовый кумир, чья бронза с тьмой боролась,
Раскрыв чеканный рот, спросил: «Я слышу голос?»
И, мнилось, взор его рождался вновь на свет.
«Да». — «Чей же?» — «Мой». — «Ты кто?»

И услышал: «Твой дед», —

«А кто же правнук мой, — коль голос не был
мнимым?» —
«У подданных твоих он наречен Любимым». —
«Где ж он, кому народ возводит алтари?» —
«На главной площади, у входа в Тюильри». —
«В путь!»

Черный полубог приветствовал героя
И съехал с цоколя священного. Все трое
Бок о бок мчались в ночь. И предок в тьме ночной
Потомков превышал надменной головой.

По набережной взяв, промчались под балконом,
Где грезил все еще Парижем устрешенным
Фантом чудовищный, святой Варфоломей;
Проехали дворец французских королей —
Комок из крыш и стен, бесформенный, гигантский,
Взрастивший, как дворцы Аргосский и Фиванский,
И Агамемнонов, и Лайев, и Елен.
И Сена жуткая, скользя вдоль мрачных стен,
Солдата, цезаря и бога отражала
И, среднего узнав, с ним Ришелье искала.
Лувр окнами на них чуть поглядел, дремля.

Так, Елисейские к ним близились Поля.

II. КАРИАТИДЫ

О мощный каменщик, Жермен Пилон великий!
К тебе дошли из бездн немолчной скорби крики:
Ты понял, что резец оружием может быть;
Ты не героев стал, не королей лепить,
Но, Сен-Жермен презрев, Шамбор, подобный сказке, —
Ты Новый Мост облек в трагические маски,
Ты мглу окаменил, резца являя власть.
Ты знал, что, скорбную распахивая пасть,
У ног полубогов стенают полузвери,
Знал все презрение, что скрыто в их пещере,
Рубцы всех адских мук, всех каторжных гримас,
Какими клеймлено лицо народных масс.
Гигант! В то время как ваятели другие,
В черты предвечного влюбляясь сверхземные,
Рельефы резали у входа в божий храм;
Когда на цоколе, где реял фимиам,
Они в лазурь небес, в прозрачные просторы,
Где трубы ангелов и ветровые хоры,
Как небожителя, чтоб грезил в вышине,
Вносили цезаря фантомом на коне;
Когда Тиберий ждал от них, лишенных чести,
Искусства, полного презренно-пышной лести;
Когда их бронзовых плавили языки
Неронам и Луи лизали каблуки;
Когда они резец державный оскверняли
И двух — из мрамора и бронзы — слуг ваяли;
Когда, чтобы земле, влачащей груз цепей,
Любой Элагабал сверкнул иль Салмоней, —

Они, с мечом, с жезлом, являли ей тирана
Как недоступного для смертных великана,
Что в эмпирей взнесен, где зыблется заря,
В такую высь, где он казался бы, паря,
Сливающим свою надменную корону
С венцом, который тьма дарует небосклону,
Чтобы в священной мгле, скрывающей зенит,
Был лавроносный лоб сияньем звезд повит;
Меж тем как ставили они на постаментах
Громадных королей в их мантиях и лентах,
Князей, презренных всем, на медь сменивших грязь,
Рядили деспотов в архангелов, гордясь,
Старались, чтоб явил величие хозяин,
Монарх иль бог, — тобой, тобой — народ изваян,
Великий крепостной, чей дышит лавой рот,
Великий каторжник, великий раб, — народ!
Спустившись в бездну бед, и ужаса, и порчи,
Колодника судьбы ты смог подметить корчи.
Под Карлами, что кровь смывают с хищных рук,
Под злобными Луи средь Лесдигьеров-слуг,
Под чванным Франсуа, под куколкой Дианой —
Ты Энкелада гнев почувствовал вулканный,
Ты саван снял с живых, простертых в глубине
Могильной, крикнув им: «Ваятель я! Ко мне!
Все те, кто мучится, все те, кто плачет в страхе,
Все прокаженные, все, чающие плахи, —
Ко мне! Под цоколем, где торжествует медь,
Вдоль моста в камне вас я призову кишеть.
Нужда, болезни, скорбь, лохмотья, злая старость,
Оскалы голода, лачуг зловонных ярость, —
Ко мне! И этому — над вами — королю
Все ваши язвы я открытыми явлю;
Дам жизнь и плоть я вам, на камне иссеченным,
И вашим жалобам река ответит стоном;
Зимою, в темноте, под скорбный ветра вой,
К вам голосá дойдут всей бездны мировой —
Сюда, под ветхий мост, весь в пене, вихре, мраке!»

И древний Ужас тут явился из клоаки.
Во все чистилища твой острый взор проник;
Все чудища тебе явили черный лик,
И ты у них в глазах раздул огонь и вызов.

Рой лиц таинственных, вдоль каменных карнизов,
Спустился навсегда на мертвый камень плит,
Как стая мерзких мух, что из ночи летит.

О, мастерским резцом намеченные рожи!
Гиганты скорбные, творенья снов и дрожи,
Подвластные всему, что липко и черно,
И потому — в грязи и в брызгах заодно!
Их головы, где сплошь — помет и гнезда птичьи,
С форштемней каменных торчат в немом величье,
Нависнув над водой, как корабельный нос;
Тела их — в мостовой, под грохотом колес,
Под стукотней подков, под тихими шагами;
Упряжки тяжкие, взбодренные бичами,
Летят по ним, везя канаты, цепи, гроб, —
Летят; и в некий миг безжалостный галоп
Из плоти каменной (что может быть безмолвней?)
Копытом кованым вдруг выбьет связку молний!

*

О! Кто бы ни был ты, кто мыслит, кто не слеп,
К дням человечества, к путям его судеб, —
Приблизься, погляди и, трепеща, подумай!

Вот все они — толпой стесненной и угрюмой;
Вот те, что мучатся, что вызывают вздох;
Вот те, что под столом упавших ищут крох;
Вот те, что прёзрены, назначены для свалки;
Тут Санчо, там Скапен, здесь Дав, служака жалкий;
Химера из мечты в реальный рвется мир;
Лакей разинул рот, поняв, что он — сатир;
А вот носильщики всех человеческих тягот...
Глядят они, как всё, меняясь с году на год,
Родится, сходит в гроб, спешит невесть куда
И, поджидая тьмы, струится как вода.
На праздный этот бег взирает суд их строгий.
Река же, следуя рывкам своей дороги,
Бежит к неведомой свободе наугад, —
И пленники ей вслед, как Танталы, глядят.
И отблески волны, под каменным карнизом,
Порою пламенем бегут по лицам сизым;
Их мышь летучая касается крылом.

И что там — плач иль смех — разносится кругом?
О, пасти! Там мудрец, кого страшит пучина,
Пантагрюэля ждет, а встретит Уголино!
Там Дант является под маскою Рабле!
Тоска и ужас там иссечены в скале:
Лбы, где пыланье бездн, холодных как гробница!
Черты незримого! Теней бесплотных лица!
Сквозь дыры савана представший маскарад!
Какими чарами ваятель вызвал ад,
Чтоб Микеланджело и Мильтон посрамились?
На страшный карнавал все призраки явились
Из преисподней той, где тяжкий дых стихий!
С процессией своей чудовищный Куртий
Окаменел в стене из бреда и тумана!
Ужели никогда налетом урагана
Тех изваяний рой не будет разметен?
Так что же сделали, о боже, храм и трон
С народом, для кого мертвы и свет, и разум,
И все надежды, — с ним, чей плач и хохот разом
Гремят, когда из бездн его приметит взор
Лувр — с этой стороны, с той стороны — Собор?

*

О! Это творчество, и эти порожденья,
И трепеты души, встречающей виденья, —
Терзают гения и гнут его в дугу,
Чтоб в тайны он глядел на черном берегу.
Лишь этот низкий мир предстал тебе, столь странный,
Хрипящий в ярости и в страсти неустанной,
Безумья скорбного катя немолчный крик, —
Да, скульптор! — мысль твоя в высокий этот миг
Сроднилась навсегда с пучинами и тьмами.

Да, избранный из тех, в ком творческое пламя,
Да, мэтр, ты здесь обрел и мощь и славу с ней!
Семье могуществом гордящихся князей,
Правительствам, свой долг забывшим и законы,
Дворцам, чьи звездные взлетают ввысь фронтоны,
Колоссам царственным, взносящим в синеву
Хмельную от мечты и гордости главу,
Престолам сумрачным под небом-балдахином,
Монархам, — ты придал фундаментом глубинным

Народ! Под деспотом — толпу ты разместил.
Владыкам, блещущим в сознание прав и сил,
В доверье ко всему — к портам, к ветрам, к прибоям, —
Ты, презиравший и мрачный, дал устоем
Тупым злодействам их и радостям пиров
Вот эту гидру тьмы с миллионами голов!
Под пышностью имен и славой древней крови,
Звучащих в громе труб и в орудийном реве,
Под ореолами их титулов пустых,
Условных доблестей и чванных прозвищ их,
Под всеми, кто кричит: «Я — высший! Алтари мне!
Я светоч, пурпур, меч! Сливайтесь в общем гимне!»,
Во мглу, прильнувшую к позорному столпу,
Ты безыменного гиганта ввел — толпу!
Под смехом, играми, любовью в парке сонном,
Под Валуа, Конде, Немуром и Бурбоном,
Под нежною Шеврез, кудрявою д'Юмьер,
Под всякой красотой, под роскошью сверх мер,
Под олимпийцами, среди их великолепий, —
Ты пытку изваял толпы, влачащей цепи:
Тоску безмерных масс, Голгофу мужичья
Опасного — в гранит врубила длань твоя.
Блистали господа, свершая святотатство —
Бессовестный дележ народного богатства,
Всё жрали, алчностью извечною горя,
Себе все радости, себе всю жизнь беря.
Венера Марсу взор дарила самый сладкий;
Надменно зыбились знамен победных складки;
У женщин — нагота, у королей — мечи;
Среди густых аллей охота шла в ночи;
Все было лишь дворцом, и пиром, и парадом.
А ты — ты породил вот с этим Лувром рядом
При блеске факелов, сверкающих из тьмы,
Решетку Нищеты — безвыходной тюрьмы, —
И лица бледные за той решеткой ржавой!
Вот обвинение ужасное! С их славой
Победоносцы битв, земные божества,
Чьи монументами освящены права,
Герои в золотых с алмазами кирасах,
Чтоб ослеплять глаза и путать мысли в массах,
Рубаки, щеголи с их лозунгом: «Монжой!»
Внушали радости над горестью чужой,

Лазурь бездонную и ласку солнца пили.
А ты, сновидец, ты, под их пятой, в могиле,
Обрел изломанный и корчащийся мир
И дал ему сойтись на свой, на черный пир!
На лбах отверженцев тупя резец упрямый,
Ты к чудищам высот прибавил чудищ ямы —
Народ, что день за днем свой проясняет лик
И, мощным будучи, становится велик.

О да, Иксионы наземного Аверна;
Поэмы яростной проклятья, боль и скверна;
Воров, цыган, бродяг и жуликов толпа;
Животных челюсти и парий черепа,
Что сплюснуты рукой невежества нещадной;
Калеки с их нытьем, с их жалобою жадной;
Крестьяне с лешими средь зарослей плюща;
Рот, изрыгающий ругательства, рыча;
Щека, измятая на мостовой, на ложе
Булыжном; худоба, продрогшая в рогоже;
Иссохший труженик, встающий до зари,
Кому велит Христос: «Люби!», а Мальтус: «Мри!»;
Бедняк, что весь дрожит, в себе сознав бандита;
Зараза тайная, что в смрадных норах скрыта,
Жильцов берущая в неизлечимый плен,
На тело нищего сползая с нищих стен;
Бездомных дурачков кривлянье и круженье;
Всех человеческих ночных мокриц кишенье;
Невинность под кнутом, младенчество в цепях;
Агоний вековых предсмертный бред и страх;
Отвратный Пелион под Оссою державной, —
Вот что нагромоздить сумел резец твой славный!
Пока художник там — для королей — ваял
Из бронзы дифирамб, из мрамора хорал,
Ты здесь, поэт, созвал застыть в гримасе вечной —
Под белизной богинь в лучах зари беспечной,
Под медью всадников, блистающих с высот, —
Зловещих масок ряд — скульптуры чернь и сброд!

И, чтоб творение забавней стало, в грудь
Бед и отчаяний, скорбей и мук — повсюду —
Издевку ты вместил, и грозную к тому ж:
Брюске и Тюрлюпен, Горжю и Скарамуш

Возникли — призраки, чей смех был страшен, грянув
Средь уличных и средь дворцовых балаганов.
Ты воскресил их! Но, того не зная, ты,
Носитель пламенный пророческой мечты,
Шутник безудержный, — ты будущего мира
Почуял терпкий пот и влил во взор сатира
Гнев революции, где молния бежит!
Ты смех Пасквино слил и скрежет эвменид!
Угрозой королям, у основанья тронов,
Ты изваял шутов их злобных и буффионов,
И в камне роковом, что сумрачен и сер,
Сквозь арлекинов лик проглянул Робеспьер!

*

Пилон, пророк беды, вдохнувший ад бескрайный, —
Своею собственной он овладел ли тайной?
Широкая душа, кидаясь наобум,
Могла ль постичь всю глубь своих суровых дум?
Мечтатель, — знал ли он, какой им символ вскинут
Над вечным стоном вод, где мрачно арки стынут,
Над этою рекой, крутящейся ужом?
Все ль распознать он мог в творении своем?
Загадка!.. Изваять на том карнизе длинном
Обиду, ужас, боль; трагическим личинам
Дать зеркалом волну — подобье толп людских;
Над зыбью, в жалобных стенаньях ветровых,
Над всеми складками, что морщат саван водный,
Над всей тревогою и над тоской бесплодной,
Что проливаются мятущейся рекой,
В одно соединить рубцы тоски людской
И ледяных ночей нахмуренные брови;
В грядущем, спрятанном у бога наготове,
Явить монархам бунт как бурю берегам;
Намордник сняв с горгон, дать волю их мечтам;
На срезе каменном, сорвав с искусства узы,
Раскрыв ему глаза, размножить лик Медузы;
Детей воззвать из тьмы, и старцев, и старух;
Гранит повергнуть в дрожь, и в камень вдунуть дух,
И обучить его рыдать и ненавидеть;
Раскрыть глубины бездн — и этих бездн не видеть!
Быть, без сомнения, предтечей страшных лет,
Титаном, — и не знать! Возможно ль так иль нет?

Господь, помощник наш, то сумрачный, то ясный,
Поведай: вправду ли владеет гений властный,
Над кем созвездия смыкают блеск венца,
Самопознанием до сердца, до конца?
О, духа нашего великие светила,
Эсхил, Исая, Дант, — им ведома ль их сила?
Сервантес и Рабле — свой осознали ль мир?
Шекспировскую глубину измерил ли Шекспир?
И ослепительно ль Мольер Мольеру светит?
Кто нам ответит «нет»? И кто нам «да» ответит?

Оставим!.. Эту скорбь и стоны изваяв,
Вернулся мастер в ночь, в сиянье звездных слав,
Спокоен и угрюм, века смутив картиной:
Народ истерзанный над пленною пучиной!
И ныне, путники, вникайте в образ тот!
Гомер — он мог ли знать, что Александр грядет?
Сократ — он мог ли знать, что в нем зерно Христово?
О, глубины наших душ, запретные для слова!
Пилон язвительный, во мглу швырнувший нас,
Ты, в лабиринте снов бродя в полночный час,
В какие двери тьмы и ужаса ломился?
Кто может утверждать, что ты не очутился
В твоём творении — вне мира, вне людей,
Среди неназванных, неведомых зыбей,
Среди разверстых бездн и за пределом гроба?
Что не влились в твой дух Природы скорбь и злоба
Предвечные? Что ты, художник роковой,
Не ощутил в себе тот ветер ледяной,
Тот вопль, что холодом пронзает человека, —
Отчаяние Зла, клейменного от века, —
Когда, клонясь к реке, ты слушал, мрака полн,
С немолчным скрежетом немолчный ропот волн?

*

Так зеркалa реки свой длили бег упорный.
Завидя королей на набережной черной,
Вдруг смехом загремел ужасных масок рой.
Тот хохот мукою наполнен был такой,
Что до сих пор, когда так много волн забвенья
Омыло этот мост, узнавший одряхленье

С безумной ночи той, о коей говорим, —
У множества личин под выступом седым
Остался гневный блеск в пустых зрачках, и губы,
Еще сведенные, хранят тот хохот грубый.

И маска, громче всех вздымавшая свой рев,
Струившая огонь и серу меж зубов,
Загадочная тень цинического вида,
В которой ярая раскрылась Немезида,
Вдруг испустила крик:

«Эй, стадо, сволочь, рвань!
Эй, мужичье, проснись! Эй, голодранцы, глянь!
Эй, разлепи глаза, утопленные в гное
От вечных слез! Гляди: вон короли; их трое;
На лбах сгустилась тьма — то диадемы след;
У зимней полночи такого мрака нет;
У этих всех богов, видать, судьба такая:
За гробом почернеть, здесь, на земле, сверкая.
Спешат!.. Куда они? А, все равно! — Вперед!
Вам, короли, нигде не медлить у ворот:
Дорога мощенá, и дали вокруг пустые.
Один из мрамора, из меди два другие:
Сердца их пращуров на матерьял пошли...
Эй, вы! вставайте все из нор, из-под земли,
Рабы, согбенные тысячелетьем гнета!
На призрачных владык вам поглядеть охота?
От них рыдали вы. Пусть ваш им грянет смех!

А кто они? Сейчас я расскажу о всех.

*

Тот, первый, — весельчак. Всю жизнь он просмеялся:
Смеясь, молился он и, хохоча, сражался;
Дед, — лишь родился он для славы и венца, —
Запеть заставил мать, а внуку дал винца,
И до могилы тот был рад любым потехам;
Из бога табурет он сделал с милым смехом:
Он прыгнул на алтарь, чтобы скакнуть на трон;
Из рук убийц родни брал подаянье он;
Такой он смех развел, что должен был в изгнанье
Отправить д'Обинье: не в тон негодованье!

Средь собутыльников и челяди своей
Расцвел он как знаток и боевых полей
И девушек, — плодя веселые затеи.

О, эти все д'Эстре, д'Антраг, де Бёйль! О, феи!
О, в парках ночи те!.. Фонтаны там журчат,
Там песни с плясками под зеленью аркад,
Там фавны-короли и нимфы-герцогини!
Ловкач Анри! За ним красавицы, богини,
Как суки, бегали: так он умел манить,
Так опьянял он их безумной жаждой жить!
Он флорентийские им расточал браслеты,
Давал концерты им, спектакли и банкеты,
Где небо вдруг лилось в разверстый потолок;
Он в Лувре им открыть альков парчовый мог,
Мог замок подарить и дивные наряды,
Где пурпур в яхонтах жжет, как жаровня, взгляды
Или волна шелков мерцает в жемчугах!
Ах, время!..

А вокруг дворца, рождая страх,
Суды, чтобы служить столь радостному трону,
Толпу ограбленных кидали в пасть закону.
Там вешали плутов, что не хотят никак
Вносить налог, оброк и пошлины; бродяг,
Презревших подати. Платить ведь должен кто-то?
Король тут не при чем: то мужичья забота.
И вечером, когда лепечет водомет
И женский смех звенит и нежность придает
Далекой музыке — гобоям и кларнетам;
Когда в густых садах, на лес похожих летом,
Кружат любовники, и там, где потемней,
Пылающие рты пьют белизну грудей;
Когда Амур парит среди лилий, и Даная
Сдается, королю тайком свой ключ вручая,
Король же, восхищен, восторжен, хохоча, —
Зевс обезумевший, — пьянея сгорая,
Бросает Гебу с тем, чтобы настигнуть Леду,
Срывает поцелуй и празднует победу
Над некой Габриэль, над некою Шарлотт, —
То с высоты холма вечерний бриз несет,
Вливаясь в поцелуй, зловещий запах трупа.
Да! Возле этих игр и смехов бьются тупо

О бревна виселиц гирлянды мертвецов;
Их треплет ветер, их тревожат крылья сов, —
И шум доносится до луврского балкона
Скелетов ссохшихся со склонов Монфокона!

И все же наш Анри, «блудливый старичок»,
Умевший пить, любить и обнажать клинок,
Прослыл добрее всех, на ком блестят короны.

*

Второй, что едет вслед, был поскучнее... Законы
При нем сосали кровь. Он сам секирой был;
Доныне от его престола — смрад могил,
И коршуны о нем еще мечтают сонно.
Свиреп и слаб, он взял «рукой» Лобардемона;
Был «мозгом» Лафемас, а Ла-Рейни «душой».
Палач при нем торчал, как призрак, за спиной;
Кто дружбу с ним сводил, тот близился к кончине:
На плаху шел д'Эффиа, на свалку шел Кончини;
Пустоголовому казалось королю,
Что ветка всякая кричит ему: «Молю,
Повесь кого-нибудь!» И не было отказу:
Он строем виселиц деревья делал сразу,
Своим профóсам он гулять не позволял;
Вампиру алчному, костру, он поставлял
Обильные пайки, чтоб нищим тот не шлялся:
Грандье с Галигай спалить он постарался;
Анри — тот битв искал, а он — костям был рад,
И сладко обонял паленой плоти чад,
И с жадностью внимал в застенках воплям пыток;
Как виноградарь, он считал плодов избыток
В корзинах палача — по головам бедняг;
В щипцах каленых он ломал упрямяство шпаг;
В руках духовника он пешкой был покорной, —
Лакеем преданным сутаны этой черной;
Он залит кровью был от шляпы и до шпор;
Он над дуэлями свой заносил топор;
Безлюдя городà, кидая сèла в узы,
На шпильях Ла-Рошель, и Нанта, и Тулузы
Он траурную ткань как знамя водружал;
При всех повешеньях он лестницу держал,
Чья дрожь его руке передалась навеки.

То время страшное струило крови реки,
И казни сделались забавой площадной.
При этом короле народ над головой
Не звезды, не лазурь видал, не свод небесный,
А нечто низкое, свирепое, — и в тесной
Той храмине звучал лишь смерти мерный шаг;
Трон эшафотом был, точащим кровь. Итак —
Стал «Справедливым» слыть король сей.

*

Дальше, третий —

«Великим» прозван. Он, герой, кумир столетий,
Великолепен был, прекрасен, несравним.
Сверкал он над толпой, кишашею под ним,
Над скорбью, нищетой, чумой, неурожаем,
Над горько плачущим и разоренным краем;
Как маг, на пустыре, где царствует печаль,
Цветок он вырастил блистательный — Версаль;
Он был сверхкоролем, — второго нет примера;
Он приобрел Конде, Кольбера и Мольера;
Лишь Бел так ослеплять мог блеском Вавилон;
Над всеми тронами его вознесся трон;
Другие короли пред ним, как тень, тускнели;
Мир развлекал его, иной не видя цели;
И всемогущество, и торжество, и власть,
И гордость, и любовь в ночи сумели спрясть
Над головой его сиянье бездны звездной.
Хвала ему! Когда он шел, властитель грозный,
Бог, облеченный в блеск, бог-солнце, и кругом
Сверкали гении, излучены челом, —
Когда, весь в золоте, весь торжество и благо,
Не светозарного не делал он ни шага
И в пурпур одевал Олимп надменный свой, —
Народ задавленный питался лишь травой,
Вопила нищета, в тоске ломая пальцы,
Хрипели из канав голодные страдальцы,
Рабыня-Франция брела тропой бродяг,
Одетая в тряпье. Зимой бывало так,
Что, всю траву подъев, оголовав, не зная,
Где отыскать хотя б чертополох, шальная
Врывалась беднота туда, где прах и тлен;
Ночами, прыгая через преграды стен,

Толклись на кладбищах, волков сгоняя, люти,
Расковыряв гробѣ, копались в жалкой груди,
Ногтями шарили в останках, лоб склоня.
Рыдали женщины, беременность кляня,
И дети малые порою кость глодали,
И матери всё вновь могилы разрывали,
С неистовством ища — там не найдется ль снеть?
Так что покойники вставали поглядеть:
Какая там возня, какая там осада,
И у живых спросить: «Чего вам, люди, надо?»
Но что ж! Он был велик! Он сделал мир костром,
Чтобы везде звучал его триумфов гром.
Знамена по ветру, рев пушек, барабаны,
Боев разнузданных смерчи и ураганы,
Вкруг мертвых городов просторы пустырей,
Пылающая сеть воинственных затей,
Ряд маршалов: Тюрени с Бриссаком, с Люксамбуром,
Разграбленный Куртре с раскромсанным Намюром,
Брюссель пылающий и разоренный Фюрн,
Кровь, обогрившая хрусталь озерных урн,
Гент, Мاستрихт, Гейдельберг, и Монмеди, и Брюгге,
Резня на севере и бойни хряск на юге,
Хрипящая в петле Европа под пятой —
Вот что ему трофеей вручило боевой,
Лувр пеплом ублажив, обломками, гробами.

Вздор — эти города, повергнутые в пламя,
Земле напуганной кидающие свет;
Вздор — слава громкая и ореол побед,
Кровавым облаком приосенивший пашни;
Вздор — схватки лютые и взорванные башни!
Война, безумный конь, летевший за кордон
Дробить копытами любой враждебный трон, —
Вздор, чепуха; и вздор — кровавая отплата
Народу Фландрии, сынам Палатината!
В пороховом дыму топить просторы нив,
Полками мертвецов их борозды покрыв,
Грудь с грудью на скаку сшибая эскадроны, —
Все это мелочь; вздор — рожков сигнальных стоны,
Над площадями бомб и ядер ураган,
И превзойденные Тимур и Чингисхан!..
Он сделал более: стал палачом у бога.

Железом и огнем, благочестиво, строго,
Народ свой возвратил католицизму он;
И Рим апостольский доселе восхищен,
Как убелил монарх, их разлучив со скверной,
И души и сердца — для церкви правоверной,
И также — черепà на скорбных площадях.
Царит евангелъе, не библия, в умах!
Как он хорош — король в союзе с богом гневным!
Как дивен горний меч в пылании вседневном!
Чего не сделает христианин-король,
Когда за бога мстит, карая эту голь,
Что нагло вздумала по-своему молиться!
Какое зрелище! Изгнание, темница;
Пастòры, дòкторы — внушительный пример! —
В цепях, под палками, за веслами галер;
Мильон изгнанников, и тысяч сто убитых,
И десять — заживо сожженных иль зарытых;
У гордых базилик — стада еретиков
В сорочках-саванах; повсюду строй костров
На рынках городских — и хрип в дыму зловонном;
Захваты, западни, кинжалы в сердце — сонным;
Свирепая гроза судилищ роковых;
Грудь женщины в клещах; у стариков седых
Ломают голени железною дубиной;
Убийство мечется, сопя ноздрею псиной;
На отмели несет утопленных река;
Сметает конница лачугу мужика;
Пожар, грабеж, резня, насилье — без просвета;
И пастырь Боссюэ благословляет это!
О, благостный король, религии оплот,
Как зверя дикого травивший свой народ!
Да, коршунъём неслись, прислуживая трону,
Ламуаньон к Вивье и Монревель к Турнону;
Все было ужасом и бредом наяву:
Душили в комнатах и резали в хлеву;
Детей и матерей, что ко Христу зывали,
В колодцы брошенных, камнями добивали;
Дробили черепà священникам седым;
Приканчивали вмиг прикладом удалым
За прялкой бабушку и мать у колыбели.
Невероятный век! Драгуны не робели
Бичами женщин гнать, их догола раздев;

Разврат изобретал, чем свой насытить гнев;
Мечтала оргия о новых пытках; ромом
Сам Саваоф пьянел, ревя небесным громом;
Скакали чудища повсюду и кругом;
Вскрыв девушке живот, патроны рвали в нем;
Да, католичество веселым было тигром;
Тартюф, клянясь Христом, манил де Сада к играм!
Мерзейший фанатизм, безжалостность доктрин
Покрыли Францию громадами руин.
С распятым в кулаке, с ножом в зубах, — не верил
Ты в бога, Лувуа; и клык на бога шерил
Ты, Летелье! Губить детей и стариков?
Лишь недруг божий так злодействовать готов.
И господу служить с кровавыми руками —
Не значит ли его душить в сердцах, как в яме?
Святоши эти все — не комья ль грязи той,
Что в бога брошены с лопаты Сатаной?

Вот чем блистал король! И кажется ли дивом,
Что он «Великим» стал, придя за «Справедливым»?
О, слава, что венцом отрубленных голов
Как бы созвездием сверкнула для веков!
Лев, кошку выбравший соратником деяний!
Воитель, казнями себе натерший длани,
В тень мерзкую вдовы Скарроновой уйдя,
В Бавиле властного поводыря найдя.
Надменный меч — в ножнах, облизанных херьками!
Лавр, весь испятнанный кровавыми руками!
Король — решеточник и свалочник! Венец,
К чьим лилиям прильнул в ночной тиши чепец
Ханжи-монахини; в котором скрыл от взгляда
Скуфью железную тот старец — Торквемада!

О, королем своим затоптанный народ!
О, мир, что под звездой упавшею гниет!

Закат эпохи той в удел достался совам,
Что выползли из дулл, ночным внимая зовам.
Маячил в темноте строй виселиц и плах,
И смутно высились внушающие страх —
Одно на западе, другое на востоке —
Два колеса. И с них кидали взор безокий

Два трупа — тех, кому молился род людской.
Был первый Совестью, и Родиной — второй.

О царственный Луи! Блистательный властитель,
Герой! Но в будущем, где истины обитель,
Где разных Бурдалу смолкают голоса,
Триумф твой повезут — два этих колеса».

Настала тишина, на миг умолкло слово;
Но маска грянула свирепым смехом снова:

«Вперед! Река рычит, и ветра вой не стих.
Вперед же, короли! Куда? Что гонит их,
Когда земного им, умершим, нету дела?
Что за тревога их погнать во тьму сумела?
Вперед, вперед! Куда ты их уводишь, ночь?
Найти Четвертого ты хочешь им помочь?

*

Что рассказать о нем, об этом — о четвертом?

Он срам и грязь вознес над миром распростертым.
Не кровью он, как те, был залит, а слюной.
Коль прадед солнцем был, он стал безглазой мглой;
Он смрад распространил; он вызвал затуханье
Последнего луча, последнего дыханья;
В сердца измученных туман вливал он тот,
Что гнилью стелется вдоль топей и болот.
Он бит под Росбахом, он голод ввел с Террейем.
Прощай, все светлое, все то, чем сердце греем!
Бесстыдство, произвол, стяжательство, позор;
Привычка мерзкая — итти наперекор
Всему, что честь велит. Сатир настороженный,
Он был ничтожеством и мразью был зловонной!
Близ прочих королей порой кружил орлан;
Они — источник слез, несчастий, казней, ран,
Бичей и ужасов. Он — только поруганье!
И Франции чело, куда сам бог сиянье
Свое струил, — при нем, при этом короле,
Обучено клонить свой мутный стыд к земле.
О горе! Паника подругой флагу стала;
Постыдное «Бежим!» два раза прозвучало:

Тут завопил разгром, банкротство взвыло там.
Старинным доблестям пришел на смену срам.
Честь умерла. Одно Фонтенуа блеснуло
При царствованье том подвальном; все уснуло
При трусе-короле: что подвиги ему?
И, паутиною перевивая тьму,
Хватая на лету в их устремленье к небу
Красу и молодость — распутству на потребу,
Гнездом паучьим он свою кровать вознес.
Но все ж заря дарит земле мерцанье рос;
День занимается, и бодрый веет холод;
И Франция уже — та кузница, где молот
Прогресса прогремел и новый мир кует.
Все идеала ждут, король же — нечистот;
Дня жаждет Франция, а он во мраке бродит
И, утром уstraшен, с ним рядом ночь возводит:
К Парижу льнет второй, им созданный, Содом.

Какое ж прозвище такому подберем?

Глядите: подлые инстинкты, яд разврата,
Все виды низостей, какими честь распята,
Неведение добра и зла, исканье тех,
Кто всех гнусней, разгул, неблагодарность, грех,
Вздых облегчения, что сына смерть умчала,
Служенье голоду, чтоб денег прибывало,
Народу — нищета, и под людей подкоп,
Чтоб их нуждой жиреть, их разгрызая гроб!
Король-вампир был слеп к слезам, смеялся ранам;
Трусливый, дал царить в Париже англичанам;
Калас — на колесе, и на костре — Лабарр;
Жесток по дряблости, он наносил удар,
Чтоб избежать труда быть добрым в царстве стонов;
Навоз он в лилиях, Вителлий из Бурбонов!
Но, к радостям своим прибавив ряд темниц,
Бастильских башен мрак и хрип лежащих ниц
В железных клетках — там, на Сен-Мишеле старом,
Внук сотни королей, он был не самым ярым,
Не больше всех народ и родину давил;
Не самый бешеный, — он самым худшим был
И самым низким. Всех он гнал, дерзнувших мыслить;
Глупец, подпорку он пытался вдруг расчислить

Для трона ветхого: в Оленьем парке он
Об инквизиции лелеял сладкий сон.
Имея целью зло и в топь уйдя по плечи,
Он, слышно, ванны брал из крови человечесьей.
Он право попирает и девичьи цветы;
Распутник, матерей он вызывал бунты.
Весь грязь, он гордым был, холодным, нетерпимым...
Ну как же не прозвать подобного — «Любимым»?

Да, этот негодяй презренен был — до слез!
Зверь! Некий маниак ему укол нанес
Булавкой; вмиг предстал из Прузия Бузирис, —
И вопли Францию заполонили, ширясь:
Огонь, соски в клещах, расплавленный свинец,
Кипящая смола, страдальческий венец
Даря виновному, — все лавой мук излилось
Из той царапины, что в кратер превратилась.
И Данту не являл подобных пыток ад...

Отверженец! Земле он мерзок, точно гад;
Хочет нагло в нем всех венценосцев свора;
«Пей!» — подает ему историк чан позора.
О, боже правый! Ночь! Небес нетленных щит!
Ужель таков закон, что ужас — грязь родит,
Что прячутся от льва в канаву у заборов
И что наследует лесному вепрю боров?

Но вот над подлецом взмахнула смерть косой;
Он отдал мраку то, что мнил своей душой.
Когда его везли под перезвон унылый
В аббатство Сен-Дени, где королей могилы,
Где рядом трус, храбрец, злодей и хам легли, —
Когда священники обильно ладан жгли,
Чтоб колесницу скрыть завесой дыма жалкой,
Все видели кругом, как лил из катафалка
Никем не жданный дождь, сквозь плотный дуб сочась,
В колеса брызгая и оскверняя грязь:
То был король, монарх, священная особа,
Что падал каплями сквозь оболочку гроба.

Живете, деспоты, весь мир вбирая в пасть!
Есть Помпадур у вас, и Дюбарри, и власть;
Смеетесь, правите; пред вами все — дугою,

Но дрожь стыда у всех за вашею спиною.
Истории не счесть творимых вами зол.
Вы умираете, — немедля ореол!
И речь надгробная, подруга лести хитрой,
Приходит во дворец, в слезах, блистая митрой,
Вручить вас господу во вздохах панихид.
От ваших подвигов епископ не бежит,
Бальзамировщики ж бегут от ваших трупов!»

✱

И маски ропот свой струили в ночь с уступов.
Казалось, где-то там с бездонной глубиной
Зловеще шепчется полночных волн прибой.
Одна из масок, в ночь вперясь горящим оком,
Вскричала:

«Север, юг и вы, закат с востоком,
Где солнце день за днем свой совершает путь, —
Глядите: короли везде! Когда ж рвануть
Великая гроза свои посмеет цепи,
Гроза скорбей и мук, томящаяся в склепе, —
Чтоб в вихре бешеном короны завертеть,
Чтобы заставить львов от ужаса реветь,
Чтоб ветром сотрясти любой дворец проклятый
И перенять себе галоп у конных статуй?
О вы, из мрамора и бронзы короли,
Пятой мертвящие все уголки земли,
Проклятье вам! Когда б, небесной бурей прянув,
Ночь разметала вас, безжалостных тиранов,
И молнийным бичом хлестала вас и жгла,
И в страхе грызли бы и рвали удила
Все кони медные, все мраморные кони,
И всех вас, деспоты, в безудержной погоне
Низвергла в бездну ту, где вечный стон звучал,
Чтоб вас навеки скрыл небесный туч обвал!»

И маска плакала, мечя проклятья в дали,
Где трое всадников попрежнему скакали;
Казалась совестью карающей она.

«Терпенье!» — прозвучал ей крик хохотуна.

И трое королей вдоль набережной темной,
Не слыша воплей тех, неслись во мрак огромный.

III. ПРИБЫТИЕ

О, кони ярые, — как сумрачен их пыл!
Клубы дыхания не выются вокруг удил,
И в черноте их глаз взор не блеснит звездой.
Пока, холодные, безмолвной чередой
Они вдвигались вглубь унылой темноты,
Свидетельница-ночь туманные холсты
Плотнее и плотней на небо надвигала;
И дрожь могильная деревья сотрясала, —
Ладони вздетые истерзанных ветвей, —
Пока вдоль Тюильри среди нагих аллей
Шагали поступью размеренной и смелой
Два черных всадника и с ними всадник белый.

Пред ними, точно мыс, где в клочья рвется вал,
Террасы вскинутой гранитный угол встал.
Движенье тяжкое внезапно прекратилось.
Мрак тишиною стал. Прибытие свершилось.

Клубила зыбь река, одета темнотой.

*

О ужас! В глубине, на площади пустой,
Где статуя была, на месте, где недавно
«Любимый» высился надменно и державно,
Торчали, жуткие, в глуби небес ночных —
Два черные столба и лезвие меж них
Косоугольное, зловещее, нагое;
Пониже круг зиял, как будто слуховое

Окно, раскрытое во тьму; и тяжело
Две тучи в небесах клубились; в них число
Читалось грозное — год *девяносто третий*.

То эшафот стоял, не виданный на свете.

Он мрачно цепенел. За этим срубом взгляд
Уже угадывал какой-то бездны скат;
Деревья с трепетом взирали на виденье,
И ураган свое придерживал стремленье,
На смутный силуэт метнув пугливый взор.
Все было дико здесь. Чудовищный прибор,
Чернее траура и злодеянья рдяней,
Стоял загадкою на вековечной грани
Геенны и небес, в себе одном тая
И ненависти блеск, и мрак небытия!

Под нож косой ведя, там лестница вставала.
Машина страшная, казалось, пролагала
Всему живому путь к могиле мировой.
Тот пурпур, что течет дымящейся струей
На бойнях, ручейком горячим и багровым,
На черной мостовой неизъяснимым словом
Запекся меж камней: то было слово «Суд».
Казалось, что прибор, мертво торчащий тут,
Неописуемый, спокойный, безвозвратный,
Был безнадежностью построен необъятной
И возникал из мук, терзаний и руин;
Что эти два столба в пустыне, где один
Блуждает человек, раскрыв слепые очи,
Стояли некогда шлагбаумами ночи;
И мог бы острый взор в тумане гробовом
Прочсть на первом: «Власть», «Безумье» — на
втором.

Круг, раскрывавшийся под сталью обагренной,
Был схож с ошейником тюремным и — с короной!
Казалось, тяжкий нож, страшилище ночей,
Был выкован из всех пресыщенных мечей,
И влил в него Ахав железо и Аттила.
Вся мощь небытия над местом этим стыла,
Сквозь облака всходя в грозящий небосвод.

Кругом Незримое свершало свой полет.
Ни крик, ни шум, ни вздох тут не звучал. Порою
(И ужас королей тем умножался вдвое)
Меж роковых столбов, венчающих помост,
Слегка редел туман, и лился трепет звезд.

И ясно было: бог, в небесные глубины
Укрывшийся, не чужд печальной той машины;
Вся тяжесть вечности легла на месте том,
И площадь мрачная была ей рубежом.

*

И короли прочли то слово меж камнями.

Кто мог бы зоркими их подстеречь глазами
В миг этот роковой, тот с дрожью б разглядел,
Что бледны стали все три статуи, как мел.

Молчали всадники; и все кругом уснуло;
И если бы часы вдруг смерть перевернула,
То слышно было бы шуршание песка.

Вдруг голова всплыла; чернели два зрачка
На восковом лице; кровь из нее бежала.

Все трое вздрогнули. На рукоять кинжала
Литого пращура легла рука, дрожа;
Он голове сказал, отведавшей ножа
(Беседы дьявольской и бездна утрастилась):

«Ах! Искушение, что здесь осуществилось,
Конечно, ангелом господним внушено?
В чем грех твой, голова? В твоих глазах — черно,
И ты бледней Христа распятого, чья мука
Спасала мир... В чем грех?»

«Внук вашего я внука».

«Чем ты владел?»

«Венцом. О, как заря страшна!»

«Как звать машину ту, что здесь возведена?»

«Конец!» — вздохнула тень с покорными глазами.

«Кем создана она?»

«О предки, предки! Вами!»

✱

Да будет так. Но то, в чем ненависти яд, —
Не цель и не исход. И зори заблестят.
И к счастью приведет, — что темнота ни делай, —
Труд, этот мученик смеющийся и смелый.
Жизнь ясноглазая — всегдашний цвет могил;
И над потопами — взлет голубиных крыл.
Надежда никогда «ошиблась я» не скажет.
Смелей, мыслители! Никто вам рук не свяжет;
Над бездною ночной, над черной хлябью бед
Стремите рой идей и гордой веры свет!

✱

Прогресс — он шествует широкими шагами.
Терзать мучителей, глумиться над врагами —
О нет: не это цель под небом, льющим в нас
Добро, согласие, прощение, экстаз.
Поймите: всякий раз, как шар земли железный
На дюйм приблизит рай, на дюйм уйдет от бездны,
Зажжет в ночи маяк, разрушит скрытый риф,
И, к радости глаза и души устремив,
Народы ищут путь в любви, в мольбе, в боренье, —
То с неба светлое нисходит одобренье.

Все руки сблизятся; преодолев разлад,
Все успокоится; противник станет — брат;
Единство стройное мы, наконец, узнаем
Всего, что признаем, всего, что отрицаем;
Пробьется аромат сквозь грубую кору;
Идея озарит бездумных сил игру;
Души и тела спор, борьба Марии с Марфой,
Предстанет звучною, с волной аккордов, арфой;
Бездушной глине дух подарит поцелуй,
И плоть материи проникнет в говор струй;

Поможет песне плуг, и труженик цветами
Украсит лоб, клонясь над пышными снопами.
Вполне безгласных уст для слов высоких — нет!
С киркою рудокop и со строфой поэт
Всё то же золото, всё ту же тайну ищут,
Хоть люди по тропам, еще неверным, рыщут,
Размокшим от дождя, белеющим в пыли!
Мы в братстве растворим все горести земли;
Служить заставит бог расчет и размышленье,
И труд, и знания — задаче *исцеленья*.

День завтрашний — не зверь, что жертву стережет,
И не стрела, что в нас, уйдя, вчерашний шлет.
О нет! Грядущий день уже средь нас, народы!
Он хлеба ищет всем, и права, и свободы;
В решительном бою он бьется, не согбен;
Взглянув, как он разит, пойдем, как любит он!
Глядите: он идет, боец, в закрытом шлеме,
Но он откроется, народы, — будет время!
Покуда ж делает свое он дело; взор
Льет мысли жгучий блеск в решетчатый прозор.
За женщин бьется он, и за детей он бьется,
За светлый идеал, что миру улыбнется,
За душу, за народ — и в мрачной схватке той
Сверкает взор его предутренней звездой.

Огромный щит его с девизом «Испытаем!»
Откован из лучей, каких еще не знаем.
Во Франции свершив, в Европу он пойдет.
Он гонит пред собой невежество, и гнет,
И суеверие, опутавшее души,
И предрассудков рой, жужжащих людям в уши.
Не бойся же его, забытый горем мир:
Сегодня битва он, а завтра будет — мир.

*

Кто ищет Истину, тому она предстанет.

Вперед, за шагом шаг. Движение не обманет.
Прогресс же, на бегу взвивая ореол,
Пугливо обходить не станет мрачный дол,

Где Революция мятется — зверь прекрасный.
Взяв молнию у ней, он луч ей вверит ясный:
Их много у него, чей взор сиянье льет;
Потом покинет он рычання полный грот
И устремится вновь к своей великой цели,
Чистейшей всех снегов, что на горах белели
Когда-нибудь в веках, но дальше всяких гор:
То — Мир, сияющий сквозь голубой простор,
Гармония — стихий враждебных единенье,
Любовь — чудесное и жаркое свечение.

*

Орел вернулся вновь на свой утес родной;
Он переведался там, в пропасти, с грозой.
Теперь, вперяя взор в багряное горнило,
Он грезит в тишине — как бы достичь светила!

ИЗ КНИГИ

«ЛЕГЕНДА ВЕКОВ»

1859—1877—1883

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Отвиль-Хауз, сентябрь 1857.

Те, кто соблаговолят заглянуть в эту книгу, вряд ли составят себе о ней ясное представление, если не будут помнить при этом, что перед ними только начало незавершенного труда.

Значит, эта книга всего лишь отрывок? Нет. Она существует как нечто законченное. Читатель найдет в ней и вступление, и середину, и конец.

И в то же время это как бы первая страница другой книги.

Может ли начало быть единым целым? Без сомнения. Ведь колоннада — это уже постройка.

Дерево, будучи началом леса, представляет собой нечто цельное. Своими корнями оно обособлено, своими соками связано с общей жизнью. Само по себе оно является только деревом, и вместе с тем оно уже предвещает лес.

Если бы подобные сравнения не звучали несколько напыщенно, можно было бы сказать, что эта книга столь же двойственна. Она существует как единое целое; она существует как часть общего замысла.

Что же представляет собою этот замысел?

Отпечатлеть человечество в некоей циклической эпопее; изобразить его последовательно и одновременно во всех планах — историческом, легендарном, философском, религиозном, научном, сливающихся в одном грандиозном движении к свету; и — если только естественный конец не прервет, что весьма вероятно, этих земных трудов прежде,

чем автору удастся завершить задуманное, — отразить, словно в лучезарном и сумрачном зеркале, эту величественную фигуру — единую и многоликую, мрачную и сияющую, роковую и священную — Человека; вот из какой мысли, или, если хотите, из какого побуждения родилась «Легенда веков».

Из заглавия этого тома видно, что он является лишь первой частью, первой серией цикла.

Стихотворения, составляющие этот том, — только слепки с профиля человечества в его последовательных изменениях, начиная с Евы — матери людей, и кончая Революцией — матерью народов; слепки, снятые то с эпохи варварства, то с эпохи цивилизации и почти всегда с живой истории; слепки, отлитые из маски веков.

Когда к этому тому присоединятся другие и труд мой несколько приблизится к завершению, эти слепки, расположенные примерно в хронологическом порядке, составят как бы галерею барельефов человечества.

Как для поэта, так и для историка, как для археолога, так и для философа каждый век несет с собой изменения лика человечества. В этом томе, который, повторяем, будет продолжен и восполнен, читатель найдет отражения этого меняющегося лика.

Он найдет здесь нечто от прошлого, нечто от настоящего и как бы смутный прообраз будущего. Вообще же эти поэмы, различные по сюжетам, но вдохновленные единой мыслью, связаны между собой нитью, которая порой так истончается, что становится почти невидимой, но не обрывается никогда, — великой и таинственной нитью в лабиринте человечества, именуемой Прогрессом.

Так в мозаике каждый камень имеет свой цвет и форму, но только их сочетание создает образ. Образ этой книги, как мы уже сказали, — Человек.

Однако не следует забывать, что по отношению к целому, пока еще незавершенному труду эта книга является тем, чем увертюра является по отношению к симфонии. Она не может дать точного и полного представления о целом, хотя в ней уже виден проблеск всего творения.

Замысел поэмы, зреющей в сознании автора, здесь лишь приоткрывается.

Что ж касается этого тома, взятого в отдельности, автору остается сказать о нем всего несколько слов. Если

человеческий род рассматривать как великую коллективную личность, совершающую в течение многих эпох ряд деяний на земле, то она предстанет перед нами в двух планах — историческом и легендарном. Второй не менее достоверен чем первый, а первый не менее гадателен, чем второй.

Мне не хотелось бы, чтобы эти последние слова навели читателя на мысль, будто автор принижает огромную ценность исторических знаний. Из всех видов славы, венчающих человеческий гений, нет более ослепительной, чем слава великого историка-мыслителя. Автор хочет только, не умаляя значения истории, утвердить значение легенды. Геродот творит историю, Гомер — легенду.

В этом томе преобладает легенда, которая окрашивает все поэмы. Эти поэмы словно передают друг другу светильник, хранимый человечеством. *Quasi cursores*¹. Именно этот светильник, пламя которого — истина, образует единство книги. Все поэмы, — во всяком случае те из них, которые посвящены прошлому, — содержат либо накопленную, либо угаданную правду истории. Иногда вы найдете в них вымысел, но никогда не найдете подделки; никакого сгущения красок; абсолютная верность колориту времени и духу различных цивилизаций. Так, например, в «Падении Рима» нет ни одной мелочи, которая не отличалась бы строжайшей точностью; сюзь восторженности турецкого историографа Кантемира проступает магомектанское варварство именно таким, каким оно изображено на первых страницах «Зим-Зизими» или «Султана Мурада».

Автор не сомневается, что люди, хорошо знакомые с историей, почувствуют правдивый и искренний тон этой книги. Одна из поэм заимствована, — автор мог бы сказать — переведена, — из евангелия. Две другие («Сватовство Роланда» и «Эмерильо») — разрозненные листы огромной средневековой эпопеи («Великий Карл, король седобородый...»). Эти две поэмы возникли непосредственно из героического эпоса рыцарских времен. Это история, подслушанная у преддверия легенды.

Что касается зарождения некоторых других поэм в уме автора, то об этом можно составить себе понятие, прочи-

¹ Подобно участникам бега (лат.).

тав несколько строк, помещенных в виде эпиграфа к стихотворению «Ответ Момотомбо», — строк, из которых и возникла эта вещь. Автор сознается, что часто он довольствовался почти недоступным невооруженному глазу, еле уловимым намеком, затерянным в хронике или предании. Поэту и мыслителю не возбраняется угадывать в фактах общественной жизни то, что натуралист угадывает в явлениях природы, когда он воссоздает допотопного зверя по отпечатку когтя или по лунке зуба.

Кое-где пробел, кое-где излишне тщательное и кропотливое изображение какой-нибудь подробности — таковы уязвимые стороны всякого незавершенного труда, отданного на суд читателей. Такое нарушение пропорций иногда оказывается мнимым. Читатель, конечно, должен дожидаться появления всей «Легенды веков», чтобы верно судить об этих изъянах. Так, например, узурпация власти играет такую огромную роль в образовании средневековых государств и с запутанной историей инвеститур связано столько преступлений, что автор счел необходимым запечатлеть все это в трех основных его воплощениях, в трех драмах — «Маленький король Галисии», «Эвриадю» и «Доверчивость маркиза Фабрицио». То, что сейчас, быть может, производит впечатление чрезмерной растянутости, позднее во всем цикле покажется вполне пропорциональным.

Светлые картины редки в этой книге; но ведь и в истории они не так уж часты.

Как убедится читатель, автор, рисуя судьбы людей, не вырывает их из окружающей жизни. Чтобы извлечь из человеческой души поистине живые звуки, он приводит человека в соприкосновение с существами отличными от него, именуемыми животными, предметами, мертвой природой, — существами, выполняющими некую роковую роль в непостижимом строе мироздания.

Такова эта книга. Автор предлагает ее публике, не скрывая от себя ее глубочайшего несовершенства. Это лишь стремление к идеалу, не более.

Но здесь, повидимому, требуется объяснение.

Мы надеемся, что в дальнейшем, когда будут опубликованы другие тома этого цикла, станет ясна связь, соединяющая по мысли автора «Легенду веков» с двумя поэмами, почти уже законченными, из которых одна является

развязкой, а другая — истоком эпопеи: «Конец Сатаны» и «Бог».

Итак, развивая сказанное выше, автор считает возможным уже сейчас ознакомить читателей с замыслом довольно обширного поэтического полотна, возникшим у него в уединении, замыслом, в котором должна отразиться единственная проблема — Бытие в его трех обликах — Человечество, Зло, Бесконечность — прогрессивное, относительное, абсолютное. Трем этим обликам и соответствовало бы то, что можно назвать тремя песнями — «Легенда веков», «Конец Сатаны», «Бог».

Сейчас выходит в свет первая серия набросков к этому полотну. Остальные за нею последуют.

Никто не может поручиться, что окончит начатое им; ни одна минута дальнейшего труда над задуманным не в нашей власти; возможность продолжения, увы, зависит от жизни; и даже слабейшему из людей дозволено иметь благие намерения и высказывать их.

А намерение этой книги — благое.

Совершенствование человеческого рода из века в век; человек, идущий из мрака к идеалу; райское преображение земного ада; медленное и неуклонное пробуждение свободы; право на эту жизнь и ответственность за будущую; некий священный гимн в тысячу строф, исполненный глубочайшей веры и достигающий вершин самой возвышенной молитвы; драма мироздания, освещенная ликом создателя, — вот чем должна стать эта поэма, если только бог, владыка человеческих жизней, позволит ее завершить.

ЗЕМЛЯ

Гимн

Она — земля, она — равнина, плоть полей;
Она мила тому, кто зерна бросил ей;
Она — ковер для сна ночного.
Светила вечного ее лелеет свет,
Смеясь, вращается среди сестер-планет
Она вокруг очага родного.

Ей мил горячий луч, друг шелестящих нив,
И ветра буйного целительный порыв,
И лиры струнное дыхание,
И в тучах молнии стремительный излом,
Который всех страшит, но в сумраке ночном
Нам обещает дня сиянье.

Привет тебе, земля! Привет зари лучам
И мириадам глаз, в ночи раскрытых нам,
Цветам и гнездам в полдень ясный!
Привет снегам вершин в полночной тишине,
Привет лазури дня и небу в вышине,
Где зори вечны и прекрасны!

Ей мил небесный свод, что всем раскрыт равно
И чей покой смутить нам, смертным, не дано,
Что нашу низость и пороки,
Печаль глубокую и заглушенный смех,
Беспечность наших дел и суету утех
Целит молчаньем звезд высоких.

Земля безбурна там, где ропщет океан.
Земля прекрасна. Ей покой великий дан.

Она в траве лежит стыдливо,
В лучах любовник май склоняется над ней,
И шлет она грозе, чтоб та была добрей,
Крестьянских хижин дым ленивый.

Не громыхай же, гром, щади людей труда!
Земля так ласкова, но вместе с тем горда.

Она свежее розы алой,
Для тех, кто трудится, ее приветлив лик;
Для всех невинности она живой родник
И справедливости начало.

В ней скрыто золото, и хлеб растит она;
В том, что живет сейчас, питает семена
Времен, еще нам предстоящих.
Она лелеет птиц, любовь поющих нам,
И ручейки в тени, и по крутым горам
Широкий лес дубов шумящих.

Гармония — ее священнейший закон.
Лишь повелит она — тростник речной склонен
Пред дуба кроною широкой.
В ней равновесие — опора всех начал, —
И кедру надобно, чтоб гордо он стоял,
Согласье травки невысокой.

Она равняет всех и смешивает прах
Погонщика волов с тем, кто царит в веках.
И что ей Александра имя?
Шлет души к небесам, беря себе тела,
Сама не ведая, в своем незнание зла,
Какая разница меж ними.

Всем платит долг она: дню — ночь она дает,
А ночи — день, скале — траву, цветению — плод;
Питает нас из рода в роды.
Ей верит дерево, с ней спорит человек:
Он тяжбу трудную ведет из века в век
С священной силою Природы!

Она взрастила вас, Адам и Иафет,
Потом взяла себе; и стерла Тира след
Без размышленья и пощады.
Что Спарта ей и Рим? Мемфис лежит в камнях,
И там, где род людской шумел на площадях,
Теперь звенят одни цикады.

Зачем? Чтоб мирно спал тот, кто в гробницу лег.
Зачем? Чтоб после всех крушений и тревог
Апофеоз был воздаяньем,
Чтоб вслед сказавшим «нет!» шли те, кто скажет
«да!».

Вещей великое молчанье.

Земле милы жнецы. Вечернею порой
Для них она прогнать хотела б черный рой
Ворон, кружащих над полями,
Когда усталый бык уже едва бредет,
Когда с полей домой торопится народ
И плуг сверкает лемехами.

Она растит цветы, чей жизни краток срок, —
Но разве небеса их слышали упрек?
От белых лилий, винограда,
От миртов в час грозы среди ревушей тьмы
Ни осуждения, ни слез не видим мы,
Как и не знаем жалоб сада.

Всю книгу тайную раскрыла нам земля;
Свершила, что могла: мир низвела в поля,
В утесы дикие и чащи,
Чтоб просветить умы Гермеса сыновьям,
Умеющим читать пока лишь по складам,
При отблеске свечи дрожащей.

Рожденье, а не смерть — вот цель ее. У ней
Язык, чтоб говорить, и острых нет когтей.
Когда ж со злобою неправой
Война ей взрежет грудь глубокой бороздой, —
В негодовании земля, скорбя душой,
Глядит на плуг ее кровавый.

В мучениях кричит она своим сынам:

«К чему ваш гнев и кровь? Что даст пустыня вам?

Зачем губить садов цветенье?»

Земля не любит злых, ненужных ей людей,

И жалко ей до слез растоптанных полей,

Бессмысленного разрушенья.

Земля Церерою была во мгле веков,

Колосьев матерью, и пашен, и лесов.

И слышу я ее укоры:

«Сыны! Деметра я, богиня из богинь,

Постройте же мне храм среди своих пустынь

На склонах вечной Каллихоры!»

Собрав всклокоченных детей, одетых в шкуры,
Сквозь бурю и грозу, косматый и понурый,
Брел Каин, трепеща пред гневом Иеговы.
Когда спустилась ночь на скалы и на рвы,
Остановился он над пропастью у края.
Жена и сыновья, без сил, изнемогая,
Сказали: «Ляжем здесь на землю и уснем».
Он не уснул: сидел и думал об одном.
Вдруг, голову подняв, раскрытое широко
Он в небе гробовом, во тьме, увидел око,
Что зорко на него глядело между скал.
«Мы мало отошли», — он, задрожав, сказал.
И, растолкав детей, подняв жену седую,
Он вновь пустился в путь сквозь темноту ночную.
Бежал он тридцать дней и столько же ночей,
Без сна, без отдыха, гоня жену, детей,
Не смея посмотреть назад, дрожа от шума,
Таясь и крадучись. И вот пред ним угрюмо
Простерся океан. Промолвил Каин: «Тут
Мы остановимся; тут мы найдем приют;
Здесь край земли; ничьей мы здесь не встретим
мести».

Присев, он увидал опять, на том же месте,
Все тот же зоркий глаз в суровых небесах.
И черным трепетом в него ударил страх.
«О! Спрячьте же меня!» — он завопил. И дети
Глядят: отец дрожит, как зверь, попавший в сети.
Он крикнул Явелю, отцу племен степных,

Что меж песков живут в палатках шерстяных:
«Здесь, с этой стороны, меня прикрой палаткой!»
И дети облекли его стеною шаткой,
Прижав ее концы камнями и свинцом.
«Теперь исчезло все?» — склонясь к нему лицом,
Спросила Цилла. «Нет! — ответил он сурово
Прекрасной внучке. — Нет! Меня он мучит снова!»
Ювал, отец племен, живущих в городах,
Придумавших игру на гусях и рожках,
Сказал: «Я за стеной его укрыть сумею».
И стену медную воздвигли, и за нею
Лег Каин и сказал: «Он все-таки глядит!»
Сказал Енох: «Тогда возьмемся за гранит,
И город выстроим в кольце высоких башен,
Чтоб всех отпугивал, чтоб черен был и страшен,
Построим цитадель, закрыв навеки вход».
Отец всех кузнецов, сам Тувалкаин, — тот
Построил грозный град, чудовищный, громадный.
Пока работал он, другие братья жадно
Ловили всех, кого родил Енос иль Сиф,
И отпускали их живыми, ослепив;
И стрелы по ночам пускали в купол звездный.
И город стал похож на город адской бездны:
Взамен степных шатров сложен гранитный склеп,
И глыбы связаны кольцом железных скреп;
От тени черных стен ночь залегла в просторы;
Строй башен поднялся, огромных, точно горы;
И надпись выбили: «Для бога вход закрыт».
Когда закончили крепление глыб и плит,
Был Каин помещен средь келии гранитной,
Но дик был вид его. «Исчез ли ненасытный
Тот глаз?» — спросила дочь, припав к его ногам.
И Каин отвечал: «Нет, он все время там!»
Потом он стал кричать: «Копайте подземелье!
Укрыться я хочу навек в подземной келье!
Незримым стать для всех и видеть только мрак!»
И яму вырыли, и Каин подал знак,
Что рад он, и его в провал спустили темный.
Когда ж простерся он, косматый и огромный,
И каменный затвор над входом загремел, —
Глаз был в могиле той и на него глядел.

Некормленные львы в своем ревели рву,
Природе жалуясь великой, что ко льву
Всегда заботлива в тиши его берлоги.
Три дня не ели львы и, в злобе и тревоге,
Готовы растерзать мучителей-людей,
Сквозь кровлю из полос железных и цепей
Глядели на закат, плескавший кровью алой.
И путник вдалеке страшился запоздалый,
Услыша грозный рык средь голубых холмов.

Не молк у пленников по ребрам хлест хвостов,
И стены рва тряслись — такой голодной страстью
Делились рыжие глаза с багряной пастью.

Ров был глубок; его, обманывая рок,
Скрываясь некогда с детьми, прорезал Ог:
Они, сыны земли, утес пробили темный,
Выдалбливая в нем себе дворец огромный;
Но головами был проломлен мощный свод,
И свет в дыру с тех пор неудержимо бьет,
И для ночной тюрьмы стал крышей блеск лазури.
Навуходоносор, когда царил в Ассуре,
Плитою перекрыть отверстие приказал;
Он счел, свирепый царь, что славно тот подвал,
Знакомый некогда святому старцу Ною,
Гигантам строенный, послужит львам тюрьмою.

Их было четверо, ужасных. Слой костей
Устал в пещере пол. И пролегла по ней,
Окутывая львов, густая тень утесов.
Метались львы, топча презренный прах отбросов,
Животных остовы, людские костяки.

Лев первый вспоминал содомские пески;
Когда-то, в полноте своей свободы дикой,
Он жил в пустыне Син, в ее тиши великой
И одиночестве. И горе тем, кого
Валил на землю взмах косматых лап его!
То был песчаный лев.

Второй — он жил когда-то
В глуби могучих рощ на берегах Евфрата;
Дрожало все, его завидев у воды;
И, чтоб его загнать, пришлось глотнуть беды:
Охота двух царей нужна была и сети.
Рычал он. То был лев лесной.

Был горным третий.
Блуждая по горам бесшумною стопой,
Он в тесном дружестве был с ужасом и тьмой:
Бывало, в некий миг, послушав глубь ночную,
Бараны и быки бросались, врассыпную
К оврагам. Все бегут: пастух, боец и жрец —
И грива страшная являлась наконец.

Четвертый, грозный зверь, свирепый и надменный,
Был лев береговой — с дюн, орошенных пеной.
До плена своего он возле вод бродил.
Гур, укрепленный град, на том побережье был;
Шел дым из труб его; в порту кишела стая
Судов, скоплением рей над морем вырастая;
Крестьянин, манною наполнив свой мешок,
Входил туда; въезжал, гоня осла, пророк;
Народ был радостен, как голуби в лазури;
На главной площади большой был рынок в Гуре,
И аморреянин туда янтарь свой нес,
И кость слоновую вез эфиоп; овес —
Ашеровы сыны, и аскалонцы — масло;
От гурских кораблей сиянье моря гасло!

Но этим городом был гордый лев стеснен;
Мечтая в сумерках, нередко думал он,
Что слишком много там людей и много шума.
Гур был суров и тверд: лишь ночь сойдет угрюмо,
Три бруса тяжкие спускались у ворот;
Торчали меж зубцов, переграждая вход,
То буйволоный рог, то рог единорога;
Стена — как бы герой — вздымалась твердо, строго;
И море зыбилось невзнузданной волной
В неодолимом рву — сто футов глубиной;
Не псы свирепые, что в конуре бы были, —
Два змия, пойманных средь камышей на Ниле,
Волхвом обученных нести охрану врат,
У входа стерегли несокрушимый град.
Но лев, приблизившись однажды ночью темной,
Одним прыжком тот ров перемахнул огромный
И раздробил, вонзив свирепый ряд зубов,
Ворота стойкие, тройной сломав засов,
И, не заметив их, смял страшных двух драконов
Под грудой рухнувшей упоров и заслонов;
Когда ж на берег свой потом вернулся он,
От града и людей остался бледный сон,
И, — чтоб тайлся тигр и гриф гнезвился, страшен, —
Кой-где фантомы стен под призраками башен.

Лежал он, этот лев, на плитах животом, —
Он не рычал, — зевал; в подвале гнусном том,
Где жалкий человек его обрек на муку,
Он голод презирал, он чувствовал лишь скуку.

Метались три других и кровавым зрачком
За птицей, тронувшей решетку их крылом,
Следили; на дыбы вставал в них голод; зубы
Жевали тьму сквозь рык, раскатистый и грубый.

Вдруг в темном уголке загрохотал замок;
Решетка сдвинулась; на роковой порог
Стал человек; его пугливо чьи-то длани
Толкали; в белые он облачен был ткани.
С могильным скрежетом задвинулся засов,
И человек во тьме один стоял средь львов.

И, в пене, хищники, щетинясь рыжей гривой,
Вмиг ринулись к нему, издав нетерпеливый
Тот рев, где ненависть зовет на кровь, спеша,
Где гневная звучит и дикая душа
С ее свирепостью, безумьем, мятежами.
И человек сказал: «Да будет мир над вами,
Львы». Поднял руку он. Остановились львы.
Шакал, что роется среди морской травы
В обломках корабля, весь корчась; плосколобый
Медведь; полночный волк, что разрывает гробы, —
Все злобны. Что гнусней безжалостных гиен?
Подкравшись, тигр прыжком хватает жертву в плен.
Но благородный лев, с широким шагом, яро
Свой коготь вздев, порой не нанесет удара, —
Великим будучи мечтателем ночей.

Львы, кучей плотною над грудами костей,
Казалось, меж собой совет в тиши держали;
Так старцы мудрые раздор бы охлаждали,
В раздумье шевеля седую мглой усов...
Сухое дерево кидало тень на львов.

«Львы! — к братьям обратясь, промолвил лев
песчаный. —
Лишь этот человек вошел, — мне полдень рдяный
Пригрезился, в краю, где мчат самумы зной, —
И вечных далей вздох повеял надо мной.
К нам этот человек явился из пустыни».

А лев лесной сказал: «Те дни далеко ныне,
Но помню шелест фиг, и пальм, и кедров, — тот,
Что день и ночь плескал в мой беспечальный грот;
И даже в час, когда земля и твердь молчала,
Листва зеленая мне песнею звучала.
Лишь человек сказал, — мне сладких слов излом
Напомнил клик из гнезд, укрытых мглой и мхом.
К нам этот человек из мощных рощ явился».

А тот, кто ближе всех к пришельцу подступился,
Весь черный, горный лев сказал: «Наш человек
С Кавказским кряжем схож, не дрогнувшим вовек,

С величьем Атласа; лишь руку он неожиданно
Приподнял, — думал я, что то хребет Ливана
Воздвигся, тень метнув громадную в простор.
К нам этот человек сошел бесспорно с гор».

Тот лев, что некогда бродил над зыбью моря,
Рычаньем тягостным с его рычаньем споря,
Сказал, четвертым: «Нет. Мне свойственная статья —
Познав величие, про горечь забывать;
Вот почему всегда я жил в соседстве с морем.
Пусть пенились валы — его улыбку зорям
Я часто видывал, игру в лучах луны
И в солнце, выплывшем из мрачной глубины;
И я привык, о львы, взирая в бесконечность,
И бездну чувствовать себе родной и вечность!
Как посетитель наш не звался б на земле, —
Он свет небес принес в глазах и на челе.
К нам этот человек пришел, друзья, от бога!»

Лишь ночь сошла на мир из синего чертога,
Страж глянуть вздумал в ров и, робкий раб, тишком
К решетке прилепясь бледнеющим лицом,
В неясной глубине заметил Даниила:
Стоял он, выпрямься, и созерцал светила,
Задумчиво глядя вглубь звездной синевы, —
А в темноте ему лизали ноги львы.



Усталый, лег Вооз у своего гумна.
Весь день работали, и он трудился тоже,
Потом обычное себе устроил ложе
У вымеренных куч отборного зерна.

Немало ячменя собрал он и пшеницы,
Но жил как праведник, хотя и был богат;
И в горнах у него не распался ад,
И грязи не было в воде его криницы.

Серебряным ручьем струилась борода
У старца щедрого. Коль нищенка, бывало,
Упавшие с возов колосья подбирала:
«Побольше сбросьте ей», — он говорил тогда.

Не знал кривых путей и мелочных расчетов,
Одетый в белое, как правда, полотно.
Для бедных доброе текло его зерно,
Как из открытых всем, из общих водометов.

Любил родню и слуг, работал на земле,
Копя, чтоб отдавать, хозяин бережливый.
А жены думали: «Пусть юноши красивы, —
Величье дивное у старца на челе».

Тот возвращается к первичному истоку,
Кто в вечность устремлен от преходящих дней.
Горит огонь в очах у молодых людей,
Но льется ровный свет из старческого ока.

✱

Итак, Вооз лежал у своего гумна.
Окончен страдный день — и в сладостной истоме
Вокруг него жнецы заснули на соломе...
То было в давние, иные времена.

Израиль жил в шатрах, согласно выбирая
Судью для всех племен. Земля, еще храня
Следы каких-то ног чудовищных, со дня,
Как миновал потоп, была совсем сырая.

*

И как Иаков спал и как Юдифь спала,
Так ныне спал Вооз. И над скирдами хлеба
Чуть приоткрылась дверь раскинутого неба,
Чтоб греза странная на спящего сошла.

Увидел он, дивясь, как у него из чрева
Потомков длинный ряд — огромный дуб восстал.
И некий царь вещал внизу под сенью древа,
И некий бог вверху в мученьях умирал.

Но голосом души в смятение и в испуге
Вооз шептал: «Увы! Обманчив сонный бред.
Я прожил более восьмидесяти лет
И сына не имел; и нет моей подруги.

От ложа мужнего ты взял ее, творец,
И на твоём она теперь почиет ложе.
Но, разлученные, мы с нею слиты все же:
Она во мне жива, а я почти мертвец.

Потомство от меня? Ужель поверю бреду?
С мечтой о сыновьях проститься мне пора.
Да, юность нам дарит чудесные утра,
Из ночи день встает и празднует победу.

Но вот я одинок, мой вечер подошел,
И, старец, я дрожу, как зимняя береза.
К могиле клонится теперь душа Вооза,
Как тянется к ручью на водопое вол».

Так говорил Вооз, и в небосвод полночный
Незрячий взор его был смутно устремлен.
Как розы под собой не видит ясень мощный,
У ног своих жены еще не чуял он.

*

Пока Вооз дремал, совсем неподалеку
Моавитянка Руфь легла, открывши грудь,
И сладко маялась, и не могла уснуть,
И с тайным трепетом ждала лучей востока.

Вооз не знал, что Руфь у ног его легла,
А Руфь не ведала, какой послужит цели.
Отрадно и свежо дышали асфодели;
По призрачным холмам текла ночная мгла.

И ночь была — как ночь таинственного брака;
Летящих ангелов в ней узнавался след:
Казалось иногда — голубоватый свет,
Похожий на крыло, выскальзывал из мрака.

Дыханье спящего сливалось в темноте
С журчаньем родников, глухим, едва заметным.
Царила тишина. То было ранним летом,
И лилии цвели на каждой высоте.

Он спал. Она ждала и грезила. По склонам
Порою звякали бубенчики скота;
С небес великая сходила доброта;
В такое время львы спускаются к затонам.

И спал далекий Ур, и спал Ермадеф;
Сверкали искры звезд, а полумесяц нежный
И тонкий пламенел на пажити безбрежной.
И, в неподвижности бессонной замерев,

Моавитянка Руфь об этом вечном диве
На миг задумалась: какой небесный жнец
Работал здесь, устал и бросил под конец
Блестящий этот серп на этой звездной ниве?

Я вами побежден, но поглядите, боги:
Я остаюсь горой, раскинувшей отроги;
Для вас я — грудую лежащий темный прах,
Но вы едва видны мне в бледных небесах.
Что ж, существуйте, пусть. Я сплю.

Вы, троглодиты,
В чьем лопотании слепые мысли скрыты,
Вы копошитесь там, в неразличимой тьме,
Уже червей тая в инстинктах и в уме.
Вы пресмыкаетесь перед могильной пастью,
Но знайте, что сродни молитва соучастию;
Что ж вам жалеть меня? Добыча ям глухих —
Дрожите, жалкие, но за себя одних!

А что Венера там, с глазами девки пьяной,
Глупец кровавый Марс и злобная Диана
Смеются надо мной иль хмуро морщат бровь;
Что в небесах моих, где сумрак был, не кровь,
Теперь Олимп торчит, ничтожный сгусток тени,
Готовясь к подвигам распутств и преступлений,
И верит, будто Пан, великий Пан, — сражен;
Что сам Юпитер, туп, громами восхищен,
Дал волю молниям, свободу аквилонам
И глупого орла пустил летать над троном, —
До этой суеты какое дело мне,
Чей превосходит рост морскую глубь втройне?
О люди, мне смешны боязни вашей путы;

Все эти божества лишь выскочки и плуты;
Ах, эта чернь, кого богами чтите вы,
Разбойничала лишь средь звездной синевы,
И горы, и леса, и тихие долины, —
Все ими растлено с подножья до вершины.
Мне это ведомо и, пав и недвижим,
Величьем гибели я все ж мешаю им!
О нет, я не боюсь! На их наскок единый
Ответить я готов грохочущей лавиной!
Зову ворами их, укравшими весь свет,
И не хочу и знать — приятно им иль нет!

Вам, люди, кажется, что боги в вечной злобе
Меня, грозящего, навек замкнули в гробе, —
Пусть; я забыл, я сплю; и безразлично мне,
Юпитер молнию стремится ли в вышине.
Есть флейта у меня; бродя по горной круче,
Я оглашаю дол мелодией певучей,
А боги пусть рычат и ропщут, — не боюсь!
Кто может помышлять, что я хоть обернусь,
Хоть взгляд один метну на них с утесов горных,
Что испугаюсь я в глуби лесов просторных
И хоть на миг прерву и песню и мечту,
Заслышав тяжкий гром, дробящий высоту!

Xerxēs ton Hellēsponton eke-
leuse triēkosias epikesthai mastigi
plēgas.

(Ксеркс приказал дать Геллес-
понту триста ударов плетью.)

Геродот. «Полимния».

1

АЗИЯ

Огромна Азия, чудовишна, дика;
Она на прочий мир взирает свысока;
И ей любя земля под темной ночи кровом.
Она всегда была под деспотом суровым,
Который правил мглой подвластных мрачных стран.
Здесь — Киммерия, там — британский злой туман,
Суровая зима и ледников лавины,
В забытых небесах безвестные вершины,
Простор безбрежных тундр под кровом снежных
выюг;

Песками страшными засыпан знойный юг;
Род человеческий в пустынной мгле затерян.
Дофрины высоки, Кавказ никем не мерян,
И Фулу дальнюю объемлет океан;
Как тигр, давящий лань, гнетет ее вулкан.
У полюса, где вран вещает хриплым зовом,
Оркад архипелаг лежит пятном суровым,
И мрачный океан, холодный и немой,
Катит свои валы, окутанные тьмой.

И целый мир гнетет Азийская корона:
Ее могуществу неведомы препоны,
Она — владычица всех стран и всех морей;
Во мгле сокрыто все, что не подвластно ей,
В пустынности песков, во власти аквилонов;
Народы стонут все в тисках ее законов
Или дрожат в снегах, под гнетом вьюжных туч.
Тревожит Азию один лишь светлый луч —
Эллада! Если он окрепнет и воспрянет, —
И в мире сумрачном светлей и легче станет.
Трепещет Азия при мысли страшной той,
И Тьма спешит гасить луч Света золотой.

2

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ

Едва забрезжил день, отправились походом.

Чудовищный обоз предшествовал народам,
Что, согнаны рукой сатрапов кое-как,
Огромной армии составили костяк.
Назвать их имена, счесть вопли, лязги, звоны —
Не все ль равно, что счесть полночной бури стоны?
Различны нравы их, одежды, имена.
Скиф, перед кем дрожат Европы племена,
Идет совсем нагой. Его соперник хмурый,
Макрон, покрыл главу, как шлемом, конской шкурой,
И уши конские на лбу его торчат.
Вот пафлагонцев рать шагает тяжело в ряд,
Железом подковав из пестрой кожи боты;
Их луки коротки, зато длинны их дроты.
Дакиец, чьи цари ютятся в конурах,
Раскраской боевой врагам внушают страх —
Красны, черны, белы. Отрядам Согдианы
Предшествуя, идет большая обезьяна
По имени Бегем. Бормочет ей шаман
Невнятные слова. Вот эфиопских стран
Идут сыны — гремят тамтамы, трубы, сistrы;
Курчавы головы, шаги легки и быстры.
Под тяжкою чалмой здесь шествует халдей,
Фракиец, чье копье всех больше и острей, —

В отрядах их несут Ареевых кумиров.
Как перечислить всех — курносых тех соспиров,
Лигийцев, что в грязи зловонной моют стан?
Там саки, дадики, тьмы миков и парфян,
Ларийцы темные, травой морской повиты,
В доспехах эллинских ассурские гоплиты,
Арфей и с ним Сидамн, болотных стран цари,
И в шкурах коз — пустынь каспийских дикари,
Что на огне костров оружие обжигают.

Как воды, что в котле бурлят и закипают,
Безмерная толпа вздувалась и росла,
Как будто Азия на смертный бой вела
Всю Африку, Восток весь страшный, многоликий.
Шли нимы, чьи в бою наводят ужас клики,
И сарды, воины тирренских южных стран,
И мосхи, в колпаках, раскрасив пестро стан,
И геты; и, ряды смыкая тяжким шагом,
Бактрийцы во главе с Гистаспом, мудрым магом.
Шла тибаренов рать — их род давно забыт, —
Хохлами журавлей украсив каждый щит.
Ливийцы черные под рев рогов шли бодро,
Лишь узким пояском свои стянувши бедра:
Отточенным мечом, изъятым из ножен,
И парой дротиков был всяк вооружен, —
Их род когда-то жил на берегах Стримона.
Аброды дикие, без веры и закона,
Имели только лук и каменный чекан.
Гандары, что разрез глаз красили в шафран,
Сирийцы смуглые, закованные в брони.
Вдали ревел гобой, бил гонг и ржали кони:
То абиссинских гор, Нумидии степей
Неслися воины на спинах лошадей,
Перед которыми и молнии ленивы.
Лидийцы в шлемах шли, и веяли их гривы;
Колонны стройные воинственных гиркан
Вел вавилонский князь, могучий Мегапан.
Отряды двигались милийцев белокурых,
Что чтили набожно своих кумиров хмурых;
Офира горцы шли — стоит вершина та
За гранями морей; шли уроженцы Фта —
Реки, что с дальних гор, где пахнут асфodelи,

Течет, как бы в тисках, по дикой горной щели —
Там не разъехаться и паре колесниц.
Шли гуры, чья страна, вблизи земных границ,
В извечной тьме лежит; раджи, князья индийцев,
В расшитых сапогах, как шейхи нумидийцев.
Их предводителем Артан великий был,
Сын Арты старого, кого Камбиз любил
Так, что воздвиг ему чертог из сердолика.
Сагастов рать неслась, сынов пустыни дикой;
Все их оружие — один аркан льняной.
Шли легионы в ряд с разнузданной ордой;
Громада страшная их здесь соединила —
Нагих и латников. Эндорская сивилла,
Угрозы бормоча, влачилась в цепях.
Верблюды и слоны коням внушали страх.
Арабы смуглые держались в отдаленье.
За ними двигалось ста колымаг скопление —
С добычею, горой наваленной, обоз,
Ослами дикими влеком был каждый воз.
Огромная орда — сброд разношерстный, дикий, —
Которую согнал царь Персии великий,
Росла, как снежный ком, ревела, как Борея,
Под игом двадцати безжалостных вождей.
Войска вел Артаферн, князь твердый и лукавый,
А Ксеркс, великий царь, слал всех на бой кровавый.
И сей людской поток, кошмарный точно сон,
В сверканье плыл мечей, пик, панцырей, знамен:
Лавины всадников на стременах высоких,
Несчетные ряды воителей жестоких.
Скопления страшные разнузданных людей
Без перерыва шли семь дней и семь ночей,
Катились, мрачные, как воды Флегетона,
Как тучи черные; людские два миллиона,
Гонимы палками, вздувались и текли.

В

ГВАРДИЯ

И хоть бесчисленных солдат прислать смогли
Царю Содом и Кипр, Сибарис, Ниневия,
Лишь в армию вошли скопления такие:
Ведь армия — толпа; она поет, свистит,

Но гвардия всегда хранит свой строгий вид,
Молчит, как все молчат в святилище, во храме.
Безмолвно шел вперед блестящими рядами,
Как строй могучих львов, «Бессмертных» легион.
Кто смог бы описать всю роскошь их знамен,
Расшитых золотом, фигурами драконов?
Серая царского скрипел обоз фургонов,
И, ошестинившись железом длинных пик,
Шел евнухов отряд — их вел скопец-старик.
Вослед шли палачи, закутанные в ткани,
Неся орудия немислимых терзаний,
Котлы, где клочкотал, как ад, горячий вар.
За ними двигались тьмы шлемов, митр, тиар,
Сверкая на главах мидян и персов важных:
То «Десять тысяч» шли, могучих и отважных.
Пред строем их Алфей премудрый выступал,
Что ведал все пути, но трепета не знал.
Не ведая узды и не страшась погони,
Священных табунов пред ними ржали кони.
Отборной конницы четыреста полков
Шли под команду владетельных царьков,
Одетые в меха и платье дорогое,
Склонив перед царем оружие золотое,
Сверкая красотой, как ясная заря.
Жрецы несли сосуд, в котором для царя
Священный пресный хлеб пекла сама царица;
И белых шесть коней влachten колесницу,
Где восседал сам царь. Он был один, как бог:
Кто, смертный, разделить посмел бы с ним чертог?
Гобои славили властителя полмира.
Созвездья в глубине полночного эфира, —
Что светят, как в лесу пресветлых рой дриад, —
Все факелы небес: Арктур, гнездо Плеяд,
Цефей и Сириус, трехсвечник Ориона,
Овен, Стрелец и Лев, извивы Скорпиона,
Кастор, бегущий вспять, Поллукс, грядущий
к нам, —
Вся эта груда солнц, известных лишь богам,
Не ярче в небесах блистала и сверкала,
Чем эта гвардия, что грозно охраняла
Великого царя полдневный сладкий сон.

Недостижим, могуч, дремал на троне он.
Очнувшись и зевнув, он вопрошал, сонливый:
«Уж поздно?» Артабан, его наперсник лстивый,
Ответствовал ему: «Царь светлых Экбатан,
Где осеняет бог священных рек платан!
Нещаден солнца зной, до вечера далеко.
Спи, почивай пока, наш властелин высокий,
Тем временем твои я перечту войска,
Подобные орлам, летящим в облака.
Спи!» И пока царю он исчислял знамена
Почти всех стран земли, дремал тот утомленно,
И мерно двигался царя подвижный трон, —
По фивским образцам он был сооружен.
Вельможа Патирамф был при царе возницей.
И сотни тысяч шли за царской колесницей,
И тяжкой тысячей — военные слоны.
Шло войско, искривясь как юный серп луны,
И замыкал его стрелец, бастард Мардоний.
Столь был неизмерим поток людей и коней,
Что за день выпил всю реку Скамандр до дна.
И где он проходил — пылала вся страна,
Царили глад и мор, кровавая расправа.
Переходили Инд, как жалкую канаву:
Все рассчитал, все знал премудрый Артабан.
К тому ж похода план был Гермецидом дан,
Что был высоко чтим народами Востока.

Покинув Лидию, дошли до вод потока
По имени Каик, и града древних Фив,
И Фивы новые прошли, затем, вступив
На бесконечную песчаную равнину,
Где Иды маяком служила им вершина,
Узрели Арарат, где Ноев стал ковчег.
По двадцать стадий в день свершала свой пробег
Лихая конница, пехота — половину.

Пройдя во Фригии Галисскую долину,
Увидели Меандр, извилистый поток,
Где кожу Аполлон в Келенах раз совлек

С сатира Марсия, — безжалостно жестокий, —
И, в назиданье всем, воздел на шест высокий.
Колосс, Минервы град, увидели полки,
Где скрылось под землей течение реки;
Минули Кидр, где Крез-тиран царил когда-то,
Анан, где соль в прудах рождается богато,
Увидели Канос, ужасный как Эреб,
Но обошли его. Достигли Каллатеб,
Где псов Дианы лай порою слышен злобный,
Где пчелам жители усердием подобны
И собирают мед, пахучий точно нарד.
На следующий день, достигнув гордых Сард,
С гонцом послали весть, чтоб эллины дрожали
И к ужину царя уже в Элладе ждали.
Затем, пройдя Афон, где вечно гром гремит,
Пришли к реке Санос, где был канал прорыт
От самой той реки к Аканфскому заливу.
И вот, придя на брег, где вечно и тоскливо
Ужасный знойный ветер из Африки гудит,
Близ Абидосских стен, от Сеста до Медит,
Воздвигли страшный мост на тысячах понтонов —
Тир дал канаты, лес; тростник — край фараонов.
Тот мост мог дать проход всем армиям земным.
Но вот однажды в ночь, как от пожара дым,
Нашла громада туч, заняв полнебосклона,
И заревел самум — стократ страшней циклона,
Нагнал на мост валов разнузданный потоп,
Понтоны разметал, рвал вязь цепей и строп,
В Эвксинский Понт погнал течение Геллеспонта
И море бревнами покрыл до горизонта.
Все было кончено. И грозный царь, вспыхнув,
Воскликнул: «Берегись, противник мой пролив!
Ты — бездна, я — гора! И я с тобой поспорю!»
И триста приказал плетей он всыпать морю.

Ударом каждым их Нептун был уязвлен.

Разгневан и могуч, поднял трезубец он —
И каждый тот удар стал воином. Обиду
Отмстить велел Нептун вождю их Леониду,
Элладу защищать на бой благословил —
И доблесть их узнал царь Ксеркс у Фермопил.

Когда отважный Хиль, что сыном Санчи был,
Скитальцем прозванный, объехавший полмира,
Достиг краев, где был властителем Рамиро, —
Копье он вдруг занес, забрало опустил:
Он гидру увидал. В траве она дремала,
Ужасная на вид — таких чудовищ мало!
«Я здесь!» — промолвил он и меч свой обнажил.
«С кем собираешься помериться ты силой? —
Свиваясь кольцами, стоголовая спросила. —
Кого ты ищешь, Хиль, свою оставив мать?
Меня иль короля — тирана и вампира?» —
«Ищу чудовище». — «Ну, так спеши к Рамиро!»
И гидра улеглась, чтоб снова задремать.

Едва лишь Сид успел вступить в Хенералиф,
Свершилось должное: им был сражен халиф —
Халиф Огрул, гроза народов непокорных.
Он, Сид Кампеадор, с огнем в зеницах черных,
С душою пламенной, с железным кулаком,
Шел к цели напрямик: халиф пал под клинком.
Сид вышел из дворца один, спокоен, ясен.
Пред ним, убийцею, который был прекрасен,
Пред избавителем — всяк трепетно поник.
Вдруг подошел Меднат, ученейший старик,
Что был толковником священных строк корана
И по ночам глядел на луч Альдебарана.
Спросил он: «Сид, скажи, кого ты повстречал?» —
«Я встретил молнию». — «Да, да, я это знал, —
Сказал мудрец. — Она сама мне говорила.
На башню я взошел молиться. Вдруг явила
Мне лик свой молния, пронзая небосклон:
«Я здесь: меня призвал народа скорбный стон
На князя злобного, — столь велика обида;
Но я лечу назад: я повстречала Сиду».

1

ПРИБЫТИЕ КОРОЛЯ

Вы мне по пояс. Гордый властью,
Вы так надменны на коне.
Король мой, вы малы, к несчастью,
Но Сид зато велик вдвойне.

Вы, мой порог переступая,
На башни кинув робкий взор,
Дрожите, как трава степная, —
Король, вам нашептали вздор.

Не предают мои бойницы,
Измене вход сюда закрыт;
С улыбкой смотрит луч денницы
На дом, где обитает Сид.

Бездушны замка бастионы,
Но дух владельца в них живет.
Зубцы украсил плющ зеленый,
Как честь украсила мой род.

В тени лесов моих душистых
Еще не знал пришелец бед.
Под этой кровлей, в гнездах мшистых,
И стебелька чужого нет.

Но каждый путник, кто б он ни был —
Еврей иль мавр, король, эмир, —
Когда он в замок Сиды прибыл,
Находит пищу, сон и мир.

Я Сид, пряма моя дорога,
И совесть я не продаю.
Я лишь во власть живого бога
Живую душу отдаю.

По вашей милости я нищий,
Хоть кровь я часто лил за вас.
Король, вы гость в моем жилище!
Я вас не звал, но — в добрый час!

2

ВОСПОМИНАНИЕ О ХИМЕНЕ

Когда б ветрам пеняли горы
За нрав изменчивый и злой,
Пришлось бы вам терпеть укоры,
Вы были б ветром, я — скалой.

Меня измена вербовала,
Но был я преданный слуга.
Меня чернил ваш друг, бывало,
Но бил я вашего врага.

Я презираю сброд ничтожный
Любимцев ваших. Я бы мог
Развеять их, как прах дорожный,
Который топчет мой сапог.

Вы досадить хотели Сиду,
Когда он в храм невесту вел.
Король, я вам простил обиду;
Весь мир благоухал и цвел.

Ковры пред нами расстелили,
Епископ улыбался нам.
С мантилей, полной роз и лилий,
Вошла моя Химена в храм.

В тот день поверх одежд богатых
Я мой доспех надел стальной.
Я помню солнца блеск на латах,
Другое все забыто мной.

Хоть я не ждал подобной встречи,
Войдите с миром в город мой.
Когда ж мои не лестны речи —
Не вы ль одни тому виной?

3

КОРОЛЬ ЗАВИСТЛИВЫЙ

Леон, и Эбро, и Ламанча!
Кто вам их отдал, как не Сид?
Еще вас не было, дон Санчо,
Когда уж был он знаменит.

За это ль вместе с вашей кликой
Глумитесь вы над стариком?
Король, не стыдно ль быть владыкой
И быть завистливым притом?

Потомку многославных дедов,
Мне грустно, что владыка мой,
Вассала доблестного предав,
Над ним смеется за спиной.

Иль оттого, что до могилы
Поклялся верным быть ваш Сид,
Что, вам отдав и труд и силы,
Уже не так мечом разит, —

Все ваши прихвостни готовы
Его дразнить из-за угла?
Не рано ль радуются совы
При виде старого орла?

Пусть на одних весы со мною,
В пудовых ризах, как в броне,
С любым монархом за спиною
Сам папа въедет на коне, —

Я и в одежде горца бедной
Перетяну их вес двойной,
Хотя бы тот король был медный,
А этот папа — золотой.

4

КОРОЛЬ НЕБЛАГОДАРНЫЙ

Мое богатство — только вера.
Я хмурюсь, гнева не тая,
Когда в монархе лицемера,
В мужчине труса вижу я.

Твоим предательствам нет счета,
Твоим обманам нет числа.
Мы разошлись у поворота;
Я — дух добра, ты — демон зла.

Я горд моею службой трону;
Ты платишь ненавистью мне.
Не бойся, я тебя не трону,
Летя на боевом коне!

Ты повелел в своей гордыне —
Стыдись! — чтоб день и ночь тебя
Монах твой славил по-латыни,
И по-кастильски — твой судья.

Нет, если дважды два четыре,
То льстец нечист, как басурман,
И никакие блага в мире
Не завлекут меня в их стан.

В своем дому ты смотришь строго,
Со мной надменен твой язык.
Ты слишком юн для педагога,
Я слишком стар как ученик.

Я враг словесной перебранки:
Когда смеются надо мной
Твой писарь — где-то в Саламанке,
Или в Хаэне — стряпчий твой;

Когда, стреляя за стеною
В грачей на башенных зубцах,
Ты сам смеешься надо мною,
Над тем, кто стены рушил в прах, —

Побереги свою корону,
Смотри, чтоб Сиду не пришлось
Пинком швырнуть тебя в Херону
Или пощечиной — в Бургос!

5

КОРОЛЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ

Когда я здесь, под Сарагосой,
Засев в берлоге родовой,
Кусая ус, уже белесый,
Гляжу на стяг дырявый свой, —

Ты о защите к черным силам
Воззвал бы в страхе, если б мог.
В ночи угрюмым альгвасилам
Стеречь велишь ты свой порог.

Смешно, король! В любую пору
Твою взломать могу я дверь.
Не все ль равно Кампеадору,
Кто страж твой — человек иль зверь?

Спроси пажа иль кастеляна:
«Вон тот усатый, с бородой, —
О чем задумался так странно.
Какой он обуян мечтой?

Куда вперил он взор суровый,
Рыча, как зверь, что кость грызет?
Не сокрушит ли все оковы?
Не истребит ли он мой род?

И не измену ль замышляет?
Он с виду супостат и вор.
Кому он смерть уготовляет
В глуши своих проклятых гор?

Меж дроворубов и медведей,
Что там плетет он в тишине?
Не призовет ли всех соседей,
Чтоб отомстить обиды мне?

Когда бродяга не в темнице,
Намордник надобен ему!»
Нет, сир! Как вам царить в столице,
Так мне царить в моем дому!

Здесь — я ключарь моей свободы,
И я — хозяин этих гор.
Хочу — для всех открою входы,
Хочу — запру их на запор.

Живу — как Сиду жить угодно,
И оттого люблю свой дом.
Ты пожалел, что я свободно
Зеваю в логове своем?

Ты хочешь, видно, чтоб под старость
Я, Сид, вдали от ратных дел,
Смирив остывшей крови ярость,
Как пес твой, на цепи сидел?

Чтобы, захлопнутый в капкане,
Под стражей был я ночь и день?
Ступай! На бурю в океане
Намордник жалкий свой надень!

6

КОРОЛЬ ПРЕЗРЕННЫЙ

Король, дрожавший в бранном поле
И злом плативший мне с лихвой,
Да ты по праву ль на престоле?
Или отец державный твой

В гробу ворчит: «Он не мужчина!
Какой цыган родил его
И своего подкинул сына
На место сына моего?»

По мне, король, нет лучше пира,
Как после боя, вечером,
Отведать с черным хлебом сыра,
Их крепким сдобрив корешком.

Не ты мне вверил эти горы,
Не ты мой ратный дух питал,
Не ты мне рыцарские шпоры
И родовые лены дал.

Мне были школою сраженья.
Король, сравним-ка нашу статью!
Ты мал, но в виде одолженья
Могу я на колени стать.

Пока ты празднуешь и «credo»
Читаешь дома поутру,
Я с бою горы Овиедо
И башни Кордовы беру.

Могу хвалиться этим смело,
Ты знаешь сам, что я солдат,
Что кожа Сида почернела
От шлема, поножей и лат.

Ты жертвой пал своей же злости;
Изгнав меня, ты стал смешон.
Позор — из дому выгнать гостя,
Безумье — Сида выгнать вон.

Во мне оплот твоей гордыне,
Мой рог еще твой помнит враг
И мнит, что тень моя доныне
Идет в ряду твоих вояк.

В аббатствах, в крепостях — повсюду,
Где сеет зло рука твоя,
За королевскую причуду
Несу ответ, как прежде, я.

Со мною ты — король, нет спора,
Один — ты нищего бедней.
Измерь клинок Кампеадора, —
Вот мера дел твоих и дней!

От Тахо до Альмонасида,
Во всех концах твоей страны,
Лишь боевые песни Сида
Звучат как музыка войны.

Испания гордится мною,
Народ веряет мне судьбу.
Мой горный рог, сзывая к бою,
Разбудит мертвого в гробу.

Шагами грозными моими
Потрясена, земля дрожит.
Как триумфатор в древнем Риме,
Идет венчаный славой Сид.

Ирун, Коимбра — все смолкает,
Все вдаль вперяет робкий взор,
Когда, исторгнув меч, скликает
Своих бойцов Кампеадор.

7

КОРОЛЬ ПЛУТ

Ни благородства, ни отваги!
Их легче, подлый лицедей,
Найти в ошейнике дворняги,
Чем в золотой цепи твоей.

Ты стер добра и зла границу,
Ты прикрываешь клятвой ложь.
Вероотступника десницу
Ты на евангелие кладешь.

Ты никогда не держишь слова;
Ты можешь, истово крестясь,
Пред чистой ракою святого
Из уст извергнуть ложь и грязь.

Пустых словес хитросплетенья!
Давно узнал им цену я.
Уж лучше ветра уверенья
Да обещания ручья.

Твоя бесчестность возмутила
Вассалов, что тебе верны.
Любая речь твоя — могила
Для целомудрия страны.

И Сиды лишь одно тревожит:
Что станет с ней, с моей страной,
Коль здесь предатель клясться может
И лгать у честных за спиной?

Пускай мои слова обидны,
Но, право, лучше во сто крат
В пята смертельный яд ехидны,
Чем вероломства гнусный яд.

Я нынче горячусь немного,
Хоть вы король, а я вассал.
Не осуждайте слишком строго
За то, что правду вам сказал.

8

КОРОЛЬ ВОР

На нас налог взвалил ты новый, —
Ты прибыл, может быть, за ним?
Король, мы в бедности суровой
Живем под знаменем своим.

И что нам ты с твоим отрядом?
Вглядись-ка, мы не мужичье!
Ни капелланам, ни алькадам
Здесь брюхо не набить свое.

Хвастун! Запомни Сиды слово:
Ты не получишь ничего.
Наш вольный город не корова,
Чтоб королю доить его.

Нет, сир! Над нами власть господня!
Ты позабыл наш старый спор.
Я все скажу тебе сегодня,
Когда уж начал разговор.

Ты отнял все мои владенья,
Поля, и реки, и леса,
Где в пору вешнего цветенья
Звенели птичьи голоса.

Ты отнял дедовские лены,
Ты обокрал мой дом и двор,
Ты сети сплел вокруг Химены, —
Я в клочья разорвал их, вор!

Жаль, короля нельзя повесить,
Не то — прости мой грубый слог! —
Тебя б, назад еще лет десять,
Я в Альбавьеху приволок.

Ты Сиду стал ковать оковы, —
Смотри, чтобы не вздумал он
Бабьеке выковать подковы
Из золота твоих корон.

Мой гнев покуда спит в потемках,
Но, воин старый, я таю
Под пеплом ярости, в обломках,
Всю славу грозную мою.

9

КОРОЛЬ ВОЯКА

К лицу бы волком вам родиться!
Когда идете вы в поход,
Король, Испания стыдится,
Что мир испанцем вас зовет.

Мы спор с врагом решить не можем,
Война во всех концах страны
На наших землях с войском божьим
Сразилось войско сатаны.

Но отступить мы не умеем.
Клинок, ударив о клинок,
В сражение, вслед князьям пигмеям,
Гигантов рыцарей увлек.

Пусть враг взойдет на эти кручи, —
Он башни узрит и валы.
Соседи наши — только тучи
Да горбоносые орлы.

В бою, где царь и нищий — вместе,
Все жизни на одних весах.
Внизу — игра, где спор о чести,
И божий суд — на небесах.

Но кто б ни выиграл сражение,
Уже голодный ворон ждет,
И червь могильный разрешение
Неразрешенному найдет.

Шакал добычею кровавой
В ночи насытит голод свой,
И царь овладевает славой
На пользу твари гробовой.

Прекрасно дерзновенье боя,
Но смелым, чьи сердца чисты,
Важней, чем прозвище героя,
Сознание высшей правоты.

Лить кровь и подло и преступно,
Но может стать священным бой,
Когда ты веришь неотступно,
Что правосудие — с тобой.

Я понял на путях скитаний,
Что слава в прихотях вольна,
Что блеску почестей и званий
Цены не придает она.

К солдату склонится без гнева,
Хотя к мольбам вождей глуха.
В сражение шпага — это дева,
Что выбирает жениха.

Но ваши, сир, дела и войны, —
Хоть ваших труб и громок рев, —
Они изменника достойны,
Кто все и вся предать готов,

Кто цепенеет, обнаружив
В тумане дальний стан врага,
Кто в страхе прячется от мужа,
Но нападет на старика,

Кто в исступленье лютой злости,
Все истребляя, все губя,
Оставив пепел, кровь и кости,
Считает Цезарем себя

И нам, потайный ход нащупав,
Как тигр оскалясь у дверей,
Покажет груды детских трупов
На грудах мертвых матерей.

10

КОРОЛЬ ТРУС

В мечтах о подвиге геройском,
Король, не вздумай как-нибудь
На Пиренеи бросить войско,
За Ронсеваль перешагнуть.

От гор испанских океаны
Рождались в древности седой.
Окаменевшие титаны,
Тут сами скалы примут бой.

Где бог дубы взрастил на кручах,
Откуда ваш далек Содом —
Там вольный род людей могучих
Издrevле основал свой дом.

Там не пройти твоим солдатам,
И звездочеты не решат,
Считаться ль дубу старшим братом,
Иль человек там старший брат.

Как будто сам из глыб сработан,
Он в гордой вольности возрос.
Сестрою молнию зовет он,
И волк — его домашний пес.

Там был Геракл. Но в этот дикий,
Свободный уголок земли
Ни Цезарь сам, ни Карл Великий
Потом проникнуть не могли.

Неразговорчивый и хмурый,
Разбил их грозные полки
Пастух, одетый в волчьи шкуры,
В веревочные башмаки.

И если на титанов этих
Пошлешь ты всех своих бойцов,
Чтоб увидеть, живет ли в детях
Неукротимый дух отцов, —

Хотя б вы вторглись в их пределы
Под барабанный гром и крик,
Имея палицы и стрелы,
И даже двадцать тысяч пик,

Хотя б, ища неравной схватки,
На одного по сотне шли, —
Король, ты вмиг покажешь пятки;
Ты, убоявшись их земли,

Помчишься по крутым откосам
Быстрее, чем с гор бежит река,
Едва услышишь за утесом
Рожок мальчишки-пастуха.

Когда, обидою пылая,
 Кампеадор подчас ворчит, —
 И тут уж всё: Геракл, Пелайо,
 Бернард, земель испанских щит,

И император Карл, и древний
 Творцом хранимый горный край, —
 Ты стариковской речи гневной
 За ржавый скрип не принимай.

Смеяться надобно со смыслом;
 И верь, король мой, никому
 Не сможешь этим смехом кислым
 Ты рот зажать в моем дому.

А я, склонив, как должно, знамя,
 Тебя браню пред всей толпой,
 Хотя ты в шляпе перед нами,
 А я без шапки пред тобой.

Я видел в Альбе и в Хероне,
 Как честных вешают людей
 И муж, достойный быть на троне,
 К столбу привязан, как злодей.

Я видел их в кровавом прахе —
 Тех, кто скалой стоял в бою,
 Я видел голову на плахе,
 С которой не сравнить твою.

Нет, сир! Творец в юдоль земную
 Людей послал не для того,
 Чтоб меч твой, как траву степную,
 Косил создания его.

Пока в бессмысленных забавах
Ты провожаешь день за днем,
Вершится столько дел кровавых,
Мы столько слез напрасно льем.

Король, и горы бы рыдали,
Смягчился б каменный утес,
Когда б узнал, что плакать стали
Глаза, не ведавшие слез.

С тобою нет в победу веры,
И нет Испании надежд.
Ты отпускаешь ей без меры
Лишь креп для траурных одежд.

Меж самых подлых, меж отпетых —
Какой злодей был так жесток?
Мы узнаем друзей в скелетах,
Висящих по краям дорог.

В лесах не раз мы примечали,
Какой ты тешишься игрой,
Как дуб склоняется в печали,
Когда на нем висит герой.

Пред каждым храмом столько нищих;
От зарев красен небосвод;
Скорбит на мертвых пепелищах
Тобой запуганный народ.

Когда пред палачом колено
Склоняют графы и князья,
Ты с вышины глядишь надменно,
Но как низка душа твоя!

Ты лучших слуг своей короны
Предал мечу, король-пигмей!
В сожженных замках — женщин стоны,
На камнях лестниц — кровь мужей.

Твой путь — меж казней и насилий.
Почти у каждого двора —
Зловещий шум вороньих крылий
Да лязг цепей и топора.

Плетьми стегал ты женщин в Вике,
Ты избивал их в Алькала.
Злодей! Бессмысленны и дики
Твои кровавые дела.

Но человеческую скверну
Я королю не ставлю в счет.
Блюду свой долг нелицемерно
И воздаю тебе почет.

13

СИД ВЕРНЫЙ

Князь! Случалось, в годы смуты,
Вам нищий встретится впотьмах:
Сверкнет кинжал, и с той минуты
Надменный князь — слепой монах.

Я не таков, я чужд измене;
За короля стою стеной.
Моих великих предков тени
Всегда витают надо мной.

Так деревенские просторы,
Чей зелен полевой убор,
Седые окружают горы,
Замкнув далекий кругозор.

У нас, в республике ущелий,
Гранитных скал и бурных рек,
Еще не знает низких целей,
Стремлений подлых человек.

Предатель хуже сарацина:
Себе не верит самому.
На нем златого дня личина,
Но в сердце скрыл он ночь и тьму.

Сегодня он как уголь красен,
А завтра — черен как смола;
Король! Мой взор открыт и ясен,
А речь правдива и смела.

И знай, я не из вашей братьи,
Я тверд в решеньях, как булат.
Химена штопает мне платье,
Но честь должна быть без заплат.

Люблю по-старому, былому
Звонить в свои колокола;
Плутов не подпускаю к дому
И сам не лезу в их дела.

Я не хочу, чтоб запах тлена
Напоминал мне ваш Содом,
Чтоб алчность, ложь, разврат, измена,
Как червь, мой источили дом.

И вот, король, за что народом
Любим я более, чем ты,
За что пастушки мимоходом
Всегда приносят мне цветы.

14

СИД ЧЕСТНЫЙ

Дон Санчо, можешь быть спокоен,
Тебе не причиню я зла.
Пусть почернел в походах воин,
Зато душа его бела.

Ворчанье Сиды — не причина,
Чтоб ратный долг нарушил он,
А долг мой — выгнать сарацина
И укрепить, король, ваш трон.

Король! Таким, как вы, тиранам
Перечим мы, зато народ
В нужде и в бедах к нам — дворянам
Лесов и вереска — идет.

Нас покорить не так-то просто;
Мы только молвим «нет» иль «да» —
И разомкнулись арки моста,
И ров наполнила вода.

Вдали дворцов, где честь бессильна,
Где попираются права,
Восходит гордость в нас обильно,
Как во дворах у нас — трава.

У старости — упрямый норов.
Частенько, с левой встав ноги,
За что-нибудь своих сеньоров
Мы попрекаем, старики.

И Сиду мил отцов обычай:
Он не стесняет свой язык,
Не слишком держится приличий
И правду режет напрямик.

Тебе целуя туфлю дружно,
Льстецы забыли стыд и честь.
Мы поступаем так, как нужно,
А говорим мы то, что есть.

Уж таковы у нас порядки;
На все здесь добрый урожай,
И лишь лакейские повадки
Сюда искать не приезжай.

Мы злаки сеем по долинам,
Мы травы косим по горам
И, крикам радуясь орлиным,
Уподобляемся орлам.

Мы видим всё: пиры и плахи,
Всё, чем твой занят праздный двор;
Мы знаем, как ты шепчешь в страхе:
«А что-то скажут люди гор?»

Мы здесь — в глуши, но мы свободны;
Мы в круг придворный не вошли.
Нас огрубил наш труд походный,
И башмаки у нас в пыли.

С такими, сир, твой меч не сладит;
Мы здесь как равные стоим, —
Как Хиль стоял, мой славный прадед,
С Бозоном, прадедом твоим.

Но чем же ты обеспокоен,
К чему гадаешь, сам не свой:
«Что он замыслил, старый воин,
Подобный туче грозовой?»

Боишься ли, что, взяв за ворот,
Тебя в мой плащ я заверну,
Дворец потребую иль город,
А то и всю твою страну?

Король! Дожить свой век в покое —
Моя единственная цель,
И я не шевельну рукою
За Бургос твой иль Пеньяфьель.

Не лучше ль, от шумихи вздорной
Отгородясь в углу своем,
Быть горцем в деревушке горной,
Чем в королевстве королем?

Я твоего, король, не трону;
Идущий век не двину вспять.
Я Кордову прибавил трону
Не с тем, чтоб Лериду отнять.

Я не прошу твоей Саморы,
Твой Алькалеб — на что мне он?
На что мне твой дворец, который
Слабей аббатства защищен?

И дочь — наследница короны,
И шитый золотом убор,
Каким, верша твои законы,
Гордится твой коррехидор?

На что мне этот блеск непрочный?
И в нем ли счастье старика?
Я встал — и плод срываю сочный,
Нагнусь — и пью из родника!

15

КОРОЛЬ — ЭТО КОРОЛЬ

Мой дом окинув робким взглядом,
Решетки старой слыша звон,
Сир, вы в душе клянетесь адом,
Дрожа за свой неверный трон.

Вам страшно думать, что создатель
Покинул вас в моих горах.
Мой честный меч — о трус, предатель! —
Внушает вам и стыд и страх.

Вы, разместив своих шпионов
Вдоль всех тропинок и путей,
Созвали восковых баронов
Из их картонных крепостей.

И все же издали, бледнея,
Со мною речь вы повели.
Так недоверье из злодея
Бьет, как родник из недр земли.

Ужели я ночной грабитель,
Ужели я морской пират,
Что мой высокий посетитель
Столь явным ужасом объят?

Вы ищите в приливе злобы,
Где маг, что Сиды изведет.
Вы измышляете, за что бы
Меня послать на эшафот.

Вы палачу, в ночи бессонной,
Твердите, ярости полны:
«Он — меч, над нами занесенный,
Могила — вот его ножны!»

Вы узнаете стороною,
Куда следы мои ведут.
Поверьте, сир, следить за мною —
Бесплодный и ненужный труд.

К чему вам это? Разве мало
Того, что клятву дал вам Сид?
Я ваш вассал, а кровь вассала
Вся королю принадлежит.

Пусть вы хитры, — скажу без лести, —
Жесток ваш нрав и груб язык;
Пусть вы ничто в вопросах чести,
Хотя и первый меж владык;

Пусть, вас увидя, втихомолку
Стремится каждый в тень уйти;
Пусть вы, король, подобны волку
На непроторенном пути;

Пускай вам нелюб Сид и, что бы
Ни говорил, ни думал он,
Ему спасенья нет от злобы
Мерзавцев, окруживших трон, —

Но я, склонясь пред этим троном,
На радость вашему шуту, —
Булат перед мечом картонным,
Пред ложью правда, — вас я чту.

Да, трус! Бесстрашный Сид пред вами
Свою не забывает роль.
Так что еще, скажите сами,
Что сделать мне для вас, король?

16

СИД — ЭТО СИД

В глуши моих владений горных,
Дон Санчо, есть один ручей.
Как старый Сид в толпе придворных,
Он чист меж трав и камышей.

В его струях, как в винной чаше,
Да почерпнем любовь и мир.
Мой род высок — вот сходство наше;
Я рыцарь — вот различье, сир!

По книгам выводя законы,
Твердит иной мыслитель нам,
Что ограничены и троны,
Что есть предел и королям,

Что ни один король от века
Того свершить еще не мог,
На что нет сил у человека,
В чем полновластен только бог.

Но как разведать, где граница?
Как знать, где оборвется нить?
Контрабандисту поклониться
Или священника спросить?

Мне спор такой, признаться, скучен;
Хоть всем владейте — буду рад.
Я к послушанию приучен;
Кто спорит — право, не солдат.

И как ни тяжело ваше иго,
Какие слезы мы ни льем,
Пусть я останусь дон Родриго,
Вы оставайтесь королем.

Хоть рады ваши доброхоты
Валить на Сиды всякий вздор,
Ужель сводить мне с вами счета,
Неблагодарный мой сеньор?

Я для тебя, хотя мы в ссоре,
Барбастро взял, врагов оплот,
Хаэн, Валенсию, где море
Как разъяренный бык ревет,

Уэску, Теруэль, Самору,
И Мурсию, где, кинув бой,
Бежал ты, преданный позору,
И Вик, растерзанный тобой,

И Таррагону, город лавров,
И Лерму, город сикомор,
И все, что отнято у мавров,
Чем славен Сид Кампеадор.

Едины в летописях чести,
Пойдем мы рядом в вечный путь.
Кто хочет — помяни нас вместе,
Кто хочет — вместе позабудь.

Я опустил глаза — не скрою,
Что может дерзким быть их взгляд.
Одно лишь солнце надо мною!
Войдите, сир, я гостю рад.

Одна звезда в ночи затмила
Все звезды — их не перечесть.
Любовь, победа, счастье, сила —
Что в них? Мне светит только честь.

И я, чьи падают седины
Волною белой по плечу,
Вступив в вечерние долины,
К могиле близясь, — я хочу,

Чтобы, коленопреклоненна,
Когда придет моя пора,
От той звезды зажгла Химена
Свечу у смертного одра.

✧

Так Сид, хотя он враг раздора,
Ворчит, с боязнью незнаком,
И лижет своего сеньора
Шершавым львиным языком.

ЦАРЬ ПЕРСИИ

Царь Персии живет средь страха и терзаний
В Тифлисе — в летний зной, зимою — в Испагани;
В его садах, средь роз, в душистой их тени,
Без счета — воинов: боится он родни;
Все ночи напролет проводит он в тревоге.

Раз утром пастуха он встретил на дороге
Согбенного; с ним сын шагал, высок и прям.
Царь подошел: «Кто ты?» — «Меня зовут Карам, —
Сказал старик, прервав задумчивое пенье,
С которым коз он гнал, в степь выйдя из селенья. —
Я счастлив: хижину скала хранит мою;
Со мной любимый сын; я счастлив; я пою,
Как ныне Саади и как Хафиз когда-то,
Как стрекоза звенит с восхода до заката».
И нежный юноша, склонясь, поцеловал
Ладонь у старика, который распевал,
Как пели Саади с Хафизом, полон жара.
«Он любит, — молвил царь, — хоть он и сын.
О, кара!»

Подать — священной римской
империи, десятину—папскому пре-
столу.

Петром и цезарем зовут их в мире этом.
Один все молится, другой — всегда с мушкетом,
И оба прячутся в засаде у дорог:
Петр руку протянул, а тот нажал курок.
Ограбив путников, собирают денег груды
И царствуют, веля платить за изумруды.
Тиар тому, кто сам не носит башмаков.
Законы, догматы — как заросли лесов,
Где святость древних прав во тьме веков ветвится.
Кто в чаще той засел, тот ада не боится.
От них не убежать. Остановись, плати!
Через священный лес тебя бедут пути.
О, пусть в невежестве народ не пребывает,
Пусть рабства пот ему чело не оmyвает...
Христос! Ведь ты за них молился на кресте!
Они рабочие, — отверженные те, —
Страдальцы вечные, усталые от пыток,
Владеющие всем; у них добра избыток:
Болезней множество, — кто станет их лечить?
И много малышей, — их надо накормить...
И этих богачей без крова и без пищи!
Теснят алтарь и трон — голодных двое нищих!

1

ДЛЯ ПТИЦ

На склоне дня, когда закат бледнел вдали,
Беседовал в лесу под Сен-Жан-д'Анжели
С Филиппом-Августом прелат Бертран суровый:

«Связует, государь, единая основа
Алтарь и трон. Должны давать совместно мы
Отпор всем новшествам, смущающим умы.
Спасетесь вы от бед, нас от беды спасая.
Власть крепнет, сея страх, боязнь в сердца вселяя.
Пока толпа дрожит, она покорна вам.
Быть непреклонными присуще королям —
Вот право высшее. Старинные законы
И четверо бальи, от имени короны
Свершающие суд, бессильны перед злом,
Неукоснительно растущим с каждым днем.
Покруче надобны в такое время меры.
Идут схизматики войною против веры,
И чернь пытается избавиться от пут,
Наглеют ереси, и мятежи растут.
Откуда это все? Из бездны столь глубокой,
Что никнет перед ней всевиденье пророка.
Небесный этот свет иль порожденье тьмы?
Но тише! Говорить должны с оглядкой мы.
Опасности одна другой неимоверней

В том новом, что растет в смятенных толпах черни.
Как призрачная тень, оно скользит, снует, —
Исчезнет, выползет, отпрянет, промелькнет;
Закрытые глаза отверзнет, в мыслях бродит,
В людскую плоть и кровь струей дыханья входит,
Колеблет алтари, на догмат посягнув,
Вонзает в спящего прозренья острый клюв
И, тайне бытия стремясь найти разгадку,
Наводит на людей исканий лихорадку,
И что-то отберет и что-то даст, дразня...
Что? Ваша гибель в том и мука для меня.
Так что ж, добро иль зло в его таится взорах?
Дыханье ль, ветра ль шум, огромных крыльев
шорох?

Не знаю! Это знать мне богом не дано,
Но пустота и смерть там, где прошло оно».

Король внимал. Прелат задумчиво рукою
На небо указал, на небо всеблагое:

«Мы новшества должны искоренить!»

Они
Теперь шли по полю, лежавшему в тени,
Как бы объятому прохлады легкой дрожью,
А над колосьями, над вызревшею рожью,
На солнце выгорев, намокнув от дождей,
Торчали тут и там на остриях жердей
Отребье, падаль, рвань, увечье на увечье,
Мешки с соломою — подобье человечье;
Лохмотья страшные безумную игру,
Казалось, здесь вели, качаясь на ветру.
Манили стаю птиц колосьев спелых прутья,
И жаворонка свист сзывал их: «Тут я, тут я!»
Слетались звонкие, но легкий ветерок
Отребья оживлял, и птицы наутек
Пускались тотчас же в испуге и смятенье.

«Но как мне царствовать тогда?» — придя
в смущенье,
Спросил король Филипп, и набожный прелат,
На тучные хлеба, на поле бросив взгляд,

На эти чучела, что, на ветру играя,
Зловещим обликом вспугнули птичью стаю,
Филиппу показал: «Вот, государь, вот так!»

2 ДЛЯ МЫСЛИ

И вот поэтому виднеется сквозь мрак
С тех сумрачных времен отчаянья и горя,
Грязня собой Париж и Францию позоря,
В столице короля Филиппа, — словно он
Избрал прообразом библейский Вавилон, —
Неописуемо чудовищное зданье.
Обломки мерзкие, которым нет названья,
Сплетенья ржавых скоб, подпорок и столбов,
И арки — глыбы ферм разрушенных мостов
Чернеют на холме, вздымающемся тушей.
Запечатлел Париж в других строеньях душу:
Коллежи, храмины, больницы и дворцы —
Они целители, святые и творцы;
А это — лишь урод. И хищником жестоким
По склону, ужасом объятому глубоким,
Он в преисподнюю по лестнице скользит.
Все, что звериного цемент, кирпич, гранит
Вобрать в себя могли, вобрал он. Отсвет лунный
Ложится на столбы — чудовищные руны,
Что Ирменсула столп могли бы испещрять.
Молох, должно быть, здесь решил приют избрать.
Для башни брусья дал Ваал и прозорливо
Вдел кольца в каждое, — пусть их колышут дивы,
Сатурн дал крючья ей, Товт — каменный скелет.
Отыщется здесь всех кровавых культов след.
Терновник ли росток на камне даст щербатом,
Трава ли прорастет, — подобные стигматам,
Их тени узкие ползут, кровотока,
По выцветшей стене, как пальцы палача.
Творенье страшное ужасных лет; громада,
Что черных виселиц безумной колоннадой
Для Лувра создала достойнейший венец;
Улыбка мерзкая, что шлет живым мертвец.
И «Справедливостью», должно быть в назиданье

Престолу божьему, зовется это зданье.
Еще не злейшая издевка, впрочем, в том,
Что этим сравнена клоака с алтарем.
Содом, а не Париж украсил бы, пожалуй,
Он, — призрак каменный, чья пасть приютом стала
Для призрачных теней. Неумолим, как сталь,
Он глыбой высится и думает едва ль,
Что мир у ног его страдает и томится.
На все, что ново, вмиг готов он ополчиться.
И это скопище гнилых костей порой
Застонет жалобно или подымет вой,
Как будто примешать стремясь свое дыханье
К полночным шорохам и ветра завыванью.
Что это? Скрип петли... Не мудрено ничуть
От трупа к трупу здесь постичь тот страшный путь,
Что мертвым суждено пройти в своем распаде.
Гниющие тела в холщовом их наряде
И нескончаемый столбов позорных ряд
Здесь мартирологом зияют скорбных дат.

Во мраке кажется, что глыба вырастает,
И в ужасе Париж дрожит и отступает.

Ничто ужаснее не высылось дотоль
Над кучкой муравьев несчастною, чью роль
Так возвеличили истории анналы.
О человечество, страдать ты не устало?

Виденье мрачное! Как смутное пятно,
Над белизною стен колышется оно
Хаосом трепетным, густою дикой кушей
Молчанья, ужаса и темноты гнетущей.
Оно застлало все. Напрасно ищет взор
Далекую звезду иль синевы простор.
Высоких виселиц широкие прогалы
Скрывает отблеск их, и лишь кроваво-алый
Туман тут зыблется. Невольно мысль одна
Приходит в голову — что это Сатана,
Палач, терзающий Адамов род веками,
Своими жадными и хищными руками
Из балок виселиц построил эту клеть,
Все человечество решив в ней запереть.

То зданье — бледный страх, что в темноте
крошечной

В камнях гнездится; страх, который безуспешно
Стремится вырваться из них. Лишь пустота
Здесь служит крышею; подмости неспроста
Уперлись в лестницу, та — в тучах тает где-то.
Сочатся сумерки меж ребрами скелета,
По пальцам скрюченным, по чашечкам колен.
От света лунного и плесень этих стен
И мертвые должны еще бледней казаться;
А черви, что в своей добыче копошатся,
Перегрызают кость, въедаются в живот,
И лопается он, как перезрелый плод.
Когда бы хоть того мы стоили, чтоб знала
Могила тех, кому она приютом стала,
То, словно четками играя, смерть могла б
Припоминать порой: «Вот Трифон, жалкий раб, —
Он пасху праздновать посмел не по канону,
Что создал Ириней; вот рядом — на корону
Мужичью палицу обрушивший смутьян;
А там — Платонов «Пир» нам подаривший Глан;
Возмездье этого настигло справедливо
За то, что воскресил Вергилиево диво,
Искусство майнцаго кудесника познав;
Вот Петр Альбин, — он пал, забвенья жертвой став.
Тут воры, бунтари, убийцы и поэты...»
На эти черные немые силуэты
Небесный льется свет, зефир своим крылом
К ним прикасается, и смрад чумной потом
Разносится вокруг... От зноя ли пылает
Июнь иль вновь февраль дождем их поливает, —
Скелеты черные качаются впотьмах,
Как будто это ночь дрожит в своих цепях,
Лишь перекаладина скрипит, когда их кости
По воле ветра вдруг столкнутся на помосте;
И — ужаса предел! — от каждого толчка
Кривит их челюсти конвульсия слегка,
Глазами мертвыми поводит череп тупо, —
То улыбаются, ослабившись, два трупа.
И словно этот храм костей и агоний,
Ища своих сестер — кровавых гемоний,
Вперяет жадные сверкающие взгляды

В ворота города святого или ада
И словно силится спросить у этих врат:
«Ужель покажется страшней Иосафат?»
Над крышами домов — днем, ночью, в зной
и в стужу —

Угрюмые ветра ведут игру всё ту же
С бесплотным сонмом здесь витающих теней,
С телами, где кишит тьма-тьмушая червей,
Как в темноте дупла роятся летом пчелы;
И этот лязг цепей, когда костяк тяжелый
Качается, гремит, исполненный угроз,
И эти черепа без кожи, без волос,
И дыры глаз пустых, — их ужас несказанный
В ночную гонит мглу, в сырую муть тумана
Рассвета вестников крылатых, что опять
В толпе мятущейся явились собирать
Колосья спелые еще далекой жатвы,
Чтоб души навсегда связать священной клятвой
И правду возвестить о веке грозных бурь.
И видим снова мы, как, устремясь в лазурь,
Парят в ней радостно бессмертной мысли крылья.
Свобода, право, жизнь, пред вами мрак насилья,
Церквей порталы, Лувр, храм виселицы, ночь...
Прочь, легкокрылые, от этих пугал, прочь!

Стал Рим подобием вселенной. То был час,
Когда менялся мир, и звездный пламень гас,
И глубоко в сердца молчанье вкоренилось.
Рим пурпуром прикрыл чудовищную гнилость.
Там, где парил орел, гнезвился скорпион.
Прах Сципиона мял пятой Тримальхион.
Рим нарумяненный веселье захлестнуло,
И шел могильный смрад от пьяного разгула.
Дышала ужасом любовь существ людских.
Тибуллу своему за посвященный стих
Улыбку томную и нежную даруя,
Внезапно Лесбия булавку золотую
Рабе неловкой в грудь вонзала что есть сил.
В людей вдохнуло зло свой беззаконный пыл,
В них страсти грубые бурлили озверело.
Сын умерщвлял отца, кем дряхлость овладела.
О властелине спор с шутами ритор вел,
Царили золото, и грязь, и произвол,
И с жертвою палач совокуплялся в яме.
Рим в иступленье пел. Распятыми рабами
Порой какой-нибудь непобедимый Красс
Путь от ворот его обсаживал, и в час,
Когда бродил Катулл с возлюбленной своею,
Шесть тысяч мертвецов — из мертвых тел аллея —
На них медлительно сочили кровь. И Рим
Когда-то славою был взыскан и любим;
Теперь — бесчестие прельстило исполина.
На ложе похоти нагая Мессалина

Кидалась, позабыв достоинство и стыд.
В игрушки превращал людей Эпафродит
И с диким хохотом увечил Эпиктета.
На сносях мать, старик, дитя в красе расцвета,
Военнопленный, раб, христианин, атлет,
Травимые зверьми, влача кровавый след,
Метались, корчились — и агонии стоны
Из бездны цирковой летели в свод бездонный.
Пока медведь ревел, пока вопил шакал
И слон по черепам младенческим шагал,
Весталка нежилась на мраморном сиденье.
Внезапно приговор скользил зловещей тенью
С ее бровей — и вновь мечтала, заскучав;
И те же молнии убийства слал стремглав
В ее глаза зрачок тигровый иль медвежий.
Была империя как некий двор заезжий.
Пришельцы темные, набредшие на власть,
Над человечеством поиздевавшись всласть,
Спешили скрыться. Мир запомнил дни Нерона.
За горло Цезарь взял ибера и тевтона;
И новый властелин мог тут же, средь похвал,
Стать мерзкой падалью, коль божеством не стал.
Кабан Вителлий в Тибр скатился со ступеней.
О, эта лестница, позорный столб падений,
Купальня мертвецов, где тление и мрак,
Казалось, всей земли должна сгноить костяк!
Повсюду бредили на ней, хрипя и воя,
Замученные: вор с отрубленной рукою,
Еврей без языка, без глаза — бунтовщик.
Такой же не смолкал там на ступенях крик,
Как в цирке, где людей зверье на части рвало.
Все шире черный зев клоака раскрывала,
Куда валился Рим; и на зловонном дне,
Когда суровый суд свершался в вышине,
Порой два цезаря, две цифры роковые,
Грудь с грудью в темноте сходились, чуть живые,
И, между тем как полз к ним пес или шакал,
Божка вчерашнего сегодняшней толкал.
Злодейство и порок сплелись на гнусном ложе;
Взамен созданий тех, в ком бился пламень
божий, —
Адама с Евою, не знавших лжи и зла, —

Змея двуглавая в кромешной тьме ползла.
Разлегшейся в грязи свиньей неимоверной
Был Рим; и, в небесах рождая гнев безмерный,
Бросали, обнаглев, людские существа
Кошунственную тень на ризу божества.
Был облик их далек от прелести первичной,
Свирепость дикаря в нем сделалась привычной,
И, между тем как мир Аттилою гремел, —
Всему, прослывшему святынею, предел
Они поставили. В их лапе жесткопалой
Величье прежнее бессильно трепетало.
Рычаньем стала речь людская, и душа
Из тела вон рвалась, безумием дыша.
Но, беспросветный свод навеки покидая,
Все ж медлила она, тревожась и гадая,
В какого зверя бы переселиться ей.
Могила в свой приют звала живых людей;
Царила в мире смерть, всеильная отныне.
Об эту пору ты, родившийся в пустыне,
Где солнце лишь да бог, — ты, грезивший средь
скал,

В пещере, что закат багрянцем заливал,
Задумчиво вступил в тот город пресловутый —
И содрогнулся весь, как перед бездной лютой.
На мир истерзанный, проникновенен, тих,
Свет сострадания лился из глаз твоих,
И ты, гривастый зверь, внушавший страх от века,
Стал людям-чудищам примером человека.

28 февраля 1854

Случилось раз: Канут, когда глубокий сон
Сомкнул у всех глаза, — был черен небосклон, —
Взяв Ночь в свидетели, великую слепую,
Безумного отца узрел главу седую,
Который без меча, без пса спокойно спал, —
Убил его, сказав: «Старик не услышал»,
И сам стал королем.

Идя всю жизнь к победам,
Он благоденствие вел за собою следом,
На ниве был снопом, богаче всех снопов.
Когда он проходил в собрание стариков,
Их грубые черты смягчались добротою.
Законов мудростью и нравов чистотою
Связал он с Данией ряд островов морских:
Арнхут, Фионию, Фольстер — немало их!
Он трон себе воздвиг на глыбах феодалов,
Он пиктов покорил, и саксов, и вандалов,
Нещадно кельтов гнал, преследовал славян
И диких жителей лесных болотных стран.
Он идолов отверг и жреческие руны,
Менгир, о чей уступ чесался ночью лунной
Ужасный дикий кот с изогнутым хребтом.
О грозном Цезаре сказал он: «Мы вдвоем!»
И шлем его бросал колющее сиянье,
Всех чудищ приводил он взглядом в содроганье,
И целых двадцать лет ввергать он в ужас мог
Свой край — надменный вождь, губительный стрелок.
Он, гидру поразив, воссел над племенами;

Благословенными и страшными делами
Прославлен на века в устах народа был;
В одну лишь зиму он мечом своим сразил
Трех гидр Шотландии, двух королей надменных.
Гигантом, гением казался он вселенной
И судьбы многих стран связал с своей судьбой.
Отцеубийство он забыл, как сон пустой.
И умер он. Тогда над каменной гробницей
Епископ повелел над цоколем молиться,
Кадить и славить прах владыки из владык.
Вещал он, что Канут — святой, Канут — велик,
Что он себя давно покрыл бессмертной славой,
Что зримо пастырям — воссел он, величавый,
У трона господ — избранник и пророк.

Уж вечер; и орган в рыданиях изнемог;
Ушел священный клир из сени кафедральной,
Оставив короля во тьме ее печальной.
Тогда он встал, открыл глаза. Покинул плен
Гробницы, взял свой меч и вышел. Камень стен
Бесплотным призракам — от века не препона.
Он море пересек, где с башнями Альтоны
Архуз был отражен и мрачный Эльсинор.
Ночь видела, как в тьму вперял владыка взор.
Без шума он скользил, как сонное виденье,
Туда, к скале Саво́, встречавшей волн кипенье,
И, к предку мрачному приблизясь в тишине,
Так попросил его: «Оставь на саван мне,
О сумрачный Саво, смиритель пен мятежных,
Хоть небольшой клочок твоих покровов снежных».
Утес узнал его и отказать не мог.
Тогда Канут извлек из ножен свой клинок
И, на скалу взойдя, дрожащую заранее,
Отсек полотнище чистойшей снежной ткани.
Потом сказал: «Утес, ответа жаждет грудь,
А смерть безмолвствует. Скажи — где к богу путь?»
В глубоких трещинах, огромный и могучий,
Утес, чей мрачный лоб окутывают тучи,
Ответствовал ему: «Не знал я никогда».
И сумрачный Канут покинул глыбу льда.
Он, с поднятым челом, закутан в саван гордый,
Через Норвегию, исландские фиорды,

В молчанье, одинок, направил шаг во тьму.
И мир покинутый не виден стал ему.
Он — призрак, дух, король, уже лишенный трона, —
Лицом к лицу летел пред этой бездной сонной
И бесконечности зрел отступавший свод,
Где молния во тьме то вспыхнет, то замрет.
Той тьмы земная ночь — лишь отблеск слабый,
бледный,

Темнее тьмы любой, царит здесь Мрак победный,
Нет ни одной звезды. И все же чей-то взор
Из хаоса глядит безжалостно в упор.
Не слышно ничего; лишь мрачно плещут волны,
Что катит ночь ночей среди пространств безмолвных.
Канут, шагнув, сказал: «Могила! А за ней —
Бог». Он еще шагнул и крикнул. Но темней
Немая стала тьма. Ответа нет. И складки
На белом саване всё так же спят в порядке.
Он дальше двинулся. И саван белизной,
Ничем не тронутой, внушал душе покой.
Он дальше шел. И вдруг на ткани покрывала
Как будто черная звезда с небес упала.
Она вся ширится, растет... И, поражен,
Рукою призрака свой саван тронул он
И вдруг почувствовал, что это — капли крови.
Он голову свою, которой страх был внове,
Не опустил и в ночь направил твердый шаг.
Кругом все та же тьма. Ни звука. Только мрак.
«Вперед!» — сказал Канут, сверкая гордым взглядом.
Другая капля вдруг с той, прежде бывшей, рядом
Упала и растет. И кимвров вождь кругом
Глядит, — но тот же мрак в безмолвии ночном.
По следу, словно пес, гоним мечтой о свете,
Он продолжает путь. Но тотчас каплей третьей
Запятнан был покров. Хоть был всегда он смел,
Канут итти вперед уже не захотел.
Он вправо повернул, с мечом в руке простертой,
И каплей новою, теперь уже четвертой,
Забрызган саван был и правой кистью руки.
Вторично в сторону направил вождь шаги,
Как будто новая откинута страница.
Налево он теперь в густую тьму стремится.
Кровавого пятна вновь след на саван лег.

Вождь вздрогнул оттого, что здесь он одинок,
И хочется ему в свой саркофаг обратно,
Но свежие растут на снежной ткани пятна,
И воин, побледнев, остановясь в пути,
Пытается в тоске молитву вознести,
Но капли падают. И, став еще суровей,
Молитву оборвав свою на полуслове,
Влачится дальше он — ужасный призрак — в тьму,
Белея саваном, и все страшней ему.

А пятна новые, кровавые, как прежде,
На белой некогда растут его одежде.
Дрожа, как дерево под ветром и дождем,
Он видит, что пятно встает вслед за пятном.
Вот капля! Вот еще! Еще, еще... Как стрелы,
Они, прорезав тьму, летят на саван белый
И, расплываясь там, все ширятся в одно
Неумолимое кровавое пятно.

А он идет, идет... и с высоты грозящей
Кровь каплями дождя летит все чаще, чаще,
Без шума, без конца — подобна крови той,
Что с ног повешенных стекает в тьме ночной.
Увы! Кто плачет так в ночи неудержимо?
То бесконечность. К ней, лишь светлым душам

зримой,

В безмолвный океан, где спят прилив, отлив,
Канут свой держит путь, взор долу опустив.
И вот, как сквозь туман, облит холодным потом,
К тяжелым запертым подходит он воротам,
Где в щель струится свет, сияющий простор.
На саван свой тогда он обращает взор.
Обетованный край! Окончена дорога.
И чудный, страшный свет рожден величием бога,
Осанну ангелы, ликуя, здесь поют.
Но саван весь в крови... И задрожал Канут.
Вот почему Канут, взглянуть в лицо не в силах
Тому, чья мудрость все на свете озарила,
Встать не решается пред грозным судьей;
Вот почему король, оставшись в тьме ночной,
Не может чистоты обрести первоначальной
И, к свету все стремясь дорогою печальной,
Все время чувствуя, что кровь пятнает грудь,
Блуждает в темноте и длит свой вечный путь.

На берегу сошлись и бьются. Страшен бой!
Уж трупы их коней чернеют под горой.
На островке они средь бурной, быстрой Роны,
Что мимо катит вал холодный и зеленый...
И, пенясь, на траву выносит мокрый ил.
Не столь бы страшен был архангел Михаил
В сражение яростном, поднявший меч на Феба.
Когда был начат бой, еще темнело небо.
Но кто баронов тех вчера бы видеть мог,
Пока тяжелый шлем на их чело не лег,
Увидел бы пажей, как девушки кудрявых,
Встречавших милые семейные забавы
Улыбкой радостной. Теперь взгляни на них,
На исступленный бой двух призраков ночных,
В которых сатана дух для борьбы влагает.
В глазницах их огонь зловещий полыхает.
Удары всё сильнее. Бой словно гром гремит,
И лодочников страх невольный леденит,
И в лес они бегут, в душе творя молитву,
И только издали глядят на эту битву —
Затем что из юнцов, вступивших в смертный бой,
Один был Оливьер, Роландом был другой.

Они, скрестив мечи, томимы черной злобой,
И слова одного не вымолвили оба.
Вот юный Оливьер, граф; Вьенны сюзерен
Его отец — Жерар, и дед его — Гарен.
Для боя поутру одел его родитель:
Изваян на щите Вакх, дивный победитель

Норманнов, и Руан, весь ужасом объят.
Вакх улыбается, его два тигра мчат,
И гонит бог вина всех, кто привержен сидру.
Своими крыльями шлем увенчала гидра.
Сей панцырь надевал царь Соломон не раз.
Сияет длинный меч, как Люциферов глаз.
В тот незабвенный час, когда родные стены
Граф юный покидал, архиепископ Вьенны
Благословил его, стремящегося вдаль.

Роланд в железе весь, с ним верный Дюрандаль.

Вплотную борются; их глухо бормотанье;
Росою на металл ложится их дыханье;
Стоят нога к ноге. Гром битвы у реки
Даль грозно сотрясал. Уже летят куски
То шишаков, то лат, скрываясь под волною
Или в густой траве. Широкою струею
Кровь с головы течет, их замутняя взор.
Ужаснейший удар Роланд нанес в упор,
Меч вырвал у врага и отрубил забрало;
И гибель в этот миг пред юношей предстала.
Он вспомнил об отце, в душе призвал творца.
И Дюрандаль блеснул у самого лица,
В руке Роландовой взнесенный. О, спаситель!
«Брат матери моей, французов повелитель,
Я званья своего достоин должен быть,
Я ль безоружного врага могу убить? —
Роланд воскликнул. — Ты не виноват нисколько.
Ступай, достань клинок хорошего закала,
И пусть нам поскорей напиться подадут».
Ответил Оливьер:

«Спасибо! Принесут».

Сказал Роланд:

«Спеши».

И с просьбою сыновней
Граф лодочника шлет, что скрылся за часовней.

«Скорее в Вьенну мчись и меч возьми другой;
Да графу расскажи, как нынче жарок бой».

И вот уж, о враге заботясь, как о друге,
Один с другого снял тяжелый груз кольчуги.
Спешат умыть лицо, беседуют часок...
Вернулся посланный — он славный был ходок.
Граф древний меч прислал, что свято был лелеем,
И крепкого вина, любимого Помпеем,
Которое взрастил холмов Турнонских склон.
Тот меч прославленный был гордый Клозамон,
Что Яркоблещущим среди людей зовется.
И лодочник ушел. Опять без злобы льется
Беседа. Все кругом отрадою полно.
И в кубок Оливьер Роланду льет вино.
Но вот опять сошлись, и поединок в силе;
И снова юноши в проклятый круг вступили.
Их опьяняет бой. И входит в их сердца
Тот бог, что биться их заставит до конца
Победоносного, удары учащая,
С сверканьем мечей сверканье глаз мешая.

Так бьются. Кровь течет багровою струей.
Уж день кончается, и солнце за рекой
Касается земли. Ночь очень близко.

«Что-то, —

Вдруг говорит Роланд, — долит меня дремота;
Мне нездоровится. Когда б теперь я мог
Немного отдохнуть!» —

«Пусть мне поможет бог, —

Красавец Оливьер ему ответил кратко, —
Вас победить, Роланд, мечом, не лихорадкой.
Ложитесь на траву, а я всю ночь готов
Над вами бодрствовать, гоняя комаров.
Усните». —

«Ты, вассал, еще младенец, видно,
Поверил шутке ты, и это мне обидно.
Могу без отдыха, не хвастаясь, ей-ей,
Четыре биться дня и столько же ночей».

Бой снова. Смерть близка. Обильно кровь струится,
Меч по мечу скользит, меч за мечом стремится,

От столкновенья их искр вылетает рой
И борется с вокруг царящей темнотой.
Удары сыплются... Уже река в тумане.
И мнится путнику: он видит на поляне
Во мгле чудовищных двух дровосеков тень.

Опять грохочет бой — рождается новый день.
Ночь возвращается. Всё бьются. Вновь зарею
Зарделись небеса — конца не видно бою.

Мир в третий раз ночной покрылся темнотой:
Они, чтоб отдохнуть, присели под сосной;
И снова бой...

Жерар за вьеннскою стеною
Ждет сына третий день с волненьем и тоскою.
Вот он на башню шлет седого мудреца;
Гадатель говорит: «Их битве нет конца».

Четыре дня прошли. Брег острова отлогий
Дрожит от грохота и ежится в тревоге.
Они без устали друг друга бьют мечом.
Перемахнуть овраг обоим нипочем
И в гущу врезаться кустарников колючих.
Там носятся они, как тень смерчей летучих.
О, сшибка смертная, о, ужас, пыл сердец!
Граф Вьенны охватил Роланда наконец,
И крови собственной тогда Роланд напился,
И славный Дюрандаль в реке глубокой скрылся.

«Теперь черед за мной — вы для меня пример;
Достану вам клинок, — промолвил Оливьер. —
Давно хранит отец гиганта Синнагога —
Меч, что других мечей прекраснее намного,
Он взят моим отцом в победный светлый час».

Роланд ему в ответ: «Нет, мне на этот раз
Довольно палицы». И вырвал дуб зеленый
С корнями. В этот миг противник разъяренный
Такой же вырвал вяз. Роланд обижен был.
Великодушья он такого не любил
И не терпел ни в чем себе уподобленья.

И вот уж без мечей, в припадке исступленья,
Друг друга бьют стволом, забыв про тяжесть ран,
Как великана бьет в сказаньях великан.

И пятый раз вокруг дерева потемнели.
Вдруг Оливьер — орел со взорами газели —
Сказал:

«Мне кажется, не кончить нам, пока
Останется у нас хотя б одна рука.
Так с львом ведет борьбу свирепая пантера.
Не лучше ль братом стать вам графа Оливьера?
Есть у меня сестра красавица. На ней
Женитесь».

«Чорт возьми! Тем лучше, чем скорей! —
Ответствовал Роланд. — Но выпьем после боя».

Так Ода сделалась невестою героя.

Востока властелин, египетский судан,
Которого дрожат за гранями своими
Германский цезарь сам и в Азии султан,
Величьем утомленный Зим-Зизими
Задумался; час ужина настал;
Как в храме фимиам, полночный пир курился;
На эту трапезу в подземный мрачный зал
Чертога фараонов Зим спустился.
Плафоны в золоте; раскрашен ряд колонн;
Благоуханье яств; стол царский отягчен
Всем, что придумать только в состоянье
Фантазия голодного; судан
В день пожирал все то, что дать могло питание
На целый месяц сотне египтян...
Как будто одержим какой-то думой черной,
Среди роскошных блюд Зизими пьет вино,
Он осмеял текст книги той давно,
Которую так чтит дервиш его покорный...
Иные люди с строгостью упорной
Не пьют вина, но зверство — их порок;
Зим не таков; он пил — и был жесток.

Но все же властвовать он может без боязни!
Он царствует; он рабской Африки глава;
Он азиатов бич, страшна о нем молва;
Он царствует в крови, для грабежей и казни.
Зим непреклонен, дик и создан для борьбы;

Опасности войны и смерть — его рабы;
Взлетают выше туч орлы, его увидя;
Он родственник того ужасного. царя
Омара, что сказал, на царском троне сидя:
«Бог победит, когда желаю я».
В родстве с ним раджи Агра и Мизора,
И неизменный друг его — булат.

Он усмирил Багдад и Трапезунд с Мосулом,
Который некогда с военным трубным гулом
Под звуки флейт Дуилий-консул взял;
Он Гофну покорил с пустыней Абиссинской,
Аравию, где на заре всплывал
В кровавом зареве шар солнца исполинский,
Геджаз, где по ночам у яркого костра
Трепещут путники с оружием наготове
И не смыкают глаз, дрожа при грозном реве
Зверей, блуждающих до раннего утра.
С эмиром Мекка вся, Маскат с своим имамом
И знойно-дикая Сахара, где не раз
Спускались стаи птиц над караваном,
Вся Скифия, и Атлас, и Кавказ,
Офирские пески, и воды Нагаина,
Ливанские хребты, и Палестина —
Принадлежали Зиму. Перед ним,
Как коршуны из гнезд своих, спешили
Скрываться в Африке, в степном ее горниле,
Султаны робкие, чтоб не настиг их Зим.
Он властвует до поясов холодных,
Где с амазонками нагими вел он бой;
Он ссорит христиан между собой,
И, словно псов на кабанов голодных
Натравливая, он их тешится борьбой.
Он страшен всем; сам лама в облаках
Склоняется пред ним; испытывает страх
При имени его и сѡфи непреклонный,
Семью знаменами своими осененный.
Зим царствует, и каждый взмах его меча
Владения его распространяет шире;
Он грабит города, сжигает их, сплеча
Рубя врагов... Кому же в этом мире
Народов жизнь принадлежит, кому?

Дай нам ответ, ты, всемогущий боже!
Она нужна тирану одному,
Как нужно для быка соломенное ложе.

*

Но скучен Зим. Сидит он одинок;
Для подданных-рабов нет места возле трона,
Где только стерегут властителя чертог
Могущество и блеск. Стоит он вне закона,
Ему доступно все — и все же скучен Зим:
Он мрачно пьян.

Он чашу наслажденья

Испил до дна; лобзали в унижение
Его колени визири; пред ним
Под звуки флейт крутились, словно змейки,
Нагие женщины; улемы, старцы-шейхи,
Склонялись в прах пред белой бородой,
Скрывавшей душу черную Зизими.
Двух городских воров ввели к нему. Своими
Оковами гремя, они, как пред бедой,
У ног властителя в мольбах стонали глухо;
Но медленно ножом он распорол им брюхо,
Чтоб видеть, как ползут их внутренности вон.
Потом своих рабов, зевая, выслал он.

Зим озирается с высокомерной ленью;
Зим хочет говорить, на зло уединенью.

*

На сфинксах мраморных воздвигнут пышный трон:
Они белы как снег; льют благовонный запах
На них венки из роз со всех сторон;
Загадочный их взгляд улыбкой оживлен;
У сфинкса каждого по лире в голых лапах;
У каждого на лбу есть слово, и таков
Смысл этих десяти, на них сверкавших, слов:
Величие, Любовь, Забава, Сладострастье,
Здоровье, Красота, Победа, Слава, Счастье,
Веселье.

И воскликнул Зим тогда:
«О сфинксы с лучезарными глазами!

По славе равного мне нет под небесами;
Зизими имя вечно, как звезда,
И наполняет мир одними чудесами;
Бросает молнии рука моя в народ;
Всем подвигам моим давно потерян счет;
Живу я, но не так, как смертный в мире тленном;
Дряхлеющий мой трон становится священным;
Когда мой час пробьет в юдоли слез и бед,
Я к свету возвращусь, — я сам есть только свет!
Бог скажет: «Я хочу призвать к себе султана».
И яркая заря из-за тумана
Пошлет мне свой ласкающий привет.
Все человечество мне молится доньше;
Мне Слава с Гордостью покорны, как рабыни,
И если я сижу, они всегда стоят.
Народ противен мне, как ненавистный гад;
Когда его давлю, я в грязь ступаю словно...
О сфинксы, возлежащие безмолвно!
Здесь ночью, без людей, со мною говоря,
Рассейте скуку грозного царя,
Забудьте вечный сон при блеске полновластья
И пойте песни мне о славе и о счастье.
О сфинксы, розами венчанные кругом,
Заговорите же! Здесь тихо, как в могиле...»

*

П е р в ы й с ф и н к с

Почти под облаками, на террасе
Царица Никотриса спит в гробу;
Она грустна; она скорбит о расе
Своих потомков, зная их судьбу;
Царей жестоких, страшных иноверцам,
Она носила некогда под сердцем.
Мрачна ее гробница; к ней крылом
Коснувшись, птица тотчас умирает.
Царица спит; в молчанье роковом
Над ней, шумя в эфире голубом,
Одна лишь туча мимо пробегаёт.
В тот мрачный склеп один пришлец
Имеет право доступа — мертвец.

Царица по ночам не спит, и взгляд царицы
На небо устремлен из-за пилястр гробницы,
И звезды с трепетом встречают этот взгляд,
И около ее недвижимого скелета
Рой грустных призраков толпится до рассвета.

Второй сфинкс

Какой бы славою ни отличался ряд
Властителей, царей всего земного шара,
Меж ними нет славней Тиглата-Палазара.
Как солнце служит храмом небесам,
Так у него есть собственный свой храм:
В его глазах — величья отраженье...
Народы он гнетет, как буйволов стада;
Во всей Ассирии сжигая города,
Он производит то же разрушение,
С которым Александр по Азии пройдет
И разгромит Европу всю Аттила.
Сияет царь и не глядит вперед,
А между тем у ног его — могила,
Где гаснут славы яркие лучи;
А между тем для стен немого саркофага,
Где успокоится безумная отвага,
Рабы на солнце сушат кирпичи.

Третий сфинкс

Нимрод обожествлен был чернью Вавилона,
Где ползал перед ним народ во время оно;
Он долго властвовал, как грозный полубог,
От моря к западу до моря на восток.
На ужас мира созданный Ваалом,
Почти весь мир в руках держал Нимрод.
Кто прежде смел сказать: «Нимрод умрет»?
Толпа бы приговор подобный осмеяла.
Царь жил. Где ж он теперь? Его давно уж нет.
Величия его исчез и самый след.
Кругом — пески, безлюдье и пустыни.

Четвертый сфинкс

Хрем царствовал; из золота была
Изваяна его статуя. Кем же? Ныне

Неведомо, как то, где прежде быть могла
Гробница одного из мрачных фараонов,
Где тот стеклянный гроб, в котором он лежит
Бальзамированный. Так со ступеней тронов
Величие царей пугает и дивит,
Прекрасно, гневно, дико, произвольно,
Пока судьба не скажет им: «Довольно!»

Со склянкою часов, где сыплется песок,
Над всем, чему доступно разрушение,
Тень времени стоит; она свой порошок
В гробницах собирает, в царстве тленья,
Из складок саванов, среди лохмотьев их,
И прах от мертвых стал часами для живых.

Цари, часы приходят в содроганье,
Но отчего? Понятно ль вам их колебанье?
За вашею спиной им видны там, вдали,
Гробницы катакомб, где царствует молчанье,
Где будете вы спать, властители земли...

П я т ы й с ф и н к с

Гнев четырех тиранов азиатских,
Как бешеный поток, мир колебал не раз;
Их путь — следы опустошений адских...
В Араксе — Ох и в Фазисе — Фурас,
Тур в Персии царил, а Белезис ужасный —
На троне Индии чудовищно-прекрасной...
Когда же тех царей впряг в колесницу Кир,
При чудчом зрелище Евфрат заволновался;
Крик в Ниневии общий раздавался:
«Такого поезда еще не видел мир!
Смотрите! Лучезарна, как денница,
Пред нами появилась колесница
На грозной четверне полубогов...»
Так говорил народ, так войско повторяло, —
И это все исчезло в тьме веков,
Как в небе легкий дым. Богов не стало...

Ш е с т о й с ф и н к с

Камбиз уже не движется; он спит;
Он мертв, он своего не видит разложения.

Пока цари живут, у ног их чернь лежит;
Их царственный вертеп приводит в восхищенье;
Но вид их мертвых тел рождает отвращенье,
И ползает лишь гад по трупам их впотьмах.
Где башни Мёмфиса, где стены Тарса, Трои?
Где Псамметихи, Пирры, все герои?
Везде одна развязка — смерть и прах.
Над побежденными смеется смерть не так,
Как над тщеславием героев непреклонных,
И прахом засыпает каждый шаг
Всех победителей, забвеньем побежденных.

С е д ь м о й с ф и н к с

Гробница Белуса в развалинах лежит;
С стенами из зеленого гранита
Руина с круглым куполом разбита,
Каменьев для пращи среди обломков плит
Там ищут пастухи, и слышен вой шакала
В час вечера в безмолвье пустыря;
Там призраки собираются, паря
Под сводами, где ночь рассвета не видала.
Когда же ошупью там странник проходил,
Напрасно бы ему воскликнуть захотелось:
«Не здесь ли прежде был богоподобный Белус?»
Гроб Белуса так стар, что все давно забыл...

В о с ь м о й с ф и н к с

Мертвы Аменофис, Эфрей и царь Херброн;
Рамзес стал черен в мрачном заключенье;
Сковал сатрапов мрак на вечное забвенье:
Мрак не нуждается в затворах; мрак силен.
Смерть — грозная тюремщица. Бесстрастной
Своей рукой казня царей, как и богов,
Она в неволе держит без оков;
Их трупы охладелые, безгласны,
Лежат в пространстве узком между стен,
Поросших мхом и залитых известкой;
А чтоб им не мешать дремать в могиле жесткой,
В уединении вкушая вечный плен
И думая о том, что в славном прошлом было, —
Смерть в их гробницы вход землею завалила.

Девятый сфинкс

Прохожие, кто хочет бросить взгляд
На ложе Клеопатры? Тьмой оно объято;
Над ним туманы вечные лежат;
Царица спит и не пробудится. Она-то
Была красой всей Азии когда-то, —
Весь род людской ей бредил много лет!
Царица умерла, и помутился свет.
Румяные уста ее благоухали;
Цари в ее дворце от страсти умирали;
Ефракт лишь для нее весь Атлас покори́л,
Сапору Озимандий подчинился,
Мамилос — Тентерис и Сузы победил,
И в бегство для нее Антоний обратился.
Он должен выбрать был — ее иль шар земной,
И он забыл весь мир для женщины одной.
Перед людьми она Юноною явилась.
Единый взгляд ее воспламенял всю кровь.
Один лишь тот испытывал любовь,
Чье сердце на груди царицы гордой билось...
И имя этой женщины, сквозь сон
Произнесенное людьми, хотя б ошибкой,
В них зажигало страсть; весь мир был покорён
Ее божественно-ужасною улыбкой.
В ней был и солнца блеск и сумрак бурь...
При виде форм ее, прозрачных как лазурь,
Венера в облаках от ревности сгорала.
От ослепительно сверкавшей наготы,
Которой Клеопатра соблазняла,
Склонялись с завистью роскошные цветы.
О смертные! Пред царскою гробницей
Остановитесь же... Царицы дивный рот,
С насмешкой губ приподнятых, народ
Сводил с ума; взгляд, брошенный царицей,
Страшнее был, чем грозный рев зверей...
Теперь же нос зажмите у дверей
Моги́лы Клеопатры и — бегите.

Десятый сфинкс

Где царь Сеннахериб? Его вы не ищите:
Сеннахериб — мертвец, и прах его пропал.

Где Гад? Он мертв. Где царь Сарданапал?
Он тоже мертв.

*

Султан внимал сурово
Тем мрачным голосам, был бледен как мертвец.

«Я завтра же велю, — проговорил он слово, —
Стереть с лица земли проклятый мой дворец,
Где смеют демоны безумными речами
Тревожить мой покой в безмолвии ночном».

И мрачно погрозил он кулаком
Тем сфинксам с неподвижными очами.

*

Султан взглянул на чашу, где давно
Сверкало пряное, душистое вино.

«О чаша, — молвил он, — хоть ты мне дай забвенье
И разгони печальные виденья;
Заговори, посмейся над судьбой.
Во мне есть власть, в тебе — вино. С тобой
Беседовать хочу...»

И в это же мгновенье
Сосуд благоуханный отвечал:

«Александрией Фур когда-то обладал.
Его народ был первым после Рима
И после Карфагена изумлял
Всю Африку; царь Фур неутомимо
Такие полчища водил на смертный бой,
Какие можно в грезах только видеть.
К чему ж сияние он видел над собой?
Грядущего он не умел предвидеть
И обратился в пыль теперь. К чему
Зловещий блеск халифов, фараонов,
Сошедших в гроб, в непроницаемую тьму?
К чему пугали свет с своих угрюмых тронов
Дардан и Армамитр, Деркил и Киаксар,
Азар-Аддон и Сет, Ксеркс и Набонассар?»

Земля до неба самого дрожала
От сонмищ Антиоха, Ганнибала,
Омара, Артаксеркса. Где Ахилл?
Где Сулла, Цезарь где? Они — во тьме могил
И в вечной тишине ненарушимой.
Их не щадил закон неумолимый
Слепой судьбы... Дух покидает прах —
И трупы мертвецов земля отягощает.
Их давят груды скал; в них корни лес пускает,
И недоверчиво над ними в облаках
Парит орел. Султан умрет — и что же?
Пометом осквернит жилец подземный, крот,
Его гробницы царственное ложе,
Куда спускаются под темный, влажный свод
Голодные пантеры или волки».

Зим бросил чашу на пол и в осколки
Ее разбил.

*

Чтоб освещать подземный зал,
Светильник золотой стоял перед владыкой;
Его своим резцом прославленным великий
Художник из Суматры украшал.
Сверкала в тьме та лампа золотая.

Зим ей сказал:

«Ты светишь здесь одна.
У сфинксов ночь в глазах, а чаша, налитая
Сверкающим вином, безумна от вина.
О светоч! Ты один всегда сверкаешь,
Бросая на пиры веселый, ясный взгляд.
О лампа, в дни ты ночи превращаешь!
Мне кажется, как музыка звучат
Твои слова; так пой же песни мне ты,
Которые царю никем еще не петы.
Пой, развлекай меня... Я проклял все кругом —
И сфинксов с взглядами чудовищно-немыми,
И чашу лживую с обманчивым вином».

И лампа отвечала Зим-Зизими:

«Царь Вавилона, Тира властелин,
Ганг данью обложив и Фивами владея,
Отняв Афон у львов и Дельфы у Тезея,
Исчез с лица земли братоубийца Нин.
По ассирийскому обычаю зарыли
Его в глубокой яме, и к могиле
Заложен был тяжелым камнем вход.
Но где? Земля на то ответа не дает.
Стал тенью человек. Когда бы можно было
Проникнуть в вечный мрак, где славы тень почил,
То там, где некогда лежала голова,
Остаток черепа нашли бы мы едва,
Да палец костяной, белеющий чуть видно.
За остов Каина их мог принять Адам...
Там содрогается и самая ехидна,
Скользнув по разложившимся костям.
Нин мертв и от земли себя не отличает.

В его могилу Смерть приходит иногда
И ставит хлеб пред ним с кувшином, — в нем вода.
Порою Смерть прах мертвеца толкает
Своей ногой: «Царь, встань; ты не один;
Ты голоден; обед бери в своем жилище». —
«Но у меня нет рук», — ей отвечает Нин.
«Так ешь». — «Но у меня нет больше рта для
пищи». —
«Взгляни на этот хлеб», — Смерть говорит в тот час,
И отвечает Нин: «Я не имею глаз».

*

Зим в бешенстве вскочил, и лампа золотая
Упала, сброшена им на пол со стола.
Она погасла вдруг.

И Ночь тогда вошла.

Исчезла зала, мраком залитая.
Султан и Ночь остались вдвоем;
И, за руку во тьме султана увлекая,
Сказала Ночь одно ему: «Идем».

Бог рек царю: «Я твой господь. Мне нужен храм».

Так в синих небесах, где звезды льнут к звездам,
Бог говорил (то жрец по крайней мере слышал).
И царь призвал рабов и к ним с вопросом вышел:
«Найдется ли среди вас, кто б мог построить храм?» —
«Нет», — был ответ. «Тогда я смерти вас предам.
Бог гневается; он желает жить во храме.
Он властен над царем, царь властен над рабами.
Все справедливо».

Тут он сотню их казнил.
И раб один вскричал: «Царь, ты нас убедил.
Вели, чтоб где-нибудь нам дали гору. Роем
В нее мы вроемся. И храм в горе построим.
«В пещере?» — царь спросил. «О всемогущий царь,
Бог не откажется такой признать алтарь;
Ужель помыслить мог ты хоть на миг единый,
Что бога оскорбит алтарь в пещере львиной?» —
«Работай», — молвил царь.

Раб гору отыскал,
Крутую, дикую, по имени Галгал:
И стали пленники ее долбить, своими
Звенья цепями; раб, товарищ их, над ними
Начальствовал: всегда во мраке рабства тот,
С кем власть беседует, других рабов гнетет.

Они работали, врезаясь в грудь Галгала.
Вот кончили, и раб сказал: «Пора настала,

Веление небес исполнено, о царь;
Но молим: соизволь взглянуть на наш алтарь;
Он создан для тебя сперва, потом — для бога». —
«Согласен», — царь сказал. «Мы долг свой помним
строго, —

Сказал покорный раб, простершись на камнях. —
Мы обожать должны твоих сандалий прах.
Твое величие когда пойдет?» — «Тотчас же».
И раб согнувшийся и властелин, без стражи,
Вошли в разубранный шелками паланкин.
В горе колодец был, и камень-исполин,
Канатом вздернутый, висел над мраком зева.
И властелин и раб во вспоротое чрево
Горы вошли вдвоем через колодец тот —
Кирками выбитый единственный проход.

Спустились. Царь, во тьме оставшись беспросветной,
Сказал испуганно: «Так входят в кратер Этны,
В нору сивиллину, что вечный мрак таит,
Или — еще верней — в безвыходный Аид;
Но к алтарю итти чрез черную берлогу...» —
«Вверх или вниз идя, всегда доходят к богу, —
Сказал, простершись, раб. — Во храм прекрасный твой
Добро пожаловать, владыка дорогой;
Ты — царь царей земных; среди гордых и великих
Ты — точно мощный кедр среди смоковниц диких,
Ты блещешь между них, как Патмос меж Спорад». —
«Что там за шум вверху?» — «То заревел канат:
Мои товарищи там опускают камень». —
«Но как же выйдем мы?» — «Владыка, звездный
пламень —

Опора стоп твоих, и молнию страшит
Твой меч, и на земле твой светлый лик горит,
Как солнце в небесах; ты — царь царей; тебе ли,
Величью ль твоему страшиться?» — «Неужели
Нет выходов других?» — «О царь! Ведь сто дорог,
Лишь только пожелай, тебе проложит бог».
И царь вдруг закричал: «Нет более ни света,
Ни звука. Всюду мрак и тишь. Откуда это?
Зачем спустилась ночь в храм этот, как в подвал?»
«Затем, что здесь твоя могила», — раб сказал.

Я наклонился. Там, в таинственном провале,
 Бичи всемирные, покрыты тьмой, лежали.
 «Тиберий!» — крикнул я. «Что?» — отозвался он.
 «Так, ничего, лежи». И я позвал: «Нерон!»
 Другой ответил зверь: «Что, дерзкий?» — «Спи».

Могила

Умолкла. «Тамерлан! Сеннахериб! Аттила!»
 Три пасти рывкнули: «Мы здесь. Кто нас зовет?» —
 «Покойтесь! Тишина!» Окликнул я: «Нимрод!» —
 «Что?» — «Ничего, молчи». Я крикнул вновь упрямо:
 «Кир! Гамилькар! Камбиз! Рамзес! Фаларис!» Яма
 Спросила: «Кто зовет?» — «Лежите!» Я сравнил
 Все гулы смутные встревоженных могил,
 Дворцы с берлогами, с лесною глушью троны,
 Крик Иннокентия и тигровые стоны, —
 Над всем поникла ночь, какою облечен
 И Герберт в мантии и в пурпуре Оттон.
 Я убедился: все лежали там рядами.
 Задумчив, крикнул я: «Кто худший между вами?»

Тогда из глубины, раскрывшей черный зев,
 Как из гнезда грехов, стяжавших горний гнев,
 Свернувшись в смрадной тьме, как червь, согретый

в язве,

Сам дьявол крикнул: «Я!» Ответил Борджа: «Разве?»

Волну свергает Рейн и рушит Ниагара.
А пропасть страшная, их ненавидя яро,
Могилой хочет быть, кричит: «Я их пожру!»
Река — что лев в лесу, свалившийся в нору,
Где гидра с тысячью змеиных жал ютится,
Бьет лапами, хвостом, рычит, кусает, злится;
Но скалы вечную устойчивость хранят.
Пусть на дыбы встает, не хочет падать в ад,
Плюется и кипит и, мрамора узорней,
Цепляется река за камни и за корни, —
Нельзя ей одолеть закона всех времен,
И крутится она, как вечный Иксион.
Велением небес безумствуя и мучась,
Река жестокою испытывает участь;
Ей пропасть гибелью грозит, но злой утес
Не в силах дать ей смерть; он вызвал лишь хаос.
Чудовищная щель объятия раскрыла,
Рычит — и пасть ее угрюма, как могила.
То — зависть, черный гнев, глухое забытье.
Всеразрушение — вот замысел ее.
Как дым Везувия, клубясь ночным туманом,
Большое облако встает над этим чаном,
Скрывая бешенство обманутой реки.
Как вышло, что она защемлена в тиски?
Что сделала она в лесах, у льдов истока,
Среди долин, чтоб пасть так шумно и глубоко?
Ее могущество, величье, доброта —
Все рушится; она коварством в плен взята;

Она вздувается, как мех, где ветры злятся,
И голоса ее от ужаса дробятся.
Все здесь падение, крушение, гибель, тьма
И хохот, как у тех, кто вдруг сошел с ума.
Ничто не выплыло, нет ничему спасенья;
И, напрягая грудь в шальном круговращенье,
Река, устав лететь все ниже по камням,
Предсмертный рокот шлет к далеким небесам.
Тогда над хаосом, столпившимся в низине,
Встает, — рожденная всем тем, что есть в пучине
От мрака, ужаса, что душит и гнетет, —
Сквозная радуга, сверкание высот.

Коварна бездна, тверд утес, волна лукава,
Но ты от бурных вод берешь рожденье, Слава!

Она совсем дитя. И с ней всегда дуэнья.
Вот с розою в руке стоит она в забвенье.
Не все ли ей равно, куда глядеть? В ручей,
В бассейн, что осенен листвою тополей,
На все, что перед ней... Там лебедь белокрылый,
А здесь под шум листвы ручей лепечет милый;
Сад, полон свежести, сверкания и нег.
Такая хрупкая, она бела как снег.
Как в нимбе золотом, видны дворца ступени,
И парк с озерами, откуда пьют олени,
И пышный звездный хвост раскинувший павлин.
Невинность в ней свежа, как чистый лед вершин.
Она светла, как луч смеющегося солнца.
Трава у ног ее алмаза и червонца
Роняет искорки, обрызгана росой.
Фонтан с дельфинами алмазной бьет струей.
Она бежит к пруду; цветок все время с нею;
Шелк Генуи шуршит; скользнув волной своею,
Капризный арабеск, обманывая взор,
По нитям пламенным туринский тклет узор.
И розы молодой раскрытая корона,
Покинувшая плен душистого бутона,
Свисая, тяготит изящный сгиб руки.
А если девочка, целуя лепестки
И морща носик свой сияющей улыбкой,
Наклонится к цветку, он, царственный и гибкий,
Все личико ее стремится утопить
Так глубоко, что глаз не в силах отличить

Цветка от девочки средь лепестков широких,
Не зная, где бутон, где розовые щеки.
Над синевой зрачка — ресниц пушистый мех,
В ней все — дыханье роз, очарование, смех;
В ее глазах лазурь. Ее зовут Мария.
Взгляд — это молния, а имя — литания.
Но во дворце, в саду, играя и шутя,
Всегда грустит она, несчастное дитя.
Она присутствует, мечтой весны объята,
При мрачном пиршестве испанского заката, —
В великолепии багряных вечеров,
При шуме сумрачном невидимых ручьев,
Среди мерцанья звезд, в полях, где спят посевы, —
С осанкой молодой, но гордой королевы.
Придворные пред ней склоняют шляпы бант.
С короной герцогской подаряг ей Брабант;
У ней во Фландрии, в Сардинии владенья;
Пять лет ей, но она уже полна презренья.
Все дети королей похожи. Некий знак
Уже лежит на них. Неверный детский шаг —
Начало власти. Ждет над розою в печали
Она, чтоб ей цветок империи сорвали.
Взор, царственный уже, привык твердить: «Мое!»
И ужас и восторг исходят от нее.
А если кто-нибудь, когда она смеется,
Не чуя гибели, руки ее коснется,
То прежде, чем он «да» иль «нет» произнесет,
Тень смерти на него отбросит эшафот.

Прелестное дитя, иной судьбы не зная,
Смеется и цветет, как роза молодая,
Та, что в ее руке среди цветов и звезд.

День гаснет. Птичий хор не покидает гнезд,
В склонившихся ветвях блуждает вечер синий,
Закат коснулся лба изваянной богини,
И в холоде ночном чуть дрогнула она.
Все, что летало, спит. Прохлада; тишина;
Ни звука, ни огня; смежила ночь ресницы;
Спит солнце за горой; спят под листвою птицы.

Пока дитя, смеясь, склонилось над цветком,
В старинном здании, огромном и пустом,
Где митрой кажется зияющая арка,
Возникла чья-то тень; глядит под своды парка
И от окна к окну идет, внушая страх,
Покуда меркнет день на черных ступенях.
Устав ходить, стоит в темнеющем жилище
Тот мрачный человек, как камень на кладбище,
И, кажется, вокруг не видит ничего.
Из зала в зал влачит какой-то страх его.
Вот мрачный лоб прижат к сырým оконным стеклам,
Вот тень еще длинней ложится в свете блеклом,
Шаги звучат в тиши, как отзыв на пароль.
Кто это? Смерть сама? Иль, может быть, король?

Король! Судьба страны, покорной и дрожащей.
И если заглянуть во взор его горящий,
Когда он здесь стоит, чуть прислонясь к стене,
Увидишь в сумрачной, бездонной глубине
Не девочку в саду, не круглые фонтаны,
Где отражается, дрожа, закат багряный,
Не длинный ряд куртин с веселым гамом птиц, —
Нет! В глубине тех глаз под кружевом ресниц,
Задернутых слегка покровом из тумана,
В зрачках, чья темнота бездонней океана,
Ты ясно различишь среди морских зыбей
Неудержимый бег испанских кораблей,
В широких складках волн, где ночь зажгла
лампаду, —

Непобедимую, грозу морей, Армаду, —
И там, в туманной мгле, где остров меловой,
Услышишь плеск ветрил и грохот боевой.

Вот те видения, которые проплыли
В холодном, злом мозгу владыки двух Кастилий,
Весь мир вокруг него окутывая в мрак.
Армада, сумрачный пловучий клин, рычаг,
Которым он весь мир поднять задумал вскоре,
Проходит в этот час темнеющее море,
И он следит за ней, несущей смерть и страх,
А скука в царственных чуть светится зрачках,

Филипп Второй — грозней на свете нет тирана;
И Каин библии, и Эблис из корана
Светлей душой, чем тот, кто в свой Эскуриал
От предков власть и смерть десницей твердой взял.
Филипп Второй, с мечом в руке своей железной,
Как мировое зло был вознесен над бездной.
Он жил. Ему никто не смел смотреть в глаза,
И воздух вокруг него был душен, как гроза.
Когда шли из дворца хотя бы даже слуги,
Все, кто б ни встретился, склонялись ниц в испуге.
Как пропасть ужаса, как дальних звезд чертог,
Им страшен был король — земной бесстрастный бог.
Он волей твердою, упрямою и злою
Неукротимую судьбу сдержал уздою.
Европа, Индия, Америка ему,
Как берег Африки, покорны одному,
И он боится лишь туманов Альбиона.
Молчание — уста, и ночь — душа. У трона
Подножье возвели Измена и Обман.
Покорен Зла ему всемирный океан.
Да, конной статуей, из злобы вылит черной,
Одетый вечно в тень, король земли покорной,
Он в траур по себе, должно быть, облачен.
Подобно сфинксу, взор вперил в неизвестность он.
Он нем. К чему слова, туман суждений зыбких?
Кто слышал смех его? Беспечные улыбки
Оцепенелых уст уже не посетят,
Как не сойдет заря через решетку в ад.
Но иногда и он свой мозг усталый дразнит
Искусством палача, и — целый адский праздник! —
Костры тогда горят во мгле его зрачков.
С усмешкой сатаны он жжет еретиков.
Поправший правду, жизнь, покорный данник Рима,
Внушает ужас он, губя неотвратимо.
Он — дьявол, правящий эгидою Христа,
И то, что по ночам таит его мечта,
Подобно вкрадчивым движениям химеры.
Бургос, Эскуриал, Аранхуэс — пещеры,
Где не горит огонь, где обиход суров:
Ни празднеств, ни двора, ни песен, ни шутов.
Измена здесь — игра, а пир — костров пыланье.
Как занесенный меч — его ночей мечтанья

Для всех трепещущих окрестных королей.
Он давит целый мир одной тоской своей.
Лишь стоит захотеть — вселенную разрушит.
Его молитва — гром. Она и жжет и душит,
И целую грозу скрывает эта грудь.
О ком он думает, тому нельзя вздохнуть.
На всех концах земли его народ, в котором
Живет безумный страх, рожденный мертвым взором.

Карл был стервятником, Филипп же стал совой.

Он, сумрачной судьбы холодный часовой,
Закутан в черный плащ, с Златым Руном на шее,
Стоит; его зрачок то ярче, то слабее
Горит, как щелка в ад; и тонкие персты
Незримой никому работой заняты —
Жест приказанья иль росчерк под указом?
И — верить ли глазам, — но тень улыбки сразу
Коснулась губ его, внушая темный страх.
Он видит, как вдали Армада на волнах
Растет и ширится в его воображенье.
На парусах тугих, полна повиновенья,
Она плывет пред ним, как если бы он сам
Сейчас ей делал смотр. И кажется волнам,
Что вновь они несут груз чудища-ковчега,
А ветер задержать не смеет их разбега.
Большие корабли, отметив интервал
В порядке шахматном — так хочет адмирал, —
В лесу снастей и мачт плывут сплошной решеткой.
Они — священный флот. Волна хранит их кротко,
Попутный бриз несет тугое полотно
И знает, что ему их счастье вручено.
Упругая волна вскипает ярким снегом
И вдоль бортов скользит бушующим разбегом.
Галера каждая бежит в волнах легко.
Ту вырастил Адур, а та с берегов Эско.
Два коннетабля там и сотня закаленных
Водителей судов. Кадикс дал галионы,
Германия — ряд барж, Неаполь — бригантин;
Дал Лиссабон людей — отважных львов пучин.
Что им далекий путь! Филипп с них глаз не сводит, —
Не только видит их, но слышит. Флот проходит,

Бежит, летит в волнах. Призывно трубит рог,
По палубам стучит разбег матросских ног.
Опершись на пажу, встал капитан на мостик.
Бьют барабаны сбор, стучат по доскам трости,
Рассыпались свистки-сигналы. Грохот, вой,
Брань, пение молитв и трубный возглас: «В бой!»
То чайки бьют крылом? Растут громады башен?
Раскрылись паруса — их плеск широк и страшен.
Волна бурлит, и весь величественный флот
Свой продолжает бег, врезаясь в кипень вод.
А сумрачный король считает, полн отваги:
Четыреста — суда, почти сто тысяч — шпаги.
Оскаленный вампир, он всем внушает страх,
И даже Англия сейчас в его руках.
Ведь ей спасенья нет! Готов уж вспыхнуть порох,
Сноп молний держит он, грозу тая во взорах.
Кто б мог их погасить, решаясь на раздор?
Не тот ли он король, с которым страшен спор?
Не он ли Цезаря наследник? Тень Филиппа
От Ганга достает до склонов Позилиппо.
Не кончено ли все, когда он скажет: «Нет»?
Не правит ли он сам квадригою побед?
И он ведет суда всевластным капитаном —
Армаду страшную — к туманным дальним странам,
Где море держит флот послушливым хребтом.
Не движет ли он сам, одним своим перстом,
Крылатых чудищ сих, идущих грозным строем?
Не он ли их король, тот смертный, что пред боем
Толкает корабли на грозные валы?

Когда-то Сифрезил, сын бея Абдаллы,
Такою надписью почтил фонтан в Каире:
«Бог правит в небесах, я правлю в этом мире».
А так как жизнь одна для всех веков и стран,
В любом властителе скрывается тиран.
То, что сказал султан, король таит в мечтанье.

Меж тем над мрамором, струй слушая плесканье,
Инфанта с розою, как нежный херувим,
Несет к губам цветок и клонится над ним.
Внезапный ветерок — одно из тех дыханий,
Что посылает ночь по дремлющей поляне, —

Зефир, которому покорны иногда
Деревья, тростники и сонная вода,
Средь миртовых кустов и свежих асфodelей
К ребенку долетел. Деревья зашумели,
И ветер, розу смяв, задором обуян,
Развеял лепестки на мраморный фонтан,
Оставив лишь шипы инфанте изумленной.
Она склоняется, глядит в бассейн смятенный
В недоумении. Что с ней? Откуда страх?
Но можно ли найти в спокойных небесах
Тот ветерок, пред кем бессильна королева?
Что делать? А бассейн весь почернел от гнева
И, ясный только что, закутался в туман.
Уже бежит волна. Он весь — как океан,
А роза бедная рассыпана в полете.
Сто лепестков ее плывут в водовороте
И тонут, закружась в порыве ветровом,
В кипенье малых волн, подобные во всем
Армаде, брошенной на грозных скал скопления.
Тут, к девочке склонясь, прошамкала дуэнья:
«Великим королям покорен целый свет,
Но власти и у них над ураганом нет!»

Крещение вулканов — древний обычай, восходящий к первым временам завоевания. Все кратеры Никарагуа были так освящены, за исключением Момотомбо, откуда, по рассказам, не вернулся ни один из священников, посланных водрузить крест на вершине

Скье, «Путешествие в Южную Америку».

Рычання и толчки вулканов участились. Тогда был дан указ, чтобы они крестились. Так повелел король испанский, говорят. И молча кратеры перенесли обряд. Лишь Момотомбо злой не принял благодати. Напрасно папских слуг бесчисленные рати, Смиренные попы, взор возведя горё, С крестом карабкались и кланялись горе, По краю кратера шли совершать крестины. Шли многие туда, оттуда — ни единый.

Что ж, лысый великан, земле даруешь ты Тиару пламени и вечной темноты? Когда стучимся мы у твоего порога, Зачем ты губишь нас, зачем ты гонишь бога?

И кратер перестал плевать кипящей лавой. И голос в кратере раздался величавый:

«Отсюда изгнан бог. Я не любил его:
Скупое, жадное до взяток существо!
Жрут человечину его гнилые зубы.
Его лицо черно. Его ухватки грубы.
Распахнут настежь был его тугой живот —
Пещера мрачная, где жрец-мясник живет.
Скелеты у его подножия гогочут,
И живоде́ры нож остервенело точат.
Глухое, дикое, с пучками змей в руках,
С кровавой живностью в оскаленных клыках,
Страшилище весь мир покрыло черной тенью.
И часто я ворчал в тревоге и смятенье.
Когда же, наконец, по лону зыбких вод
Приплыли из страны, откуда день встает,
Вы, люди белые, я встретил вас как утро.
Я знал, что ваш приход придуман очень мудро.
Я верил: белые как небо хороши,
И белизна лица есть белизна души,
И, значит, белый бог владыкой будет смирным,
И радовался я, что распрощаюсь с жирным
Обжорой, чей позор ужасен и глубок!
И тут-то приступил к работе белый бог!
И тут я увидал с моей вершиной вровень
Огонь его костров и чад его жаровен,
Что инквизицией святейшей зажжены.
И Торквемада встал у врат моей страны
И начал просвещать, как повелела церковь,
И дикарей крестил, их души исковеркав.
Я в Лиме увидал бушующий огонь.
Гигантские костры распространяли вонь.
Там трупики детей обугливались в гряде
Соломы; там дымок вился над женской грудью...
Задушен запахом тех казней пресвятых,
Я помрачнел навек, окаменел, притих.
Сжигавший только тьму в своей печи недавно,
Обманутый во всем и преданный бесславно,
Я бога вашего узнал в лицо тогда
И понял, что менять — не стоило труда!»

КРОТОСТЬ СТАРИННЫХ СУДЕЙ

В застенках пыточных довольно остро жили;
Там пять иль шесть часов, не больше, проводили,
Входили юношей, чтоб выйти стариком.
Судья, с законами блистательно знаком, —
Во имя буквы их, палач — искусства ради
Трудились во всю мочь, с неистовством во взгляде,
Щипцами алыми жгли человеческую плоть,
Чтоб, вырвав истину, строптивость побороть;
И, корчась и крича, лицо сведя гримасой,
Их жертва делалась комком дрожащим мяса
И нервов, — и Вуглан на страшной арфе той
Марш смертных мук играл кровавою рукой.
Но он, да и Левер, и Фариначчи тоже
Таили в недрах душ запас умильной дрожи:
Людей пытаемых случалось им не раз
Просить — и кротостью, как сахаром, подчас
Терзанья услаждать; упряму, что от злости
Таит признания, они дробили кости,
Его с тоской моля, чтоб суд не мучил он;
Отечески склонясь, они ловили стон,
Скорбя, сочувствуя, искали рот сожженный, —
Не изрыгнет ли он секрет свой воспаленный?
Пакье терзаемых надеждою манил;
Латинские стихи Даланкр им приводил;
Боден идиллии цитировал в печали...
И судьи, жалости полны, порой рыдали.

Все кончилось. Высок, надменен, весь блестящий,
Как острый серп в траве, над городом стоящий,
Широкий нож, чье день отметил лезвие,
Надменно вознося спокойствие свое
И треугольником бросая свет мистичный,
Как будто этим он похож на храм античный, —
Косарь, свершивший смерть, — над высотой царил.
От дела страшного одно он сохранил:
Чуть видное пятно коричневого цвета.

Палач в своей норе уж отдыхает где-то.
Духовника и суд отправив наконец,
Домой вернулась Казнь в привычный свой дворец
В фургоне траурном, оставив за собою,
В широкой колее, наполненной водою,
За тяжким колесом кровь с грязью пополам.

В толпе шептали: «Что ж! Он виноват в том сам!»
Безумен человек, за всем пойдет покорно,
Как шел он и сюда, вслед колеснице черной.

В раздумье погружен, и я там был. Заря
Легла на ратушу мятежную, горя
Меж Прошлым проклятым и Завтра, полным блеска.
Средь Гревской площади, на небе врезан резко,
Высокий эшафот кончал свой трудный день.

Подобно призраку, спускалась ночи тень.
А я стоял, глядел на город усыпленный
И на топор в крови, высоко вознесенный.

Меж тем как с запада, из глубины ночной,
Вставала темнота ужасною стеной,
Дощатый эшафот, пугающий, огромный,
Сам, наполняясь тьмой, казался ночью темной.
Звон башенных часов был звоном похорон,
И на стальном ноже, что так же был взнесен,
Как смутный ужас всем внушающее тело,
Кровавое пятно сквозь сумерки горело.

Звезда, которую заметил первой глаз,
Пока стоял я здесь, по небу поднялась.

Был эшафот под ней как смутное виденье;
Звезда на топоре струила отраженье,
Как в тихом озере; по стали в тишине
Разлился тайный свет. И все казалось мне:
Металла полосу, что тьмою зла одета,
Отметила звезда в ночи слезою света.
Казалось, луч ее, ударивший копьем,
Вновь отлетел во тьму. Сверкавшим топором
Была отброшена звезда от глади сонной.
Она, блестящая как уголь раскаленный,
В ужасном зеркале струилась в тьме ночной —
Над правосудием, юстицией земной —
Спокойствия небес святое отраженье.
«Кому там, в небесах, топор нанес раненье? —
Подумал я. — Кого там человек сразил?
О нож, что прячешь ты?» И затуманен был
Мой взгляд, блуждающий в ночном глухом покрове
Меж каплею звезды и темной каплей крови.

Сажают в клетку птиц — а по какому праву?

Кто право дал лишить их пения дубраву,
Зарю, и облако, и заводь, и кусты?
Кто право дал убить живое? Мыслишь ты,
Что бог затем себя созданием крыльев тешил,
Чтоб ты их на крючок в своем окошке вешал?
Тебе без этого и счастья нет? К чему
Ты осуждаешь птиц безвинных на тюрьму,
С птенцами, с самочкой, — на муку и печали?

Но с нашей их судьба, как знать, не сплетена ли?
Как знать, оторванный от ветки соловей,
Как знать, страдания животных от людей —
И самый плен и глум над зверем полоненным —
Нам не обрушатся ль на головы Нероном?
Как знать, не от узды ль пошли колодки в ход?
С какою силою обратной отдает
Иной удар? Судьбой не сплетено ли тайно
В один клубок все то, что мы вершим случайно?
Когда упрячешь ты спокойно под замок
Тех, кто купаться бы в разливе света мог,
Рожденных пить лазурь, кому без неба узок
Твой мир, — малиновку, вьюрков и трясогузок, —
Ты полагаешь, клюв, в железину стуча,
Избитый до крови, не метит палача?
Есть справедливость, есть! Побойся ты, жестокий!
Узрит томящихся в неволе божье око.

Иль невдомек тебе, что ты убийцы злей?
Свободу пленникам! Вернуть им свет полей!
На волю, ласточка, на волю, друг крылатый!
Грех перед крыльями искупит виноватый.
Не лгут незримые весы. Побойся ты
Жилище клетками убрать для красоты.
В трельяже кроется решетка для темницы;
От клетки соловья Бастилия родится.
Не тронь паломницу заоблачья и рек!
Свободу ту, что взял у птицы человек,
Судьба-правдивица сполна с него же спросит.
Тиран — у тех, кто сам в душе тирана носит.
Свободы требуешь? Но иск отвергнут твой:
Есть узник у тебя, свидетель роковой.
Все беззащитное мглой от врагов укрыто.
Над бедной птахой мир, вся ширь его, в защиту
Склонился — и тебя к ответу он зовет.
Ты мне смешон, тиран, когда ты стонешь: «Гнет!»
Тебя твой жребий ждет, пока ты тешишь нрав свой
Над жертвой, что тебя одела тенью рабства.
Знай: клетка будет жить и пегь в твоём доме
И пенем вызовет из-под земли тюрьму!

В Афинах — Архилох нам это подтвердил —
Жил некогда судья, который возгласил:

«Прочь нас судьба отсюда гонит.

Лжет весь Ареопаг. О, время! Быть беде!

Туманьтесь, небеса! Здесь правды нет в суде
И правосудия в законе».

При Цицероне раз сломал центурион
Свой меч и к Цезарю воскликнул: «Гистрион!

Я знаю все твои стремленья.

Пусть армия идет с вождями за тобой —

Я не пойду один. Ведь я не тот герой,

Что совершает преступленья!»

Червем и гением Макиавелли был.

Апостол некий так пред ним провозгласил:

«Здесь вера папою гонима».

О, Сатана и он в один здесь стали ряд.

Иерусалим! Теперь пожрет твоих ягнят

Старинная волчица Рима!

Светильник совести был мраком поглощен,

Пучиною стыда. И тьма со всех сторон,

И море черное без края.

Пучина кружится, вся в пене, и порой

На самый краткий миг под мутною волной

Труп мертвой совести мелькает.

Вам честолюбие присуще, государь,
Как всем властителям и в наши дни и встарь;
Желанья смелые и мне, как вам, не чужды,
К чему ж стремимся мы, в чем видим наши нужды?
Кто из двоих мудрец? Кто из двоих дурак?
Монарху власть нужна, мыслителю медяк.
Все люди на земле от мала до велика, —
И гордый властелин и жалкий горемыка, —
Нетерпеливо ждут подарков от судьбы;
Создатель милостив, услышит он мольбы, —
Глядишь, перепадет и нам, когда-то, где-то,
Тебе — империя, мне мелкая монета.
Не правда ль, государь, похожи мы с тобой?
Мы ищем случая, чтобы любой ценой,
Пусть даже вопреки закону, чести, праву,
Я — голод утолить, ты — округлить державу.
Ну что ж, я вор, я плут, однакоже, король,
С тобой мне в честности помериться позволь.

Как всякий истый принц, ты отпрыск иностранки,
Я — незаконный сын кочующей цыганки;
Но даже повелев мою повесить мать,
Едва ли, государь, ты мог бы доказать,
Что мать, родившая не принца, а бродягу,
Вред больший нанесла общественному благу.
Итак, я родился, чтоб голодать всегда
И чтобы никогда не чувствовать стыда.
Стыдом не будешь сыт, а знать бы не мешало,

Что и в аду нет мук страшнее мук Тантала.
Вот почему я вор. Я вовсе не злодей,
И не хочу губить и устрашать людей;
Стремлюсь я к одному, — мои невинны планы, —
От лишней тяжести избавить их карманы,
Не тронув волоска при этом с головы.
Тут надобен талант. Поймете ль это вы?
Да, кстати, государь, давно хотел спросить я,
Какого мнения вы насчет кровопролитья?
Я — нет! От мокрых дел держусь я в стороне;
Пристукнуть буржуа — фи, это не по мне!
Вот честолюбец — тот обязан быть бандитом.
Являюсь я, король, таинственным магнитом,
И деньги, спящие во мраке кошельков,
Притягиваются ко мне. О, мой улов
Обычно невелик: мошны тугие редки,
И августейшие монархи, ваши предки,
Не больше тратили трудов за сотни лет,
Чем трачу за день я, чтоб раздобыть обед.
Беру я серебро, но не гнушаюсь медью:
Ведь я неприхотлив; изысканною снедью
Не надо мне кормить придворных жадный полк;
Нора — вот мой дворец, дерюга — вот мой шелк!
Я обложил народ умеренным налогом.
По людным площадям, по рынкам, по дорогам
В упорных поисках бродить, глотая пыль;
Подстерегать зевак; дурачить простофиль;
Ловить момент, когда рассеянный приказчик
Считает мух в окне, забыв закрыть свой ящик,
И дерзкой пятерней в конторку залезать;
Часы и кошельки бесшумно отрезать
У дам, нагнувшихся, чтоб застегнуть подвязки;
Всегда быть начеку, ни шагу — без опаски;
Быть всем обязанным сноровке и чутью;
Перст божий удлинять своими десятью
И говорить: «В долгу ты предо мной, всевышний,
Так не сердись на то, что грош стянул я лишний!»
Вот жизнь моя, король, я все тут рассказал.
Ты, как гора, велик, я, как песчинка, мал;
Ну что ж, я не ропщу, не задаю вопросов:
Хотя я жалкий червь, но вместе с тем — философ.
Я знаю, что творец не злобный интриган,

Нет, просто он шутник и любит балаган.
На сцене ставится комедия, — взгляните, —
Мы куклы, а судьба нас дергает за нити;
Тут каждый обречен свою исполнить роль:
Мудрец и скоморох, мошенник и король.
Тут все раскрашено, тут сшито все непрочно,
Все только напоказ, все не всерьез, нарочно.
Богатство, слава, власть — всё побрякушки, вздор,
Пустая мишура. Вот белый коленкор,
Вот горсточка муки, свинцовые белила, —
И кукла сделана, чтоб в ужас приводила,
Как призрак, или смех внушала, как Пьеро.
А потому стремлюсь я, ловко и хитро,
В союзы не вступать с насилием и злобой,
И в то же время — жить. Советую — попробуй!

Итак, я доказать хотел вам, государь,
Что я — презренная, ничтожнейшая тварь —
Достойнее, чем вы; прошу чуть-чуть терпенья.

Заметил я давно, что люди от рожденья
Владеют хорошо всего одной из рук
И редко кто — двумя (вот почему, мой друг,
Ты крепко держишь власть, теряя часто совесть).
Твое величество, послушай эту повесть:
Без ложной скромности, но чуждый хвастовства,
Решил исправить я ошибку божества,
Усовершенствовать его изобретенье
Я думал, я искал, я напрягал свой ум, —
Я изучал людей, я делал наблюденья,
И присовокупил к рукам природным двум
Я третью, тайную, — людского сердца знанье.
Вот мой секрет, король, мое завоеванье.
И так я вором стал. Я маска, я фантом,
Я тень, я пыль и прах... Но не забудь о том,
Что сущность в нас одна, что — о, судьбы
насмешка! —

Мы словно медный грош, где ты — орел, я — решка.
Пусть презираем я и неимущ, зато
Я властелин того, что для других — ничто;
Все ненадежное, неясное мне близко;
Я рыцарь случая, обманчивого риска,

Слепого «может быть». И, думая о том,
Что, как бы ни было, а в этом мире злом,
Где алчность царствует, я лишь клюю проворно
Рукою случая рассыпанные зерна,
Что кровь я никогда не проливал (ведь я
Не воин, не палач, не жрец и не судья),
Что я лишь натошак и жаден и бесстыден,
А голод утолив, я добр и безобиден,
И что в конце концов я грешен только тем,
Что крохи со стола общественного ем,
Как птички божии, — я вижу в удивленье,
Что, может быть, и я достоин восхваленья
За то, что хоть не зол. Природой одарен
Я больше, нежели носители корон;
Я маг и чародей: обычная монета,
Годами в кошельке не видевшая света,
Медяшка мертвая, почуявши меня,
Становится живой, исполненной огня,
И следует за мной, своим Пигмалионом,
Владельца прежнего не потревожа звоном.
В тупые, черствые мещанские гроши
Вдыхаю я порыв мечтательной души
И трачу столько сил, уменья, страсти, чувства,
Что делаю медяк творением искусства.
Да, жить мне не легко! И знает лишь господь,
Мне давший сильный дух, выносливую плоть,
Как много надо мне, неизвестному бродяге,
Расчета, выдержки, терпенья и отваги,
Упорства, ловкости, вниманья, быстроты,
И гибкости в руках, и зренья остроты,
Уменья льстить судьбе и ладить с вечно юной,
Прекрасной, но, увы, изменчивой фортуной,
Как много надо мне трудиться для того,
Чтоб, наконец, узнать победы торжество —
Наевшись досыта, уснуть в своей лачуге!

А ты — каков твой труд? И в чем твои заслуги?
Ни в чем! Ты родился — и получил престол.
Как я, сосал ты грудь, беспомощен и гол;
Ты вырос, и теперь тобой народ задушен.
Твой аппетит велик, но гений твой тщедушен.
В один прекрасный день ты, честолюбец злой,

Наскучив помыкать лишь собственной страной,
Свой устремляешь взор на чуждые владенья;
Так смотрит иногда, томясь от вожделенья,
Прожорливый козел в соседский огород.
Решил ты: покорю еще один народ!
Пособник алчности твоей неукротимой,
Священник-лицемер, служитель бога мнимый,
Напутствует тебя. И вот, закон поправ,
Ты, славен и велик, бесстыден и кровав,
Хватаешь ту страну, которая поближе.
Трепещет вся земля в негодованье. Ты же,
Обучен с юных лет искусству пожирать,
Без угрызений в бой свою бросаешь рать,
Чтоб уничтожить все в огне кровавой сечи
Ударами штыков и залпами картечи.
Все просто и легко: громи, потом владей!
Кто смеет утверждать, что ты — тиран, злодей?
Посажен ты на трон и облачен в порфиру.
Помазанник! Монарх! Ты богом послан миру;
Все люди, вся земля тебе принадлежат...
И ты на этот мир обрушиваешь ад!
Сметая города, через леса и реки
Несется смерч войны. Ни старцы, ни калеки,
Ни матери с детьми — никто не пощажен.
Ты смерть принес мужьям и отнял честь у жен.
И, хищнику даря благословенье храма,
Молебном благостным, куреньем фимиама
Поп освятил разврат, убийства и грабеж.
И на коленях все, кто уцелел.

Так что ж —

В ком больше низости, жестокости, коварства?
Я в плен беру гроши, а ты воруеть царства!

Я царь, и власть моя мрачна и беспримерна,
Я храм свой воздвигал и рушил города.
Хирам, строитель мой, Харос, сатрап мой верный, -
Они со мной всегда.

Один был уровнем, другой — мечом тяжелым.
Я дал им власть творить — и дух мой утолен,
И как ливанский кедр, пятой поправший доли,
Мой голос вознесен.

Восходит к богу он. Рожден я преступленьем,
Огромный мрачный ум мне дан, и демон злой
Меж волею небес и собственным паденьем
Меня избрал судьей.

Внушаю трепет я, и путь кажу я правый,
Я покоритель стран, я вождь на всех путях.
Как царь, я подданных давлю тяжелой славой;
Как жрец, несу им страх.

Мне снятся празднества и боевые схватки,
Перст, пишущий огнем: «Мане, Текел, Фарес»,
Походы, конница в кровавом беспорядке,
Мечей и копий лес.

Велик я, как кумир, в чьем облике угроза,
Таинственна, как сад, укрытый от очей.
Но пусть я царственней, чем молодая роза
В исходе майских дней, —

Возможно силою отнять и скипетр власти,
И трон мой, и стрелков у башенных ворот...
Тебя лишь, нежный друг, от сада этой страсти
Никто не оторвет!

Нельзя отнять любви, всегда меня живящей,
О дева бледная, чей взор из-под ресниц
Несет мне свет в ночи, — лишить лесные чащи
Поутру пенья птиц!

18 января 1877

Хор юных девушек под ивами щебечет,
 Из-под густых волос на миг сверкают плечи,
 Амфора полная не может помешать
 Им, встретя Дафниса, чуть шаг свой задержать
 Иль крикнуть старику: «Меналк, привет!» А ивы,
 Чью дрему разбудил смех юности счастливой,
 Свиданье любящих скрывают за листвою.
 Был долог поцелуй, так долог, что домой
 Амфору принесут расплесканной, и строго
 Заметит бабушка за пряжей у порога:
 «Где пропадала ты? Кто смел тебя обнять
 И воду по пути так дерзко расплескать?»
 Но, грез полна, молчит красавица с амфорой.
 Когда на поле тень отбрасывают горы
 И медленно скрипят колеса за рекой,
 Так хорошо мечтать о жизни и душой
 Лететь в грядущее! Но сердцу все неясно:
 Знать ничего нельзя, завидовать напрасно.
 Одна лишь мудрость есть: люби! Кругом весна.
 Цветами вдоль дорог нас радует она,
 Апрельской свежестью, веселым птиц порханьем,
 Постелью мягкой мха, раскрытых роз дыханьем
 И тенью, пляшущей среди полян лесных.
 Со смехом женщины идут домой. Среди них
 Немало в болтовне задержится у сада.
 Но мужа ревновать, бранить сейчас не надо,
 Не то и малыша недолго испугать.
 В короне из плюща к нам Пан пришел опять.

1 февраля 1877

Ее здесь больше нет, и все ж она со мной,
 Ночь в глубине небес, день в темноте лесной!
 Что значит смертный взгляд перед духовным
 взглядом?
 Грустишь; любимой нет сейчас с тобою рядом;
 Но в тьме еще ясней ее мой видит взор.
 Звезда уже взошла, сияя, на простор.
 Я вижу мать свою, которой нет. Я вижу
 Тебя, Лаура. Где? В лучах, и к сердцу ближе.
 Я вижу, я люблю. И здесь ты или нет —
 Ты предо мной всегда. Все — тьма. Один лишь свет —
 Любовь! Любить всегда! Судьбу свою равняя
 С богами, я твержу: люблю, люблю тебя я.
 Умом даров любви, Лаура, не понять.
 Вот лучший дар ее — ушедших зреть опять.
 Да, ты сейчас со мной, хоть нет тебя на свете,
 Я вижу вновь тебя в небесном, нежном свете!
 Ужель, твержу, — она, что скрылась навсегда?
 Взгляд говорит мне: «Нет». Душа мне шепчет: «Да».

13 июня 1860

Красавица моя, возня и щебет птиц
 В деревьях, тростниках, на поле средь кошниц,
 Полет орла в лучах на высоте лазурной,
 Забавы nereид в веселости их бурной,
 Что брызжут пеною и пляшут средь валов,
 Прибой, зовущий вдаль мечтанья моряков,
 Игра морских богинь в кипящей легкой пене,
 Ныряющих в волнах, как ты в листве весенней, —
 Все, что сверкает, жжет там, на черте зыбей,
 Не стоит ничего пред песнею твоей!
 В сердцах самих богов ты пеньем радость будишь.
 Пускай надменна ты — и все ж меня ты любишь,
 И на коленях я держу тебя. Порой
 Психея, как и ты, вступала в спор со мной,
 Чтоб с божеством своим потом в объятьях слиться.
 Как осуждать любовь? Любить — опять родиться,
 Любить — вкушать из рук того, кто сердцу мил,
 Все, что небесного нам в тело бог вложил,
 Быть светлым ангелом с простой земной душою.
 Не отвергай меня! Не будь скупой со мною.
 Дадим простор любви! В ней истина живет.
 О, страсть, летящая в бессмертный синий свод!
 Экстаз! Стремленье ввысь! Душа во мне смеется.
 Ты грезишь. В такт с моим твое сердечко бьется.
 Пусть птицы нам поют, пускай ручьи журчат.
 Им завидно, мой друг! Любить здесь каждый рад.
 Идем бродить в лесу, что ветерком волнуем!
 Нас звезды вновь зовут забыться поцелуем.

Так львица ищет льва средь скал в полночный час.
Пой! Надо петь. Люби! Любовь — вот жизнь для нас!
Пока смеешься ты, пока я в ослепленье,
Спешу тебя врасплох застать в твоём смущенье,
И поцелуем ты простить меня не прочь.
Над нами мрачная уже спустилась ночь,
И тени мертвецов в Аиде средь развалин
Глядят, как в их краю, который так печален,
Созвездья тусклые, Эребом зажжены,
Кровавый отсвет льют средь Стиксовой волны.

1

Когда зимой бушует море
И, с ураганом грозно споря,
Ревет вода, —
Покинув жалкие лачуги,
Все обитатели округи
Идут туда.

И вечером, в часы прилива,
Вздыхают, в горе молчаливо
Погружены.
Лишь сирота рыдает глухо:
«Отец!» и говорит старуха:
«Мои сыны!»

Мать смотрит вдаль, ломая руки;
Домой в невыразимой муке
Бредет вдова.
Им страшно... Море буйно плещет.
Их дух в твоей руке трепещет,
О Егова!

Нет звезд меж туч необозримых.
Вернет ли женщинам любимых
Злой океан?

Он пену им кидает в лица;
В их скорбные сердца струится
Седой туман.

Бедняжки слушают тревожно;
Увы, расслышать невозможно,
О чем прибой
Рассказывает черным скалам,
Ведя на приступ вал за валом
Из тьмы слепой.

Им в уши буря дико свищет;
Баркасов тщетно взоры ищут.
Как страшно ждать
Велений силы беспощадной...
Господь, ты сделал бездной жадной
Морскую гладь!

2

Насквозь промокла их одежда.
В душе с отчаяньем надежда
Ведет борьбу.
Они дрожат, они рыдают,
Они у моря вопрошают
Свою судьбу.

Надежды сбудутся едва ли.
Им видно, как из грозной дали,
Где все темно,
Стада бурунов белоснежных
Бегут сложить у скал прибрежных
Свое руно.

Мольбы и слезы бесполезны.
И чудится, когда из бездны
Волна встает,
Что это к людям оробелым
Выходит Ужас агнцем белым
Из черных вод.

Свирепый ветер завывает,
И чайка в волны окунает
Свое крыло.
Так океан бушует ярый,
Когда норд-вест трубит в фанфары
У Сен-Мало.

3

Вдруг — молния... И в бездне бурной
Вы парус видите пурпурный
И черный флаг.
То призрачный корабль стремится
Туда, где вспыхнула зарница, —
Его маяк.

Дрожите! Это вестник горя;
Вокруг него ярится море,
И шторм жесток.
Так лес встает стеной враждебной,
Когда трубит стрелок волшебный
В свой черный рог.

Сулит несчастье эта встреча:
Корабль-мертвец — беды предтеча,
Он — знак конца.
Звон похоронный слыша, плачьте:
То колокол звонит на мачте
У мертвеца.

То — судно адского посланца,
То — бриг Летучего Голландца,
Корабль-фантом.
Летит он, бесприютен, вечен,
Отвержен богом и отмечен
Его перстом.

Так с полюса на полюс мчится
Корабль — могила и темница —
В кромешной тьме.
Там на носу скелетов груды,
Тень Каина и тень Иуды
Там на корме.

И где он волны рассекает —
Во мраке молния сверкает,
Грохочет гром.
Он за собой волочит шквалы:
Так каторжник гремит устало
Своим ядром.

Испытанные мореходы, —
Не им страшиться непогоды, —
Дрожат в тот миг,
Когда вдали встает громада:
Извергнутый из пасти ада
Пиратский бриг.

Стрелой несется привиденье,
И призрачное льет свеченье
Его скелет.
Вздываются в испуге волны,
Когда по ним летит безмолвный,
Злой силуэт.

Утесы, сквозь громов раскаты,
Кричат ему: «Уйди, проклятый!
Прочь, демон, прочь!»
И, внемя скрежету и вою.
Все думают: за Сатаной
Псы мчатся в ночь.

Рыбачки на песке прибрежном
Твердят о призраке мятежном
И ждут беды.
Что он несет им? Долю вдовью...
Прочерчены на волнах кровью
Его следы.

4

И говорят про это судно,
Что вечным сном там непробудно
Спит экипаж,

Что преисподняя сковала
Ему из адского металла
Весь такелаж.

И слышатся в толпе моления, —
Пускай закроет провиденье
Дорогу злу.
Швыряет ветер многоликий
Свои стенания и крики
В сырую мглу.

5

И рифы, споря с океаном,
Балам, гонимым ураганом,
Дают отпор.
Валы дробятся о преграды,
И грохот дикой канонады
Летит в простор.

Клокочет гнев в пучине черной.
О хаос! Там идет упорный,
Извечный бой.
Стихии там друг с другом бьются,
Там волны яростно грызутся
Между собой.

Вода бушует все свирепей
И, как безумец, рвущий цепи,
Рыдает зло.
Но глухи груды скал могучих;
Они надменно прячут в тучах
Свое чело.

И гибнут за грядой гранитной
Баркасы в бездне ненасытной.
Им не помочь!
Обрывки парусов и тросы
В свои растрепанные косы
Вплетает ночь.

Мянутся волны в дикой скачке;
Дрожат гранвилльские рыбачки
 Под ливнем брызг,
Меж тем как ты, о солнце, где-то
Встаешь, и льет потоки света
 Твой щедрый диск.

Я некогда знавал Фердоуси в Мизоре.
Казалось, он собрал все пламенные зори,
Связал султаном их и осенил чело;
Похожий на князей, в чьей жизни все светло,
Горя рубинами и огненным тюрбаном,
Он шел по городу в своем халате рдяном.

Я повстречал его чрез десять лет опять
Одетым в черное.

Спросил я: «Как понять,
Что ты, кого мы все владыкою когда-то
Видали в пурпуре, пылавшем в час заката,
В халат, что ночь ткала, одет на этот раз?»

Сказал Фердоуси: «Ты знаешь, я погас».

Гомер поэтом был. И в эти времена
 Всем миром правила владычица-война.
 Уверен, в бой стремясь, был каждый юный воин,
 Что смерти доблестной и славной он достоин.
 Что боги лучшего тогда могли послать,
 Чем саван, чтобы Рим в сражениях спасать,
 Иль гроб прославленный у врат Лакедемона?
 На подвиг отрок шел за отчие законы,
 Спеша опередить других идущих в бой,
 Им угрожавший всем кончиной роковой.
 Но смерть со славою, как дивный дар, манила,
 Улисс угадывал за прялкою Ахилла,
 Тот платье девичье, рыча, с себя срывал,
 И восклицали все: «Пред нами вождь предстал!»
 Ахилла грозный лик средь рокового боя
 Стал маской царственной для каждого героя.
 Был смертоносный меч, как друг, мужчине мил,
 И коршун яростный над музою кружил,
 В сражении за ней он следовал повсюду,
 И пела муза та лишь тел безгласных груду.
 Тигрица-божество, ты, воплощение зла,
 Ты черной тучею над Грецией плыла;
 В глухом отчаянье ты к небесам взывала,
 Твердя: «Убей, убей, умри, убей — все мало!»
 И конь чудовищный ярился под тобой.
 По ветру волосы — ты врезывалась в бой
 Героев, и богов могучих, и титанов.
 Ты зажигала ад в рядах враждебных станов,

Герою меч дала, сумела научить,
Как Гектора вокруг стен безжалостно влачить.
Меж тем как смертное копьё еще свистело,
И кровь бойца лилась, и остывало тело,
И череп урною могильною зиял,
И дротик плащ ночной богини разрывал,
И черная змея на грудь ее всползала,
И битва на Олимп в бессмертный сонм вступала, -
Был голос музы той неумолим и строг,
И обагряла кровь у губ прекрасных рог.
Палатки, башни, дым, изрубленные латы,
И стоны раненых, и чей-то шлем пернатый,
И вихорь колесниц, и труб военных вой —
Все было в стройный гимн превращено тобой.

А ныне муза — мир... И стан ее воздушный
Объятъем не теснит, сверкая, панцырь душный.
Поэт кричит войне: «Умри ты, злая тень!»
И манит за собой людей в цветущий день.
И из его стихов, везде звучащих звонко,
Блестя, слеза падет на розу, на ребенка;
Из окрыленных строф звезд возникает рой,
И почки на ветвях уже шумят листвою,
И все его мечты — как свет зари прекрасной;
Поют его уста и ласково и ясно.

*

Напрасно ты грозишь зловещей похвальбой,
Ты, злое прошлое. Покончено с тобой!
Уже в могиле ты. Известно людям стало:
Те козни мерзкие, что ты во мгле сплетала,
Истлели; и войны мы больше не хотим;
И братьям помогать мы примемся своим,
Чтоб подлость искупить, содеянную нами.
Свою судьбу творим своими же руками.
И вот, изгнанник, я без усталости тружусь,
Чтоб человек сказал: «Я больше не боюсь.
Надежды полон я, не помню мрачной бури.
Из сердца вынут страх, и тонет взор в лазури».

Мой доблестный отец, чей взор так кроток был,
Однажды с вестовым, которого любил
За храбрость дерзкую и рост его огромный,
По полю проезжал верхом, порою темной,
Меж трупами бойцов. Уже померкнул день.
Вдруг шорох слышится... Там, где сгустилась тень,
Испанец полз, солдат из армии разбитой,
Тащившийся с трудом и кровью весь залитый.
Хрипя в агонии и не надеясь жить,
Он тихо умолял: «Пить! Ради бога, пить!»
Отец, оборотясь к гусару-вестовому,
Со своего седла снимает фляжку рому
И говорит: «Возьми! Пускай напьется он!»
И вот, когда гусар, услышав новый стон,
Нагнулся, — раненый, похожий на араба,
Хватает пистолет рукой худой и слабой
И целит в лоб отцу, «Каррамба!» процедив.
И выстрел прогремел, мгновенно шляпу сбив.
Отпрянул конь назад, как будто от удара.
«Дай все ж ему глотнуть!» — сказал отец гусару.

Предстали предо мной Позор и Смерть: верхом
Сквозь сумрак ехали они в лесу глухом.

Пожухлая трава под ветром шелестела.

На мертвой лошади, я видел, Смерть сидела;
Позор держал свой путь на лошади гнилой.

Неясных черных птиц был слышен крик порой.

Позор сказал мне так: «Зовусь я Наслажденье.
Я еду к счастью. Шелк и золото, каждое,
Чертоги, пиршества, шуты и сонм жрецов,
Смех, торжествующий под сводами дворцов,
Раскрытые мешки с червонцами, с мехами,
Эдем ночных садов, разубранных звездами,
Красавиц молодых с зарей на лицах рой,
Оркестры, звучною зовущие игрой,
Их медь, звенящая и славой и победой, —
Все это впредь твое, за мною лишь последуй».

Я отвечал ему: «Твой конь смердит невмочь».

Мне Смерть сказала так: «Зовусь я Долг; сквозь ночь,
Тоску и ужасы я путь держу к могиле».

«Есть место за тобой?» — мои слова к ней были.

С тех пор, свернув во мрак, где явлен бог живых,
Мы едем с ней вдвоем в глуши лесов ночных.

Не тот, кто прав, счастлив; не тот, кто прав,
и властен.

Герой всегда ль угрюм? Всегда ли раб несчастен?

Ужели у судьбы всего один закон —

Все то же колесо и тот же Иксион?

О! Кто б ты ни был, бог, взыскуемый от века,

Но если тщетна скорбь, но если человека

Вся жизнь — не более как в вихре бурь зерно, —

Твое величие отринуть нам дано!

Мы справедливости хотим душой нетленной,

Как равновесия ум ищет во вселенной.

Мне нужно твердо знать, что в бездне, где со тьмой

Слилось сияние, есть правда надо мной.

Хочу возмездия! Пусть упадает мщенье

Не на невинного — на клубы преступленья!

Нет! Торжествующий мне Каин нестерпим.

Когда царит порок и гнется все пред ним,

Хочу, чтоб с неба гром ударил, чтоб, синяя,

Вонзилась молния в надменного Атрея!

Бесславие — его тюрьмою стало вечной!

Его могли казнить, но были бессердечны —
И жить оставили.

И грозно с этих пор
Воздвиглись вокруг него невидимые стены,
Где сторожат без отдыха и смены
Неумиравший его позор!

Темница та, как гнет тяжелый сновиденья,
Неосязаема, но вместе так грозна,
Что может устрашить и смелого она,
Как робкие умы пугают привиденья!
В ней темен и глубок подземный каземат;
Нет доступа к стенам незримым и высоким;
Ни лестниц к ним нельзя подставить, ни канат
Для бегства прицепить. Томиться одиноким
В ней узник осужден до склона тяжких дней:
К дверям невидимым не подобрать ключей!
Кто узник? Скрыт его во мраке образ бледный;
Он в бездне самого себя погиб бесследно.
Все кончено — над ним покровом мертвецов
Навеки распростерт бесчестия покров.
Он вождь был некогда — и так погиб ужасно!
Нет солнца для него — и станет он напрасно
Повсюду, в ужасе, рассвета дня искать:
Минувшей Франции ему не увидеть;

Предательства она явилась ареной,
И обещана она его изменой!
Нет сострадания к предателя судьбе;
Он ненавистен всем и самому себе.
Весь мир ему тюрьма; нет для нее границы;
Позор разносится быстрее полета птицы,
И на поверхности живой земли лица
Пределов нет ему — и нет ему конца!
Закон неумолим!.. Когда он к каре вечной
Захочет привести и к муке бесконечной,
Не нужны ни гранит, ни медь тогда ему,
Чтоб осужденному соорудить тюрьму.
Он грязь одну берет — и грязь из ямы сточной
Становится тюрьмой устойчивой и прочной
Для тех, в ком чести нет, как ночью солнца, в ком
Жизнь тянется еще каким-то темным сном,
Кто палача избег карающих объятий
Для пресмыкательства во тьме, среди проклятий.
Отверженец — один!.. Наедине с собою
От жгучего стыда он никнет головою.

Стыд — ноша тяжкая. Отцеубийце нет
Спасенья; в нем самом его злодеяства след.
Им совершенное — с чудовищною силой
Ошейником его железным задавило;
И в вечном ужасе, средь непроглядной мглы,
Свои тяжелые влачит он кандалы...

Он мог спасителем быть Франции, героем,
К победам путь открыть ей смелым, честным боем —
И добровольно он измену предпочел,
Повергнув родину бесстыдно в бездну зол!
Сознание, его терзая неотступно,
Твердит ему: «Злодей! Ты поступил преступно.
Ты стал Иудой, как стал им Ганелон,
Так будь же проклят ты, как всеми проклят он!
Знай лишь отчаянье одно да казнь томленья!
Засни — и я спугну отраду сновиденья!»
Вот мысль, всегда его терзающая слух,
Сжигающая мозг, спирающая дух,
Сомкнуть усталые мешающая вежды,
На гибель самую лишив его надежды.

Он должен, осужден, обязан жизнь влачить,
Чтоб вечно вспоминать и вечно не забыть,
Что в плен он Франции повергнул легионы,
Что поругал ее святыню он, знамена,
Чтоб даже, сном на миг забывшись, не кончать
От них пощечины незримо получать!
Смерть — отдых, и его презренный недостойн.
Но он и мертвецом не мог бы быть спокоен:
И тени славные отцов в покоя сень
Не приняли б его поруганную тень,
И осужден бы был он снова пресмыкаться
И в грозной бездне бездн без отдыха скитаться,
Усталый, презренный, поруганный от всех
За то, что он свершил неизмеримый грех
И Франции врагам дал роковое право
Все прошлое ее — незаблемую славу —
Надменно оплевать; что яркие слова:
Ваграм, Аустерлиц и Лоди — он едва
Навек не вытравил из памяти народной,
С войсками поступив как с шайкою негодной,
И выдал головой он их пруссакам в плен.
О, беспримерная измена из измен!
Пруссак, как скотов, скорбящих пленных гнали
И спины саблями войскам полосовали...
Невыразимо горько!

С этих пор
Все человечество в недоуменье взор
Свой укоризненный на нем остановило;
Его презрение отовсюду окружило,
И, поразивши мир предательством своим,
Навеки, заживо он замурован им.
Как служит храбрости Сид ярким выраженьем, -
Он сразу сделался измены воплощеньем,
И у тюрьмы его бессменно на часах
И низость робкая и боязливый страх —
Две жалкие его злодейства сообщницы.
Отверженный, он стал рабом своей темницы;
Из ней нет выходов возможных никуда
От отвращения, презрения, стыда.
Как на крылах могучих урагана

Волнам нет выхода из лона океана.
Стыд самый от него отрекся б, если б мог.
Нет во вселенной всей для изверга дорог.
Путь в небо — дланью перед ним закрыт господней,
И омерзенье ждет у входа преисподней.
Он вечный каторжник: позорное клеймо
На сердце носит он, оно — его ярмо,
И может снять с него проклятье отверженья
Одно небытие, одно уничтоженье.
Нет в мире сил других, чтобы его спасли;
За все сокровища несметные земли
Тюремщик не продаст ему освобожденья.
Тюремщик этот — тень его же преступленья.
Навеки заперт он на грозных два замка,
И их не отопрет ему ничья рука:
Мец, Страсбург — страшные его замков названья.
Там родину свою он предал поруганью.

К увядшему цветку пчела не подлетит,
И честь утративший ее не возвратит.
Кто глубины такой достигнул при паденье,
Тот умер — нет ему возможного спасенья!
Пусть Шпильберг мрачен, пусть Бастилия была
Страшна, как для пловца подводная скала,
Пусть грозна тюрьма святого Михаила,
И замок Ангела — для узника могила, —
Что крепостей гранит в сравненье со стыдом?

Тот, кто навек в тюрьме бесславья заключен,
Несет тяжчайшие мучения без счета!
Сам бог над ним стоит и требует отчета:
Как с войском, вверенным ему, он поступил?
Как в стадо обратил он сразу столько сил?
Как добрый дух сгубить сумел он легиона?
Где долг? Где честь? Где стыд? Где пушки?
Где знамена?

За что обманута несчастная страна?
За сколько Франция была им продана?
Вот как он заточен! Каким всеместным мраком
Тот узник окружен, что честь свою собакам

Бесстыдно выбросил! Вот где томиться он
Навеки, без конца и меры, осужден,
Хотя бы потерял и для страданий силы!
Ужасен лабиринт его живой могилы,
Откуда никуда на свете нет дорог.

Кто ж это выдумал, что убежать он мог?

«К вам, кто поработал несметные народы,
К вам, Александры, к вам, охотники Нимроды,
К вам, Цезарь, Тамерлан, Чингис, Аларих, Кир,
Кто с колыбели нес войну и гибель в мир,
К вам, кто к триумфам шел победными шагами
И, как апрель луга душистыми цветами,
Усеял трупами песок дорог земных,
Кто восхищал людей, уничтожая их, —
Мы, кто вокруг могил стоит зловещей ратью,
Мы, ваши черные, уродливые братья,
Монахи, клирики, жрецы, взываем к вам.
Послушайте.

Увы, и наш заветный храм
И ваш дворец равно рассудком с бою взяты.
Мы были, как и вы, всесильными когда-то,
И мы, подобно вам, с угрозой на челе,
Как ловчий по лесу, блуждая по земле,
Во имя господя послушников карали.
Мы, папы, даже вас, царей, подчас смиряли.
Аттила, Борджа — вы могуществом равны.
Вам — скипетры, а нам панагии даны.
За нами — идолы, за вами — легионы.
Пускай блистательней горят на вас короны,
Но мы опасней вас в смирении своем:
Рычите громче вы, а мы быстрее ползем.
Смертельней наш укус, чем ваш удар тяжелый.
Мы — злоба Боссюэ и фанатизм Лойолы.

Наш узкий лоб одет тиарой золотой.
Сикст Пятый, Александр Второй, Урбан Восьмой,
Дикат, еретиков пытавший без пощады,
Сильвестр Второй, Анит, Кайафа, Торквемада,
Чья мрачная душа гордыней налита,
Иуда, выпивший кровавый пот Христа,
Аутодафе и страх, застенки и темница —
Все это мы. На нас пылает багряница,
Пурпуровым огнем сжигая жизнь вокруг.

Богам, как и вы, казались мы. Но вдруг
Нам пасть несытую сдал намордник узкий:
Рукой за глотку нас поймал народ французский,
И революции неуязвимый дух,
Насмешлив, дерзостен, к укусам нашим глух,
Вверг нас, священников, и вас, царей, в оковы,
Бесстрашно развенчав и разгромив сурово
Вертеп религии и цитадель меча.
В тюрьму загнали нас ударами бича,
Как укротители, Дантоны и Вольтеры.
На нас, кто мир держал в узде войны и веры,
Отныне Франция узду надела.

Но

Через решетчатое узкое окно
Мы, братья, вам кричим, что мы полны надежды,
Что солнце черное должно взойти, как прежде,
Вселенную лучом свирепым осветя;
Что прошлое — веков злое дитя, —
Как воскрешенный труп, из колыбели встанет
И с хрипом мстительным опять на землю прынет.
Гроб — колыбель его, и ночь — его заря.
Уже в зияющих воротах алтаря,
Как сумрачный цветок, кадило засверкало.
Уже вызывает Рим, подняв свое забрало:
«Умолкни, человек! Все лжет в юдоли сей!»
И переходит в рык поток его речей.

Грядет желанный день, когда, расправив крылья,
Личину права вновь с себя сорвет насилье,
Нерон и Петр людей двойным ярмом согнут,
Базар и храм на «ты» друг друга звать начнут.

Ваш трон упрочится, и, как в былые годы,
На волю выйдем мы, закрепостив народы.
Мы на крестах распнем свободные умы.
Все станет догмою, и будем править мы.
Войною станет все, — вы будете вождями.
Тираны-короли с попами-палачами
Железною пятой придавят мир опять.
И вновь увидит он, как будут оживать
В кошмарах нового жестокости былого.
И вновь построим мы из сумрака ночного
Тот храм, где Ложь собрать вокруг себя могла б
Ошую — цезарей и одесную — пап.

Мы постепенно тьму сгущаем над землею,
Чтоб, властвуя уже над детскою душою,
Когтями цепкими грядущее схватить.

Благословляем мы, когда хотим убить.
Стекает не елей — густая кровь с кропила.
Сутана ваш доспех, воители, затмила.
Все сокрушает наш безмерный гром, и с ним
Орудий ваших вой, конечно, несравним.
Опять забил набат святой и грозной ночи
Варфоломеевской. Все ближе он грохочет,
И зов его звучит страшней и тяжелей,
Чем трубы на войну идущих королей.
Вам нас не превзойти ни в ужасах, ни в злобе:
Ведь вы — всего лишь меч, а мы — покров на гробс.
За вами лишь тела раздавленных лежат,
А мы и для живых устраиваем ад.

И все ж нерасторжим союз жреца с солдатом;
Мы всё себе вернем, сражаясь с вами рядом.
Уже засов тюрьмы, где мы заключены,
Неслышно приоткрыт рукою Сатаны.
На мириады душ мы скоро прыгнем жадно.
Мы отвоюем мир».

Так, ночью непроглядной,
Пока, забыв о всем, мы предаемся снам,
Из клетки тигров зов несется в клетку к львам.

1

Ночь. Хижина бедна, но заперта надежно.
В жилище полумрак, и разглядеть возможно
В мерцании лучей, разлитых в глубине,
Что сеть рыбацкая чернеет на стене;
В углу, над сундуком, на полках деревянных
Поблескивает ряд тарелок оловянных;
А там, где с пологом старинная кровать,
На лавках сдвинутых, чтоб можно было спать,
Подушки сложены, и как в гнезде широком
Пять маленьких детей лежат во сне глубоком.
Очаг бросает свет на темный потолок,
И женщина, грустя, сидит у детских ног.
Их мать. Она одна. А за стеной суровый,
Могучий океан всю ночь во мгле свинцовой
Рыдает и грозит ветрам и тучам вслед.

2

Но где же их отец? Рыбак от юных лет,
С волнами он привык бороться на просторе.
В любую бурю он свой челн выводит в море:
Ведь корма ждут птенцы. И в поздний час, когда
Подходит к пристани высокая вода,

Он смело паруса на мачте поднимает.
А дома ждет жена. Искусно заплетает
Разорванную сеть, иль паруса чинит,
Похлебку рыбную на очаге варит
И, уложив детей, шлет небесам моления
За мужа своего, наперекор стремленье
Бушующих валов спешащего во мрак,
Где ни один в ночи не светится маяк.
Он должен отыскать в безумии прибора
Местечко, годное для лова, небольшое,
Что день — то новое, в безмерной шири вод,
Куда косяк сельдей серебряных придет.
Но как его найти? Ведь это только точка
Средь разъяренных вод. Декабрьской бурной ночью,
Когда кругом туман, — чтобы ее найти,
Расчислить надобно и ветер и пути,
Рулем и парусом уверенно владея.
А волны льнут к бортам, зеленые как змеи;
Пучина к небу шлет холмов ужасных ряд,
И снасти крепкие в отчаянье скрипят.
Но Жанна рядом с ним и в леденящей стуже.
А Жанна слезы льет и думает о муже, —
Так мысли их летят друг к другу, трепеща.

3

И Жанна молится. Насмешливо крича,
Ей чайки хриплыми рвут сердце голосами.
Ужасный океан перед ее глазами.
На гребнях яростных бушующих валов
Ей тени видятся погибших моряков.
Чу! Старые часы бьют полночь. Из футляра
По капле падают и падают удары,
И время движется; мгновенья, сутки, год;
Весна приходит вновь, и осень настает.
И души — ястребы и горлинки — слетают
В наш мир, где каждое мгновение открывает
Пред ними, приподняв грядущего покров,
Здесь — колыбелей строй, а там — ряды гробов.

И Жанна видит сон: дурные дни настали,
Детишки — босиком, и платья обветшали,

И пища скудная, и хлеб из ячменя...
О небо! Ураган вздул черный столб огня,
И берег загремел подобно наковальне.
Да, полночь в городах — танцор, что в зале бальной
Под полумаскою резвится и шалит;
Но полночь на море — безжалостный бандит:
Закутанный в туман, он прячется за шквалы,
Хватает моряка и бьет его о скалы,
О риф неведомый, что на пути возник.
И вал нахлынувший задушит в горле крик,
И чувствует гребец, что палуба уходит
Внезапно из-под ног... И память вдруг приводит
Причал на пристани июльским жарким днем.
И Жанна вся дрожит, испуганная сном.

4

Подруги рыбаков! И сына, и супруга,
Всех, сердцу дорогих, и жениха, и друга —
Вы морю отдали. Как страшно думать вам,
Что служат все они игралищем волнам,
От юнги-мальчика до штурмана седого;
Что ветер, дуя в рог, летит над ними снова
И вздыбил океан; что, может быть, сейчас
Потерпит бедствие ничтожный их баркас;
Что путь неведом их; что над морскою бездной,
В водовороте волн, средь этой тьмы беззвездной
Их держит над водой лишь утлая доска
Да прикрепленный к ней обрывок паруска.
Что делать женщине? Бродить теперь, рыдая,
У берега, моля: «Верни их, глубь морская!»?
Но — горе! — ведь сердцам, утратившим покой,
Его не возвратит бушующий прибой!

А Жанна все грустней. Ведь муж один на море.
А ночь прожорлива, а мрак, что саван, черен!
И Жанна думает: «Один в такую ночь!
С ним рядом никого, чтобы ему помочь.
Ведь сыновья еще не подросли, так малы!»
Но сыновья растут, и, как всегда бывало,
Уйдут на промысел они с отцом семьи.
И ты вздохнешь, о мать: «Ах, будь они детьми!»

Она берет с крючка фонарь и пелерину.
 Теперь пора взглянуть, не стихла ли пучина,
 Не виден ли баркас и как горит сигнал.
 Вперед! И вот она выходит. Не дышал
 Еще рассвет. Еще нигде не видно было
 Той белой черточки, что тьму и свет делила.
 Шел мелкий дождь во мгле. Мрачней погоды нет.
 Так день колеблется: прийти ль ему на свет?
 Так плачет человек в день своего рожденья.
 И Жанна медленно идет через селенье.

Лачуга бедная взор привлекла ее,
 Людское жалкое, угрюмое жилье.
 Строенье ветхое стояло без защиты.
 Ни огонька в окне, и дверь полуоткрыта.
 На стенах треснувших едва держался кров,
 И ветер теребил его со всех концов,
 Вздывая темную, прогнившую солому.
 И Жанна вспомнила: «Да, ведь хозяйка дома —
 Несчастливая вдова. И, кажется, больна.
 Зайти бы надо к ней, проведать, как она?»
 И Жанна в дверь стучит. Никто не отворяет.
 И Жанна, вся дрожа от ветра, размышляет:
 «Больна? А дети как? Голодный вид у них.
 Да, двое маленьких, а мужа нет в живых».
 И Жанна вновь стучит: «Соседка, отоприте!»
 Но в доме тишина. «Вы слишком крепко спите.
 Не достучусь никак. Что нового у вас?»
 Но ветер вдруг подул — и дверь на этот раз
 Заколебалась вся на петлях, содрогнулась
 И прямо в глубину жилища распахнулась.

6

И Жанна входит в дом, лучами фонаря
 Жилье безмолвное внезапно озаря.
 Сквозь дыры в потолке вода на пол стекала.

Картина страшная глазам ее предстала:
 В соломе, голову откинувши назад,

Лежала женщина; был мутен мертвый взгляд;
Раскрытый рот застыл. Исполненная силы
Мать, ставшая теперь видением могилы, —
Вот участь нищего, когда в борьбе с судьбой
Последний он навек проигрывает бой.
Рука бескровная в соломе коченела,
И ужас исходил от брошенного тела,
От рта открытого, где каменный язык,
Казалось, вечности бросал предсмертный крик.

А рядом с матерью, вблизи ее постели,
Два малых существа в открытой колыбели
С улыбкою, уснув, лежали, — сын и дочь.

И мать несчастная, пред тем как изнемочь,
Им собственным тряпьем укрыла грудь и ноги,
Набросив на детей еще свой плащ убогий,
Чтоб их в последний раз немного обогреть,
Отдать им все тепло и молча холодеть.

7

И дети мирно спят в своей постели шаткой.
Ничто дремоты их не потревожит сладкой.
Дыханье ровное у маленьких сирот,
Хоть ветер бешеный солому с крыши рвет,
Дождь льется в комнату и буйствует свободно,
И капли, падая порой на лоб холодный,
Слезам по лицу покойницы скользят,
И грохот волн зовет на помощь, как набат.
Труп слушает его, бездумный, бездыханный,
И кажется порой, что происходит странный
У мертвых уст и глаз беззвучный разговор:
«О, где твой дух живой?»—«А где твой светлый взор?»

Любите, радуйтесь, срывайте цвет весенний,
Звените кубками, ищите наслаждений!
Как в океан впадать положено ручьям,
Так рок определил и зыбкам, и пирам,
И материнскому безоблачному счастью,

И упоению, рождаемому страстью,
И песням, и любви, и блеску юных лиц
Единственную цель — холодный сон гробниц.

8

Что Жанна делает в той комнате пустынной?
Что спрятала она под пелериной длинной?
Что Жанна унесла, поспешно уходя?
Зачем она ушла так быстро, не глядя
На мертвую? Зачем бежит вдоль переулка,
Невольно чувствуя, как сердце бьется гулко?
Что ценного взяла и принесла домой,
В кровати спрятала дрожащею рукой?

9

Когда она пришла домой, уже светлела
Прибрежных скал гряда. И Жанна молча села
На стул, бледна как смерть. Казалось, что она
Поступком собственным в душе огорчена.
И, наконец, слова, исполненные горя,
Бессвязно потекли под шум и грохот моря:

«Что скажет муж, увы! У бедного и так
Достаточно хлопот! Какой безумный шаг!
Ведь пятеро детей на шее! А забота
О всей семье на нем! Прибавится работа,
Обуза лишняя! Он, кажется, идет...
Нет, мне слышалось! Пусть он меня побьет —
И я ему скажу: «Ударь, так мне и надо!»
Дверь скрипнула... Не он!» Так, значит, Жанна рада,
Что муж нейдет домой? Вот до чего дошло!
Она задумалась, вздыхая тяжело.
Забота тайная ее в тисках держала
С такою силою, что Жанна не слыхала
Бакланов карканье, гортанный их призыв,
Который возвещал начавшийся отлив,
Не видела, как дверь внезапно отворилась,
И комната лучом горячим осветилась,
И муж ее вошел, загородивши вход
Намокшим неводом, и крикнул: «Вот и флот!»

«Ты!» — Жанна вскрикнула и радостно припала
 К могучему плечу и жадно целовала
 Одежду мокрую, — любовь встречает так.
 «Я, женушка моя!» — ответил ей рыбак.
 Он чувствовал тепло от очага родного,
 И радовался он, что видит Жанну снова,
 И все его лицо лучилось добротой.
 Он молвил: «На море попасть — как в лес густой». —
 «Ну, что погода?» — «Зла». — «А как улов?» —
 «Негодный.

Но ты опять со мной, и я дышу свободно.
 Сегодня на море чертовский ветер был:
 Вернулся я ни с чем и невод повредил.
 Внезапно началась такая суматоха!
 Мой парус лег плашмя, и я подумал: «Плохо!»
 И якорная цепь порвалась. Ну, а ты?
 Что ты здесь делала одна?» Ее черты
 Румянцем вспыхнули, и Жанна отвечала:
 «Я? То же, что всегда, — я шила, поджидала.
 И страшно было мне». — «Что делать, друг? Зима!»
 Скрывая дрожь, она вдруг начала сама:
 «Да, знаешь ли, у нас тут по соседству горе:
 Вдова ведь умерла — вчера, должно быть вскоре
 За тем, как вы ушли. Гильома и Мадлен
 Она оставила, двух крошек. До колен
 Мне будет девочка. Она немного бродит.
 А мальчик — тот еще на четвереньках ходит.
 Соседка бедная жила в нужде, увы!»

Рыбак нахмурился. Он сбросил с головы
 Потертый капюшон, еще от бури влажный.
 «Ах, дьявол!» — он сказал, потом прибавил важно:
 «Я пятерых растил, теперь их станет семь.
 О чем же говорить? Понятно это всем.
 Что? Трудно? Не беда! Ведь мы не виноваты.
 Пусть разберутся те, кто знанием богаты.
 И богу одному за это отвечать,
 Зачем у малышей он отнимает мать!
 На них не закричишь: «Вам следует трудиться!»
 Такая мелюзга! Быть может, им не спится

Там, в темноте, одним. Ты слышишь? У дверей
Стоит покойница и просит за детей.
Ну, женушка моя, ступай теперь за ними!
Мы станем поднимать их вместе со своими,
Ни в чем различия не делая меж них:
Пусть будет семеро у нас детей родных!
А чтоб их прокормить, затянем пояс туже.
Бог постарается и даст улов не хуже!
Да я и сам нажму! Не буду пить вина.
Неси же их сюда! Ступай скорей, жена!
Зачем ты на меня теперь глядишь упорно?
Обычно, мой дружок, ты более проворна!»
Но Жанна в тот же миг к постели подошла:

«Смотри-ка, вот они. Я их уже взяла».

Мать родила его и тут же умерла.
Так мрачно шутит рок; он чужд добра и зла.
Но все-таки зачем, жизнь оставляя детям,
Он губит матерей? Зачем он шутит этим?
И мачеху зачем он сироте дает?
Отец был молод; он женился через год.
Прелестный, розовый, смеющийся младенец
Отныне — пария, несчастный отщепенец.
Тогда ребенка взял на попечение дед.
Так юное и то, чего почти уж нет,
Друг к другу тянутся, — извечно их единство.
Дед принял на себя заботы материнства.
Старик стал матерью. Не странно ли? Ничуть!
Когда ты жизненный заканчиваешь путь,
Ты годен лишь на то, чтоб находить страданье
И облегчать его, — и в том твое призванье.
Кому-то надобно исполнить этот долг;
Кому-то надобно следить, чтоб не умолк
В нас голос жалости настойчивый и кроткий;
Кому-то надобно голодному сиротке
Найти кормилицу, и колыбель качать,
И надобно любви ребенка обучать.
Ведь должен кто-то быть, кто с малышом играет,
Кому смеется он, кого он уважает.
И вот, по мудрому велению творца,
Дед заменяет мать, — похожи их сердца;
Сочтя, что лишь зима пылать способна жаром,
Бог мягкость женскую дарует людям старым.

Итак, малютка Поль остался сиротой,
И, полный прелести наивной и простой,
Широко раскрывал он синие глазенки
На весь огромный мир. И в маленьком ребенке
Был ангел воплощен, создание мечты,
С которым человек все общие черты
Теряет, повзрослев. Дед понимал все это.
О! Меркнувший закат влюблен был в луч рассвета!

Ребенка дедушка принес в свой бедный дом,
Стоявший на краю селения. Кругом —
Луга, леса, поля, простор необозримый:
Его заполнить мог один малыш любимый.
За домом был разбит большой цветущий сад;
Его стойчивый и нежный аромат
Приветствовал дитя своим благословеньем:
Ведь чувство зависти неведомо растениям.

Там яблони в саду и персики росли,
Там ежевики ветвь спускалась до земли
И преграждала путь; печальны, молчаливы,
Над резвой речкою там наклонялись ивы;
Там блики белые приковывали взгляд,
Как плечи меж ветвей укрывшихся дриад;
Там гимн ликующий слагали птицы в гнездах;
Покоем, счастьем там напоен был воздух;
И в хор, где пели все живые существа,
Вливала шелест свой зеленая листва.
Рай — это песнь небес, торжественная ода,
А на земле ее нам шепчет вся природа.
И в дни, когда весна дарует счастье всем,
Поль был как херувим, а сад был как эдем.
В своей обители уютной безмятежной,
Поль привыкал — увы! — к любви, к заботе нежной.

Как хорошо в саду, в прохладе и тиши!
Но если там еще — две чистые души, —
Как радостно тогда! Так захотел создатель:
Как подлинный поэт, как истинный ваятель,
Он, сочетающий лазурь и облака,
Соединил цветы, дитя и старика.
Младенец и цветы — их сотворил всевышний

Друг с другом схожими; старик при них не лишний.
Представьте же себе смеющийся апрель,
И солнце жаркое, и жаворонка трель,
А на траве — дитя и старца. О, Вергилий!
Увы! Недолог срок безоблачных идиллий!
Поль хрупким родился и слабеньким. Как знать,
Быть может ураган, уже унесший мать,
За мальчиком ее внезапно возвратится?
Над Полем, может быть, готова разразиться
Неотвратимая, жестокая гроза.
Кто выкормит его? И вот взята коза
В кормилицы. Его молочный брат, козленок,
Играя, прыгает по травке, и ребенок,
Серьезно морща лоб, пытается шагнуть;
Смеется бабушка: «Смелее! В добрый путь!»
О крошки! Стул для вас — Харибда, камень —
Сцилла,

И все же некая таинственная сила
Толкает вас вперед. Шатаясь и пыхтя,
Отважно делает свой первый шаг дитя.
Год — возраст храбрости, и страх ему неведом;
Пред теми, кто растет, лежат пути к победам.
Дитя шагнуло раз, другой; старик за ним;
Малыш решителен, упрям, неутомим.
«Смотри, не упали! Вот так! Возьми же руку!»
И, ковыляя сам, дед помогает внуку.
Вы посмотрите, как им хорошо вдвоем:
Старик с улыбкою следит за малышом,
А мальчик тянется вперед, и, горд успехом,
Он оглашает сад своим счастливым смехом.
О! Как художники бессильны — на холсте
Изобразить звезду, что блещет в высоте,
Как меркнет их талант перед небесным светом, —
Так смех младенческий не описать поэтам;
В нем воплощен покой, невинность, чистота,
И нежность кроткая, и дерзкая мечта,
В нем мудрость высшая неведенья святого.
О, детский смех — само божественное Слово.

Весь облик старика был величав и строг.
Он был как вышедший из библии пророк.
Но этот патриарх, годами убеленный,

Был только дедушка, без памяти влюбленный
Во внука своего. С благоговеньем дед
Следил, как разума в ребенке брезжил свет;
Дыханье затая, он слышал детский лепет,
Угадывая в нем рожденной мысли трепет,
Понятий и идей неверный, робкий взлет,
Когда сознание день ото дня растет,
Воспринимает мир все глубже, все чудесней
И, слов не находя, должно излиться песней.
С утра до вечера Поль что-то щебетал;
Ребячий голосок был чистым, как кристалл,
И песенкой своей веселой, немудреной
Малыш пленял весь дом; а сад, шатер зеленый
Из листьев и ветвей над мальчиком сплетя,
Шептался с ветерком: «Счастливого дитя!»

О да, был счастлив Поль, и, наслаждаясь счастьем,
Он в доме царствовал с наивным самовластьем,
А дед, как водится, был под его пятой
Безропотным рабом. «Иди!» — он шел. «Постой!» —
И дедушка стоял, покорный, добрый, старый...
Тиран и подданный чудесной были парой.
Гуляли весело средь голубиных стай,
Среди цветущих роз они — январь и май,
Двухлетний внук и дед восьмидесятилетний.
Вдвоем им даже ночь казалась незаметней, —
Во тьме всегда светил им дружбы кроткий свет.
Любить и размышлять учил ребенка дед,
Вселенной перед ним приоткрывая двери,
А сам у малыша учился детской вере.
Несли друг другу в дар два эти существа
В них растворенные крупички божества.
Всегда и всё вдвоем — дела и развлечения;
Днем игры общие, а ночью — сновиденья;
И комната была у двух друзей одна,
Чтоб неразлучными быть и во время сна.
А вот и азбука! Как нежно и как звонко
Бесстрастный алфавит звучит в устах ребенка!
Диковинный значок преобразился в звук, —
Как умилен был дед, как восхищен был внук:
Пред ними новый мир взаимопониманья!
Как диалог их был доверья и вниманья

Исполнен: «Берегись, мой мальчик, тут вода.
Иди-ка лучше там. Не подходи сюда». —
«Я вижу, дедушка». — «Ну вот, испачкал ножки». —
«Ой, я нечаянно». — «Идем по той дорожке».
И солнце, в небесах дневной свой путь чертя,
Смотрело с нежностью на старца и дитя.

А между тем отец, совсем забыв о Поле,
Жил с новою женой, — как часто в сей юдоли
Забвенью предают и мертвых и живых, —
И новый через год сын родился у них.
Поль ничего не знал; да и не все равно ли,
Когда есть дедушка, чья жизнь, чье счастье — в Поле?
Что нужно мальчику еще?

Но умер дед.

*

Писанье говорит: когда на склоне лет
Библейский патриарх готов смежить был вежды,
Он близких призывал, и, разодрав одежды,
Все плакали над ним. Но Поль был слишком мал;
Он в безмятежности своей не понимал
Значенья скорбных слов, когда, теряя силы,
Дед говорил ему: «Увы! Мой мальчик милый,
Разлука нам грозит, я вижу — смерть близка».
Младенческой душе несвойственна тоска,
И Поль в неведение своем неомраченном
Смеялся.

Сельский храм со звоном похоронным
Открыл свои врата. Немногие друзья,
Родня покойного, — в толпе стоял и я, —
Пришли проститься с ним. Священник престарелый
Невнятно произнес напутствие, и белый
Простой сосновый гроб крестьяне понесли
На кладбище свое. Цветы вокруг цвели.
Не странно ль, что цветы сопутствуют печали?
Крестьяне шли молясь, иные же молчали.
Дорога к кладбищу тянулась вдоль лугов,
И кроткие глаза пасущихся коров,

Казалось, на людей смотрели с грустью мудрой.
В толпе за гробом шел малютка светлокудрый.
А вот и кладбище — пустой клочок земли,
Где только чахлые два деревца росли;
Там не встречалось ни надгробий горделивых,
Ни миртовых кустов, ни эпитафий лживых;
То сельский был погост, одно из тихих мест,
Где дремлющую смерть венчает скромный крест.
Процессия вошла в церковную ограду.
Сосредоточенно к печальному обряду
Присматривался Поль.

Ребенку не понять
Намерений судьбы: дать жизнь, чтобы отнять.
Увы! Спустилась ночь и навсегда затмила
Едва на небеса взошедшее светило!

В то время мальчику шел лишь четвертый год.

«Негодный сорванец! Разиня! Идиот!
Опять он тут как тут, гаденыш! Вон отсюда!
Вон говорят тебе, не то придется худо!
Вот я тебе задам! Проваливай в чулан!
На хлеб и на воду! Урод! Лентяй! Болван!
Он выпил молоко! Он мне испортил платье!»
Кому вся эта брань, угрозы и проклятья?
Тебе, мой бедный Поль. В тот самый день, когда
Дед внука своего покинул навсегда,
Пришли чужие в дом. Шел впереди мужчина, —
Он Полю был отцом. Неся малютку-сына,
За ним шла женщина.

О женщина! О мать!
Твоя душа светла: любовью озарять
Ей предназначено людскую повседневность;
Но как она черна, когда кипит в ней ревность!
Поль был для мачехи — чужой, соперник, враг;
Увы, не для него родительский очаг.
Когда преследуют апостола, пророка,
Тот знает хоть, за что его казнят жестоко.
Но крошка... Почему, за что к нему вражда?
И Поль не понимал. По вечерам всегда

В постели плакал он, тихонько, безнадежно,
Не зная сам о чем. И вздрагивал тревожно,
Проснувшись поутру. О боже мой, к чему
Родиться, если ты не нужен никому?
Казалось, тьма его окутывала дома;
Казалось, что заря с ним больше не знакома.
Когда он подходил, «Пошел отсюда! Вон!» —
Кричала мачеха, и в тень скрывался он.
О, чудо мрачное, о, злое превращенье:
Любимец, баловень — козлом стал отпущенья!
С утра до вечера он слышал только брань:
«Как он мне надоел! Осел! Грязнуля! Дрянь!»
Для братца отняли у Поля все игрушки,
Оставив сироте пинки и колотушки.
Вчера лишь херувим, стал прокаженным Поль.
Отец не защищал ребенка: до него ль
Ему, влюбленному? Он на жену молился.
И Поль привык к словам: «Ах, чтоб ты провалился!»

Случалось, ругани неистовый поток
Кончался ласкою. Не для него.

«Сынок!

Ты — радость, жизнь моя, мой маленький сыночек!
Мне дал тебя господь, мой нежный ангелочек!
Я больше не прошу у бога ни о чем.
Ого, как он тяжел! Ты будешь силачом,
Когда ты вырастешь. Взгляните-ка на крошку, —
Ну, не красавчик ли? Дай, поцелую ножку.
Любимый, как с тобой вся жизнь моя светла!»
И, слыша это все из своего угла,
Поль смутно вспоминал, что и его когда-то
Ласкали так же, как теперь — меньшого брата.

От страха съезжившись, он жил один, в углу,
И там же свой обед съедал он на полу.
Увы, как одинок он в мире был громадном!
И детство может быть, как старость, безотрадным.
Поль думал и молчал. Не плакал он теперь.

Он часто сумрачно поглядывал на дверь.

Однажды он исчез. Был зимний вечер, вьюга;
Крестьяне в двух шагах не видели друг друга, —
Тут заплутался бы и взрослый человек.
На детские следы ложился белый снег...

Поутру мальчика искало все селенье;
Деревню потрясло его исчезновение.
Тут кто-то, спохватясь, стал вспоминать о том,
Что ночью будто плач был слышен за окном
И крики «Дедушка!», — но ветру приписали
Те звуки... Мертвого ребенка отыскивали
В снегу у кладбища. Как он нашел зимой
Дорогу сквозь поля, окутанные тьмой?
Морозом скованный, он переплет калитки
Руками обхватил в отчаянной попытке
Ее открыть. Он знал, что там скрывает ночь
Того, кто мог один еще ему помочь.
Поль долго звал его, но не было ответа:
Дед слишком крепко спал. Так мальчик до рассвета
Будил и звал того, кем был он так любим.
Не разбудив его, уснул он рядом с ним.

О, горе слабого! О, всех надежд крушенье!
Я встретил девочку — ужасное виденье!
Ей нет пяти. Бредет, куда глаза глядят.
Она в том возрасте, когда ребенок рад
Игрушкам, нежности. Но их она не знает,
И вид у ней птенца, которого терзает
Злой коршун, Атласа придавленного вид.
«О боже!» — девочка как будто говорит.
Бог? Нет! Неведомо ей даже слово это.
Красива и мила — ужасная примета!
В лохмотьях, бледная, по улице она
Бредет среди чужих, в себя погружена.
Недетская тоска в ее широком взоре,
И складки возле рта уж наложило горе.
В невидящих глазах и тени мысли нет.
То голод? Жажда? Страх? Ночь? Тяжкой скуки
след?
Придавлен мотылек, крыло уже не бьется...

Вдруг слышен чей-то смех. То мать ее смеется.
И эта женщина, чьим домом стал кабак,
Как бы не хочет знать, что сквозь туман и мрак
По грязной улице, в изодранной одежде,
Босая, вся дрожа, изверившись в надежде,
Проходит девочка — ее родная дочь.
Так смотрят лишь на пса, что выгнан в холод,
в ночь;

Так розе червь порой противен безобразный,
Хотя она сама покрыта слизью грязной.

А в детстве и она такую же была...

Камелией давно фиалка расцвела.
Чтоб залучить гостей, она поет куплеты.
И обе — мать и дочь — сейчас полуодеты.
Одну раздел позор, другую — нищета.
У матери на лбу ужасных язв черта.
На улице порой глухими вечерами
Случайно мать и дочь встречаются глазами.

В одной прошедшее, грядущее в другой,
Одна идет к заре, другая — к тьме ночной.
О нищета!

Дитя молчит, не понимая:
Ужель та женщина ей вправду мать родная?
Да... Нет... Прохожие, случайно встретив их,
Не знают ничего о призраках ночных.
Мать — порождение тьмы, но ангел с чистым взором
Не может быть рожден паденьем и позором.
Увы, несчастное дитя бредет одно,
Внушая ужас всем. В душе его темно.
Мертва она? Жива? На это нет ответа.
«Кто эта девочка? Ведь мать должна быть
где-то?» —

Так спрашивают все. Что знаем мы о ней?
Но, молча хлеб схватив, она идет быстрее
В каком-то забытии по улицам проклятым.
Мечтатель, вижу я, как в кулачке зажатом
Сверкнули молнии, пронзив ночную высь.
И, как у тех, над кем тюремный свод повис,
Взор в небо устремлен, где меркнет позолота,
Все существо ее в себе проносит что-то
От гнета мрачного, что на душу налег,
И с губ готов слететь мучительный упрек.
А город с башнями, лачугами, дворцами
Пред воспаленными, незрячими глазами
Встает видением напрасным, и она
Не хочет замечать, презрения полна,

Ни башен Нотр-Дам, ни сводов Пантеона.
Она сейчас душой вне общего закона;
Ей наши голоса невняты — мрачной тьмой
Рожденная, она скользит перед толпой
Безмолвным призраком по улицам покатым.

Что может ад вместить в единый малый атом —
Решать мыслителю! Я не глядеть не мог
На порожденье зла, болотный огонек,
Отчаянье в себе таящий с дня рожденья,
Бредущий здесь в грязи, без слез и сожаленья.
Медузою она глядит на этот свет
И Немезидою в свои пять жалких лет.

ИЗ КНИГИ

«ВСЕ СТРУНЫ ЛИРЫ»

1888—1893

(посмертно)

НАДПИСЬ

Строитель создал храм пять тысяч лет назад
В честь бога вечной тьмы, кому подвластен ад,
Чтоб духи ужаса там жили в гневѣ лютом.
А ныне — ласточки небесныя живут там.

17 июля 1846

Бежать за каменные кручи!
Во глубину пустынь бежать!
Уже на нас волной кипучей
Идет бесчисленная рать!

Она по всем морям пробьется,
Все обойдет материки;
Там бешеные полководцы
И бешеные моряки.

У них орудья на телегах
Ползут в безмолвии ночей,
И всадники в лихих набегах
Летят как тысяча смерчей.

И разъяренными орлами
Они заклёкнут: «Мы идем!
Мы поразим мужей клинками
И женщин голодом убьем!»

И видно их вооруженье,
Блестящее в тьме ночной,
И слышно их передвижение,
Рокочущее как прибой.

И крылья их, крепки и быстры,
Затмят раскраску облаков,
Неисчислимы, словно искры
От полыхающих костров.

Идут со злобою звериной,
С мечами острыми в руках...
Не выходите на равнины!
Не покидайте свой очаг!

Уже военный рог по селам
Рычит, неудержимо дик,
И движущимся частоколом
Проходит ряд железных пик.

О, этот дым! О, скрип обозный,
Их злая речь, их грубый смех!
О, этот образ силы грозной
И страшной пагубы для всех!

Но наш господь, небес владыка,
К ним обратит лицо свое —
И от божественного лика
Они падут в небытие!

5 августа 1846

ТАЛАВЕРА

(Рассказ моего отца)

Под Талаверою один я помню случай.

Мы с англичанами вступили в бой кипучий
И встретились в упор у крепостной стены;
Мы с северной пришли, те с южной стороны.
Ложбинка узкая делила два потока,
Уже с утра шел бой упорно и жестоко,
И сизые дымки, взметая пыльный прах,
Пятнали солнца лик, застывший в небесах;
И солнце, дымные преодолев преграды,
И юно и старо, как песни Илиады,
Видавшие бои, где бился Ахиллес,
Как будто мстило нам и с высоты небес
На тех, кто оглушен был воем канонады,
Свинцовые лучи метало без пощады.
Оно слепило нас, стремясь в единый миг
Дополнить молнией раскат громов земных,
И правило свой пир, зловеще лучезарно...
Король испанский Карл и временщик коварный
Годой — с британцами сумели нас столкнуть,
Но климат здешних стран не нравился ничуть
Ни им, ни нам. А день действительно был страшен:
Кругом ни травки. Но ложбины край украшен:
Там две-три сосенки невзрачные росли,
И между них сквозил ручей из-под земли.
Он, как летучий взгляд сквозь темные ресницы, —

Сквозь камни, сквозь траву сумел вперед
пробиться, —

И пограничная черта проведена.

Быстрее, чем сеятель бросает семена,
С британцами в упор схватились французы.
Зияли животы, как вскрытые арбузы,
И плавали в крови и кости и кишки,
А солнце лютное смотрело на пески.
Штык, пуля, пистолет и пушка или пика —
Нам это все равно, но вот жару стерпи-ка:
Железу и свинцу никто из нас не рад,
Но это только смерть, а жажда — это ад!
О, эта смесь жары, и горечи, и пота!
Но все же длилась кровавая работа,
И озверело мы рубились. Груды тел
Валялись в ногах у тех, кто уцелел,
Немы и холодны, безжизненные камни...

И тут-то ручеек блеснул издалека мне...
Испанец, закричав: «Қаррамба!», побежал
К воде; ее уже британец оседлал;
Француз кидается — один, другой, все трое;
Вот на коленях все, уж речи нет о бое;
Вот раненый ползет, чуть дышит, на локтях,
И чокаются все водою в киверах...
Тот говорит тому: «Твое здоровье, друже!»
Так угощались мы, как в старину, не хуже.

Хоть после этого мы снова в бой пошли,
Но каждый чувствовал, что если короли
Желают нас обречь на гибель и проклятья,
То там, у бога, мы — между собою братья!

Солдат! Ты был суров и горд. Во время оно
Быть может, лишь одна Траянова колонна,
Чей мрамор сохранил великие дела,
С твоей осанкою сравниться бы могла.
Кудлатый мальчуган в деревне полудикой,
Рукой великого ты к армии великой
Был приобщен, и вот бретонский пастушок
Сменяет на ружье кленовый посошок.
И славный день настал, сраженья день счастливый,
Когда под ядер треск, под грозные разрывы,
Пред фронтом на коне воителя узрев,
Ты вдруг почувствовал: в тебе проснулся лев.
Ты львом был десять лет. Стремительным наездом
Ты облететь сумел Берлин, Мадрид и Дрезден,
И в этих городах от страха все тряслось,
Когда ты площади пересекал насквозь,
Напором боевым с ватагою победной;
И грива конская тряслась на каске медной,
И ты был впереди, ты расточал свой пыл, —
Ты был могучим львом, ты властелином был!
Но вот Империя другим сменилась веком,
И лев становится обычным человеком...
Жить стало нелегко, и все же нужно жить,
И с голодом притом не хочется дружить.
Обиды всё больней, всё горше неудачи;
Дойдешь в конце концов до конуры собачьей!

И, вот сегодня ты, увенчанный герой,
Солиден, строг и сух, в ливрее золотой,
Когда идут во храм сановные старушки,
За ними шествуешь с болонкой на подушке
И смотришь, как слюной собачий брызжет зев,
А в сердце у тебя рычит имперский лев.

13 мая 1843

Пятнадцать сотен лет во мраке жил народ,
И старый мир, над ним свой утверждая гнет,
 Стоял средневековой башней.
Но возмущения поднялся грозный вал,
Железный сжав кулак, народ-титан восстал,
 Удар — и рухнул мир вчерашний!

И Революция в крестьянских башмаках,
Ступая тяжело, с дубиною в руках,
 Пришла, раздвинув строй столетий,
Сияя торжеством, от ран кровотока...
Народ стряхнул ярмо с могучего плеча, —
 И грянул Девяносто Третий!

Как при вторженьи войск, огромные просторы
Переполняет гул, все ближе, все слышней...
Какой-то странный шум до верха залил горы,
Какой-то странный шум идет из-за морей.

Откуда этот шум? И чайку с океана,
Могучего орла поэт к себе зовет:
«Там не лавина ли, скажи, орел Монблана?
Не ураган ли там, о чайка бурных вод?»

И чайка вольная, услышав зов поэта,
Явилась, и орел с Альпийских гор летит.
Отвечает орел: «Нет, не лавина это».
«Не буря это, нет», — мне чайка говорит.

«Ужели, птицы, то не смерч, не волн кипенье,
Не спутник верный ваш — свирепый аквилон?» —
«Нет, за горами, там, мир потерпел крушение». —
«А за морем, вдали, — там мир другой рожден».

И говорит поэт: «Летите, с вихрем споря,
О птицы, вьющие над пропастью свой дом:
Ты — в горы возвратись, ты — возвращайся
в море, —
А мы с тобой, господь, поговорим вдвоем.

Ты видишь, гибнет Рим! Твой Рим, что был от века!
Мир хочет за собой Америка вести!
Не извратится ли природа человека,
И не собьется ли он с верного пути?

Америка — страна с душой оледенелой;
Нажива — цель ее во всех мирских делах.
Звезда ж Италии, что ныне побледнела,
Огнем поэзии пылала в небесах!

Материки звездой холодной озарятся,
И Филадельфия, где властвует купец,
Изгонит римских муз, кем был любим Гораций
И Микеланджело — ваятель и певец.

Пусть так! Но знай, господь: то значит — закоснеет
Дух человеческий в тяжелом долгом сне;
Сгустятся сумерки, мир сразу потускнеет.
Угасший солнца свет не возместить луне!»

9 апреля 1840

Царила в городе жестокая вражда
 Три мрачных дня. В реке багровая вода
 Кишела мертвыми телами.
 Голодный, нищий ткач, нуждою разъярен,
 Восстал, спалил станки, — и задрожал Лион:
 Зажглось войны гражданской пламя!

На брата поднял брат кощунственный клинок;
 Солдат рабочего сшибал прикладом с ног,
 Стрелял рабочий в грудь солдата.
 Забыли все о том, что кровь у них одна.
 И только мудрецы стонали: «О, страна!
 О, век наш! Горькая расплата!»

Три ночи страшные, огнем войны объят,
 Не ведал город сна. Зловеще бил набат;
 А по утрам, когда молитвы
 Творит обычно люд и улицы пусты,
 Орудья с грохотом неслись через мосты,
 Спеша к местам кровавой битвы.

В величии своем природа и господь,
 Смотри, как страждет дух и мучается плоть,
 Не положили злу предела...
 И вот события чредою грозной шли;
 О, рок! Лион пылал, как факел, а вдали
 Громада Альп зарею рдела...

4 сентября 1841

Гигантскую резню, Париж на смертном ложе,
 Истерзанный народ ты видела, — и что же
 Ты говоришь, решив свой подвиг совершить?
 «Я убивала. Вы должны меня казнить».
 Охвачена душой великим полыханьем.
 Слова твои звучат высоким состраданьем.

Из страшных небылиц плетешь зловещий миф.
 Дочь Рима Аррия, библейская Юдифь
 Рукоплескали бы, гордясь твоею речью.
 Ты говоришь: «Дворцы готовилась поджечь я.
 Я убивала — пусть расправятся со мной!»
 Для попранной толпы ты речь ведешь — для той,
 Что слушает тебя в немом благоговенье.
 Ты гордо на себя возводишь обвиненье;
 А судей жжет твой взор и кровь их леденит:
 Ты кажешься одной из грозных эвменид.
 И смерти тень вошла и встала за тобою.

Зал в ужасе молчит. Израненный войною,
 Кровоточит народ. Полна тяжелых дум,
 Столицы слышишь ты многоголосый шум
 И постигаешь в нем ход жизни неуклонный,
 Над миром вознесясь душой отрешенной.
 Мысль у тебя одна: когда же он придет,
 Час торжества, и ты взойдешь на эшафот?

¹ Более великая, чем муж (лат.).

Ты на себя хулу и пытки навлекаешь
И муку смертную бесстрашно приближаешь.
А судьи шепчутся: «Казнить ее! Она —
Чудовище». Но ты стоишь, озарена
Сияньем святости. И дрогнул суд надменный:
Его поколебал твой облик вдохновенный.
Ни «да», ни «нет» они не смеют произнести.

Кто ведает, что твой закон единый — честь,
Что, если спросит бог: «Откуда ты, такая?» —
Ответишь ты: «Иду из мрака, где, страдая,
Влачится род людской. Я видела беду.
Мой долг меня ведет. Из бездны я гряду»;
Кто трепет знал стихов твоих неизъяснимый
И то, как, обо всех заботою томима,
Ты не щадишь себя, не ешь, не спишь ночей;
Кто знал огонь твоих неистовых речей
И кто видал твоё суровое жилище
С остывшим очагом, со скудной, грубой пищей;
Кто оценил в тебе величье простоты
И понял, что любовь под гневом прячешь ты,
Что извергов разишь ты взглядом, как кинжалом,
Но, как родная мать, нежна с ребенком малым, —
Тому, о женщина, ни твой угрюмый вид,
Ни складка горькая, что возле губ лежит,
Ни вопли злобные, от имени закона,
Хулителей твоих бесчестных — не препона;
Он с возмущением воскликнет: «Клевета!
Не коршун хищный ты! Как голубь ты чиста!»

Пусть спорят о тебе. Твои не слышат уши
Потока слов. Но нас всегда пленяют души,
Что как лазурь ясны, хоть сотканы из гроз;
Нас изумляет звезд бесчисленный хаос,
Что в сердце честном скрыт — большим,
неукротимом,
Пылающем в огне, и все ж — неопалимом!

Декабрь 1871

Сколько неги и покоя!
 Поглядите: в этот грот
 Дафнис мог прийти за Хлоей,
 За Психеею — Эрот!

Ритм природы здесь лишь найден
 В сладкозвучии своем:
 Глюк хрипит, фальшивит Гайдн
 По сравненью с соловьем.

Небо, поле, стих веселый —
 Что за трио! Чудеса!
 Слышишь, в ласточкино соло
 Хор кузнечиков влился?

Песни утренние эти
 Вьются с птицами, паря, —
 Вот уж шесть тысячелетий,
 Как диктует их заря.

Эти травы полевые
 пышным садом прорастут,
 Чтобы гости городские
 Отдохнули славно тут.

Облицованные скалы
 Теплою просквозят.
 Даже воробьи-нахалы,
 Стали скромны, не дерзят.

Вот июнь за светлым маем
Следом шествовать готов.
Мы едва лишь различаем
Колокольчики коров,

Да когда стучит крестьянин
Башмаками из коры,
И летают мошек стаи,
Ошалевши от жары.

А когда настанет вечер,
Бог, пройдясь по небесам,
Зажигает всюду свечи
И вечерню служит сам.

Мы забудем в этой куще
Опыт долгих неудач —
То, что людям так присуще:
Глупый смех и горький плач.

Только здесь вниманья, к счастью,
Я могу не обращать,
Если Францию на части
Делит швабская печать.

25 июня 1859

Все в этих скалах есть: пленительность, и мрачность,
Обрывы, небеса, глубоких бездн прозрачность,
Гул волн, что иногда звучит как гимн святой,
Терпение — нести безмерность над собой;
Душа пред далью вод, не скованных границей,
Расправив два крыла, взлетает гордой птицей.

Вот вечер близится, час молчаливый, мирный;
Сверкает дельта солнц в безбрежности эфирной
И бога имени заглавный чертит знак;
Венера бледная блестит сквозь полумрак;
Вязанку хвороста таща в руках сухого,
Мечтает дровосек, как у огня живого
Веселый котелок согреет свой живот, —
И радостно спешит. Спит птица. Скот идет.
Ослы прошли домой под ношей необъятной.
Потом смолкает все, и только еле внятно
Лепечут стебли трав и дикого овса.
Все стало силуэт: дома, холмы, леса.
Там черные кусты медлительно трепещут
Под ветром ночи; там, в тени, озера блещут,
И лилии болот, цветы волшебных фей,
И ирисов цветы, и стебельки нимфей,
Склоняясь и дрожа, зрачками глаз прекрасных
Глядятся вглубь зеркал таинственных и ясных.

К нам вновь пришла весна! Апрель с улыбкой
нежной,

Цветущий май, июнь — о месяцы-друзья!
Со светом и теплом опять встречаюсь я...
Качает над ручьем вершиной тополь стройный,
В густой тени листвы, душистой и спокойной,
Щебечут стаи птиц, и в шелесте лесов
Мне строфы чудятся неведомых стихов.
Сияя, день встает, увенчанный зарею,
Любовью вечер полн, а ночью над землею,
Когда в бездонной тьме утонет небосвод,
Как будто песнь слышна о счастье без забот.

Один среди лесов, высокой полон думы,
Идешь, и за тобой бегут лесные шумы;
И птицы и ручьи глядят тебе вослед.
Задумчивых деревьев тенистые вершины
Поют вокруг тебя все тот же гимн единый,
Что и душа твоя поет тебе, поэт.

ВЫЙДЯ НА УЛИЦУ С НОМЕРОМ «CONSTITUTIONNEL» В РУКАХ

Чудесно! Воздух чист. Лазурь тепла, бездонна.
Прощай, зима-Геронт! Привет, Клитандр влюбленный!
Мне это повторять тебе не надо: нас
Зовет идиллия, и дорог каждый час.
О, я не упущу начала. на свободу
Апрель уж выпустил плененную природу;
Весна мне говорит: «Послушай, посмотри,
Как, гривы разметав, ржут скакуны зари!»
Я предвкушаю все песнь в синеве и в гнездах;
Цветы, склонясь к ручью, впивают влажный воздух;
Лалага кружится с венком из роз на лбу;
Лучи влечения, скрестясь, ведут борьбу,
Чтоб слиться вдруг; и луг нескромен, полон жара;
И лес бормочет «Я соединяю пары;
Так пламенны сердца, так сень дерев темна,
Что в мироздании не сыщешь ни пятна;
Растроганной душой открылся Пан народу;
Полна мечтания воскресшая природа;
И нет помех любви, и жизни нет помех;
И кто-то кличет нас, задорный слышен смех,
И думаешь порой, что всех нас знают птицы;
Пруды, лазурь, луга, где строй эклог рождается,
Как декорации, прекрасны и легки,
И в каждой прихоти вольны здесь мотыльки.
А в гнездах, на ветвях, внизу, где мало света, —
Вопросы вольные и смелые ответы;
И запахом вьюнков наполнен край чудес;
И тень тепла; и нимф мне шлет навстречу лес;
И с ними презирать могу я невозбранно
Барбе д'Оревилли, отпетого болвана!

В холмы дорога побежала,
И небо стелется над ней
Суровым отсветом металла
Среди уродливых ветвей.

По берегам теней блужданье;
Кувшинка полночью цветет;
И ветра свежее дыханье
Гнет травы, морщит сумрак вод.

Но растушовкою в тумане
Слиты и свет и мрак ночной.
Скользит по сумрачной поляне
Каких-то странных чудищ рой.

Вот поднимаются виденья...
Откуда? Что здесь нужно им?
Что за уродливые тени
Плывут над берегом пустым?

В тревоге путник — сумрак длится,
И, смутным ужасом объят,
Глядит он, как средь туч клубится
Кровавым пурпуром закат.

Звук молота и наковальни
Доносится издалека.
У ног его равнин печальных
Даль безгранична и мягка.

Все гаснет. Отступают дали.
Он видит — в мрачной тишине
Виденья вечера предстали,
Как тени в тяжком полусне.

Под ветерком, полна забвенья,
Слила равнина в час ночной
Торжественность успокоенья
С широкой, мирной тишиной.

И среди общего молчанья
Порой лишь шорох пробежит,
Как еле слышное дыханье
Того, кто все еще не спит.

Туманный вяз, холмов обрывы,
Тень старой ивы, край стены,
Как мир неожиданно прихотливый,
Сквозь сумрак путнику видны.

Цикады жесткими крылами
Треск поднимают вдоль дорог;
Пруды простерлись зеркалами —
В них небо стелется у ног.

Где лес, холмы, луга, поляны?
Ужасным призраком земля
В туман, таинственный и странный,
Плывет громадой корабля.

Уж воздух не пьянит, закат не так румян;
 Вечерняя звезда закутана в туман;
 Короче стали дни; не ощущаешь зноя,
 И лист подернулся печальной желтизною.
 Куда как наши дни безудержно быстры:
 Тот, кто вчера страдал безмерно от жары,
 Сейчас за теплый луч отдаст все блага в мире!

Для тех, кто спать привык, открыв окно пошире,
 Досадны осени и непогодь и муть,
 А лето — это друг, что едет в дальний путь.
 «Прощайте!» — этот стон исполнен нежной ласки.
 «Прощайте вы, небес нежнейшие раскраски,
 Прогулки легкие, свиданий нежных пыл,
 И рифмы звонкие, и шорох птичьих крыл,
 И счастье юное, какое знают дети,
 И зори, и цветы, и песни на рассвете!»

Они вернутся к нам, чарующие дни;
 Но вот вопрос: меня застанут ли они?

Словечко модное содержит ваш жаргон;
Вы оглашаете им Ганг и Орегон;
Оно звучит везде — от Нила до Тибета:
Цивилизация... Что значит слово это?

Прислушайтесь: о том расскажет вам весь мир.
Взгляните на Капштадт, Мельбурн, Бомбей, Каир,
На Новый Орлеан. Весь свет «цивилизуя»,
Приносите ему вы лихорадку злую.
Спугнув с лесных озер задумчивых дриад,
Природы девственной вы топчете наряд;
Несчастных дикарей из хижин выгоняя,
Преследуете вы, как будто гончих стая,
Детей, что влюблены в прекрасный мир в цвету;
Всю первозданную земную красоту
Хотите истребить, чтоб завладел пустыней
Ущербный человек с безмерною гордыней.
Он хуже дикаря: циничен, жаден, зол;
Иною наготой он безобразно гол;
Как бога, доллар чтит; не молнии и грому,
Не солнцу служит он, но слитку золотому.
Свободным мнит себя — и продает рабов:
Свобода требует невольничьих торгов!

Вы хвалитесь, творя расправу с дикарями:
«Сметем мы шалаши, заменим их дворцами.
Мы человечеству несем с собою свет!
Вот наши города — чего в них только нет:

Отели, поезда, театры, парки, доки...
Так что же из того, что мы порой жестоки?»
Кричите вы: «Прогресс! Кто это создал? Мы!»
И, осквернив леса, священные холмы,
Вы золото сыскать в земном стремитесь лоне,
Спускаете собак за неграми в погоне.
Здесь львом был человек — червем стал ныне он.
А древний томагавк револьвером сменен.

Он не был виноват. Но вот сосед доносит...
 Какой-нибудь Жиске, нахмутив лоб, гундосит
 (Иль Валантен, Англес — не все ль равно, как
 звать?):

«Ага, еще один смутьян? Ар-рестовать!»
 С постели поднят он. Его сопротивление,
 Попытка убежать внушают подозренье.
 Скорей наручники! Он виноват уж в том,
 Что возмущается: зачем вломились в дом?
 Подумаешь! Видать, и вправду он бунтует...
 Виновный бы смолчал, невинный — протестует:
 «Ведь я же ничего не сделал!» Идиот!
 Он верит, что, когда по улицам течет
 Кровь алая, — судья найдется беспристрастный
 И все расследует, все разберет... Несчастный!
 Возиться, разбирать донос, весь этот бред?
 Кто молодым попал в тюрьму — тот выйдет сед.
 Ослушникам грозит суровая расправа...

Страданье — ваш удел, молчанье — ваше право.
 Доказывать свою невинность — тщетный труд.
 Ужель не знаете вы, что такое суд,
 Полиция, тюрьма? Они — песок зыбучий:
 Пытаетесь спастись от смерти неминучей —
 Лишь глубже вязнете в трясине. Никогда
 Не ждите доброго, попавши в топь суда,
 От тех, кто вознесен игрой судьбы высоко!
 Случится ль вам тонуть средь бурного потока,

В горящем здании остаться иль пойти
Навстречу гибели по ложному пути —
Тотчас со всех сторон сбегутся на подмогу,
Тотчас же вызволят, укажут вам дорогу,
Дадут пристанище, уберегут, спасут, —
Но помощи не жди, коль угодил под суд!

И вот для общества потерян подсудимый,
И понесло оно ущерб неизмеримый:
Бедняга этот был и честен и умел;
И знаете ли вы, что он семью имел?
Но судьям все равно! В потемках каземата
Он превращается в живого автомата;
Несчастливого тюрьма на свой муштрует лад:
«Вставай! Трудись! Ложись! Иди вперед! Назад!»
Затем — далекий путь до берега Кайенны;
И море, этот зверь — взор сфинкса, рев гиены, —
Рыча, баюкает его в туманной мгле,
Несет за горизонт, к обрывистой скале,
От века и людьми и богом позабытой,
Где сумрачных небес дыханье ядовито,
Где кажется врагом угрюмый океан...
И правосудия захлопнулся капкан.
Хоть жизнь сохранена, не лучше ль гильотина?
Он — каторжник, он — раб, он — выючная скотина,
Он — номер, он — ничто; он имени лишен,
И даже спит в цепях, под дулом пушки, он.
Но палачи не спят... Едва заря займется
(О, соучастница!) — он от пинка проснется,
И — пытка заново: в невыносимый зной
Бесплодную скалу весь день долбить киркой.
Не люди — призраки там вереницей бледной
Бредут, и небеса нависли кровлей медной,
Как будто придавив их горе, их позор...

И он — не душегуб, не взяточник, не вор —
Под тягостным ярмом, влача его уныло,
Согнулся; жизнь ему становится постыла;
И днем и по ночам его грызет тоска;
Незаживающая рана глубока...
Живого места нет в душе, и звон кандалный
Звучит в его ушах как будто погребальный...

Единственный закон здесь правит — это плеть.
Здесь люди лишены способности жалеть.
Когда, измученный, задремлет он порою —
«Эй, ты!» — и плеть уже свистит над головою.
Кто он? Презренное, как парий, существо.
Жандарма пес рычит, обнюхавши его...
Труд вечный, горький хлеб... Судьба, как ты жестока!

Но вот внезапно зов доносится с востока;
То Марсельезы клич несется гордо ввысь.
И услышал мертвец: «Восстань! Живи! Вернись!»
Открыла родина отверженному двери...
Жены на свете нет — не вынесла потери.
Где сын? Неведомо, что случилось с ним. Где дочь,
Кудрявый ангельчик? Похожую точь-в-точь
Он видит женщину под вечер на панели,
В румянах, пьяную, плетущуюся еле.
Ужель она?

Но чу! Париж забушевал.
То — революция, то — беспощадный шквал
Во все концы земли бросает гнева семя.
И вот в его душе, притихшей лишь на время,
Сверкает молния и гром гремит, круша.
Разверстой бездною становится душа,
Встает в ней черный вал. Пылает гнев во взорах...
Настал его черед... Давайте пули, порох!
Прочь жалость! Утолит он ненависть свою!
Священник? Режь его! Судья? Убей судью!
Он будет грабить, жечь, насиловать открыто.

Ударь невинного — и обрешь бандита.

Париж, 28 ноября

В напевах струн и труб есть радостные тайны,
Люблю в ночном лесу я рога зов случайный,
Люблю орган: он — гром и лира, ночь и блеск,
Он — дрожь и бронза, он — волны безмерной всплеск,
Он — горн гармонии, встающей в туче черной;
Люблю я контрабас, что плачется упорно;
И, под трепещущим смычком, люблю душой
Я скрипку страшную: в себя вместив гобой,
Шум леса, аквилон, лет мушки, сistr, фанфары,
Льет полусвет ее мучительные чары...

За далью снова даль. В движенье вечном гений,
 И, как всегда, живет искусство в обновленье.
 Чтоб вечно создавать, свет зажигать в сердцах,
 Наследье ценное досталось нам в веках.
 Великие умы ведут нас на вершины.
 Хоть строим крепко мы законы и плотины,
 Все ж гений заслонит усилий наших плод
 И свежей порослью прекрасно расцветет!
 Не в силах задержать ничто его разбега.
 Дал Рим он после Фив, собор — после ковчега
 И создал Колизей, пройдя чрез Парфенон.
 Гомера нет давно, но он звездой зажжен.
 Рожденье Франции дал Рим, владыка мира.
 Затем был век Рабле, Сервантеса, Шекспира.
 Величье их умов — безмерный океан.
 Колосс внушает страх гигантам прежних стран.
 Пред Дантом пал Амос, одним суровым видом
 Страх Микеланджело внушает пирамидам.
 От Феба Греции до сфинксов и гробниц
 Искусство древних дней пред новым пало ниц.

Гомер под тяжестью судьбы угас для мира.
 Вергилий: «Счастье тем, кто зрит конец!» Шекспира
 Стон слышен: «Быть или не быть — вот в чем
 вопрос!»

Эсхил, который стих как высший долг вознес,
 И Пиндар, чье чело венчает лавром ода,
 Давид и Стесихор, стих мерный Гесиода —
 Шумят, как темный лес, окутанный в туман.
 Исайя, Соломон, Амос и Иоанн...
 Ладони их легли на библии страницы,
 Как страшный ураган, как мрак, что вслед клубится.
 Грозой восхйщен Дант, туманом — Оссиан...
 Трепещет ум людской, как в бурю океан,
 Когда грозою струн в ночных просторах мира
 С их вещим голосом сливает рокот лира.

Грусть искуплѣнья, рок, завязанный узлом,
Боль, гнусный мир вещей и плоти тяжкий ком —
Вот у кого в плену дух вольный человека
Там, за решеткою, поставленной от века.
Но только возглас: «Мир!» раздастся с высоты,
С небес, которые прозрачны и чисты,
Как плоть, несущая возмездья груз суровый,
Гнет кары и греха, материи оковы,
Печаль и боль души, — вдруг начинает петь
И трогает во тьме, где вновь заре гореть,
Перед отдушиной — окном в просторы мира —
Решетки полосы, как струны грозной лиры.

Лишь электричество тряхнет земли основы,
 Связав Европы мрак с Америкой суровой
 Летающей искрой в тьме ночной,
 Как человечество под гнетом исполинской
 Тоски испустит стон, и чревом материнским
 Весь содрогнется шар земной.

О, тени бледные людей, скользящих в страхе,
 Орел Поэзии в могучем крыл размахе
 Бурь не боится роковых,
 И по душе ему все схватки, катастрофы;
 Лавиной рушит он разгневанные строфы
 С гор Революции крутых.

Он Гусов выкормил, им выращены Данты.
 Когда ревут моря, летят смерчи-гиганты,
 Парит он в высях, невредим,
 Там, под собой, земли не слыша содроганий,
 И клювом щиплет мох и вьет гнездо в тумане
 Над Этны кратером пустым.

В когтях он ураган зажал — и тот смиритя.
 Дух человечества, он только ввысь стремится
 В изломах молний и в громах,
 И два его крыла простерты в грозном свете:
 То Год Бастилии и Девяносто Третий
 В безмерность бросили размах.

1 августа 1854

Стыд лжефилософам, поэтам, чьи усилия
 Ни мысли, ни души не вкладывают в крылья!
 Прочь от меня, софист! Что для него Платон,
 Коль не понять ему, чем доблестен Катон?
 Прочь, те, что идольской полны к стране любовью
 И предадут ее слепому суесловью,
 А коль грозит беда, то, забывая честь,
 Не могут всем благам изгнание предпочесть!
 Прочь от меня, трибун, зовущий за собою
 И любящий лишь жизнь презренною душою!
 Прочь, ритор, что твердит: «О, род людской!
 Прогресс!
 Грядущее!» — и свой нести не хочет крест!
 Рим можно им на миг прельстить или Афины
 И Спарту обмануть. Но Честность дней старинных,
 Что славою борцов, все вынесших, дарит,
 Рычаньем встретит их и тотчас пригвоздит
 В конторе у себя их мнений список лживый,
 А время-весовщик, плательщик справедливый,
 Что говорит одним: «Приму!», другим же «Нет!»,
 Отбросит их, как горсть подделанных монет.

Великих гениев глашатай вдохновенный,
Ты нас ведешь вперед дорогой сокровенной
Туда, где дух парит, где ясны небеса
И над мятущейся, шумливою толпою
Звонят трубою
Их голоса!

Макбет иль Прометей, Орест или Отелло —
Эсхила сочетал с Шекспиром ты умело.
Ты в адских глубинах те образы найдешь.
Великие творцы в страданиях и в печали
Им души дали,
Ты плоть даешь!

Смотри богам в лицо! Стремись по ним равняться.
Их мысли, их дела не по плечу паяцам;
Но ты их воплоти, как маг, как чародей,
Стань богом, стань орлом с блестящим опереньем,
Стань отраженьем
Больших идей!

Ты череп Йорика достанешь из могилы,
И с Калибаном ты проникнешь в край унылый;
Все у тебя в руках — и злоба и добро;
Будь принцем, и слугой, и палачом проклятым;
И Карлом Пятым,
И Фигаро!

Твори, изобретай. Ты должен перед светом
Снять урожай идей, посеянных поэтом,
Ты должен покорить в пленительной борьбе
Те страсти гордые, что головы нам кружат.
Пусть верно служат
Они тебе!

Трепещущая речь, в порыве и в тревоге,
Еще не входит в мир, она лишь на пороге.
Ты образ вылепи из стихотворных строф —
И пусть он ринется в неизъяснимой дрожи,
Как ангел божий,
На рать бесов.

Жрецы бессмертных муз, несите вдохновенье
Тем, кто глядит на вас с улыбкой снисхожденья,
И услаждайте тех, кто даже глуп и сух.
Чем больше тратите, тем больше обретете.
Над миром плоти
Нетленен дух!

28 июля 1847

Ваш удел — вдохновенье, собратья-поэты,
Вы поете, звеня,
И сопутствуют вам зоревые расцветы.
До последнего дня!

Увлекает поэзия вас на высоты
И за грани времен;
Юность — это Платон, собирающий соты,
Старость — Анакреон!

Так летайте, порхайте, поэты благие —
Вам пристало оно;
Распевайте погромче свои неземные
Песни радости... Но

Если вам хоть крылом доведется коснуться
Хаотических бурь,
Где и смерть, и беда, и размах революций,
То забудьте лазурь.

Позабудьте любовь, позабудьте мечтанья
И отдайте сердца
Беззаветным стремленьям, людскому страданью
И борьбе до конца.

Человеческий род за шесть тысячелетий
Поднял к небу чело
И воспрянул на бой, чтоб низвергнуть на свете
Вековечное зло.

Кто с великой семьею мятежников спаян,
Кто познал скорбь и гнев,
Не малиновкой в небе зальется пускай он, —
Пусть рычит словно лев.

18 апреля 1854

Да, право осмеять — всецело за Грядущим.
 Не следует шутить со смехом всемогущим!
 Зевес Карающий! Смеющийся Зевес!
 Последний мне страшней: он стоит митральез.
 Взрыв смеха обратит исчадья ночи в бегство,
 Педантов дразнит он, не терпит буквоедства.
 При случае ушам ослиным надерзит:
 Он против ползанья, он с теми, кто парит.
 Венчанные гробы, протухшие кумиры,
 Сосушие народ священники-вампиры,
 Законы сгнившие — он видит все и всех,
 И чем светлее день, тем беспощадней смех.
 Он обличит алтарь, где, речь ведя о боге,
 Оправдывает поп бесстыдные налоги.
 Искусство он ведет на светлый, гордый путь,
 И Терамен его не в силах обмануть.
 Надутой скуке он платить не хочет дани.
 Когда, ружьем Шаспо растроган до рыданий,
 Воинственный Тартюф хватает в руки нож,
 Смех говорит ему: «Не пыжься, пропадешь!»
 В его присутствии любые лжеученья,
 Как пыль, уносятся под ветром просвещения.
 Без удержу дарит своим вниманьем он
 Судей неправедных, монархов без корон.
 Бичуемые им авгуры горько плачут.
 Он наберется сил и мир переиначит:
 Став пулей, искрою, снарядом, он гвоздит

Всех отстающих, всех, кто ноги волочит,
Кто Завтра, юное дитя, надежду нашу,
Меняет на Вчера, почтенного папашу.
Вот так из поезда летящего смешон
Влекомый клячами скрипучий фаэтон.

22 ноября 1867

Мадзини Тьер язвит, Питт колет Вашингтона.
 Низару Ювенал — остряк дурного тона,
 И Планша вынудил пожать плечом Шекспир.
 Покуда пар еще не покори́л весь мир,
 Язвили Фультона педанты. Было время:
 Пулье звездой блистал в зените академий
 И электрический звал чушью телеграф.
 Тупица острый ум всегда гнетет, поправ.
 Кто смотрит только вниз, тот Гималаи втайне
 Готов презреть. Лазурь — провал небес бескрайний,
 Колодезь черных гроз — не нужен простакам,
 Вовек не знающим, где мы витаем там,
 Отвергшим Эйлера и Ньютона, дорогу
 Долбящим палкою, боясь поставить ногу.
 Как близорукому прибавить зренья, чтоб
 Любил он звездный взор суровых Каллио́п,
 С Парнаса мерящих глубь бездны бесконечной?
 Эсхил блуждающий и Дант, изгнанник вечный,
 Лишь болтуны: померк у них в изгнанье взор.
 Терзанья Иова для мещанина — вздор:
 Ведь лишь бездарностям с их завистью презренной
 Доступен «здравый смысл», сей дар судьбы
священный.

В супруги евнуха себе берет толпа.
 Затылки всякого рубаки и попа
 Пред кем склоняются без спора? Пред Мидасом,
 С которым шепчутся зоилы хриплым басом.
 Исая, в городах отверженных бродя,

Вкруг чует ненависть, ни разу не найдя
Души, понявшей гнев его души великой.
Корнель скитается средь ругани и крика,
И свора жадная на Мильтона рычит.
Кто, будучи пустым, величествен на вид,
Тот восхитит всегда завистников и франтов —
Псов, волчью стать свою хранящих для талантов.
Глядите, как они Гомера грызть бегут!
Как ими идиот прославлен или шут,
Тот нуль напыщенный, кто в данное мгновенье
Ханжей и солдатню привел в повиновенье!
Довольно, чтоб кретин «персоной» был одет,
Чтоб молодой сухарь казался зрелых лет,
Чтоб мудрое хранил молчание тупица, —
Их станут уважать. Те, кем молва творится,
Кто «имена» плодят и губят в наши дни,
Их сильным голосом, уставшим от ругни,
Прославят; знают ведь, что так верней сражаться:
Великих высмеяв, глупцами восторгаться.

Добро творите вы, — на вас пойдут войной;
И, бог весть почему, любой пошляк тупой
Впадает в бешенство, завидя вдруг пророка.

*

Вниз, в бездну глянуть, риф приметить издалека —
Ошибка. Ты велик? Ну, значит, ты смешон.
Пигмей собою горд: Геракла мерит он,
И мирмидонянин титана отрицает.
И каждый исполин, что небо подпирает,
Всю Лилипутию, край муравьев, смешит.

Горбатый коротыш, храня надменный вид,
Доволен: горб ему, хотя и полновесный,
Не тяжелее, чем Атланту свод небесный!
Гиганту — ровня он. Чем лучше тот? Нет слов:
Свой груз у каждого.

Ворота на засов
И ставни на запор, чтоб истина и разум
В твой угол, буржуа, не ворвались бы разом!

Ученый человек, степенный человек,
Страшись: готовится стремительный набег
Умов и светочей на дом твой с дверью узкой,
Где ночь в цепях томит твой жалкий дух моллюска.
Жить страшно: прозябать куда спокойней тут.
Захлопнись, устрица, коль книгу развернут.
Достаточно словцу лечь в душу, чтобы это
Разверзло бездну в ней, залив потоком света.
Глупцам невежество — всегда приют и дом.
Не смей читать, — не то не будешь дураком,
Как должно.

Гусь хромой гогочет, весь сияя.
Надменность, как павлин, глазастый хвост взметая,
Им лишь красуется, но вовсе не глядит.
Вот так и лжемудрец свой пышный хвост влачит,
Хвост любит, чтит его, как нечто неземное,
И множит спесь ему, а тупоумье — вдвое.
То — скопище глупцов, кортеж тупых писак.
И злостный идиот, заносчивый дурак,
Будь он церковником иль мужем государства,
Без знаний знает все и видит лишь коварство
В твореньях гения. Что для Гизо Вольтер?
Потише, Мирабо! Дантон, молчать! Пример
Нахала — Галилей, кто утверждал облыжно,
Что вертится земля, а солнце неподвижно!
Кого не раздражит Колумб, другой нахал,
Кто вздорную мечту — Америку — искал?!

Бьют их, мечтателей, взывая к богу хором.
Попы и короли, гордящиеся вздором,
Всех этих байбаков тяжелых легион —
Негодования полн на тех, кто вдохновлен,
Над кем безвластна ложь, бессильно отрицанье,
Чей мощный голос тьму приводит в содроганье.
Прочь их, бунтовщиков, любовников зари!..

*

Мыслитель, пламенем сжигаемый внутри,
Поэт, пророк, фантаст упрямый — понимают,
Что милосердия вселенная не знает, —
Зато веки в ней неправосудья нет!

Земные судьбы им являют горный свет —
Как отражение надмирной тайны вечной.
Вот почему их взор — там, в дали бесконечной!
Вот почему, лучом познания ослеплен,
Дар ясновиденья приобретает он.

Но только лишь взойдет над нашим миром темным
Светило дивное и в хаосе огромном
Величие души позволит разглядеть;
Лишь златогривый зверь порвет ночную сеть;
Лишь солнце пышное, пурпурный сгусток зноя,
В личине молнийной, пугая и покоя,
Возникнет, уравнив блистательным лучом
Травинку, и хребты, и моря оком,
И жуткие леса, где песен вьется стая;
Лишь, все плодотворя, рождая, завершая,
Своею тайною загадки разъясня,
Затмив созвездия, дав безднам свету дня,
Дав сердцу веровать и разуму молиться,
Как добрый труженик начнет оно трудиться;
За светonosный труд лишь примется оно,
Первопричиною предвечной рождено,
И небо осветит — виденье голубое,
И кинет сноп лучей, пловцов в ночном прибое,
Быстрее молнии летящих с высоты, —
И тотчас назовут слепца *орлом* кроты.

28 апреля 1876

Таков закон: Вейо живет, шельмец, и пишет,
 Живут Низар, Барбе; и Планш — не сон, он дышит;
 Фрерон Вольтера ест; и кто-то, имя рек,
 Мильтона уязвил. Развязный человек,
 Какой-то Чакко лез в собратья к Алигьери;
 Как плесень, де Визе разросся на Мольере,
 А на Шекспире — Грин. Там, в ясной синеве,
 В короне солнечной на гордой голове,
 Со смертью ставшие лишь более живыми,
 Живут великие, чье пламенное имя
 Горит немеркнувшей зарей, — но вечно к ним
 Пристроится и тот, кто мал и невидим.
 Не исключает тли сияние полудня;
 У славы есть жучок, ее тревожат зудни;
 Медузу скользкую, вскипев, несет волна;
 Есть на певца Зоил, на бога — Сатана;
 Великих высота от грязи не спасала.
 Не удивило бы меня, друзья, нимало,
 Когда бы ангел к нам сошел и возвестил,
 Что расплодились вши на теле у светил.

Париж, 20 сентября 1874

Ты, ясный ум иль мощный гений,
 Окрепший в славе иль в тиши,
 Влюбленный в остроту сомнений
 Иль в высоту своей души!
 Ты, ставший сам, богач и нищий,
 Своею повседневной пищей,
 Своей единственной звездой,
 И поношением и верой,
 Зарей и облаком, пещерой
 И грозным львом в пещере той!

Пусть век твой — сумрак или буря,
 Отрепья, саван, вой химер, —
 Ступай! Что стал, главу понуря?
 Дант одинок, и наг Гомер, —
 Иди! Пусть хлябь на хляби хлынет,
 Пусть в ужасе толпа застынет, —
 Ты чист душой: расправь же грудь,
 Верши свое большое дело!
 Средь подлецов прямой и смелый,
 Иди, живым средь мертвых будь!

Бывает, дух, изнемогая,
 Смирится под своим ярмом:
 Дрожат нагие, лед лобзая,
 И дорожат слепцы бельмом;
 Встает ущерб призрака вещей;
 Мельчают, убывая, вещи,

Мельчают люди наконец!
Повсюду мертвенность и тленье...
Так наступает вырождение
Бесстрастных и тупых сердец.

Народом иногда (что случилось
С Элладой, Римом?) в некий день
Овладевает вдруг усталость,
Ему нести величье лень.
«Довольно, — скажет он, — Ахиллов,
Солонов, Брутов и Эсхиллов!
Героев светлых хватит с нас,
Чья историческая слава,
Как мост гигантов величавый,
В лазурь, сверкая, вознеслась!

Нам в Пантеонах, Парфенонах,
Нам в Пропилеях проку нет,
В челах, звездами озаренных...
Нам лишь бы не простыл обед!
Что нам история? Восславим
Тот пир, что мы сегодня правим,
Скрыв черных преступлений след!
Пусть, розовым венком играя,
Нам пляшет женщина нагая,
На ножку нацепив браслет!..

Мы — атеисты-неофиты,
Наш новый дух неповторим;
В Афинах пусть живут Терситы,
Пусть Давы населяют Рим!
Победа, дряхлая старуха,
Пусть доживает век стряпухой,
Мы покорять не мыслим мир.
Нам пламень Прометея нужен,
Чтобы сварить горячий ужин,
Задать Тримальхионов пир».

И вот народ, вчера великий,
Стал хил; могила перед ним
Раскрыла жадно пасть: безликий,
Он сер и стелется как дым.

Лютея, ночь осатанела,
Судьбу и души тьмой одела,
Укрыла вороватый шаг.
Толпа спит, ест, поет, хлопочет
В низкопоклонстве. И не хочет
Заря рассеять этот мрак.

Увидев, что бескрыл мужчина,
Тоскует гордая жена
И мучится стыдом за сына,
Которого родить должна.
В такой вот смутный час, мыслитель,
Встань на борьбу! Неси, воитель,
Неси для тех, в ком веры нет,
Пред кем без славы даль убога,
Чей мир уныл и пуст без бога,
Идеи неугасный свет!

Когда в расчетливости грубой
Погряз и закоснел твой век,
Воспрянь! В безвременье сугубо
Велик великий человек.
Ты видел, посреди развалин,
Как величав, хоть и печален,
Колонн несокрушенный ряд?
Поверженные великаны,
Когда лежат, — они титаны,
Когда над павшими стоят!

Отвиль-Хауз, 10 июня 1870

Сквозь дождевую сеть сиял закат, печален.
 Как золотой фронтон классических развалин,
 Дуб шелестел листвою.
 Даль моря в клубах волн у края небосклона
 Казалась мраморной поверженной колонной,
 Зеленой и витой.

Волна, кипя, неслась, как в пене кобылица,
 И отблеск чьих-то глаз светился, как зарница,
 В небесной глубине.
 Шли без числа валы, бежали в вечной смене,
 И гулом колесниц на сумрачной арене
 Их шум казался мне.

Пучина темноты! Там Прометеи в безднах
 Таятся, духи тьмы кишат в мирах надзвездных.
 О небо-океан,
 Титанов скрыло ты в своих глубинах вечных,
 И сколько гениев в просторах бесконечных
 Я вижу сквозь туман.

Привет тебе, о жизнь, о ночь, о сфинкс-загадка,
 Душа всемирная, с тобой слиянье сладко,
 Я верю глубоко,
 Мне в лоно вечности отрадно погрузиться,
 Мне в безднах полночи — как в темной чаше птице —
 Привольно и легко!

В непостижимое стремлюсь проникнуть взором:
Мудрец и праведный запятнан наговором,
Закрыты небеса.
К добру слепому зло пристроилось слугою.
Но вижу с радостью: под дверью роковую —
Сиянья полоса.

Друзья, я вновь взялся за свой любимый труд,
Меня уже давно перо с бумагой ждут;
Вот я пишу стихи, отрывки для романа,
Пытаюсь, как могу, уйти от зла, обмана,
От эгоизма, лжи, и слышу все ясней:
Слов зыбких океан шумит в душе моей.

Значенье слова «труд» прекрасно и глубоко,
В нем жизнь рабочего и заповедь пророка!
Труд — наш священный долг, хвала ему и честь!
Он принуждение, но в нем и воля есть.
Поденщики труда сурового свободны.

Зачем тебе, мудрец, раздумывать бесплодно,
Забыв про все дела, мысль в слово воплощать
И беспредельное в предельное вмещать?
Романы! Что нам в них? Что нам стихов звучанье,
И фразы громкие, и темных бездн зиянье,
Все тайны, жизнь и смерть, неведомый закон
Произрастания лесов, людских племен,
И гробовая сень, что скрыла царства мира,
Жизнь человечества, загадка, что Шекспира
Терзала и куда вперял пытливый взгляд
Тацит, историю творя, и Данте — «Ад».
К чему искусство, стиль, все формы, все затеи,
Строфа Горация, Лукреция спондеи,
Все те, кто жар души в звучанье слов вложил:
Исайя, Пиндар, Плавт, Амос, Софокл, Эсхил, —
Все то, что делает наш род людской великим?

Как я устал внимать таким суждениям диким,
Нелепых доводов мне ль не знаком трезвон!
Я сам на колесе искусства Иксион.

Пишу я... Но про что? Про все. Ведь размышленье —
Та дверь широкая, куда без промедленья
Заходят путники: и мысль, и долг, и честь,
И доблесть, скорбь — и всем приют в жилище есть.
Я вижу вечный день, там, в вышине, горящий
(О, как земля мала, коль в небо смотришь чаще),
И мертвым отдаю я — жертва многих бед —
Всю силу памяти, свободной от сует!
Работать, размышлять, друзья, моя отрада...
Глубокий мир души нисходит, как награда,
К израненным, но все ж пытающимся жить
И думать более, чтоб менее грустить.

...И жизни мировой я чувствую дыханье,
И видно мне вдали грядущих дней сиянье —
Сиянье горнее над пеленою тьмы.
Вновь силы черпаем в таких мечтаньях мы!
О, радость — ощутить, что становлюсь пророком!
О труд, великий труд, в слиянии глубоком
Усилье, и мечта, и бремя, и порыв!
Послушен зову ты, усерден и ретив,
Являешься зажечь в нас доблестное рвенье,
И, крыльями взмахнув, в стремительном движенье
Страданья разорвав, как темный свод ветвей,
Ты нас уносишь ввысь, в безбрежный мир лучей,
Вдаль от земли, от зла, от лжи и от порока, —
Орел, что зова ждет, таясь в тени до срока.

.
Ты говоришь мне, друг: «Отверженных» закончи»...
Чтоб книга зрелая была завершена,
Свобода мышленья писателю нужна.
Коль целый мир в душе все ярче, ощутимей,
Могу ли думать я о иезуитах, Риме,
О всех Фоше, Моле, о Бонапарте, друг?
Верни просторы мне и неба звездный круг,
Уединенье, лес, безмолвием одетый...
Как совместить меж звезд парящего поэта
С трибуном яростным, когтящим Шангарнье,
Орла в безбрежности — и ястреба в войне?

1850

Когда иду к высокой цели,
Я над угрозами смеюсь
И, в правом убеждаясь деле,
К нему бестрепетно стремлюсь.

Нет, ни Июня меч разящий,
Ни крики, ни насмешек яд,
Ни Бонапарта взгляд косящий,
Ни буря средь морских громад,

Ни брань, ни злобные гоненья —
Ничто меня не изменит!
Пусть рухнет мир, его крушенье
Меня убьет, но не смутит.

Брожу ли в чаще вечерами,
 Когда в закате меркнет даль,
 В смятении, объят мечтами,
 Иль тихую тая печаль,

Задумаюсь ли у камина
 Я, устремив в пространство взор,
 И книги в сторону откину
 И не вступаю в разговор,

Вы говорите: «Он мечтает!»
 Да, я мечтаю — вижу я,
 Как сумрак землю обнимает,
 Рождая свет иного дня;

Во мгле, что скроет жизнь мирскую,
 Свет, созданный для глаз земных,
 Ко мне приблизится вплотную
 Сонм лиц таинственных, родных,

Виденья, облики, что прежде
 Я знал, ко мне тогда плывут
 Из мира тайны и надежды,
 Что миром памяти зовут!

И в запредельные стихии
 Дано мне сердцем проникать,
 И предо мной там, как живые,
 Отец, задумчивая мать.

И в веянье неуловимом,
Как бы ласкающем меня,
Угадывать — то ангел мимо
Летит неслышно — дочь моя!

Да! В чаще сумрачного бора
И в тихой комнате моей
Я чувствую — не сводит взора
С меня незримый рой теней!

6 января 1860

Мне грустно; рок суров; на свете все так зыбко;
Укрыто вечной мглой немало милых лиц...
Но ты еще дитя. Светла твоя улыбка,
Ты видишь лишь цветы и слышишь только птиц.

Не зная злой судьбы, смеясь, лепечешь что-то;
В неведение святом душа твоя чиста.
Тебя не трогают ни ярость Дон Кихота,
Ни муки крестные распятого Христа.

И где тебе понять, что Кеслера сломило,
За что в Бразилии томился Рибейроль?
Тебе, мое дитя, неведома могила,
Неведомы тебе изгнанья мрак и боль.

О, если б ты могла понять мои печали,
Я б не сказал тебе об этом никогда.
Но хоть цветет апрель, и лучезарны дали,
И взор твой светит мне, как яркая звезда,

И твой беспечный смех еще по-детски звонок, —
А все же страшен мир, и слез немало в нем.
Я все тебе скажу! Ведь ты еще ребенок;
Лишь нежность в голосе услышишь ты моем.

16 августа 1870

Сухой, холодный долг — к спокойной жизни путь?
 Ужель, его избрав, не смеешь ты глотнуть
 Ни капли лишнего из полного стакана,
 Где безрассудства смесь и страстного дурмана?
 Ужель стал бережлив и в жизни строг своей,
 Чтоб в лапы не попасть тех подлых торгашей,
 Что, цену им найдя по стати и по чину,
 То женщину купить готовы, то мужчину?
 Ужели участь тех покой смутила твой,
 Кто, голода страхась, конца на мостовой,
 Был принужден пойти к хозяину в лакеи?
 Ужели не рискнешь в житейской лотерее?
 Так знай: ты — скареда, сквалыга, скупердяй,
 Отверженный людьми, почти что негодяй.
 «Трус!» — скажет поп тебе; «Дрянь!» — уличная
девка.
 За честность злобно мстя, в твой дом войдет
издевка.
 В наш век распущенный, не знающий препон,
 Коль ты не Аретин, ты жадный Гарпагон.

18 декабря 1874

Порядочность во всем — вот вся моя заслуга.
Когда уйду навек от недруга и друга,
На строгой высоте исполненного долга
Меня запомнят все сограждане надолго.
Хулителей моих бесстыдных поношенья
Помогут мне спастись от скорого забвенья.
Их ненависть начнет с рычаньем приближаться,
Царапать мне лицо и яростно кусаться.
Сбегутся чудища, страстей позорных стая:
И Злость, и Клевета, и Наглость площадная.
Так в Индии, когда, кружась над горной кручей,
Стервятники ее вдруг облегают тучей,
Крестьяне говорят, живущие в долине:
«Как видно, там мертвец положен на вершине».

15 декабря 1874

ПОБЕДА ПОРЯДКА

Порядок вновь спасен. Везде царит покой,
И это — в пятый раз, а может быть — в шестой.
Для каторги опять готово пополнение.
За эти восемь дней, что длилось избиенье,
Ступать по мертвецам в привычку уж вошло.
Решительной рукой искоренялось зло:
Детей, и стариков, и женщин без разбора
Косили наповал, не видя в том позора.
Оставшихся в живых — изгнание, ссылка ждет.

Плывут за океан, в трюм загнаны, как скот,
Вчерашние борцы, не ведавшие страха,
Чьи славны имена от Волги и до Тахо.
Победа! Справились! Повержен страшный враг!
Когда во Франции хозяйничал пруссак,
Париж прославиться решил великим делом
И родину спасти. Пять месяцев гудел он,
Как в бурю лес гудит. Ливийский ураган
Бушует так. «Париж безумьем обуян, —
Был приговор. — Пора ему уgomониться:
Опасней Пруссии восставшая столица».
Ликующий Берлин шлет благодарность нам.
Открыться можно вновь кофейням и церквам.
Кровь залила огонь войны неутолимый.
Погиб Париж — зато порядок обрели мы.
Что мертвецов считать? Ведь лошадь на скаку
Сдержать не так легко бывает седоку.

На землю небеса вслепую мечут громы:
Вот так же наугад шлем в стан врага ядро мы.
Убитых тысячи? Какая в том беда?
И Зевса гнев разит невинных иногда.
Восторгом до краев полны сердца и души:
Ура! Теперь ничто порядка не нарушит.

Не думать и молчать — приказ народу дан.
Пора, чтоб, наконец, отхлынул океан
И чтобы в лица гниль могильная пахнула
Поборникам свобод, дошедшим до разгула.
Наш беспокойный век — век молний, грозных бурь;
Его зажмет в тиски и вышибет всю дурь
Спасительный кулак, явившийся из бездны.
Узда религии для общества полезна.
Силлабус благостный, законный государь
Спасенье принесут, а не народ-бунтарь.
Погас огонь. Из тьмы несет угаром смрадным, —
Наказан дерзкий бунт террором беспощадным.
Нет больше ничего. Все смолкло. Гул исчез.
От площади Конкорд до кладбища Лашез
Спустилось на Париж, не ведавший покоя,
Глухое, тяжкое безмолвие ночное.
Народ покорен, нем, робеет пред штыком...
Пусть кто взбунтуется — финал теперь знаком!
По вкусу господин для каждого найдется;
Пока же обо всех полиция печется.
Ну, разве не легко разбили мы врага?
Цена спасения не так уж дорога:
Кровь под подошвами и душный запах морга...
Но почему-то я не млею от восторга.

Король, ты, говорят, изгнал меня. Отлично.
Притом журнальный клещ в газетишке мокричной
От твоего лица бесчестье мне нанес;
И брызжет царственной слюной официоз.
Не шлю тебе ответ, пусть это неучтиво.
Вот видишь ли, король, величество — не диво.
Твой журналист и ты — мне дела нет до вас:
Цветами занят я, которые сейчас
Бог расточает нам; я праздник роз справляю.
К тому ж угрюмый сфинкс, как я предполагаю,
И мрачная скала, для птиц морских приют,
Вниманье обратить едва ли снизойдут
Тот — на песчинку, та — на брызги пены вздорной.
Что плошка начадит, что оскорбит придворный,
В порядке то вещей; мечтатель не сердит.
Твое величество меня не возмутит.
Пусть будет награжден слуга твой безупречный.
Как повелел вам бог, де Местра подопечный,
Ты царствуешь, а твой писец строчит. Мир вам.

Охотник хищный я и рыщу по кустам;
Лай своры призрачной я чую, слуху веря;
Величие ценю я царственного зверя,
Мне нравится встречать державных тварей злых,
Чтоб успокоить мир звук песен мог моих.
Мне не досадны львов свирепых нападения,
Чудовищ, полчищ их рычащих окруженья.
Подстерегаю их под деревом густым,

И, лишь приблизятся, я угрожаю им,
Пускаю зубы в ход — чему пример наглядный:
У ног моих того из чудищ остов смрадный,
Что императором, я полагаю, был.
Но недосужно мне являть свой гневный пыл;
Я предпочту молчать.

Я думаю о многом
Здесь на земле, с небес благословенной богом,
А в храмах проклятой кощунственным попом.
Дуб в желуде люблю, птенца — в яйце любом,
В ребенке — будущность; едва зари отрадной
Прольется свет, «Еще!» — я восклицаю жадно
И у небес молю для нас, для всех людей
Бескрайной широты разлившихся лучей.
От оскорблений всех я огражден покровом
Лазури и ветвей с дыханьем их медовым
И дивным щебетом их сладкозвучных гнезд.
В природе столько глаз, ушей, как в небе звезд.
На род людской она глядит так величаво,
Так силы бережет и так их тратит здраво,
Что получает все и не теряет сил.
Ее могучий хор в себе все звуки слил!
Да, пользу приносить мне хочется мечтами.
Следит за ветрами господь, я — за стихами:
Ведь стих и буря злой явили бы порыв,
Та — воды возмутив, а этот — сердце вскрыв,
Жоль не стремились бы они в огромном мире:
Та — сделать чище ширь, а этот — душу шире.

Тьма — это враг; ценой мучительной борьбы
Разгадку вырвать я желаю у судьбы
И сердце из теплиц непониманья вынуть,
Изгнать невежество и нищету отринуть.
Я беспокоен, горд и холоден умом;
Безжалостной судьбе не уступлю ни в чем.
Под сенью жуткою иду ветвей широких,
Среди зеленых трав, среди цветов высоких.
Запретной для меня на свете нет страны;
Мне оскорбители и жалки и смешны.
Все солнца любви мне и все отчизны милы;
Мечты великой я поборник, полный силы;

Мне сновиденье — друг, утопия — сестра,
И ненависть моя — желание добра.
Я, словно шуму волн, взбегающих на землю,
Неясным шопотам идей грядущих внемлю,
Потоку этому готовить русло рад.
Обетованием чудесный рок чреват.
И я прогрессу путь в пространстве пролагаю,
Сон колыбелей, сон могил оберегаю;
Я жажду истины, добра и красоты,
Не внемля королям, столь крошечным, как ты.

Сан короля святой! Что означает он?
Злодейства гнусные, народа долгий стон,
Мольбы и вопли жертв скорбящих.
Эндорских призраков ужасных мгла полна!
Средь них отчетливо корона лишь видна,
Вся в золотых зубах блестящих.

То — вихрь невежества и злобы в тьме ночной,
Где люди, лошади и пушки, меч стальной
И глас трубы столкнулись в сече.
То — призрак прошлого, восставший из могил,
Который ясное сверканье зорь гасил,
Как гасит рот дыханьем свечи.

То — туча тяжкая, нависшая в веках
Над человечеством, откуда, тьму и страх
Тысячелетий пробивая,
Вослед за грохотом тележки роковой,
Прорвется вдруг рука, над замершей толпой
Главою мертвой потрясая.

Зловещая жена! Простясь с венцом бесценным,
Предстанешь тенью ты пред призраком священным,
И он, бесплотный, он, единственный живой,
Он спросит: «Кто ты?»

Дрожа, как прут сухой
Под ветром, скажешь ты: «Была я королевой». —
«Была ль ты женщиной?»

«Господь, я юной девой
В объятья короля, супруга, шла, цветя;
Познала счастье я и власть: еще дитя,
Старинный скипетр я заржавленный держала». —
«Что скипетр! Суть не в нем, но в прялке. Что ты
пряла,
Когда народ лежал, простерт у ног твоих?
Что людям ты дала?»

«Веревку — вешать их».

24 ноября 1867

Нет, говорю вам, нет, все хитрости людские
Не в силах покорить таинственной стихии;
Не будет никогда могучий Аквилон
Злоумышлениями мирскими побежден.
Не допускаю я, чтоб ветры присмирели,
Вдруг на трапедии увидевши Блонделя;
И не страшит грозу, когда, как акробат,
Муж государственный ступает на канат;
Гром — это вам не пес, дерущий злобно глотку,
Которого смирить всегда сумеет плетка.
У Марка и Луки прочесть нам довелось,
Что взглядов Бисмарка не разделял Христос;
Не так, как наш Делангль, рассматривал он право,
И к тем, кого казнят, над кем чинят расправу,
Самаритянином всегда был добрым он:
Его алтарь — приют для всех, кто угнетен,
Для всех отверженных, развеянных по свету, —
И Бельгия его изгнала бы за это.

Прилив, достигнешь ты назначенных границ...
Нет императора и нет всемогущих лиц,
Трезубца в мире нет, нет трубного призыва,
Которые могли б смягчить твои порывы.
В грозовой бездне скрыт сам бог, и никогда
Не успокоится та страшная среда,
Хотя бы соблазнять суровую стихию
Богини вызвались, смеясь, полунагие.
Род человеческий — как море. В свой черед

Он видел гибель дня и первых звезд восход;
Он знал урочные приливы и отливы;
Уйдя от берегов, к другим бежал бурливо;
Он видел, как в ночи Левиафан плывет;
На юге он кипит, у полюсов он лед.
Руэра слушать он не хочет; то беспечный,
То грозный, волен он, и будет вольным вечно,
Хотя бы, чтоб смирить его грозящий вал,
Нептуном — Бонапарт, Девьен — тритоном стал.

Ты — бездна, о народ! Ты, скрытый черной пеной,
Для скептиков — ничто, для мудрых — соль
вселенной.

Ты взмыл, отхлынул ты, поднялся ты опять, —
Засовам и замкам тебя не удержать.
Твой бесконечен путь, великая свобода!
Дано нам сверху плыть, но не проникнуть в воды.
Пиррону, скептикам застлал глаза туман,
Перед Колумбом же раскрылся океан!

Прекрасный атрибут — осла большие уши!
Им свойственно во тьме слегка дрожать и слушать,
Смиренно поникать и вдруг вставать торчком,
Все криво толковать, подслушивать тайком,
При шуме вздрагивать, свою казать всем тупость,
Привычно одобрять срифмованную глупость,
Тирана низвергать, когда он пал и сам,
Трибуну злобно мстить, внимать пустым речам.
Гордитесь, господа, огромными ушами!
Они всегда под стать тому, кто слаб мозгами.
Они — почти диплом, благоразумья знак,
И спрятать вам легко их под ночной колпак.
Они — невежества авторитет и норма.
Твердите: «Пуст Шекспир, у Данте — только форма,
А Революция — маяк, чей свет в волнах
Лишь к рифу приведет». Узнать полезно страх!
От ужаса к врагам пылайте злобой истой,
Порядок славя свой, к воде старайтесь чистой
Прибавить муть речей, что кровью отдают,
И там, где есть прогресс, зовите власть и кнут!
Хвалите свой сенат, правительство, сутаны,
Насилие — вот путь надежный, постоянный,
На нем Дюпен, Кузен, Парье в наш жалкий век
Сумели показать, что значит человек
Солидный, буржуа, лишенный вредной дури, —
В Палате заяц он, осел в литературе.

24 мая 1872

ИЗ КНИГИ

«МРАЧНЫЕ ГОДЫ»

(Посмертное)

Народ восстал от сна. Велик был тот народ.
 Бросая свет кругом, он двигался вперед.
 Другие нации за ним пошли, как дети.
 Он бурю пережил, год Девяносто Третий,
 И, старый мир сразив, его похоронил,
 В бою жестоком он всегда прекрасен был.
 Он горд был. На него обрушились страдания,
 Но муки страшные он превратил в сиянье.
 Освободив людей, он — демон или бог —
 От пламени веков свой яркий свет зажег,
 Был у него Паскаль, и он имел Мольера.
 Как будто плющ густой, к нему тянулась вера
 Народов, для кого опорой он стал,
 И шесть десятков лет в его среде блистал
 Вольтер, дух разума, могучий воин смеха,
 Титан в изгнании, изгнаниям помеха:
 Наставник душ людских, долг преподавал он нам,
 Он догмы старые на свалку сбросил сам,
 И у него народ прогрессу научился.
 Народ был Францией, в Европу превратился;
 Европой став, он взмыл до мировых вершин.
 В разнообразии он был всегда един.
 Коль числа — нации, он — сумма этих чисел.
 Он человечества значение возвысил,
 Разведку вел в лесах, где вечно мрак и ночь,
 Широкий шаг его гнал заблужденья прочь.
 Он правду возвестил здесь, на земле. Стремление
 К добру он возбуждал. Рабу освобожденье,

Свободу женщине, науку беднякам —
Он дал все это им и яркий свет слепцам.
Он факел засветил, чтоб зло прогнать лучами,
И убежала ночь, старуха с кандалами.
Но преграждали путь ему обломки зла...
В полях осколки бомб и мертвые тела.
Воскресшие права и нравственность вернулись,
И руки маленьких детей к нему тянулись.
Пощады он не ждал, он молвил: «Мы должны!»
Сломал он эшафот и не хотел войны.
Он был отец и брат и жизни ведал цену.
За ним шпионили — не верил он в измену.
Он светел был и чист, как юный Флореаль.
Все было в будущем, и прошлого не жаль.
Негаданно ему подстроили засаду,
И труп его упал теперь на баррикаду.

1853

Объединитесь же! Пускай царят грабеж,
 Обман, убийство, страх томительный. Ну что ж:
 Мы к мученичеству готовились недаром.
 Скосите нас теперь скорей! Одним ударом!
 Колите, вешайте! Любой из нас взойдет
 Бестрепетно на ваш последний эшафот.
 Пусть сила грубая перед лицом вселенной
 Ликует мерзостно, глумясь над мыслью пленной.
 Пускай в грядущего сияющую плоть
 Вопьется прошлое; пусть ястребом, господь,
 Набросится на нас молящийся Мастаи
 С Гайнау-палачом; пускай веревка злая
 Запаяст нам сожмет; пускай нас гонят, бьют;
 Пускай отметят нас лобзанья всех Иуд, —
 Мы сами голову кладем под меч жестокий...
 Но только бы рассвет забрезжил на востоке!
 Но только б из могил, где мы найдем покой,
 Грядущий день восстал во славе огневой,
 И с новою душой, таинственной девой,
 Избранницей небес, как с некой горней Евой
 Адама ветхого соединил творец,
 Чтоб кровь и желчь веков забыл он наконец!
 Но только бы потом, когда мы будем, братья,
 Последней сгубленной в борьбе за правду ратью,
 Последней жатвой зла, — родился новый век,
 Когда священный мир полюбит человек,
 Когда в земном раю над нашим древним адом
 На солнце сможет он глядеть орлиным взглядом!

Ты беден, старина. Ты рад бы выпить кружку.
Нет хлеба у тебя порой, но крепок сон.
Как головешка ты, корпя в своей лачужке,
Без солнца закопчен.

Хоть политических чуждаешься вопросов,
Но встретишь ли кюре — словцо вослед метнешь.
Среди извозчиков, распутниц, водоносов
На улице живешь.

Не с дедом ли твоим был этот случай странный?
Припелся некогда в его глухую щель
Старик без башмаков, но славой осиянный, —
И это был Корнель.

Но что тебе с того? Живешь простого проще.
Зачем пришел на свет? Что видел на веку?
И кожу новую к истрепанной подошве
Ты ладишь в уголку.

Вином подкрашенным в кабак идешь напиться.
Ты книгу жизни всю уныньем нищеты
Наполнил и трудом, а на полях страницы
Похмелья ищешь ты.

Пред властью всякою, хоть честной, хоть злодейской,
Склоняешься, готов упасть к ее ногам.
Ты беден, телом тощ. Тебе что полицейский,
Что император сам.

Ты ходишь под ярмом, на выючный скот похожий,
А в дни восстания, когда в разгаре бой,
Ты говоришь: «Я стар, пускай кто помоложе
Рискует головой».

Весь день до вечера твой молоток стрекочет.
Ты весел, для тебя без шутки жизни нет.
Заря седым кудрям — их гребень взять не хочет —
Дает свой алый цвет.

Вот гвозди в баночках, сапожный вар, обрезки,
Десятки башмаков под балкой, в глубине,
Давно обтрепанных висят, их тени резко
Танцуют на стене.

А выпьешь ли винца, порой обронишь слово.
Ты мал. Ну что тебе король и произвол?
Не видишь ты, как Брут, задумчивый, суровый,
Вблизи тебя прошел.

Рубашку расстегнув, дерешь, подвыпив, глотку
И, шило вверх подняв, кричишь: «Прошу взглянуть!»
А ты ведь можешь им и притачать подметку
И Цезаря проткнуть!

Джерси, 15 ноября

Вы не подумали, какой народ пред вами.
Здесь дети в грозный час становятся мужами,
Мужи — героями, а старцы — выше всех.
О, день, о, день, когда поднимут вас на смех,
И вы, разинув рты, увидите: французы
Внезапно, не спросясь, свои порвали узы, —
Когда богатство, власть, и званья, и чины,
Доходные места во всех концах страны —
Все то, что вы своим считали слишком рано,
Разрушит первый шаг восставшего титана!
В смятенье, в бешенстве, цепляясь за куски
Того, что вдребезги разбилось, от тоски
И злобы станете кричать, грозить, бороться.
Ну что ж? История над вами посмеется.

1856

То ветер леденит — иль век мой? Жутко мне.

С крутой своей скалы в далекой стороне
Внимаю недругам своим остервенелым,
И, вглядываясь вдаль, открытый вражьи стрелам,
Стараюсь рассмотреть скопление вражьи сил.

В стихи, где веет рок, напрасно поместил
Я слово «ненависть» — торжественное слово.
Ведь в наши дни донос явился в роли новой,
В милейшем образе невинной простоты.
Возник особый вид кровавой клеветы,
Убийства новый род, — премилая забава,
Бесчестье в шутку! Да, вот нынче ваши нравы.
В раздумье я.

Все лгут и сознаются в том,
Всем нужен лишь успех. Его берут силком
И состоят дня три у дураков в фаворе.
Уж нет убежища в изгнанье, в мраке, в горе:
Вослед изгнаннику бросают град камней.
Все это для того, чтоб было посмешней.

«Вот этот человек, — кричу, — достоин казни!»
Я враг ему? О нет! Без всякой неприязни
Взываю, хохоча: «Пускай его казнят!»
Драть глотку — правильно, а вот иметь свой

взгляд —

Излишне: выйдешь сам, пожалуй, дуралеем.
Да, вера навевать способна грусть. Мы сеем
Цыкуну, сами же не прикоснемся к ней.
Добрый Иудой стал, чтоб прокормить детей.
И вот несложная задача перед нами:
Без педантизма стать, спокойно, подлецами.
Вот тот, кому вонзишь ты завтра в спину нож, —
Конечно, руку ты сейчас ему пожмешь
И будешь хвастаться такой счастливой встречей.
Джон Браун — наш герой, Барбес — святой — вот
речи

Для дома, для друзей, но каждый вслух кричит:
«Барбес? Да он дурак! Джон Браун? Он бандит!»
Мы так не думаем, — тем больше наше право
Кричать об этом вслух, смеясь притом лукаво.
Сердиться искренне? Да стоит ли того?
Давайте пить, ругать, не тратя ничего,
Без желчной горечи, без страстности особой.

Тигр и Терсит грызут, но не питая злобы.

«В рабочем — весь вопрос, — сказал совету он. — Пусть Февралю Декабрь им будет предпочтен. Вот линия моя. Министры, будьте гибки: Учитесь расточать трудящимся улыбки. Кто хочет управлять, не пожалеет сил На то, чтоб кандалы свои народ любил». — «Но это, государь, так трудно!» — «Нет, несложно». — «Но дать жилища всем рабочим невозможно». — «А мы их, как солдат, в казармах разместим. Приказываю я, чтоб угождали им». — «Рабочим нужен хлеб». — «Накормим до отвала. Роптать не станет раб, обросший слоем сала». — «Рабочим хочется иметь свою семью». — «Сен-Франсуа-Режис я их венчать велю». — «Рабочие, храня мечту о лучшей доле, Прибавки требуют». — «Я бастовать позволю». — «Они хотят в театр ходить по вечерам». — «Я лупанары им под видом опер дам. Я созову для них кокоток обнаженных. Я покажу им Фрин и Афродит на тронах. Бобеша и Горжю я к ним пошлю вдвоем». — «Но зрелища и хлеб — не всё. Как быть с вином?» — «Поить рабочего я вам повелеваю». — «А вдруг захочет он свободы?» — «Расстреляю!»

Он держит речь свою, а я в притон вхожу
И пристально в лицо Истории гляжу.

28 октября 1860

Притон ли гнусный здесь? Иль в склепе я глухом?
Глаза чудовища зажглись во мраке том,
И зверь, ослабившись кривой улыбкой жуткой,
Сказал мне: «Я зовусь — Успех. Я — проститутка.
Лишь стукну я в окно, сейчас на этот зов
Бежит аббат: лобзать любой успех готов.
И с тем, как рад Тартюф удаче преступленья,
Ничто не может быть поставлено в сравненье».
Но это бойня? Пусть. Отцеубийство? Да.
Софизмы оправдать помогут все, всегда.
Успех! Как пред женой красивейшей султана,
Сам догмат пред тобой рад расстегнуть сутану.
Указы палские, полны любовных грез,
Вздыхают, как вздыхал, обнявши Руфь, Вооз.
Рим лижет пятки тем, кто ловко бросил кости,
И папа-кавалер к удаче-шельме в гости
Спешит. Она влечет во тьму своих дорог.
Кровь на руках ее затмил румянец щек.
Дуб клину вверился — и рухнула громада.
Ты гибнешь? Поделом. Бороться было надо!
Тебя сразивший прав. Ни слова! Рима власть
К успеху норовит, как мертвый груз, припасть.
Рим в грозном скипетре родного видит брата,
И плащ его подбит изменами, как ватой.
Цня лишь выгоду, он в символ веры ввел
Страх, посягательство, позор и произвол.
Милы ему Хлодвиг, Октавиана нравы,
Свят для него Брюмер и чист Декабрь кровавый.

Низвергнутый закон, тиранов торжество
Над добродетелью не трогают его.
Так равнодушен сфинкс к столбам смерчей песчаным,
Когда они летят с ливийским ураганом.
Карл учинил резню, но Римом он прощен,
И Сулла, без вины казнивший, обелен.
Пронзающий кинжал, топор разящий — правы.
Нет зла, которому, чтоб след сокрыть кровавый,
Покровов церковь бы алтарных не дала.

Совместно с Геслером она на Телля шла,
На Гуса — с судьями, с Кошоном — против Жанны,
И Трестальону дан высокий столп Траяна.
Всем в церковь, как в корчму, открыт за плату вход,
Где с койкой заодно Те Деум входит в счет.
Картуш — Мессия наш, Мандрен — для нас защита.
Всегда удачник прав и виноват побитый.
Кто победил, тот чист. Оправдывает Рим
Все злодеяния велением святым.
О ужас! Церковь шлет свое благословенье
Тому, кто исподволь готовит преступленье, —
Резне, огню, мечу, галерам, где томят
Невинных, подлецам, пробравшимся в сенат,
Коварству цезаря и пауку с сетями, —
Той неземной рукой, что выше звезд над нами.

Судья и поп твердят: «Греху он непричастен,
 Он свят и справедлив!»
 Он троном овладел и ныне стал всевластен,
 Предательство свершив.

Стекают с губ его вина и крови струи.
 Наверх он полз ужом
 И торжество свое отпраздновал, ликуя,
 Резней и грабежом.

Как должное, берет он все — права сената
 И славы суету,
 Благословения елейного прелата,
 И женщин наготу.

Честь, правда и добро бегут с его дороги;
 Бросается во тьму
 Психея бледная — душа; и лижет ноги
 Свирепый тигр ему.

Победу привела в его постель измена.
 Задира и подлец,
 Надеется украсть он с помощью Базена
 Величия венец.

Народы озарив, как некий факел чадный,
 Владыка, кесарь, князь,
 Он для себя избрал ареною громадной
 Историю и грязь.

Как Рим при Клавдии, так ныне мир, немея,
Скрывая гнев и страх,
Глядит на этого огромного пигмея,
На всемогущий прах.

Он сфинкс чудовищный; он верит в обнаженный
Удачливый клинок.
Как сумрачный орел, как жалкий прокаженный,
Он в мире одинок.

Владея церковью и армией великой,
Он страшен и смешон.
Злодейство обвило багровой повиликой
Его со всех сторон.

Он правит Францией, он счастлив, как Тиберий,
Он преступленьем сыт,
А между тем судьба уже стоит у двери,
И мгла давно не спит.

И разум, светлый брат суровой Немезиды,
Чей лик бесстрастно тих,
Кует, считая все убийства и обиды,
Гремящий медью стих.

1

Четыре тысячи их было. В древнем Риме
Камилла, Гракхов мать, могла б гордиться ими.
Шестьсот теперь мертвы. Шестьсот! Сочти,

взгляни, —

В кустарнике густом валяются они.
К ним волки крадутся из сумрачной берлоги.
Пробитые виски, раздробленные ноги,
Истерзанная плоть... Таков земной конец
Неукротимых душ, восторженных сердец.
Предательство давно вокруг них во тьме жужжало,
И вот подстерегло — и выпустило жало.
Убиты, скошены, как сорная трава.
За что? За то, что честь, свободу и права
Вернуть в Италию хотели люди эти.
Взгляните, матери, пред вами ваши дети!
Ведь мальчика всегда в мужчине видит мать..
На эти волосы, на золотую прядь,
Прилипшую ко лбу над рассеченной бровью,
О мать, смотрела ты с надеждой и любовью.
Ты видишь этот рот, его немой оскал?
Он песенкам твоим, картавя, подпевал.
Сведенная рука, где в жилах кровь застыла,
Тебя беспомощно и нежно теребила.

Вот первенец лежит, вот младший сын... Увы!
Надежды рухнули! О, как боролись вы
За то, чтоб гордый Тибр катил свободно воды!
Не может молодость не требовать свободы.
Униженный народ хотели вы поднять,
Хотели, чтоб орел на воле мог летать.
Все беды родины, обиды, униженья
Взывали к вам без слов и требовали мщенья.
Всё счастье умели вы — но не врагов своих.
О, скорбь! Теперь ваш сон глубокий и вечно тих.
Не вы ль с невестами гадали о грядущем
По звездочкам полей, лучистым и цветущим?
Все кончилось для вас — и солнце и любовь...
И на слуге Христа невинная их кровь!

Небесный посланец, смиренья провозвестник,
Беззлобный пастырь душ и господа наместник!
Священные слова твердят твои уста;
Ты носишь грубую одежду из холста;
Ты с трона папского глядишь во тьму могилы;
К тебе ягненок льнет и голубь белокрылый;
Ты стар, и близится к концу твой долгий век;
На голове твоей давно белеет снег;
Ты проповедуешь высокое ученье
Того, кто возвещал любовь и всепрощенье;
Исполнен кротости, ты молишься за нас...
Скажи: что хочешь ты благословить сейчас
В юдоли, где душа вступает в бой смертельный? —
Убийственный огонь винтовки скорострельной!

О Юлии Втором нельзя не вспомнить тут:
Свирепые попы убийство свято чтут.
Под стать им короли, чьи молнии — измены,
Чьи громы грозные трусливы, как гиены.
Зачем французам честь и доблесть в наши дни?
Вдесятером идут на одного они.
Увы, о мой народ! Ты гнусно обесславлен:
Ты псом сторожевым к Италии приставлен:
Ты покоряешься пигмеям, исполин...
Дымящийся ручей струится с Апеннин.

Безжалостный старик! Ты, ты теперь в ответе
 За то, что в сумраке немые трупы эти
 Терзает с карканьем зловещим воронье.
 Пусть ночью забытье тревожное твое
 Беззвучно населят уродливые птицы,
 Иключающие во тьме кровавые глазницы.
 О, выстройся пред ним, скелетов мрачный полк!

Да, пушки в этот день исполнили свой долг:
 Есть чем похвастаться картечи перед нами;
 Не встанут мертвецы. Служи обедню в храме,
 Но все-таки проверь, отмыл ли руки ты,
 Чтоб кровью не пятнать евангеля листы.
 Ну вот, все хорошо, спокойно в мире снова,
 И процветает храм наместника Христова.
 Попам последний грош ирландец отдает.
 Склонившись до земли, безмолвствует народ:
 Он, как трава в полях, свистящих кос боится.
 В Витербо можешь ты, о папа, возвратиться!
 Царь славит небеса, пруссак победе рад...
 В ложбинах, в рытвинах, где мертвецы лежат,
 Визжит от радости, пирует род крысиный.
 Затоптаны поля, обагрены долины,
 И Гарибальди стал лишь призраком без сил,
 Бессмертным, словно тень героя Фермопил.
 Сияет папский двор; сам папа безмятежен,
 И благостен душой, и незлобив, и нежен.
 От радости готов он плакать без конца.
 Он хвалит армию, французов и творца,
 А более всего — могучую мортиру.
 Так молодой поэт, в свою влюбленный лиру,
 Не может не хвалить друзьям свой новый труд.
 Откуда этот стон? То раненых везут.
 Трубит победа в рог.

Предатели полезны.

Вчера, шурша парчой, нарядный и любезный,
 Ты поле посетил той бойни роковой.
 Сегодня, в жемчугах, в тиаре золотой,

Аудиенцию даешь, Христа избранник.
Когда-нибудь войдет в твои покои странник,
Изнемогающий от нищеты и ран.
Ты спросишь: «Как ты смел пробраться в Ватикан?
Ты беглый? Не могу ничем тебе помочь я.
Откуда на тебе овечьей шерсти клочья?»
Он скажет: «Я в пути ягненка долго нес.
Иду издалека. Я — Иисус Христос».

3

Апостолу — петля, борцу — тюрьмы объятья.
Вы с Джоном Брауном, о Гарибальди, братья!
Чего хотели вы? Освободить народ.
Везде — от тропиков до северных широт —
Ликует произвол и миром управляет,
И подлостям служить он совесть заставляет.
О, как презренны мы! Как нас унизил рок!
Коль плюнет в нас посол, мы примем и плевок.
Мы платим за добро монетою расстрела.
Ему ты отдал трон? Невыгодное дело!
Жандармом нужно стать, чтобы снискать почет.
А честный гражданин в изгнании живет!

Мы подлы? Ну так что ж! Не станем отпираться:
Лизать хозяина нам слаще, чем кусаться.
Поверьте, здравый смысл здесь логику найдет:
Герою — кандалы, а палачу — почет.
Чем недовольны вы? Сведен баланс на славу:
Предателя — на трон, святого — на расправу.
Резня — солдата долг. Разить солдат привык.
Всегда служила смерть в лакеях у владык.
К тому ж у лебедя с орлом — любовь без меры.
Покорность — наш пароль, картечь —
наш символ веры.

Солдат — лакей с ружьем. Для папы должен он
Добыть и почести и безмятежный сон.
Ужель отыщется такой смутьян лукавый,
Который посягнуть рискнет на наше право
Друг друга истреблять и рабски спины гнуть?
Не нужен вовсе нам прогресса скользкий путь!

Народ привык к тому, что в цепи он закован.
Он тем безгласнее, чем меньше образован,
И все, чем дорожить обязана страна, —
Налоги, эшафот, невежество, война, —
Опору верную себе находит ныне
В тюрьме, — не в ратуше, в рабе, —
не в гражданине.

Спешит всегда вперед свободный гражданин.
Коль Гарибальди он, то может в миг один
Всё разломать, разбить, нарушить все порядки,
И толпы, страх презрев, пойдут с ним без оглядки.
Понятно, что король и слуги короля
Трепещут и дрожат, о помощи моля,
Пока герой штыки или тюрьму не встретит.

Маяк, по мненью тьмы, виновен в том, что светит.

4

Неверную избрал ваш Гарибальди цель:
Земной наш идеал — не наскочить на мель
И, к берегу пристав, отдаться наслажденью:
Жизнь человека — тир с пристрелянной мишенью.
В чулане честность спит, наряд ее убог...
Всех доблестей венец — набитый кошелек!
Полезны короли. Мы быстро богатеем,
Служа их прихотям, потворствуя затеям.
Монарха высший долг — слепое мотовство.
Иметь цивильный лист — обязанность его.
Да, папа человек, не дух переодетый.
Он тоже государь. Ему нужны монеты.
Не может он ходить голодным и нагим.
Озолотив его, мы бога утвердим.
Бродить изгнанником, без крова и без пищи,
Пристало лишь Христу. Нам не по нраву нищий.
Зачем друг другу лгать? Возьмем любой пример:
О повышении мечтает офицер,
Мечтает генерал о маршальском мундире...
Что может быть важней, чем деньги, в этом мире?
Достоин похвалы и славы ренегат,
Когда чиновен он, всемогущ и богат.

Ганноверцы не зря себе снискали славу...
А тот, кому нужна и горести по нраву,
Пусть кончит жизнь свою на плахе: он — злодей
И сеет семена порока меж людей.
Пускай на каторге пожизненно томится
Диктатор, что казной боялся поживиться.

По духу родственны вояка и монах,
И папы, чорт возьми, не птички в небесах!
Чтоб истребить ростки гражданственной отваги,
У немцев палки есть, есть у испанцев шпаги,
А у французов есть цензура... Точно так
Жмет короля народ, как ногу жмет башмак.
Разносим же его в кровопролитных битвах.
Победу испросив в святых своих молитвах,
Духовный наш отец докажет нам, что кнут
Прекрасен, коль его Силлабусом зовут.
Винтовкою Шаспо мы восхищаться вправе.
Прогресс — наш идеал. Он воплощен в зуаве.
Свята для нас картечь, и трижды свят шакал,
Которого конклав главой своей избрал.
В наш неразумный век мы папу уважаем
За то, что, совестью бесплодно не терзаем,
Умеет от врагов спасти свою казну,
Навербовать солдат и объявить войну,
За то, что он кричит: «Смерть жаждущим свободы!»
Поет хвалы ядру, слагает пушке оды,
Не устает твердить: «Убий!» и, наконец,
Оружие, и сталь, и порох, и свинец
Своим солдатам шлет и, прекратив витийство,
Сам снаряжает в бой кровавое убийство.

5

Прижми к груди своей поруганный мандат
И гордо в путь иди, наш рыцарь и солдат!
Как стойко перенес предательский удар ты...
Призывный голос наш услышь, изгнанник Спарты!
Изгнанники Афин, тебя мы ныне ждем:
Войди сияющий в наш невеселый дом.
Скорей! Мы ждем тебя. Сроднило нас страданье.

Мы родину хотим создать тебе в изгнание,
Наш не согнувшийся и в поражение брат.
Знай, что изгнаннику всегда изгнанник рад.
Тебе мы скажем: «Рим — надежды имя ныне». —
«Париж», — ответишь ты. Оденет дымкой синей
Нас вечер, и звезда на небеса взойдет
И нам покажется предвестницей свобод.
Без ненависти нет любви к людскому роду.
О, как она сильна, когда попы свободу
Грозятся задушить и ввергнуть нас во тьму!
Какая ярость в нас бушует... Почему?
Да потому, что мы полны любви и боли!
Готовы в бой итти мы за народ в неволе,
Как за детеныша готов сражаться лев.
О брат мой, мы спаслись, крушение претерпев,
И поведем теперь неспешную беседу.
Ты будешь вспоминать палермскую победу,
Я вспомню горестный, поверженный Париж.
Гомера звучный стих ты волнам повторишь
И свой продолжишь путь, тернистый и опасный.

И вспыхнет вдалеке язык пожара красный.

6

О итальянцы, он опорой вашей был!
В себе пророка он с борцом соединил.
Он мог бы Рим вернуть возлюбленной отчизне
И, возвратив, поднять из праха к новой жизни.

Над ним величия сиял спокойный свет.
Уподобясь душой героям давних лет,
Он переплавил бы ваш Рим и воедино
Слил храбрость воина и доблесть гражданина.
Веллетри взял бы он, Везувий и Турин,
Капитолийский холм, и древний Палатин,
И Алигьери дух, и сердце Ювенала...
И, отковав людей из этого металла,
Он указал бы им титанов гордый путь.
Увы! В Италию он мог бы Рим вдохнуть.

Убийство свершено. Кто за него в ответе?
 Не папа. Не король. Ничтожны люди эти.
 Но кто убийца? Он. Тот человек из тьмы.
 Он среди нас живет. Его скрываем мы.
 Преемник черных дел Иуды и Синона,
 Презренный лицемер без чести и закона,
 Он тайно задушил Республику в ночи.

Вы славите его, монархи-палачи!
 Но тщетно множит он охранников отряды, —
 Упорно молния в него вперяет взгляды.
 Расплата близится. Она не за горой.
 Поэтому гремит на небе гром порой.
 Мрак ночи осадил дворцовые ворота.
 Неумолимая гроза зовет кого-то,
 Подобна мстителю у вражеских дверей.

Из глубины лесов, с болот и пустырей
 Несется приторный, тяжелый запах тленья,
 И тленьем пахнет храм в часы богослуженья,
 И, словно труп, елей удушливо смердит.
 Италия в цепях, и Мексика, и Крит,
 И Польша, и Париж, забывший об убитых,
 Похожи в наши дни на строй гробниц открытых,
 Как будто на земле, под взглядами светил,
 Полно безудержных, неукротимых сил,
 Убийство дикое раскрыло венчик алый —
 Чудовищный цветок планеты одичалой.
 Под грудой мертвецов земная скрыта твердь.
 Победу празднует властительница-смерть.
 Везде убитые — в полях и под скалами.
 Призыв к оружию парит над их телами.
 Они раскиданы, как пригоршни семян.
 Их подхватила смерть — всесильный ураган —
 И бросила потом на борозды свободы.
 Придет пора — они дадут величья всходы.
 Героя, мы вас ждем! А трупы пусть гниют.
 О рок таинственный, верши свой грозный труд.
 Отмечены клеймом жестокого страданья,
 Застыли мертвецы в недвижимом ожиданье.

Меж тем как, веселясь вокруг пышного стола,
Ликут короли, исполненные зла,
Меж тем как их олимп, вознесшийся над нами,
Сверкает золотом, и светится огнями,
И, снизойдя к толпе, показывает ей
Единство братское султанов и царей, —
Там, вдалеке от них, где веет ветер адский,
Смерть со стервятником целуются по-братски.
На праздник мерзостный слетаются в ночи
Орланы жадные, и луни, и грачи,
Кружатся ястребы, и, мертвых задевая,
Проносится ворон прожорливая стая.
На жертвы бледные убийственной резни,
Как камни, с высоты бросаются они,
Клеочут, каркают взволнованно и жадно
И плоть остылую терзают беспощадно.

8

Ты сном объят, народ... Проснись же наконец!
Нельзя тебе лежать, поверженный боец.
Ты спишь, а на руках — рубцов узор багровый:
Впивались долго в них тюремные оковы.
О, знаки страшные! Что сделал ты с собой,
Ты, не склонявшийся когда-то пред судьбой?
Сырому погребу Империя подобна.
Влачится жизнь твоя под властью ночи злобной.
Ты спишь. Забыто все: свобода, и права,
И гнусный заговор, и неба синева.
Лежишь, охваченный тупым изнеможением,
И небеса гневишь своим уничижением.
Так пробудись, гигант, от низменного сна!
Игра могучих мышц пусть будет всем видна.
Спать беспробудным сном пристало только зверю.
Ты утомлен? Ты глух? Ты умер? Нет, не верю!
Ужель сквозь забытие, сквозь толщу глухоты
Паденья своего не ощущаешь ты?
Ты слышишь, над тобой шаги и взрывы смеха!
Ликут короли, и ты им не помеха.
Ты спишь средь нечистот. Ужель ты все проспал,
И гордый гражданин животным выучным стал?

Но даже бык в ярме бывает непокорным!
Ты слеп? Так ощупью иди во мраке черном!
О павший исполин, пришла пора, вставай,
В крошечной этой тьме на поиски ступай, —
Величье иль позор порой найти в ней можно.
Ограду мрачную ощупай осторожно:
Таится иногда неожиданное во мгле.
Бесшумно проводи ладонью по земле —
И в темноте, ведом свирепую отвагой,
Сумеешь завладеть мечом иль острой шпагой.

1867

На баррикаду лег неверный луч рассвета.
Она еще была в туман и дым одета.
Мне руку стиснул Рей, сказав: «Боден убит».

Казалось мне, что он не мертв, а только спит.
Спокойный, как дитя, что разметалось в зыбке,
Суровые уста он приоткрыл в улыбке.
Он прочь был унесен друзьями.

И потом
В изгнании не раз мы думали о нем,
Чей светозарный дух в тот день витал над нами,
Рассеивая мглу Парижа, словно пламя,
И говорили мы: «Судьбою взыскан он!»

Страдая, мы тебе, чей непробуден сон,
Завидуем. Блажен сошедший в сумрак гроба!
Усопший и живой — равно бессмертны оба,
И потому всегда в раздумии глядит
Вослед тому, кто пал, тот, кто еще стоит.
Но в этом мире, где, как будто скалы в море,
Мы тонем в мерзости, бесстыдстве и позоре,
Где люди, суется как мошки, отдают
Свое грядущее за краткий хмель минут,
И ради оргии идут на униженья,
И, погружаясь в грязь, вопят от восхищенья, —
Как милостью небес не посчитать свинец,
Которым был пронзен мыслитель и боец!

Как не закрыть лица пред цепью преступлений
Нерона, пьяного от гнусных наслаждений,
Который, устремив тупой, бесстрастный взор
На злодеяния свои и наш позор,
Безумную игру затеял с грозным богом
И в торжестве своем, ужасном и убогом,
Клятвопреступною и грязною рукой
Угрозу гибели заносит над страной!
Как не воздать хвалы внезапным ласкам смерти,
Которою взнесен наш дух к небесной тверди,
Где звезды встретят нас, в бездонной тьме горя!
Изгнание — это ночь, а смертный час — заря.

Когда сражен герольд прогресса и народа,
Когда незримый перст низвергся с небосвода
И оторвал от уст глашатая трубу,
Когда Бонапарис мертв и Байрон спит в гробу,
Когда в безвременной могиле охладели
Останки четырех сержантов Ла-Рошели, —
Рыдают нации, и горе клонит их
К земле, как ураган — хлеба в полях густых.
Священны павшие. Они живут меж нами,
Воспламеняя нас своими именами.
Они — надежды луч, они — пример живым.
Пускай повсюду мрак — их свет неугасим.
Их твердый взор в борцов уверенность вселяет.
Их образ с детских лет в мужчине оставляет
Желанье гордое стать с ними наравне.
И в час, когда опять в небесной вышине
Свобода, заалев, восходит над землею,
Их тени мощные сливаются с зарею.

Усопший для живых становится вождем.
В такие дни, когда все рушится кругом,
Когда история дрожит в руках бандита,
Когда злодействует преступник неприкрыто,
И дерзко маску рвет с бесстыдного лица,
И добивается в конце концов венца;
Когда пугает всех нахальная бравада,
И совесть робкая, не поднимая взгляда,
Крадется, словно вор, таясь; когда на лбах
Поставили свое клеймо позор и страх, —

Отраднo увидать глухой порой полночной,
Что саваны во тьме белеют непорочно,
Что те, кто опочил под сенью гробовой,
Полны таинственной и строгой чистотой.
Усопших мертвыми считаем мы напрасно.
Усопший — это дух, который ежечасно
С народом из-за туч неслышно говорит.

Мертвец не тот, кто мертв, а тот, кто позабыт.
Изгнанник — вот кто мертв. «Что с родиной моею? —
Он горько думает. — Разбойник правит ею.
Рабыней сделалась великая страна.
Бесчинствует тиран. Безмолвствует она!»

Изгнанник, свыкнись с тем, что за твои лишенья
Наградой тебе — насмешки и забвенье.
Иного хочешь ты! Тогда иди вперед!
Куда? В могилу, в ночь, в моря, где шторм ревет.
Раз даже истина становится обманом,
Раз Августы идут вослед Октавианам,
Раз тот, кто был вчера святым, теперь злодей, —
Изгнанник, будь немым.

И звук людских речей
И ропот волн полны иронии жестокой.
Ненужный сеятель, напрасно одиноко
Ты в борозду сердец бросаешь семя дум.
Глумленьем над тобой звучит холодный шум,
С которым жизнь вокруг катится непрестанно.
Не слышен голос твой за ревом океана.
Ты — гость у тех, кому милы в своей стране
Свобода и закон, но деспотизм — вовне.
Ты видишь англичан, хвалящих Бонапарта,
И Лондон-Карфаген, где затерялась Спарта,
Где курят фимиам насильникам любым.
Тоскливо ты бредешь по стогам городским,
И, равнодушием исполнена без меры,
Косится на тебя толпа, как на Гомера.

15 июля 1868

Вы говорите мне:

«Столь долгий гнев жесток!

Так даже не казнит неумолимый рок.

Вам ненавистный строй явился ли преградой
К тому, чтоб зрел миндаль и гроздья винограда?

Чтоб солнце вешнее дарило свет лесам,
Рождая аромат, и жизнь, и птичий гам?

Как, разве за лета преступной власти этой,

За долгих двадцать лет, остались неодеты

Деревья зелены, весне наперекор?

Как, разве старый дуб, который с давних пор

Трудился, с трепетом за ветвью ветвь рождая,

Сказал вдруг: «Я устал. Голубок белых стая,

Малютки снегири, покиньте эту сень.

Я кончил». В дни весны какая же сирень

Не расцвела и бук, разбуженный зефиром,

Не осенил листвою Вергилия с Титиром?

Кто из дубов за вас? Где стройный тополь тот,

Который бы не цвел, чтоб продолжать свой род?

Пусть Бонапарт — Аман, вы ж — Мардохей, но ивы

Вступились ли за вас толпой своей шумливой?

Какое дерево свой задержало рост

И, зная, что никто не должен видеть гнезд,

Их благодетельной листвою не покрыло?

Весной, прекраснее Пелайо и Ахилла,

Со светочем в руке нисходит с гор крутых

Освободитель май в доспехах голубых.

Он гонит зиму прочь, он гонит прочь морозы,

И из темницы он освобождает розы;
Тяжелый ледяной срывает он замок,
Чтоб вышли на поля акации и дрок.
Уж двадцать лет прошло, и с каждым все пышнее
И рощи юные и старые аллеи,
И шумом голосов наполнен свежий лес».

Я, солнце, справедлив: под синевой небес,
Где проплываешь ты без гнева и волнения,
Я вижу, как расгут леса и преступленья.

8 мая 1869

«Мой брат, порядка вы и общества спаситель!» —
«Мой брат, вы дерзкого народа усмиритель!
Ах, эта Польша! Нас она изводит всех!» —
«О брат мой! Вам везде сопутствует успех:
Париж покорен вам, вы — покровитель Рима». —
«Елачич молодец! Ваш Муравьев, вот имя!» —
«У вас есть Канробер, он не чета Бюжо!» —
«Токайским чокнемся!» — «Иль вашим кло-вужо!» —
«Любезный брат, у нас была когда-то ссора,
Но я всем сердцем ваш!» — «Причиною раздора
И той войны — не я!» — «Победною рукой
Разбили вы мой штаб!» — «Все знают, вы герой!» —
«Вы гениальны!» — «Да, но ваша храбрость выше». —
«Народ кричит: виват!» — «И я с восторгом слышу
Все эти возгласы, несущиеся к вам». —
«Народ у вас в руках.» — «Но вас он обожает,
Меня же только чтит». — «Приятно расцветает
Жизнь светская у вас. Обилие балов...
Все это удалось вам просто, без трудов!»

Так за десертом царь и император ввали,
А мертвецы в земле зловеще хохотали.

1868

«А сколько лет тебе? Где родина твоя?» —
«Шестнадцать минуло. Жила в Обене я». —
«Обен? Там, кажется, шахтеры бунтовали?» —
«Нет, бунта не было. Нас просто убивали». —
«Что добывают там, скажи?» — «Голодный мор». —
«Да, каторжник живет счастливей, чем шахтер.
Но ты, дитя, ужель ты гнула в шахте спину?» —
«Да. Мне платили су за каждую корзину.
Мой старый дед убит был взрывом наповал.
Лишился брат ноги — и вот калекой стал.
Об этом долго шли в поселке разговоры.
Отец мой, мать и я — мы все в семье шахтеры.
Работа нелегка, бранился мастер злой...
Когда кончался хлеб, нам уголь был едой.
Я как скелет худа, и мне мешает это». —
«Как в подземелье раб, шахтер не видит света». —
«Увы, все это так! Спускаешься на дно,
Кругом так холодно, и скользко, и темно.
Струится вечно дождь, хоть неба нет в забое.
Под сводом земляным бредешь, согнувшись вдвое,
Потом ползешь в воде, и мрак везде глубок,
И надо укреплять нависший потолок.
Порой приходит смерть. Она как гром грохочет.

Ничком ложатся все. Спастись ведь всякий хочет.
Кто не убит — встает. Еще чернее мрак.
Шахтер в своей норе не человек — червяк.
Бывает, повезет — в длину проходит жила.
А если в высоту? Ведь это — как могила.
Потеешь, кашляешь; бросает в холод, в жар;
И кажется, что спишь и давит грудь кошмар.
Не люди под землей, а привиденья бродят». —
«Крестьяне, что в нужде всю жизнь свою проводят,
Богаты воздухом». — «Мы задохались там». —
«Вы жаловались?» — «Да. Просили, чтобы нам
Работу тяжкую немного облегчили,
И помогли бы жить, и больше бы платили». —
«Что вам ответили?» — «Что мы должны молчать.
Хозяин в гневе был и в нас велел стрелять.
Отец мой был убит, мать с горя помешалась». —
«И ты совсем одна?» — «С братишкой я осталась.
Он без ноги. Должна я помогать ему.
Просила хлеба я — запрятали в тюрьму,
И не понять, за что. Бог не дал мне рассудка». —
«Так что ж ты делаешь теперь?» —
«Я — проститутка».

*

Других мы женщин вам покажем. Им творец
Здесь, на земле, создал прекраснейший дворец.
В нем роскошь, и покой, и празднества, и счастье,
И пурпур, и лучи, и блеск, и сладострастье.
Как зори алые — рубины в тьме волос,
И неприступных нет ни женщин там, ни роз.
То лета вечного чудесная обитель,
И в ней среди цветов мечтает повелитель.
Оркестры на воде по вечерам гремят;
Дианы мраморной всегда холодный взгляд
Встречает бледный взор луны, томленья полный,
Под веслами журчат серебряные волны;
В притихшей темноте не умолкает зов
То флейт задумчивых, то грустных соловьев;
Смутит фанфары звук молчание ночное,
И испугнутый олень бежит от водопоя.

Различье велико меж синью в вышине
 И черной тучей. Да. Но пусть ответят мне —
 Не бездна ли одна скрывается за ними?
 Быть может, во дворце, чье прогремело имя,
 Средь женщин царственных, слепящих красотой,
 Напоминающих богинь античных рой,
 Толпою праздничной собравшихся вокруг трона,
 Как звезды вокруг луны на глади небосклона,
 Средь этих королев, чьи так нежны уста,
 В ком словно светится рассвета чистота,
 Кто в роскоши живет, забот и бед не зная;
 Быть может, среди них отыщется такая, —
 И не одна, увы! — которая без слез
 На ваш суровый взгляд, на ваш прямой вопрос
 С глухою горечью и искренностью жуткой
 Ответит: «Да, теперь я стала проституткой».

12 августа 1869

Здесь право поправно. У силы же ответ
 На все вопросы дня — «давить». Иного — нет.
 Везде — голодные, какой ни вспомнишь город:
 Худеет Франция от своего позора.
 Прибавки труженик потребует — и вот
 С ним пушка разговор в открытую ведет,
 Чтоб ярость нищеты глушили гром и пламя.

Мы сжали Африку железными тисками,
 Там весь народ кричит и стонет: «Дайте есть!»
 Вопят Оран, Алжир — измученных не счесть.
 «Вот, — говорят они, — вся щедрость, на какую
 Способна Франция: едим траву сухую».
 О, как тут не сойдет с ума араб-бедняк?
 Я вижу женщину, что, прячась в полумрак,
 Жует... У ней в глазах — отчаянье пустое.
 «Что ты тут делаешь?» — «Я ем». — «А что такое
 Там, в котелке твоём, на тлеющих углях?
 Чьи это косточки хрустят в твоих зубах?
 Чье мясо ты сейчас голодным ртом хватала?» —
 «Ребенка мертвого», — ответит мать устало.

Но — нету правды там, где беспристрастия нет.
 Поищем в этой тьме какой-нибудь просвет.
 Твердите вы свое; везде одни страдания,
 И слезы горькие, и тяжкие рыдания
 Голодных, словно их швырнул морской прибой
 На скалы голые. И вы твердите свой

Припев: везде нужда и плач. Да неужели?
С другой бы стороны вы лучше посмотрели!
Ну что? Пирьы, балы, сияющая сень
Дворцов: зимою — Лувр, на лето же — Компьень.
Готовьте же стихов бичи и скорпионы, —
Ну как им отрицать роскошные салоны,
Жареты, празднества? И это — нищета
И скудость тощая угрюмого поста?
Показывать всегда нужду — прием нечестный,
Всё бедняки у вас. Но вот богач известный:
Взгляните на него! Что скажете? Ведь он
Что хочет делает — и то, чем увлечен,
Имеет, пышностью украшен поэтичной.
Посмотрим, сможет ли ваш пафос риторичный
В довольстве царственном какой-нибудь обман
Заметить и найти, что все же есть изъян
В подобной роскоши: неполновесны груды
Столовой утвари, серебряной посуды?
И худы кучера? И в жалких галунах?
Жокеи на плохих красуются конях?
И золото, волной бушующее пенной
На этих карточных столах, — неполноценно?
Ну нет, хозяин здесь не знает постных дней:
Он всемогущим стал, чтоб пировать пышней.
Он счастлив. Жизнь легка. Где бунтари лихие?
Он — бог. Вокруг него — богини молодые.
Поплывать хочется? Поедем в Биарриц;
А после — в Фонтенбло, где лес, и пенье птиц,
Охота, и пикник, и на лужайке танец,
И гроздий золото, и девушек румянец.
Одержана была победа в декабре.
Что ж, можно и мечте отдаться и игре,
Упитаться прелестью полей, дубрав пустынных,
Прудов сияющих и крыльев лебединых.

ИЗ КНИГИ

«ПОСЛЕДНИЙ СНОП»

(Посмертное)

КУЗНЕЦЫ

Взгляни, вон кузница, и там — два силача
В багровых отсветах пылающего горна.
Как искры сыплются! Не плющат ли сплеча
Два демона звезду на наковальне черной?

Над чем же трудятся два мрачных кузнеца?
То гордый ли клинок иль скромный лемех плуга?
Прислушивается к их молоту округа.
Он пробуждает дух и веселит сердца.

Куют ли меч они или куют орало,
Железо мирное иль боевую сталь, —
Они работают! Над ними солнце встало,
Раскинулась вокруг сияющая даль.

*31 октября 1840
Дорога из д'Эперне в Шато-Тьерри*

О смерть! О грозный суд! Возмездье! Воздаянье!
О бездна, — ты удел всего, в чем есть сознание!
И каждый, падая в тебя, всегда — один!

Скончался тот, кто лишь вчера был властелин.
Колокола гудят, им пушки громом вторят;
Все звуки медные друг с другом в небе спорят.
И ветер шелестит: «Склонитесь! Он почил!
Он, тот, кто властвовал, кто правил, полный сил,
Он, говоривший «Мы!» — помазанник священный!
Избранник божий! Тень создателя вселенной!
Теперь он в небесах, превыше всех владык!
Велик он в жизни был, и в смерти он велик!»

И толпами народ сбегается в печали;
Рядами факелы вдоль улиц запылали.
Вот траурный кортеж: гвардейцы впереди;
За эскадронами — горнисты; посреди
Роскошный катафалк, убранством ослепляя,
Над всеми высится, в сиянье утопая;
Блестит и плывет огромный мавзолей,
По ветру расплескав султаны лошадей,
Курений аромат, знамена развитые,
И складки пурпура, и кисти золотые.
Вся слава смертного — приманка для глупцов —
На дорогах предстает: вот царственный покров,

Венец со скипетром и шпага; гроб и тело.
Столицу скорбную, что ныне овдовела,
Окрестные поля, селенья — все собой
Заполнил топот ног и барабанный бой.

Теперь послушайте.

О, помысел ужасный!
Меж тем как шепчут все: «Вот он! Державный!
Властный!

Кому служил сам бог, к нему склоняя слух», —
Вселился, может быть, он, темный, мрачный дух,
В одну из лошадей упряжки погребальной,
Влекущей в ночь и мглу сей поезд триумфальный.

Он вспомнить силится: «Где я?» — тоской знобим;
Он чует позади свой труп, влекомый им;
Он видит свой дворец; он узнает лакея,
Который говорит ему: «Пошел живее!»
Воскликнуть хочет он: «Взгляните — это я!»
Но челюсть стянута узлом небытия.
И между тем как он, в чудовищном обличье,
Свой Лувр и свой Версаль минует, в их величье,
Свой Эскурьял, свой Кремль иль свой Виндзор,
с гербом —
Зубчатой башнею, иль царственным орлом,
Иль белой лилией, — его возница хлещет
Во имя падали бичом, а он трепещет.

Презренный, заключен в коне он ломовом,
Всем, что есть вечного, всем, что казнится в нем,
Впряженный в то, чему с природой должно слиться;
Бессмертный, тащит он свой тлен на колеснице.
О ужас! В день, когда сияет в небесах
Блеск имени его, а вензель на стенах
Сверкает золотом, надменный, величавый;
Когда торжественно над солнцем этой славы
Аббатство Сен-Дени, как черный саркофаг,
Простерло траурный, суровый полумрак,
Где свечи теплятся, горят паникадила,
Как будто на земле небесные светила

Ночь скорбная зажгла для этих похорон;
Когда склоняется пред гробом строй знамен
И новый Боссюэ, в пылу хвалы усердной,
О мертвом говорит, что, правый, милосердный,
Он славен и велик, как мир великий сам, —
Душа, под свист кнута, отвозит плоть к червям.

Итак, мой юный друг, вы не поклонник прозы?
Вы любите стихов властительные грезы.
Что ж, предпочтем стихи. Пускай. Хотя едва ль
Не больше, чем Корнель, искусству дал Паскаль.
Стихи божественно вещают о высоком,
Мыслитель может стать в поэзии пророком.
Но проза Тацита, Вольтера иногда
И человечнее и менее горда,
Не столь возвышенна, но и не так сурова;
И если стих — Глагол, то проза — это Слово.

АПРЕЛЬСКИЙ ВЕЧЕР

Тот вечер первых дней апреля
И ты и я
В своих сердцах запечатлели,
Любовь моя!

Мы шли с тобою по столице
Порою той,
Когда на город ночь ложится,
А с ней покой.

И в этот светлый, строгий, чистый
Вечерний час
Все было тайною лучистой
Полно для нас.

Все — звезды окон, лик Венеры
На небесах
И гордый блеск любви и веры
В твоих глазах.

В старинном и глухом квартале
Навстречу нам
Две призрачные башни встали
Над Нотр-Дам.

Хотя над Сеной облаками
Клубилась мгла,
Сверкали волны под мостами,
Как зеркала.

Ползя по отмели, блестела
Вода реки,
Как сонный уж, влачащий тело
Сквозь тростники.

Вдоль берегов прохожих тени
В тиши ночной
Мелькали, словно сновидений
Неясный рой.

И я сказал: «Благословенны
И свет и звук.
Творец гармонию вселенной
Разлил вокруг.

Лучи зари, огонь заката
И утро вновь...
И сердце радостью объято,
Моя любовь!

Пускай вечерний мрак сгустился,
И небосвод,
Как крышка гроба, опустился
На мир с высот!

Пускай Париж, забвеньем пьяный,
Охвачен сном,
И плотным саваном туманы
Лежат на нем!

Пускай сейчас, когда печально
Угаснул день,
И как из урны погребальной
Струится тень,

И ночь покровом плоть и волю
Спешит обвить, —
Живых во тьме от мертвых боле
Не отличить!

Пускай весь мир окован властным
Безмолвьем сна,
Но ты со мной — и солнцем ясным
Душа полна!»

Как этот миг, о дорогая,
Прекрасен был!
Рукой твою ладонь сжимая,
Я говорил,

А ты в молчании внимала
Моим словам
И сердце сердцу отвечало,
Глаза — глазам.

Ты под ресницами таила
Слезу порой.
Потом и ты заговорила
Вослед за мной,

Как эхо эху в древнем храме
Дает ответ,
Как стриж взмывает над лугами
Другому вслед.

Сказала ты: «Люблю и страстью
Своей горда!»
И ярко озарило счастье
Меня тогда.

Часы блаженные летели...
Любовь моя,
Ты помнишь эту ночь в апреле,
Как помню я?

*

Но, отдаваясь разговору
И власти грез,
Которыми томишься в пору
Любви и роз,

Мы вдруг увидели, что в волны
Из синих туч
Луна бросает ласки полный
И светлый луч.

И, как чело в часы покоя,
Чиста, ясна,
Глядит на счастье людское
С небес она.

Сказала ты: «Во тьме мирьяды
Светил блещут!
Все чувства, помыслы и взгляды
К творцу летят.

Ничто не пропадает тщетно:
Огонь и прах,
Порыв отваги беззаветной
И крылий взмах,

Веселый щебет в роще темной
Со всех сторон,
Задумчивый и грустно-томный
Сердечный стон,

Мечтания души влюбленной
И пыл страстей —
Природа все хранит в бездонной
Груди своей.

Покорно все ее законам,
И в свой черед
Шумит листва в лесу зеленом,
Трава растет,

Моря и города смолкают
В объятьях тьмы,
Звезда горит, валы сверкают,
И любим мы.

Мы, как и все, что жить стремится,
Должны любить,
А это значит: с богом слиться,
Людей забыть;

Тянуться к яркому восходу,
Как стебли трав;
Жить, всю безмерную природу
В себя вобрав;

Вступить под сень бывшего рая,
Где человек
Невинен был, стыда не зная
На лоне нег.

Так будем счастливы, любимый,
Здесь, на земле!
Ведь в этот час, когда одни мы
Не спим во мгле,

Презрев тщеславье, этот бренный
Людской кумир,
Войдя частицею смиренной
В бескрайний мир,

Как в храм, где тень вослед за нами,
Дрожа, скользит
И нас свечи незримой пламя
Вперед манит, —

За всем, что мы таим глубоко
В своих сердцах,
Следит недремлющее око
На небесах.

Мой друг, мне чуждо колебанье!
Мне мужем стань!
Любви, как мы, все мирозданье
Приносит дань.

Любовь — во всем! Внимай, упейся:
Морской коралл,
Лесные шумы, эдельвейсы
Альпийских скал,

Барвинок на краю тропинки,
Весенний мох,
Стихи поэта, блеск росинки,
Улыбка, вздох,

Румянец неба, что рассветом
Озарено, —
Все, что прекрасно в мире этом, —
Любви полно.

Всесильной, ей довольно слова,
Чтоб молодой
Апрель украсить розой новой
Иль ночь — звездой,

Чтоб в сердце, опаленном гневом,
Разлить елей,
Чтоб дать отвагу робким девам,
Смягчить мужей!»

Звучал твой голос вдохновеньем
В тот тихий час,
И слушал я его с волненьем,
Как божий глас,

С которым под беззлобный ропот
Ночных ветров
Сливается неясный шопот
Густых лесов.

Август 1844

Нет, ты отнюдь не та Республика святая,
Которую мы ждем, о будущем мечтая!
Не та, что вызовет прекрасных душ расцвет,
Изгладит навсегда злых побуждений след,
В подлунной утвердит навеки мир желанный,
И звуки чистые торжественной осанны
Исторгнет из сердец, и даст закон иной,
Сулящий нам не смерть, а счастье и покой;
В единую семью соединит народы;
Всем без различья даст вкусить от благ свободы;
Голубизну небес на землю низведет
И обогреет всех теплом своих щедрот;
Пред нами явится не худосочной тенью,
А Мировой Душой, чье дивное цветенье
Господней волею открылось для очей,
И людям ниспошлет поток своих лучей...

Не сходна ты и с той богинею ужасной,
Которая рукой бестрепетной и властной
Разбила старый мир, и новый создала,
И вглубь гигантского кипящего котла
Швырнула страшный год вслед за великим годом.
Сравнявшим короля и знать с простым народом,
И, к золоту свинец тем самым подмешав,
Сумела выварить звенящий твердый сплав.
Не знать тебе вовек величия и славы:
Твои деяния уклончивы, лукавы;
Ты не смогла спасти знамен французских честь,

Занять людей трудом, стране покой принести;
Ты не признала прав отверженных и нищих,
Не озарила ты надеждой мрак жилищ их;
Себе соорудить могла бы ты алтарь,
Низвергнув эшафот зловещий, но, как встарь,
Гнетет людей закон бессмысленный и жесткий,
Ты свято бережешь позорные подмости,
И невдомек тебе, что усмирить народ
Способен только хлеб — отнюдь не эшафот!
Ты не возвысила того, кто был унижен,
Встревожила дворцы, не успокоив хижин,
Не пожалела тех, кого томит тюрьма.
О, порождение бессильного ума
Собраний косных! Ты путями непрямыми
Идешь, ведомая слепыми и хромыми.
Не увенчала ты собой отчизны храм.
Благословения не жди своим делам!

Едва забрезжит день, я расстаюсь с постелью,
Разбуженный зарей, веселой птичьей трелью,
Порывом ветерка или шуршаньем ив,
И сразу же берусь за труд, опередив
Семью рабочего, чей дом — через дорогу.

Уходит ночь, и мрак редет понемногу;
И я ищу меж звезд любимую звезду,
Хожу по комнате, и думаю, и жду
Рожденья замысла и появления солнца.
Чернильница стоит у самого оконца,
Распахнутого в сад, увитого кругом
Росистым сумрачным разросшимся плющом.
И на мое лицо ложится тень густая,
И я пишу, перо о листья отирая.

Известен ты иль нет, велик ты или мал, —
 Но если в творчестве всю душу изливал,
 То знакам, — что и ты и я — мы все чертили
 На свитках золотых, как сладостный Вергилий,
 В железных библиях, как величавый Дант, —
 И плоти нашей пыл и пламень сердца дан.
 Ведь книга и поэт, создатель и творенье,
 Всегда в мучительном и тесном единенье,
 И наше детище так полно в нас живет,
 В крови у нас бурлит и слезы наши льет,
 Так чувствуем его глубоко с нами слитым,
 Что в первый раз, когда в театре, всем открытом,
 Прославленная Марс, Фирмен и Жоанни
 Для нашей публики сыграли «Эрнани»,
 Мой дух стыдливостью смутился оскорбленной.
 До этого во мгле, звездами озаренной,
 Бандит и донья Соль, в лесу поющий рог,
 Руй, Карлос — были все мечтой, с которой мог
 Я в творческом бреде непостижимо слиться.
 Я слышал речи их и ясно видел лица,
 В священном трепете живя среди теней,
 Блуждающих в душе взволнованной моей.
 Нашествие толпы казалось мне изменой.
 Когда услышал я, томясь один за сценой,
 Как машинисту был короткий дан приказ —
 И все скрывавшая завеса поднялась, —
 Мне вдруг почудилось, что всем из зала видно:
 Здесь тайное души обнажено бесстыдно.

Джерси, сентябрь 1852

Как всюду, о пришельце новом
Здесь говорят. «Откуда он?»
Изгнания холодом суровым
Я все сильнее окружен.
Не вижу родины далекой.
На смену радости высокой
Пришли надолго дни тоски.
Уже меня зовет могила,
Душа усталая застыла,
И снег ложится на виски.

1868

Как! Отрицаешь ты души существование?
 Но это — луч зари! Но это — солнца свет!
 Способен лишь слепой сказать, что солнца нет.

Душа — везде: она — и стон, и вопль, и слово,
 Она — мысль мудреца, она — экстаз святого.

Когда исполненный достоинства Катон
 Был непоколебим; когда, как гром, Дантон
 С трибуны прогремел: «Ужасен гнев народный!
 Страшитесь, деспоты, проснулся лев голодный!
 Час Революции пробил — и пал король!»

Когда встал Цицерон и произнес: «Доколь
 Ты будешь истощать терпенье, Катилина?»

Когда у Иова страдания лавина

Крик возмущения исторгла из груди:

«Я стражду, господи! Довольно! Пощади!» —

То все они в ночи, над миром вставшей глухо,

Свой прочертили след, как метеоры духа.

ДРЯХЛЫЙ ГОРОД

Все в этом городе застыло, одряхлело;
Он — словно старое, бесчувственное тело,
Где жар души остыл, угас огонь ума.
Брюзгливо хмурятся надменные дома,
Окраска их давно слиняла и поблекла;
Блестя, как слизняки, подмигивают стекла,
Встречая путника гримасою кривой;
Ступеньки — в трещинах и поросли травой;
Проказа плесени — на ветхой штукатурке;
В глубоких нишах стен попрятались фигурки
В камзолах, с брыжами, по моде давних лет;
Тут — вычурный фронтон, там — башни силуэт;
Как ручки у корзин, согнулись арок дуги.
Убогие дворцы! Роскошные лачуги!
Упадок, нищета — они всего видней
В ужасной наготе играющих детей.
Десяток жалких лип, уродливых и старых,
Огромные замки на каменных амбарах,
Порталы мрачные, где на цепях внутри,
Как мертвые тела, повисли фонари,
На редких вывесках готические буквы —
Вот в этом городе что видите вокруг вы.
Вам днем не по себе и жутко в поздний час.
Вы здесь встречаете все тех же всякий раз
Старух и стариков, зловещих и нелепых.
В унылых логовах, в заброшенных вертепах,
Где время, кажется, свой прекратило бег,
Брюзжит и злобится от нас ушедший век.

**LYRNESI DOMUS ALTA; SOLO LAURENTE
SEPULCRUM¹**

Дни осады Парижа. Декабрь 1870

Над морем высится, дубами окаймленный,
Гранитный остров мой, где, родины лишенный,
Я свой приют обрел.
Отважно он отпор дает ветрам холодным;
Ночует здесь гроза, как вождь в шатре походном,
Как на скале орел.

Я полюбил тебя, друг верный и суровый!
Как часто я смотрел на горизонт свинцовый,
На бурный океан,
И думал я: мое да будет погребенье
Тут, в хаосе камней, тут, где в ожесточенье
Бушует ураган.

Но нынче я узнал: на подступах к Парижу
Идет жестокий бой. И я отсюда вижу,
Что мой Париж восстал,
Что люди там вершин бесстрашия достигли,
Что там разгневанный народ кипит, как в тигле
Расплавленный металл.

Так пусть я встречу смерть на той земле священной,
И пусть останется девизом жизни брэнной,
Начертанным в веках:
«Мой дом — в краю дубов, на каменной твердыне,
А у геройских стен, венчанных лавром ныне,
Покоится мой прах».

¹ Дом высокий в Лирнесе; на земле Лаврента — гробница (лат.).

Религии сверлят свои ходы в земле,
Чтоб солнце истины сокрыть от нас во мгле.
Во мраке ханжества мы тщетно ищем веру;
Бог создал яркий свет, поп — темную пещеру.

Слепцу чувствительность даруют небеса:
Ему дан острый нюх охотничьего пса,
Вкус, осязание слепого — беспримерны,
А изощренный слух, как слух пугливой серны,
Преображает в гром шуршанье ветерка
И трели соловья — в мычание быка.
Утонченности чувств он образец ходячий!
Вот слух! Вот нюх! Вот вкус!.. Все так,
но он — незрячий.

КОММЕНТАРИИ

В настоящий том включены избранные стихотворения из следующих поэтических сборников Виктора Гюго: «Грозный год», «Искусство быть дедом», «Четыре ветра духа», «Легенда веков», «Все струны лиры», «Мрачные годы», «Последний сноп».

При характеристике сборника «Грозный год» следует иметь в виду те общественные события, которые происходили во Франции в начале 70-х годов XIX века.

Правительство Наполеона III вело многочисленные агрессивные войны, отвечавшие захватническим интересам крупной буржуазии и имевшие в то же время целью помешать росту революционных стремлений трудящихся масс.

В 1870 г. Наполеон III, стремясь укрепить свое господство, предпринял войну против Пруссии. Происшедшая 4 сентября 1870 г. революция свергла бонапартистский режим. С исчерпывающей ясностью писал Маркс во втором воззвании Генерального совета Международного товарищества рабочих о франко-прусской войне: «Мы не заблуждались насчет жизнеспособности Второй империи. Мы не были также неправы в своем опасении, что для Германии «война потеряет свой чисто оборонительный характер и выродится в войну против французского народа». Оборонительная война действительно кончилась сдачей Луи Бонапарта, капитуляцией при Седане и провозглашением республики в Париже»¹.

Гюго возвратился из изгнания во Францию 5 сентября 1870 года, на другой день после провозглашения Третьей республики. Парижане устроили ему торжественную встречу. Поэт обрел новые силы для жизни и борьбы.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения в двух томах, т. I, Госполитиздат, 1952, стр. 450.

В эти исторические дни Гюго обращается к своим соотечественникам с патриотическими прокламациями, в которых призывает народ к защите Франции и ее столицы против бисмарковской Пруссии.

В январе 1871 года, после заключения перемирия с Пруссией, изменники-генералы сдали Париж немецким войскам 13 февраля Гюго, избранный депутатом Национального собрания, уезжает на заседания Национального собрания в Бордо. Однако на этот раз парламентская деятельность Гюго продолжалась очень недолго. уже 8 марта он подал в отставку, выразив этим свой протест против решения реакционного большинства собрания о лишении депутатского мандата итальянского революционера Гарибальди, сражавшегося в рядах французских войск против Пруссии.

Провозглашение Парижской Коммуны вызвало сочувственные отклики среди рабочего класса других стран Маркс и Энгельс повели агитацию во имя торжества дела Коммуны, поддерживали с нею связь, давали советы ее руководителям

После подавления Коммуны начался белый террор, поддержанный всей международной реакцией. Так, бельгийское правительство объявило, что оно не признает коммунаров политическими изгнанниками и намерено выдать их версальским палачам. Гюго, находившийся в этот момент в Бельгии, был возмущен проявлением классовой ненависти к коммунарам. В одной из бельгийских газет он поместил резкий протест против решения бельгийского правительства и объявил о том, что «всякий побежденный парижанин, всякий из участников Коммуны, которая отвергнута Парижем и которую я со своей стороны никогда не одобрял, может постучаться в мою дверь, и, будь он моим личным врагом, я ему открою. В моем доме он неприкосновенен»

В ночь после опубликования этого письма на дом Гюго в Брюсселе было совершено нападение банды «золотой молодежи», вслед за тем поэт был изгнан из Бельгии.

Отныне вся французская буржуазная пресса ополчается против Гюго.

Поток клеветы и нападок на Гюго еще более усилился после того, как он выставил свою кандидатуру на выборах в Национальное собрание, которые состоялись 2 июля 1871 года Торжествующая буржуазия не могла простить Гюго его сочувствия к побежденным коммунарам и забаллотировала его, хотя в своей политической программе он ограничился требованием республики, амнистии коммунарам, отмены смертной казни, требованием обязательного начального обучения, отделения церкви от государства, сво-

боды союзов, собраний, печати, пропорционального подоходного налога и т. п.

В обстановке кровавого террора Гюго не прекращал борьбы за амнистию коммунарам.

Коммуна теоретически оправдывалась им как следствие и логическое развитие «Декларации прав человека и гражданина».

Однако Гюго не смог все же постигнуть истинных причин классовой борьбы и признать закономерность пролетарского восстания. Буржуазно-демократическая республика являлась для него наиболее приемлемой формой государственного устройства. Этим и объясняется отношение Гюго к пролетарской Коммуне 1871 года.

Не понимая всей глубины классовых противоречий, приведших французский пролетариат к власти, Гюго наивно полагал, что в этой грозной войне рабочих против контрреволюционной буржуазии возможно примирение обеих сторон. Отсюда известное его утверждение, что в событиях Коммуны «никто не виноват», что вооруженной борьбы могло бы и не быть, если бы обе стороны смогли во-время понять друг друга и договориться.

Находясь в период Коммуны за пределами Парижа, Гюго был введен в заблуждение реакционной буржуазной прессой, кричавшей об арестах и «репрессиях», о нарушении «свободы печати» со стороны Коммуны. Под воздействием этой прессы он осуждает «анархию», якобы узаконенную Коммуной, декреты о заложниках, о разрушении Вандомской колонны, обвиняет коммунаров в поджоге зданий Парижа.

Но после поражения Парижской Коммуны Гюго не раз резко и беспощадно осуждал зверскую расправу над коммунарами, учиненную версальцами.

Стихи, посвященные франко-прусской войне и Парижской Коммуне, Гюго объединил в сборнике «Грозный год», вышедшем в свет в 1872 году.

В 1870 году, в тяжелое время войны против Пруссии, Гюго начал создавать стихотворения, отражавшие его раздумье о судьбах родины. К февралю 1871 года цикл стихов уже настолько разросся, что его можно было выпустить отдельным сборником, который поэт собирался издать под заглавием «Осажденный Париж». Однако бурное развитие событий заставило Гюго повременить с изданием этой значительной книги, которую он продолжал обогащать новыми образами, дополнять новыми стихотворениями, расширявшими состав и тематику сборника. Отказавшись от прежнего названия, Гюго старался найти для него новое заглавие, более соответствующее содержанию. Он последовательно собирался

назвать свою книгу: «Борющийся Париж», «Париж-мученик», «Эпический Париж», «Драма Парижа», «Эпопея двух войн», пока не остановился окончательно на наиболее выразительном заглавии: «Грозный год».

Построение книги подчинено хронологическому принципу. Она состоит из двенадцати разделов: I. «Август»; II. «Сентябрь»; III. «Октябрь»; IV. «Ноябрь»; V. «Декабрь»; VI. «Январь» (1871); VII. «Февраль»; VIII. «Март»; IX. «Апрель»; X. «Май»; XI. «Июнь»; XII. «Июль».

В бурном водовороте событий 1870 года престарелый поэт обрел могучую силу и придал своему поэтическому творчеству эпическое звучание. В этом состоит своеобразие художественной формы «Грозного года». Его поэзия подчинена выражению интересов французского народа, который после поражения армии Наполеона III провозгласил республику и встал на защиту отечества.

Уже в «Прологе» «Грозного года» чувствуется накаленная атмосфера общественных конфликтов, происходивших в 1870 году. В этом «Прологе», озаглавленном «7 500 000 «да», выражено отношение Гюго к майскому плебисциту 1870 года.

Оказывая прямое давление на избирателей, применяя обман, подкупы, утонченную демагогию, бонапартистская клика собрала 7 500 000 голосов за принятие новой конституции. Но уже тогда в стране наметились враждебные Империи силы: около двух миллионов избирателей воздержались от голосования и более полутора миллионов проголосовали против конституции. Секции I Интернационала объявили, что «участвовать в плебисците — значит голосовать за внутренний деспотизм и за внешнюю войну»¹, выразив тем самым резкое осуждение внешнего и внутреннего курса политики, проводимой Наполеоном III.

В этом вопросе Гюго не расходился с мнением секции I Интернационала. В «Прологе» к «Грозному году» положительный исход плебисцита он рассматривал как глубокое заблуждение избирателей, отдавших свой голос за конституцию, как ошибочный политический акт, противоречивший национальным интересам Франции.

Поражение французской армии под Седаном составило тему яркого и страстного по мысли стихотворения «Седан», где с огромной силой развит ряд мотивов, уже встречающихся в пре-

¹ К. Маркс. Первое воззвание Генерального совета по поводу франко-прусской войны. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения в двух томах, т. I, Госполитиздат, 1952, стр. 445.

дыдущих произведениях Гюго. Так, уничтожение суверенных прав народа Наполеоном I в дни Брюмера рассматривается как прелюдия к последующему ходу событий, в которых на долю Наполеона III выпала роль продолжателя политического произвола и тирании. Брюмер, 2 декабря, Седан — вот три акта исторической трагедии Франции. Седан, по мысли Гюго, это пародия на войны Наполеона I и вместе с тем поучительный урок для узурпатора, стремившегося путем войны продлить существование Империи.

Прослеживая путь своего «героя», Гюго создает яркий портрет императора-авантюриста, лелеющего мечту стать властелином мира. Об этих замыслах поэт говорит с убийственной иронией, клеймя позором «опору империи» — презренных Галифе и Базена, Девьена и Руэра и ее внешних союзников — турецкого султана Абдул-Меджида и папу Пия IX (Мастан).

Гюго сумел отделить немецкий народ от прусской милитаристской клики. Для него немецкий народ — это «нация мыслителей», «мужественный народ», давший миру Шиллера и Бетховена (стихотворение «Выбор между двумя нациями»).

После провозглашения республики во Франции начался новый этап войны: теперь она утратила оборонительный для Германии характер и превратилась в завоевательную, грабительскую войну против французского народа. Гюго в этот момент особенно взволнован, он настраивает свою лиру на боевой лад и поддерживает дух мужества и отвагу сражающегося народа. Поэт полон энергии, он становится воинствующим гражданином и вдохновенно, с душевным подъемом и страстностью запечатлевает в своей патриотической лирике и воззваниях героизм событий.

В тот критический для Франции момент войны американский посол в Берлине Джордж Банкрофт проявил враждебное отношение к французскому народу. Когда Гейдельбергский университет присудил Банкрофту ученую степень, Бисмарк направил ему по этому поводу приветственное послание. В своем подобострастном ответе Банкрофт прославлял Бисмарка, прусского короля и его военных деятелей.

Гюго не мог молчать. В связи с этой демонстрацией, враждебной Франции, он высказал свой протест в беседе с американским послом в Париже О. Селливаном, а вслед за тем опубликовал негодующее стихотворение «Банкрофт» (раздел «Ноябрь»).

В цикле «Декабрь» Гюго вновь обращается к этой теме — в стихотворении «Франции».

В стихотворениях «Грозного года» отражена героическая оборона Парижа во время осады его пруссаками. Выразительно и

вдохновенно воссоздана здесь эпопея сражающегося Парижа. Граждане-патриоты, взрослые и дети, так же как воины у фортов, исполнены твердой решимости защищать столицу. Многие из них пали под бурей обстрела, но они не впустили врага в город, не сдались на милость победителя.

Опасаясь, что власть может быть захвачена революционным народом, ставленник контрреволюционной буржуазии Тьер проводил политику национальной измены. Французские генералы, с согласия Тьера, сознательно ослабляли оборону осажденного немцами Парижа и уже были готовы капитулировать перед прусскими войсками.

Поэт выразил негодование народа в стихотворении «Капитуляция», заклеив презрением предателей-генералов, сдавших Париж пруссакам.

Политическая обстановка, сложившаяся во Франции к началу 1871 года, характеризовалась, с одной стороны, усилением революционной активности рабочего класса, зорко следившего за всеми происками реакции и прусской военщины, с другой — возросшим влиянием монархической партии, представители которой получили большинство на выборах в Национальное собрание (8 февраля 1871 года). Создалась реальная угроза республике со стороны монархической группировки. В стихотворении «Мечтающим о монархии» поэт-демократ назвал тех, кто подготовлял реставрацию монархического строя, тех, кто совершал подлоги избирательных бюллетеней. Он противопоставил «весь народ» «монархической клике».

В июне 1871 года великий пролетарский поэт Эжен Потье создал знаменитую песнь «Интернационал», о которой В. И. Ленин писал: «Коммуна подавлена... а «Интернационал» Поттье разнес ее идеи по всему миру, и она жива теперь более, чем когда-нибудь»¹.

В одиннадцатый раздел книги «Грозный год», написанный также в июне 1871 года, вошли наиболее значительные стихотворения Гюго: поэт воспел здесь героев-коммунаров и осудил кровавую расправу, учиненную буржуазией над восставшим народом.

В ряде лучших стихотворений этого раздела Гюго дал реалистическую картину революционного Парижа и событий, связанных с героической обороной города и гибелью Парижской Коммуны, вводя во французскую литературу бессмертный образ Парижа рабочих и ремесленников.

¹ «Коммунист», 1954, № 6, стр. 22.

В стихах поэта выражено глубокое, искреннее чувство гражданина, восставшего против зверства победителей. Гюго посвятил свою гневную лирику защите коммунаров; и это было совершенно в тот момент, когда бушевала реакция, когда версальцы стремились «примерно» наказать коммунаров, с тем чтобы трудящиеся массы никогда не смогли воспрянуть для будущих сражений.

К лучшим стихотворениям Гюго, в которых с потрясающей силой запечатлены эти события, относятся: «Вот пленницу ведут», «За баррикадами», «Расстрелянные», «Тем, кого попирают» и др.

В книге «Грозный год» мы находим ряд других стихотворений, посвященных моральной стойкости коммунаров, боровшихся с врагами революционной Франции и павших на баррикадах. Они не дрогнули перед разъяренными версальцами, не покорились и, умирая без страха, завоевали бессмертие.

В большом программном стихотворении «Тем, кого попирают» сказались и сильные и слабые стороны политических воззрений поэта. Гюго здесь выдвигает требование амнистии для коммунаров. Не понимая, как уже указывалось, истинного смысла Коммуны и революционного подвига коммунаров, Гюго тем не менее открыто провозгласил, что он готов разделить судьбу восставших, тех, кто умирал смертью мучеников и героев, тех, кого отправляли в далекое изгнание.

Всенародный протест против жесточайших репрессий Гюго поддерживал своим гневным, атакующим словом, открыто возвестив, что он защищает трудовой народ и его будущее. Он напомнил здесь правящей клике, что никогда в истории Франции террор и репрессии не могли сломить воли революционных масс. Пример тому — Вандемьер, когда Наполеон I, в те дни еще генерал Бонапарт, расстреливал восставшее парижское население, затем июньские дни 1848 года, когда улицы Парижа были покрыты трупами повстанцев, затем кровавая майская неделя 1871 года, «превзошедшая все пределы изуверства». В накаленной атмосфере классовой войны Гюго произносит свои благородные слова в защиту поверженных сынов Франции: «Нет, прочь мщение!» — явившиеся высшим выражением социального гуманизма поэта. Над станом гнусных убийц слова эти разорвались как бомба, брошенная неприятелем.

Кто же были те, кто пытался уничтожить героическую Францию? Во Франции в те дни таких предателей собралось немало.

14 июня 1871 года генерал Трошю произнес в Национальном собрании вызывающую речь, в которой между прочим было заявлено: «У нас действительно было преувеличенное понятие о силе,

возможностях, значении национальной гвардии... Бог мой, вы все видели кепи Виктора Гюго, способное дать настоящее о ней представление». Чем же прославился сам Трошю? Каковы его «заслуги» перед Францией? Во время осады Парижа немецкими войсками он стал во главе «правительства национальной обороны». Трошю подрывал оборону страны и, избегая всяких решительных действий, стремился к скорейшей капитуляции, чтобы развязать руки правящей клике для борьбы с демократическим движением, для разоружения рабочих кварталов.

Вышеприведенные слова из речи Трошю Гюго поместил в виде эпиграфа к семнадцатому стихотворению июньского цикла книги «Грозный год». Гюго говорит о генерале-капитулянте как будто без гнева, сухо и холодно, но тем убийственнее, тем беспощаднее его презрение, тем выразительнее становится образ этого жалкого генерала. Пять месяцев осады — мучительная пора голода и невыносимой стужи — все это было перенесено осажденными. А теперь Трошю позволяет себе с трибуны Национального собрания издеваться над героическими парижанами! Гюго воскресил в памяти подвиг народной Франции и осудил Трошю как изменника, предавшего интересы национальной обороны Франции.

В 70-е годы воинствующая клерикальная реакция во Франции пыталась всеми способами заглушить в сердцах трудящихся чувство революционного гнева, установить режим «морального порядка». Именно в то время особенно наглядно обнаружились стремления католической церкви реставрировать монархический строй. Клерикальная пресса требовала, чтобы церковь оказывала решающее влияние на школу и на государственную политику. Частые религиозные демонстрации, реакционные речи, произносившиеся с трибуны Национального собрания, цензурные гонения на либерально настроенную часть прессы, закон о сборе средств на постройку церкви на Монмартре «для искупления преступлений Коммуны» — все это свидетельствовало о том, что «черная паутина» прочно обволакивала страну Вольтера и Дидро.

Многочисленные стихотворения «Грозного года» беспощадно разоблачают служителей церкви, стремившихся похоронить последние остатки демократических свобод, вытравить из памяти народа героические революционные традиции.

Рассматривая поступательный ход истории, Гюго пришел к неоспоримому выводу, что королевская власть, монархический строй в прошлом и настоящем несовместимы с прогрессом, враждебны цивилизации и не смогут торжествовать в будущем. На протяжении двадцати лет изгнания поэта и французский император Напо-

леон III и римский владыка Пий IX испытали на себе бичующую силу язвительных сатир и памфлетов Виктора Гюго. В 70-е годы Гюго не прекратил борьбы против Рима и клерикальной партии во Франции. Сюда относится прежде всего целый ряд стихотворений «Грозного года», как, например: «Епископу, назвавшему меня атеистом», «Суд над революцией», «Мечтающим о монархии», «Закон прогресса», «Нет у меня дворца, епископского сана...», «Церковные витии», «Концерт кошачий...», «Вопль» и другие.

Образцом гражданской обличительной лирики явилось стихотворение «Суд над революцией» (цикл «Июль»), написанное вслед за «кровавой неделей». В этом стихотворении, как и во многих других, Гюго соединяет гневное выступление против монархистов с таким же пламенным обличением клерикалов.

Стихотворение «Церковные витии»¹ дает обобщенный образ консервативного общества, в котором действуют объединенные силы монархической и католической реакции, стремящиеся заглушить могучие ростки жизни. Это политический памфлет, в котором Гюго не только обличил реакционную буржуазную прессу, но и показал непримиримую борьбу между различными частями французского общества.

С сарказмом говорит здесь Гюго о том, что в его время появились новые телохранители дряхлого мира. Они создают гнусную литературу церковных стражей, бросая в мусорную яму произведения Вольтера и Руссо. После литургий и молитв они с бешеной яростью набрасываются на безвинных людей, пытаясь силой оружия сломить дух сопротивления непокоренного народа. Гюго остается верен прогрессивно мыслящей Франции, он защищает ее великих писателей — Мольера, Паскаля, Дидро, Вольтера и Руссо, он вспоминает героических защитников Коммуны, в частности ее бесстрашного воина Гюстава Флуренса, заколотого жандармами Версаля. В заключительной строфе поэт говорит о том, что народ Франции останется гигантом наперекор беснующимся карликам.

Эпилогом книги «Грозный год» служит стихотворение «Во мраке». Это замечательное стихотворение написано в форме диалога между старым миром и потоком, символизирующим собой новую силу жизни, сметающим королевские троны, священные алтари и всю рухлядь старого мира. В могучем социальном движении, свидетелем и певцом которого он был, Гюго увидел не только остроту классовых конфликтов, но и грядущее торжество народной Франции.

¹ В рукописи Гюго дал этому стихотворению второе название — «Доносчики».

Стр. 9. 7 500 000 «да». Гюго имеет в виду официальные результаты референдума, проведенного в мае 1870 г., в обстановке жестокого полицейского террора, по вопросу о том, поддерживает ли население Вторую империю: около 7 500 000 избирателей ответили на этот вопрос утвердительно.

Стр. 17. С е д а н. Имеется в виду катастрофа 1 сентября 1870 г., когда окруженная в Седане прусскими войсками почти 85-тысячная французская армия под командованием императора Наполеона III капитулировала и сдалась в плен.

Стр. 18. *Эммануил и Пий схватились за ножи...* — 20 сентября 1870 г. войска итальянского короля Виктора-Эммануила II и отряды гарибальдийцев заняли Рим, и у папы Пия IX была отнята светская власть.

Дерутся... ирландцы с бриттами... — Речь идет об усилившейся в 60—70-х гг. XIX в. национально-освободительной борьбе ирландского народа против английских поработителей.

...Вильгельм полу-Аттила и псевдо-цезарь Франц... вцепились в волосы... — Речь идет об австро-прусской войне 1866 г.

...весьма горячий град испанцы Кубе шлют. — В 1868 г. на острове Куба началось народное восстание против испанского господства, после ожесточенной и длительной вооруженной борьбы подавленное испанцами.

Стр. 32. О с а ж д е н н ы й П а р и ж. В середине сентября 1870 г. прусские войска подошли к Парижу и осадили город. Трудящееся население Парижа героически сопротивлялось врагу и стойко переносило все тяготы осады.

Стр. 53. П о с л а н и е Г р а н т а. *Зачем же некогда фрегат французский воды Атлантики рассек...* — Имеется в виду помощь, оказанная французами американским колониям Англии во время войны за независимость (1775—1783).

Стр. 55. *И вот — тринадцать звезд над миром засверкали!* — После победы над Англией тринадцать английских колоний в Северной Америке образовали независимое государство — Соединенные Штаты Америки. На флаге нового государства были изображены тринадцать звезд — по числу вошедших в него штатов.

Стр. 60. *Франции. Будь, Греция, свободной! Италия!.. Ты отдала, щедра, той — золото, той — кровь...* — Гюго имеет в виду роль, которую сыграла Франция во время греческого восстания против турецкого ига (1829 и последующие годы) и в период войны Италии за свою независимость (1859 и последующие годы). Французский народ действительно сочувствовал этой борьбе, но правящие круги Франции своей поддержкой реакционных сил в обоих случаях в значительной степени обесценили помощь французского народа.

Стр. 77. *Капитуляция*. 26 января 1871 г. французское правительство подписало с немцами позорное перемирие на условиях разоружения парижского гарнизона, уплаты контрибуции и т. д. Перемирие это вызвало крайнее возмущение всего народа.

Стр. 79. *Перед заключением мира*. Условия мира, выдвинутые Германией, предусматривали уступку Францией Эльзаса и Лотарингии, уплату 5 миллиардов франков контрибуции и оккупацию значительной части французской территории вплоть до выплаты всей суммы контрибуции.

Стр. 100. *Вопль*. Стихотворение направлено против белого террора, свирепствовавшего в Париже после подавления Парижской Коммуны.

Стр. 103. *Ночь в Брюсселе*. Находясь в мае 1871 г. в Брюсселе, Гюго опубликовал письмо, в котором он предлагал свой дом в качестве убежища сторонникам Парижской Коммуны.

Стр. 105. *Изгнан из Бельгии*. Вслед за демонстрацией 27 мая бельгийский парламент принял решение изгнать Гюго из Бельгии.

ИСКУССТВО БЫТЬ ДЕДОМ

Сборник стихотворений Виктора Гюго — «Искусство быть дедом» вышел в свет в 1877 году. В эту книгу вошли стихотворения, тематически связанные с личной жизнью поэта. В 1871 году Гюго пережил большое горе — скоропостижно скончался его старший сын Шарль. Дети Шарля Гюго, Жерж и Жанна, стали жить вместе со своим знаменитым дедом, поддерживая в нем необыкновенную бодрость духа. Гюго относился к ним с глубокой нежностью

и посвятил Жоржу и Жанне значительный цикл стихотворений, отличающихся непосредственностью и трогательностью выраженных в них чувств.

Необходимо отметить, что тема любви к детям находила в творчестве Гюго вдохновенное отражение. Стойкость и героизм детей были воспеты в ранней лирике поэта («Восточные мотивы»), в сборниках «Возмездие» и «Грозный год», на страницах романов «Отверженные» и «Девяносто третий год».

Поэт неоднократно выступал в защиту маленьких граждан своей родины, оказывал помощь детям бедняков и в своих речах и статьях отмечал исключительную важность проблемы воспитания детей. Ему принадлежат замечательные слова: «Кто говорит: ребенок — говорит: будущее».

Во многих стихотворениях сборника «Искусство быть дедом» поэт противопоставляет чистоту и преданность детей закоренелой враждебности своих политических врагов, и это придает его самым, казалось бы, далеким от политической жизни стихотворениям обличительный смысл. Но не следует рассматривать этот сборник только лишь как воплощение в поэзии Гюго мира детства. Лирике Гюго свойственно самое широкое тематическое разнообразие. Вот почему в таких стихотворениях, как «Побежденный победитель», «Силлабус», «Шлепок», речь идет уже о более «взрослом» чувстве, чувстве гражданина, выступавшего против воинствующего клерикализма, против всего старого мира, угрожавшего развитию науки и торжеству прогресса.

Сборник «Искусство быть дедом» имел большой успех у читателей. При жизни Гюго он выдержал пять изданий.

Стр. 165. По поводу так называемого закона о свободе образования. В 1850 г. Национальное собрание под давлением реакционного большинства приняло закон о народном образовании, автором которого был министр народного образования Парьё (см. словарь). Этот закон подчинял всю сеть учебных заведений Франции контролю католического духовенства и римской церкви.

ПАПА

Поэма «Папа» была напечатана в 1878 году. Появление этой поэмы совпало с избранием на конклаве 1878 г. Льва XIII римским папой.

Предшественник Льва XIII — Пий IX (1846—1878) являлся непримиримым врагом прогресса, фанатически защищал привилегии церкви и духовенства, боролся против независимости Италии и ее

воссоединения в самостоятельное государство В 1864 году Пий IX опубликовал энциклику и так называемый «Силлабус» («Syllabus egiptum» — «Список заблуждений»), в которых, утверждая средневековые догматы, осуждал научные концепции и передовые социальные учения.

На протяжении почти тридцатилетнего периода Виктор Гюго решительно осуждал изуверскую политику Пия IX и в своих произведениях вел смелую полемику с официальной церковью и догматами католицизма. В речи, посвященной столетию со дня смерти Вольтера (1878), Гюго говорил: «Бороться против фарисейства, срывать личину с лицемерия, повергать в прах тиранию, узурпацию, предрассудки, ложь, суеверия, разрушать храм с тем, чтоб создать новый, то есть заменить ложь истиной, нападать на жестокость суда, на кровожадность духовенства, взяв бич, изгонять торгашей из святилища, требовать наследства для лишенных его, защищать слабых, бедных, страждущих, отягощенных, бороться за преследуемых и притесняемых — такова война Иисуса Христа И кто был человек, который вел подобную войну? Вольтер».

Утверждая идеи французских просветителей, Гюго, как известно, не мог отказаться от представления о некоем абстрактном «божестве», которое он противопоставлял официальной католической религии. Вместе с тем Гюго возлагал подчас надежду на благочестивых пастырей типа епископа Мириэля, носителей того христианско-сентиментального направления, которое и должно было победить царящее на земле зло. В своем творчестве он постоянно касался культа религии и находил истинно бичующие тона для осуждения духовенства.

В поэме «Папа» в полной мере проявились антиклерикальные взгляды поэта. По мысли Гюго, догматы евангелия искажены служителями церкви и приспособлены только лишь для повсеместного распространения «зла», угнетения народа, невежества, нестерпимой нужды и голода, постоянных войн.

Антиклерикальный смысл поэмы подчеркнут не только ее содержанием, в котором раскрыта антигуманистическая сущность католической религии, но и формой ее построения: все происходящее в реальной жизни представлено в поэме как сновидение папы, от которого он просыпается со словами:

Ужасное меня томило сновиденье!

Этот заключительный эпизод не оставляет сомнения относительно скептического отношения Гюго к благотворительности римского папы.

В поэме в полной мере проявились демократизм Гюго, его озабоченность судьбами людей, его вера в торжество справедливости, разума и мира (см. сцену появления папы на поле битвы).

В художественном отношении поэма не уступает многим лучшим произведениям поэта. Она написана с большим поэтическим мастерством, со свойственной Гюго высокой патетикой чувств, в том взволнованно-декламационном стиле, который составляет одну из замечательнейших особенностей его поэзии.

Стр. 176. — *Я, пастырь, три венца имею над челом.* — Папский парадный головной убор (тиара) окружен тремя коронами, символизирующими судебную, законодательную и духовную власть папы в католическом мире.

Стр. 177. *Святой Антоний, и Гонорий, и Василий...* — деятели католической церкви, возвеличенные христианской легендой.

ЧЕТЫРЕ ВЕТРА ДУХА

Основная часть книги стихотворений «Четыре ветра духа», вышедшей в свет в 1882 г., написана Виктором Гюго в период изгнания и по своим мотивам напоминает «Возмездие», «Созерцания», «Легенду веков».

Эта книга состоит из четырех циклов стихотворений, названных поэтом сатирическими, лирическими, драматическими и эпическими.

Последний цикл сборника «Четыре ветра духа» представлен поэмой «Революция», написанной Виктором Гюго в 1857 г. и предназначавшейся для первой серии «Легенды веков». Но в то время цензура не разрешила печатать революционные стихи, и поэма была включена в сборник «Четыре ветра духа».

«Революция». — историко-философская поэма. Она представляет собою своеобразное поэтическое осмысление последних трех столетий французской истории. Верный гуманистическим принципам, Гюго ставит в своей поэме кардинальные проблемы: отношения между монархом и народом, моральная низость правителей, угнетение народа, революция как возмездие и величайший акт в истории человечества. Для поэта, ярого врага деспотизма, история Франции представляется как цепь преступлений королей против народа. Перед читателем встают образы четырех французских королей из династии Бурбонов — Генриха IV, Людовика XIII, Людовика XIV и Людовика XV. Официальные историки дворянской и консервативно-буржуазной Франции видели в родоначальнике династии Генрихе IV прежде всего умиротворителя и объединителя Франции после религиозных войн, терпимого, благодушного и веселого короля. Гюго же отступает от подобной традиции и с гневом говорит об отступниче-

стве Генриха IV, который меняет религию только лишь из соображений упрочения династии.

Людовика XIII монархическая легенда нарекла «Справедливым» — Гюго создает вопреки ей образ унылого, мрачного ханжи, утверждавшего свою абсолютную власть беспощадной рукой всевластного министра кардинала Ришелье. Людовика XIV прозвали «Великим» — Гюго выставляет напоказ оборотную сторону этого «величия»: кровопролитные походы во Фландрию, Германию, Нидерланды, свирепые гонения на гугенотов, превосходящие все ужасы инквизиции. Людовик XV, официально именуемый «Любимым», изображен поэтом таким, каким он был в действительности, — сластолюбцем и развратником, душителем свободной мысли, «грязным бором после дикого вепря» (Людовика XIV).

В конце поэмы символически очерчена смерть Людовика XVI, последнего французского самодержца.

Справедливым возмездием за все эти преступления королей явилась, по мысли Гюго, французская революция. Но революция не только суровая кара за мрачное прошлое, она радостный предвестник светлого будущего. Революция для поэта является великим актом справедливости в поступательном движении человечества. И здесь для философских обобщений поэта уже тесны рамки французской истории. Она понимается как звено в истории человечества, судьба народа Франции как бы символизирует судьбы народов мира. Заключительная часть поэмы выдержана в жизнеутверждающих тонах.

Стр. 221. С а т и р а н ы н ч е — п е с н ь... Стр. 223. В которых смешаны Книд, Пафос и Клармар... — т. е. любовь, религия и смерть. Книд — город в Малой Азии, известный в древности храмом Венеры; Пафос — город в Палестине, где находился храм верховного божества семитов-язычников Астарты; Клармар — старинное кладбище в Париже.

Стр. 230. Конченному человеку. Гюго имеет в виду короля Луи-Филиппа, свергнутого февральской революцией 1848 г.

Стр. 236. «О муза, некий поп...» Стр. 239. Ни Купертена стиль, ни Кукуфена слог... — Здесь и ниже названы имена средневековых христианских проповедников.

Стр. 261. Р е в о л ю ц и я. Стр. 269. Марго — Маргарита Бургундская, жена французского короля Людовика Сварливого; по его приказанию была задушена в 1315 г. за супружескую измену.

Стр. 277 *Под Валуа, Конде, Немуром и Бурбоном...* — французские правящие династии, а также аристократические фамилии и лица, близкие ко двору, которые способствовали коррупции власти и развращению нравов правящей верхушки.

Стр. 278. *Брюске и Тюрлюпен...* — Здесь перечислены имена клоунов и комедийных актеров, мастеров буффонады.

Стр. 282. *Анри* — французский король Генрих IV (царствовал с 1589 по 1610 г.).

Стр. 283 *Второй, что едет вслед, был поскучней...* — Имеется в виду французский король Людовик XIII.

Он над дуэлями свой заносил топор. — При Людовике XIII во Франции были запрещены дуэли.

Стр. 284 *Дальше, третий...* — Людовик XIV, прозванный «Великим».

Стр. 287 *В тень мерзкую вдовы Скарроновой уйдя* — Вдова известного французского писателя XVII века Поля Скаррона после смерти мужа стала любовницей короля Людовика XIV.

Стр. 288. *Что рассказать о нем, об этом — о четвертом?* — Гюго имеет в виду французского короля Людовика XV.

Стр. 294. *Вдруг голова всплыла...* — Речь идет о короле Людовике XVI, казненном во время революции.

ЛЕГЕНДА ВЕКОВ

Сборник стихотворений и поэм «Легенда веков» состоит из трех серий, последовательно вышедших в свет в 1859, в 1877 и в 1883 годах.

«Легенда веков» показательна в том отношении, что автор интересовался культурой, нравами, обычаями, фольклором народов различных стран. Замысел «Легенды веков» относится к 50-м годам XIX века, то есть к тому времени, когда Гюго всю свою неукротимую энергию посвятил делу борьбы против Наполеона III. Вот почему поэмы этого цикла стали особой формой раскрытия тираноборческих идей, которые были высказаны Гюго в грозных стихах сборника «Возмездие».

Однако было бы совершенно неправильно сводить весь замысел «Легенды веков» к борьбе против нового узурпатора, как в «Возмездии». Тираноборческая тема в «Легенде веков» представляет собою своеобразное поэтическое обобщение исторического опыта народов в их борьбе против тиранов и угнетателей самых различных эпох и стран. «Легенда веков» — это грандиозный по замыслу

демократический эпос, в котором история человечества предстает в обычном у Гюго плане — как арена борьбы отвлеченных начал добра и зла, как мартиролог человечества, достигающего в конце концов лучшего будущего, вступающего в мир гармонии и свободы.

Над стихами «Легенды веков», или «Маленькими эпопеями», Гюго работал одновременно с созданием сборника «Возмездие». Обращение к эпическим формам поэзии не было случайным в его творческой биографии. Уже в 20-х годах в сборниках «Оды и баллады», «Восточные мотивы» есть ряд произведений, которые могли бы войти в состав «Легенды веков».

После событий 1851 года эпос приобретает для Гюго особое звучание. Образы эпических героев предстают перед ним теперь как воплощение героического начала в жизни каждого народа, борющегося за свои права.

Легендарным и историческим персонажам, олицетворяющим собою национальную энергию, отстаивавшим некогда честь нации, Гюго противопоставил тех измелчавших, трусливых людей, в образах которых проступают знакомые черты современных Гюго узурпаторов, жестоких угнетателей народа.

Разумеется, не следует сводить все содержание «Легенды веков» к борьбе против тиранов, но тем не менее тираноборческая тема, антимонархическая направленность этого эпического цикла стихов весьма бросаются в глаза.

В «Романсеро Сида» Гюго выбрал для отдельных главок цикла следующие наименования: «Король завистливый», «Король неблагодарный», «Король мнительный», «Король подлый», «Король лукавый», «Король вор», «Король забияка», «Король трус», «Король зубоскал», «Король злодей». Подобный же подбор эпитетов можно найти и в сатирах сборника «Возмездие».

Пытаясь реализовать свой замысел в первых двух сериях, Гюго стремился показать в «Легенде веков», что история развития человечества проходит путь от «мрака» к «свету», что это развитие есть социальный и моральный прогресс.

«Человечество», — утверждает Гюго, — меняет свое лицо с каждой эпохой: однако, фиксируя эти изменения, нельзя не заметить связующей его на всех этапах «тонкой нити — великой таинственной нити человеческого лабиринта — Прогресса».

Стремясь дать правдивую картину этого прогрессивного движения человечества, Гюго рисует его «с точки зрения эпической», считая, что легенда не менее правдива, чем история.

«Род человеческий, этот огромный коллективный индивид, действующий на земле из эпохи в эпоху, имеет два аспекта: исторический и легендарный. Второй — не менее истинный, чем первый».

Итак, обращаясь к истории человечества, Гюго стремится «подслушать ее у легенды».

Пытаясь таким образом воспроизвести историю человечества сквозь призму мифа, Гюго не считает нужным ограничиваться художественным воплощением той или иной темы через сюжеты существующих сказаний. Он сам слагает «легенды веков», совокупность которых и должна, по мысли автора, выразить ту эпическую историю человечества, о которой он стремится рассказать. «Эти поэмы... — говорит он в предисловии, — являются конденсированной реальностью или угаданной реальностью».

Гюго настаивает на том, что творимая им история является подлинной историей человечества, утверждая право поэта «на догадку». В этом сказалась эстетика романтизма, которая отводила огромное место субъективному элементу и ничем не ограничивала сознание поэта-творца.

Таким образом, Гюго воссоздает поэтически историю человечества по мотивам легенд. Стилизуя под подлинные легенды той или иной эпохи, того или иного народа свои собственные представления, раскрывающие исторические события, он чрезвычайно свободно обращается при этом с материалом как легенды, так и подлинной истории.

Осуществляя декларируемое им право на догадку, в отдельных поэмах он создает вымышленных героев, ставя их в реальные исторические условия. Он стилизует географические названия и исторические или легендарные имена, ставя их рядом с подлинными. Он меняет самый облик легендарных героев, дополняя его чертами, заимствованными из литературных произведений.

В свою историческую «классификацию» Гюго вводит как изученные историей эпохи (падение Рима, средние века, XVII век, эпоха «Революции — прародительницы народов»), так и эпохи легендарные.

Естественно, что под пером Гюго возникали не существовавшие эпохи, реальная история народов отсутствовала и была подменена сцеплением ряда невероятных событий. Старательно собирая отдельные эпизоды из истории народов, Гюго стремился обосновать свой основной моральный тезис — конечную победу добра над злом. В мире несправедливость существовала изначально, пороки сталкивались с добродетелями, но добродетельные люди одерживали победу

в конце концов над теми, кто воплощал в себе злое начало; а эти последние всегда принадлежат у Гюго к верхам общества — императоры, короли, феодалы. В ходе развития человечества, по мысли Гюго, меняются лишь формы и степени добра и зла. Так, на первых ступенях — в библейском цикле — зло порождается велением самого бога, в циклах, рисующих средневековые (христианский «Героический цикл», «Италия» и др.), носителями добра и совести являются странствующие рыцари и т. д.

Легко видеть, что пантеистические представления Гюго о боге часто перерастают в нечто, весьма напоминающее представления чисто религиозные. Способствует этому и постоянное обращение автора к мифу, к библейским образам. В результате этого получается, что бог у Гюго не просто абстрактная и безличная «душа мира», а совесть и воля, и к тому же еще власть праведная и карающая.

Однако при всей идеалистичности взглядов Гюго он все же сумел различить как в прошлой истории человечества, так и в наблюдаемом им современном обществе совокупность социальных моментов, составляющих существенные черты жизни.

Создавая легенды и поэмы, Гюго постоянно черпает их сюжеты из истории кровавых преступлений королей и жестокого угнетения народов.

«Радостные картины редки в этой книге, но это потому, что они не часто встречаются в истории», — предупреждает Гюго читателя в предисловии к первому тому «Легенды веков».

Сочувствие к угнетенным и ненависть к угнетателям проходят красной нитью сквозь большинство произведений цикла. Эти гуманные чувства выражаются очень часто в абстрактной форме. Так, в поэме «Времена Пана» зло представлено в образе олимпийских богов, власть которых держится «злом», «войной».

С глубоким негодованием говорит поэт о подъяремной жизни народов во времена феодализма. Он рисует сожженные битвой поля и деревни, где «слишком мало дорог, слишком много виселиц». С едким сарказмом нарисованы поэтом отталкивающие фигуры феодалов-угнетателей, разоряющих народ.

Более чем естественно, что в ряде стихотворений «Легенды веков» мы находим обличение продажности католической церкви, не брезгающей никакими средствами для упрочения феодального строя и религии.

Ненависть Гюго простирается на угнетателей всех времен и народов. С презрением говорит он о швейцарских наемниках, позоривших родину Вильгельма Телля. Картины социального беспра-

вия прошлых времен, нарисованные Гюго, должны служить уроком современникам. Описание ужаснейшего разорения, которому узурпатор Ратберт подверг средневековую Италию, должно было напомнить читателям об Италии XIX века, стонавшей под игом Австрии. Гневные слова, обращенные уходящим в изгнание Сидом глупому и жестокому королю Испании, явно адресованы гернсейским изгнанником Наполеону III. Именно эта социальная направленность «Легенды веков», ее обличительный пафос и оказались основным содержанием цикла, вопреки всем декларациям Гюго.

«Легенда веков» является, таким образом, не только серией эпических произведений, в которых изображены нравы, традиции, исторические и географические особенности жизни человечества в различные эпохи, но прежде всего продолжением сборника политических сатир «Возмездие». И лучшим доказательством того, что именно традиции сборника «Возмездие» снова ожили в «Легенде веков», может служить та враждебность, с которой было встречено реакционной критикой появление первого тома «Легенды веков». Гюго обвиняли в том, что он якобы показывал «задворки истории».

Все это тем более характерно, что современная «Легенде веков» французская литература имела формально родственное «Легенде» произведение — циклы «Античных», «Варварских» и «Трагических поэм» Леконта де Лиля. В чеканных, полных пластической выразительности лирико-эпических стихотворениях вождя парнасской школы реальная и легендарная история человечества, охваченная в едином поэтическом видении, тоже представлена «лежащей во зле». Но на этом и кончается сходство между историко-поэтическими концепциями Леконта де Лиля и Виктора Гюго. В стихах Леконта де Лиля нет, правда, равнодушия к человеку: у него чувствуются и горечь, и обида, и сдержанная жалость ко всему благородному и прекрасному, и суровое отвращение к жестокости и злу. Но у него нет жара Гюго, нет его любви к людям, нет великодушного гнева, нет — и это главное — веры в силы и возможности человека, в победу над социальной неправдой, веры в будущее. Буржуазная критика оказалась куда более милостивой к Леконту де Лиллю: ведь его прекрасных и мрачных поэм отнюдь не «калечил» социальный элемент!

Разумеется, буржуазная критика не желала замечать идейно-художественных достоинств «Легенды веков».

Совершенно иную оценку дает «Легенде веков» современная передовая критика Франции.

Жорж Коньо в статье «Великий поэт и трибун» пишет: «В «Легенде веков», этой вершине его творчества, где он выступает про-

тив несчастий, гнета религий, против язв общества, Гюго бросает клич возмущения, стремления и любви к Пану, вдохновителю новой жизни, всеобщего возрождения. Его титаны, его рыцари — защитники угнетенных (Эвиради) являются столько же символами его социальной веры, сколько и непоколебимого оптимизма. История человечества сводится к единству и бесконечному движению, вознесению человечества к свету, к счастью»¹.

Как уже указывалось, «зло» в «Легенде веков» есть прежде всего зло социальное. Гюго в мифологизированном виде рисует картины бедствий, претерпеваемых человечеством с незапамятных времен.

Античный мир и средневековые в концепции Гюго — это стихия зла. Он создает цикл стихотворений о борьбе титанов с богами. Боги победили, низвергли и обрекли на мучения древних титанов, первобытных детей земли. Но титаны не покорились, они полны сознания своей изначальной правоты, они бросают в лицо богам слова вызова, гнева и презрения. Титаны изображены как племя, противопоставленное богам, олицетворяющим жестокую, праздную и надменную аристократию.

В мире, существовавшем до античности и феодализма, в мире первобытных отношений господствовали справедливость и красота. И Гюго описывает этот мир в медленно и величаво развертывающихся образах своих поэм «Освящение женщины», «Спящий Вооз» и др., где человеческая жизнь показана как бы растворяющейся в природе и в то же время облагораживающей природу. Те же качества находит Гюго и в мире, только еще выходящем из этих патриархальных отношений. Отблеск героической идиллии лежит на поэме «Львы», где голодные звери пустыни доверчиво склоняются перед Даниилом, брошенным в ров; просто и величественно расстается с жизнью пророк Магомет в «Девятом годе Геджры». Но красоте и справедливости еще предстоит вернуться в мир: они снова станут достоянием человеческого рода в грядущем, новом обществе, основанном на равенстве людей, на свободе и счастье всех и каждого. Лирическую картину этого мира Гюго пытается набросать в символических образах поэм «Необъятное небо», «Все прошлое и все будущее», «Перемена горизонта». Что же касается самой истории, реальной истории человечества, полной несправедливости и жестокости, то в ней залогом грядущего являются по-

¹ Жорж Коньо. Великий поэт и трибун — см. в книге «Французские коммунисты в борьбе за прогрессивную идеологию», изд. Иностранной литературы, М., 1953, стр. 471.

двиги героев, готовых Жертвовать собою ради правды, защищать слабых, бороться с тиранами, отстаивать родину в правой борьбе со вторгшимся завоевателем. Символом будущего прекрасного мира, утверждением реальной возможности его появления становятся и достижения человеческой культуры, великолепные и грандиозные сооружения, созданные руками людей, — достижения, воспетые в цикле «Чудеса света».

Пафос, которым проникнута «Легенда веков», — пафос демократический. Разоблачение жестокостей и насилий, совершавшихся тиранами на протяжении всей истории человечества, было в условиях общеевропейской реакции; последовавшей за событиями 1848—1849 годов, вызовом реакционным силам и имело определенно злободневное звучание.

Обращаясь к реальным событиям минувших эпох, Гюго не рисует народных движений, мятежей и восстаний. Полностью им обойдены такие темы, как Жакерия, крестьянское восстание во Франции в XIV столетии, как французская буржуазная революция. Вместе с тем, однако, тему народа у Гюго в «Легенде веков» следует понимать шире. Можно с полным правом сказать, что народ, его воля к борьбе с угнетателями и тиранами, присутствует здесь в символически обобщенном виде. В данном случае Гюго следует традициям народных эпических сказаний: народ у него представляют герои-тираноборцы, справедливые, великодушные и доблестные богатыри, с мечом в руке выступающие против жестоких властителей, защищающие и спасающие слабых и невинных, как Эвирадн, как Роланд в поэме «Маленький король Галисии», как Сид, убивающий свирепого, ненавистного своим подданным халифа Огрула, гневно обрушивающий на короля Санчо целый водопад обвинений («Романсеро Сид»), любимый народом и непреклонный в своем презрении к королям и придворным. Через «Легенду веков» проходят героические образы рыцарей — обличителей королевской тирании: это Вельф, не желающий склониться перед императором, маркиз Фабрицио, горько оплакивающий свою доверчивость по отношению к жестокому Ратберту («Доверчивость маркиза Фабрицио»). Конечно, все эти рыцари менее всего феодалы, воюющие против других феодалов и короля, а именно витязи народного эпоса или сказки. К этим же образам примыкают образы воинов-патриотов, такие, как Эмерильо в стихотворении того же названия, навеянном старофранцузскими эпическими поэмами, или солдаты и офицеры наполеоновской армии из стихотворений «Эйлауское кладбище» и «Вечер после битвы», где Гюго, разумеется, отнюдь не имел в виду прославить захватнические войны Наполеона,

а восхищался воинским подвигом как актом личного мужества и самопожертвования.

Само по себе историческое одеяние этих героев не имеет для поэта существенного значения: под любыми доспехами, под любым именем он видит великодушных витязей добра, которые неизбежно торжествуют победу — реальную и осязаемую или хотя бы моральную. Ибо неизбежность победы добра над злом, повторяющейся из века в век, из поколения в поколение, постоянно подчеркивается поэтом.

Добро всегда неодолимо торжествует над злом, злу не уйти от расплаты. Кануту не укрыться от вечно падающей на него капли пролитой им крови (поэма «Отцеубийство»). Злодея-узурпатора Ратберта карает меч архангела. Но сталкивая зло в его социально конкретной форме с некоторой абстрактной идеей добра, Гюго иногда переводит весь конфликт в совершенно иную плоскость, в конечном итоге — в мир абстрактно-идеальных образов. И хотя в ряде поэм «Легенды веков», являющихся непосредственным откликом на современные события, беспощадно разоблачаются противоречия буржуазного строя, Гюго даже в совершенно конкретных исторических условиях не видит классового характера обличаемых пороков.

Тем не менее портреты как легендарных, так и исторических «злодеев» «Легенды веков» — жестоких правителей, чуждых народу, ненавидимых народом, — написаны с большим поэтическим подъемом, одушевлены тем глубоко демократическим по устремлению своему чувством ненависти ко всем и всяческим угнетателям, которое делает даже самые отвлеченные построения Гюго правдивыми и волнующими.

Тут и легендарные боги-олимпийцы, подчинившие себе все живое, и персидский царь Ксеркс, приказавший дать морю триста ударов плетью, и обобщенный образ средневекового итальянского тирана Ратберта, наводящего ужас одним своим появлением, и мрачный Филипп Испанский, о котором Гюго говорит, что «если он — смерть, то он — Филипп Второй». Поэт показывает, как ради достижения власти используются все самые «неправедные» средства. В своем предисловии к «Легенде веков» Гюго особо подчеркивает, что узурпаторы играют столь огромную роль в средние века, что он считает необходимым посвятить им особые поэмы.

В поэме «Маленький король Галисии» он рисует такую «типическую» ситуацию. Узурпаторы, стремясь завладеть престолом, сговариваются устранить законного наследника, ребенка Нуньо, — убить его или насильно постричь в монахи. Гюго вкладывает в уста

одного из заговорщиков циничные слова о том, что лучшее решение государственных и политических вопросов — «глубокий колодец и хороший камень на шею».

В поэме «Эвирадн» два соперника, сватающиеся к королеве Мао, — король польский Владислав и император Сигизмунд. Едва достигнув ее владений, они вероломно сговариваются убить ее, чтобы завладеть ее богатствами.

В поэме «Доверчивость маркиза Фабрицио» узурпатор Ратберт, стремясь завладеть небольшим феодалом, убивает его владельца Фабрицио и внуку последнего — прелестную Изору.

Однако решительное осуждение недостойных правителей не ограничивается одним только средневековьем.

Обличение монархического строя, препятствующего движению человечества к «свободе, равенству и братству», — излюбленный мотив Гюго в оценке исторических явлений всех эпох.

В стихотворении «Едоки» Гюго рисует целую галерею недостойных правителей, тех, «кого официальная история прозвала праведными, великими, знаменитыми, премудрыми» и кого поэт обобщенно называет «едами». Гюго указывает на то, что все почести, выпавшие на долю этих людей, не заслужены ими. Чем отличаются они от других? — спрашивает поэт:

Быть может, голос их с небесной схож грозою? —
Не больше вашего — Сильны они? — Как все.
— А их величие? — Обычный средний рост.

Они не только выше или достойнее других, наоборот:

Мозги их? — Сдавлены. — Их воли, их желанья? —
Чудовищны.

Но, указывает Гюго, сила их в том, что они обладают орудиями угнетения:

У них, чтоб властвовать над всеми племенами,
Есть замки с башнями. — Построенные? — Вами.
Служанка их, война, к ним охраняет мост,
И в помощь ей — слуга, что назван — эшафот.

Гюго рисует страшные образы таких монархов. Это Николай I, который

Владеет с гордостью могилой снеговой,
Достаточно большой, чтобы народ вместились.

Это кровавая Мария Тюдор и австрийский император Франц-Иосиф, Вильгельм Гогенцоллерн и Наполеон Малый. Их путь обогрен кровью невинных, страданием народов.

Весьма примечательным является отзыв народовольца П. Л. Лаврова о стихотворениях «Легенды веков». В 70-х годах Лавров критически относился к Гюго, видя положительные особенности его произведений и не умаляя их недостатков. В 1883 году в «Вестнике Народной воли» (№ 1) была напечатана статья П. Л. Лаврова «Заметки о новых книгах». Рецензент дал объяснение, почему именно следует популяризировать творчество Гюго. Лавров писал: «Конечно, почти всякий читатель «Вестника Народной воли» несколько удивится, прочтя в нем название этой книги («Легенда веков»). С какой стати в издании русских социалистов-революционеров говорить о Гюго?» Отвечая на этот вопрос, Лавров писал: «Но именно потому, что большинство читателей «Вестника Народной воли», вероятно, и не подумают заглянуть в новые томы стихотворений восьмидесятилетнего романтика, мне кажется полезным указать им на некоторые места, которые могут при случае служить цитатами или эпиграммами, под которыми иной читатель, быть может, с удовольствием прочтет имя Виктора Гюго». Далее приведен подбор стихотворений Гюго, которые отличаются острой политической направленностью. Лавров рекомендует «с пользой перелистывать» отдел, озаглавленный Гюго «Круг тиранов», и некоторые другие стихотворения антимонархической направленности¹.

Наряду с разоблачением тиранов «Легенда веков» содержит также резкие антиклерикальные мотивы.

Мысль о том, что христианская религия оказалась религией угнетения и эксплуатации, что именем бога утверждается несправедливость на земле, символически выражена в стихотворении «Ответ Момотомбо».

В поэтическом воображении Гюго возникает образ Момотомбо, одного из вулканов Центральной Америки; согласно легенде, на всех вершинах испанскими конкистадорами водружался крест. Среди вулканов один лишь Момотомбо не пожелал принять крещения. На все попытки приблизиться к его вершине он отвечал яростными извержениями. Для Гюго эта подлинно народная легенда — повод к обличению жестокости, с которой христианство насаждалось в колониях, лицемерия, с которым оно проповедовалось «туземцам».

¹ «Вестник Народной воли», 1883, № 1, отдел II, стр. 24—26.

Стихотворение представляет собою монолог Момотомбо, мурого сына земли, с горечью созерцающего безумие и жестокость людей:

Рычання и толчки вулканов участились.
Тогда был дан указ, чтобы они крестились.
Так повелел король испанский, говорят.
И молча кратеры перенесли обряд.
Лишь Момотомбо злой не принял благодати.
Напрасно папских слуг бесчисленные рати,
Смирненные попы, взор возведя горё,
С крестом карабкались и кланялись горе,
По краю кратера шли совершать крестины.
Шли многие туда, оттуда — ни единый.

Неразрывное единство монарха и церкви, проявлявшееся в угнетении народных масс, изображено в стихотворении «Монфокон». Монфокон — холм около Парижа, на котором французским королем Филиппом Красивым была воздвигнута виселица. Центральное место поэмы — разговор короля с архиепископом Бертраном, в результате чего будто бы и была воздвигнута эта виселица.

Король и архиепископ во время прогулки по Парижу рассуждают о том, что народом начинают овладевать опасные идеи, идеи свободы. Архиепископ указывает на то, что единственное средство «спасти церковь, а тем самым спасти короля» — это народная темнота. На вопрос короля, как же сохранить эту темноту, Бертран указывает на пугало, стоящее среди поля, мимо которого они в это время проходят. Птицы, страшась пугала, приводимого в движение ветром, боятся клевать зерна на этом поле. Нужно такое же пугало, чтобы помешать народу идти к знанию. Стихотворение заканчивается обобщающим образом пугала — Лувр, церковь и виселица, — вокруг которых витают тени погибших, тени тех, кто осмелился думать «иначе».

Стихотворение это, так же как и ряд других, проникнуто антиклерикальным пафосом, и, конечно, не случайно католическая пресса столь враждебно встретила «Легенду веков», прямо обвинив Гюго в клевете на церковь и объявив книгу «вдохновенной ненавистью и безбожием».

В «Легенде веков», в цикле стихотворений, относящихся к XIX веку, изображены страдания обездоленных масс. Правда, здесь Гюго не идет дальше обычного для него констатирования противоречия между богатством и бедностью и обвинения богатых в пренебрежении к страданиям обездоленных. «Социальный вопрос» — так называется одно из стихотворений сборника, где рас-

сказано о судьбе маленькой девочки, дочери проститутки, которую неумолимые законы общества толкают на путь матери.

И всюду, куда бы он ни направил свой взор, перед ним предстают скорбные лица, задавленные нуждой люди, заслуживающие лучшей участи.

В пользующейся широкой известностью поэме «Бедные люди» описана полная лишений и опасностей жизнь рыбака. Его семья влачит голодное существование. Часто случается, что дети ложатся спать, не поужинав. Ветхая лачуга на берегу моря служит им кровом. Вечно встревоженная мать занята только одной мыслью — как бы не погиб на море их отец-кормилец. Но вот умирает соседка, и великодушная женщина берет к себе на воспитание еще двух детей-сирот.

Здесь Гюго поднимается до показа больших гуманных чувств, чувств истинного братства, которые присущи труженикам. Поэт противопоставляет великодушие простой женщины бессердечию и расчетливости буржуа.

Конечно, в «Легенде веков» имеется много слабых в художественном отношении мест и целых стихотворений. К сожалению, риторика преобладает у Гюго там, где он творит в области «чистой» мысли, где он увлекается философскими рассуждениями. Этим особенно грешат символично-утопические поэмы третьего тома.

И все же это не мешает Гюго достигать исключительных высот мастерства всюду, где он отказывается от абстрактного философствования и от надуманных построений. Там, где Гюго дает чистый эпос, — он великий и непревзойденный художник. В самых длинных, сюжетно развернутых стихотворениях, таких, как «Свадьба Роланда», «Эмерильо», «Бедные люди», «Спящий Вооз», «Львы», цикл о Сиде, «Маленький король Галисии», «Орел на шлеме» и многие другие, стих его обретает исключительную простоту и лаконичность, становится энергичным и мужественным. Рассказ течет с торжественной, несмотря на простоту, плавностью эпических поэм, которая сочетается с огромной внутренней эмоциональностью, делающей эпический стих нервным и напряженным. Образы приобретают предельную выразительность, их сочетание и движение оказываются драматичными, и порою возникает живой, увлекательный диалог. В замечательном стихотворении «Роза инфанты» мысль о фактическом ничтожестве и бессилии деспотизма убеждает пластической выразительностью двух параллельных поэтических картин: морской битвы, которую мрачный деспот Филипп II видит в своем воображении, и идиллической прогулки по дворцовому саду его дочери, юной инфанты.

Вдохновляясь не только образами греческих, испанских, французских эпических поэм, но и чертами глубокого реализма, который характерен для эпоса, Гюго вводит в свои поэтические повествования эпический юмор, хорошую «наивность» речевых оборотов, органически возникающих там, где это уместно по общему замыслу, и отнюдь не являющихся стилизацией под классические образцы.

Замечательным качеством «Легенды веков» является живописность многих ее, особенно исторических, поэм.

В мире поэтических образов Гюго можно обнаружить все цвета радуги. По художественным своим качествам «Легенда веков» отмечена особенностями своеобразного мастерства Гюго, приближающего его поэтическую манеру к искусству живописца. Гюго не случайно сравнивали с художниками. У него находили манеру Рубенса, Микеланджело и Веласкеза. Поэт обладал поразительным даром — умением передавать национальное своеобразие и колорит эпохи, выявлять яркие, типические черты народного искусства и народной жизни. В его поэзии можно обнаружить пейзажи, портреты и жанровые сценки.

Великолепное мастерство поэта достигает здесь настоящей зрелости. А. В. Луначарский с полным правом назвал «Легенду веков» «замечательной поэтической сокровищницей», отличающейся «мощнотрубной музыкальностью, изумительно нарядной, парчовой красочностью».

Эти особенности поэтического мастерства Гюго выражали многообразие эстетических форм искусства различных народов на различных этапах его развития.

В поэтических образах, созданных Гюго, ощутима духовно-материальная жизнь народа; в них наличествует ослепительная яркость, пластичность, богатство ритмов. Поэт меняет тональность всякий раз, как переходит в другую эпоху, в другой национальный мир. Так, торжественная медлительность поэм цикла Карла Великого уступает место гибким напевным мотивам и ритмам «Романсеро Сиды».

Грандиозный эпос «Легенды веков» в высшей степени оптимистичен. Гюго рисует здесь будущее человечества. Цикл стихотворений «Двадцатый век» представлен поэмой «Необъятное небо», где развернута картина грядущего раскрепощения человечества.

Не случайно Морис Торез в своей книге «Сын народа» приводит стихи из этой поэмы. Он убежденно заявляет: «Хотя новые тучи собираются над миром, корабль Франции не пойдет ко дну, не разобьется о рифы порабощения и войны. Ведомый рабочим классом и его благородным идеалом, выразителем которого являются

коммунисты, этот корабль плывет, говоря словами поэта, к светлому будущему, к свободе и братству —

Туда, где свет наук сияет величаво,
К концу всех язв земных и распрей всех,
К обилью, радости, туда, где счастья смех,
Плывет корабль, увенчан славой...¹

Стр. 401. Кротость старинных судей. *Пакье, Деланкр, Боден* — судейские чиновники XVIII века, реакционеры и мракобесы.

Стр. 430. Узник. Имеется в виду военный предатель маршал Базен (см. словарь); когда Базена за измену родине приговорили к смертной казни, Гюго сказал: «Я строже тех, кто хочет смерти Базена. Я требую его жизни и позора». Смертный приговор Базену был заменен пожизненным заключением.

ВСЕ СТРУНЫ ЛИРЫ

Книга стихотворений «Все струны лиры» напечатана после смерти поэта. Первые две серии этого сборника были опубликованы в 1888 г., третья серия — в 1893 г. В авторском примечании Гюго отметил: «Все струны лиры» должны представить весь репертуар моей поэзии». Впоследствии работа по подготовке рукописи этого сборника к изданию велась близкими друзьями поэта — Полем Мерисом и Огюстом Вакри. Мерис и Вакри распределили стихотворения и поэмы Гюго по следующим разделам: «Человечество», «Природа», «Мысль», «Искусство», «Я», «Любовь», «Фантазия», «Медная струна».

Разделы, установленные составителями сборника, соответствуют в широком смысле основным темам, которые всегда волновали Гюго-поэта. Вот почему стихи, вошедшие в раздел «Человечество» — произведения эпического стиля, могли бы найти место в «Легенде веков», стихи из раздела «Природа» напомним читателю лирические пейзажи, знакомые ему по «Созерцаниям», «Песням улиц и лесов» и другим сборникам. Раздел «Мысль» представляет собою весьма типичные для Гюго лирические стихотворения. В разделе «Искусство» собраны поэтические размышления о призвании поэта и значении искусства. Раздел «Медная струна» представляет собою сатирические произведения, которые по праву могли бы найти свое

¹ Морис Торез. Сын народа, Издательство иностранной литературы, 1950, стр. 201.

место в «Возмездии» и «Грозном годе», — гражданские в собственном смысле слова стихи Гюго, в которых он оплакивает страдания родины и клеймит ее предателей и палачей.

Многие стихотворения из «Всех струн лиры» не были напечатаны при жизни поэта, но они не уступают самым лучшим и значительным его творениям.

Стр. 460. *М а р а б у т - п р о р о к*. Стихотворение является откликом на происходившую в это время национально-освободительную борьбу народов Алжира и Марокко против французских захватчиков. Марабуты («люди чистой жизни» — члены мусульманской секты) были ревностными проповедниками и вдохновителями этой борьбы.

Стр. 470. *V i g o m a j o r*. Стихотворение посвящено Луизе Мишель (1830—1905), поэтессе, героине Парижской Коммуны, прославившейся своей смелостью на военном суде; не желая пережить Коммуны, она требовала для себя смертной казни.

Стр. 512. «К о г д а и д у к в ы с о к о й ц е л и...» *Нет, ни Июня меч разящий...* — Гюго подразумевает расстрел парижского пролетариата в июне 1848 г.

Стр. 518. *П о б е д а п о р я д к а. За эти восемь дней, что длилось избиенье...* — Имеется в виду так называемая «майская неделя» — с 21 по 27 мая 1871 г., во время которой версальские войска потопили в крови Парижскую Коммуну.

Стр. 524. «*З л о в е щ а я ж е н а!*...» В начале 1867 г. жены шести приговоренных к смертной казни фениев (участников ирландского национально-освободительного движения) обратились к Гюго с просьбой о заступничестве. Гюго направил королеве Виктории послание «К Англии», и она отменила смертный приговор. Однако полгода спустя трое из осужденных были все же казнены. Стихотворение Гюго является гневным откликом на эту казнь.

МРАЧНЫЕ ГОДЫ

Сборник впервые напечатан в 1898 году.

По своей тематике вошедшие в книгу стихотворения отражают те общественные события, которые происходили во Франции в период 1852—1870 гг. и которые поэт называет «мрачными», «гибельными» годами в истории Второй империи. В этих стихах наиболее

ярко преломляются патриотические чувства Гюго, находившегося в то время в изгнании, но бесконечно преданного своей родине и встревоженного ее судьбой.

Рабыней сделалась великая страна.
Бесчинствует тиран. Безмолвствует она.

Но великий поэт не может безмолвствовать. И вот в его лирике, исполненной бодрости духа и энергии, запечатлеваются самые разнообразные явления внешнего мира. Осуждая и отрицая режим Второй империи, поэт попрежнему отстаивает демократические убеждения, являющиеся основой его поэтического мировоззрения. Примечателен здесь ряд значительных образов, олицетворяющих собой величие французского народа, увлеченного мечтой о лучшем будущем (стихотворение «Вы не подумали, какой народ пред вами»).

Правдивая картина политического бесправия и социального гнета предстает в стихотворении «В совете министров», где Наполеон III поучает своих министров «быть гибкими»:

Учитесь расточать трудящимся улыбки.
Кто хочет управлять, не пожалеет сил
На то, чтоб кандалы свои народ любил.

Вместе с тем Гюго изображает в своей поэзии мужественных людей труда, олицетворяющих чувство социального протеста (стихотворение «Обэн»). В мире поэтических образов Гюго вырастают колоритные фигуры шахтеров, ремесленников, кузнецов (сборник «Последний сноп» — «Кузнецы»), труд которых пробуждает волю к осмысленным действиям и знаменует их неминуемое торжество в будущем.

Реальные факты из истории национально-освободительного движения Италии XIX века положены в основу поэмы Гюго «Ментана», посвященной Гарибальди. Давняя дружба связывала Гюго с Гарибальди. Еще в 1860 г., когда в Сицилии началось восстание итальянских патриотов против австрийского владычества, Гюго произнес речь на митинге в Джерси, посвященную героическим сражениям гарибальдийцев, в которой призывал поддержать борцов за воссоединение Италии. «Освободители народов, — говорил Гюго, — великие люди. Да будут народы признательны им, как бы ни складывалась судьба этих героев!.. Джон Браун гибнет в Америке, но Гарибальди торжествует в Европе».

В многочисленных общественных выступлениях Гюго поддерживал Гарибальди, и когда потребовались средства для приобретения оружия, Гюго выразил согласие предоставить Гарибальди необходимую сумму.

В 1867 году Гарибальди предпринял героический поход на Рим с целью освобождения столицы и Папской области, являвшихся в то время владениями Пия IX. В сражении при Ментане гарибальдийцы, отразив атаки папских войск, почти одержали над ними победу, но в последний момент подоспели отряды французских солдат, посланные Наполеоном III, и Гарибальди потерпел поражение, а вслед за тем был арестован итальянскими войсками.

Эти события нашли отражение в поэме «Ментана», впервые опубликованной в ноябре 1867 года, а затем включенной составителями в сборник «Мрачные годы».

В поэме воспет подвиг итальянских патриотов, которые сражались под знаменами легендарного героя Гарибальди, воплощавшего в себе революционную энергию народа.

...О, как боролись вы
За то, чтоб гордый Тибр катил свободно воды!
Не может молодость не требовать свободы.
Униженный народ хотели вы поднять,
Хотели, чтоб орел на воле мог летать.
Все беды родины, обиды, униженья
Взывали к вам без слов и требовали мщенья.

Поэт полон гнева и справедливого возмущения против гнусных политических интриг Наполеона III, который был решительным противником объединения Италии с Римом и оказывал военную помощь Пию IX в борьбе против героических отрядов Гарибальди.

В финале поэмы Гюго обращается к французскому народу с призывом восстать и свергнуть ненавистный режим Второй империи.

«Ментана» пользовалась большой популярностью в демократических кругах. За короткое время она выдержала 17 изданий. Ее высоко ценил Гарибальди, выразивший чувство дружеской признательности Виктору Гюго в посвященной ему поэме, написанной на французском языке.

Стр. 539. В совете министров. *Пусть Февралю Декабрь им будет предпочтен...* — т. е. государственный переворот 2 декабря 1851 г., приведший к установлению во Франции диктаторского режима Второй империи, пусть будет предпочтен революции 1848 г. (24 февраля), провозгласившей республику.

Стр. 559. За десертом. *Так за десертом царь и император ввали...* — Имеются в виду Александр II и Наполеон III.

Этот сборник вышел в свет 24 февраля 1902 года к юбилейной дате — столетию со дня рождения Виктора Гюго.

Основная часть стихотворений — превосходные образцы лирической поэзии Гюго. Сюда же вошли и незавершенные поэмы.

О значении поэтического наследия великого французского поэта Эмиль Золя писал: «Он хочет жить среди своих последователей даже и тогда, когда его не будет в живых. Он оставил свое слово; ежегодно он будет подниматься в гробу и заявлять: «слушайте, я вновь заговорил!» Это прекрасно и доказывает в человеке редкую энергию... В. Гюго чувствовал, вероятно, что школа его распадется, он не верил в талант последователей, которым предстояло пережить его, и предпочел продолжать борьбу из могилы. Пока он там будет держать меч, он уверен в победе». Поэтическое наследие Виктора Гюго сохраняет свое значение и поныне. Он заслуженно пользуется признанием среди читателей многих стран мира, так как его творчество воодушевляли идеи и настроения, близкие всему передовому человечеству.

Стр. 582. «Известен ты иль нет...» *Марс, Фирмен и Жоанни* — актеры, исполнявшие первые роли в драме Гюго «Эрнани» на премьере 25 февраля 1830 г.

Стр. 586. *Lyrnesi domus alta; solo Laurente sepul-*
crum Латинский заголовок — стих из «Энеиды» Вергилия, песнь XII, ст. 547.

СЛОВАРЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН И СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

Абдул-Меджид (1839—1861) — турецкий султан; подчинил внешнюю политику Турции интересам Англии и Франции и по их указке спровоцировал Крымскую войну с Россией.

Авгуры — древнеримские жрецы, предсказывавшие будущее по полету и крику птиц.

Аверн (*греко-римск. мифол.*) — озеро в Италии, которое будто бы служило входом в загробный мир.

Аврелий Марк (161—180) — римский император. Философ-идеалист.

Азинкур — деревня на севере Франции, близ которой в 1415 г., во время Столетней войны, английские войска разгромили французских рыцарей.

Акциум (Акций) — мыс в Греции, у которого в 31 г. до н. э. произошло морское сражение между претендентами на власть в Риме — Октавианом и Антонием, закончившееся победой Октавиана.

Альбин Петр (ум. 1596) — немецкий поэт и историк.

Альгвасил — полицейский и судебный чин в Испании.

Альцест — герой комедии Мольера «Мизантроп», образец неподкупной честности и прямоты.

Аман — согласно библейскому преданию, министр и фаворит персидского царя; из зависти к своему сопернику Мардохею задумал погубить всех евреев, но заплатил за это жизнью, попав на виселицу, предназначенную им для Мардохея.

Амариллис — имя пастушки одной из эклог Вергилия.

Амос — библейский пророк, славившийся своим красноречием.

Анакреон (VI в. до н. э.) — выдающийся лирический поэт древней Греции, певец любви и наслаждений.

Англес Шарль (1736—1823) — судебный чиновник Империи и Реставрации, враг французской революции.

Андреевский флаг — кормовой флаг кораблей русского военно-морского флота.

Андрюй Франсуа-Гийом (1759—1833) — французский драматург, эпигон классицизма.

Андрокул (I в. н. э. ?) — легендарный римский раб, о котором сохранился рассказ, будто бы он, выступая гладиатором на арене цирка, был пощажен львом, потому что когда-то раньше извлек занозу из его лапы.

Антифон (V в. до н. э.) — древнегреческий политический деятель и писатель, считавшийся основателем политического красноречия.

Антраг Генриетта (1579—1633) — любовница французского короля Генриха IV.

Аньядель — деревня в Северной Италии, у которой в 1509 г. французские войска одержали победу над венецианцами.

Арбела — город в Ассирии, близ которого в 331 г. до н. э. Александр Македонский разбил войско персидского царя Дария.

Аретин (Аретино) Пьетро (1492—1556) — итальянский публицист и сатирик, произведения которого отличались язвительностью и остроумием. Перу Аретино были, однако, присущи грубость и натурализм, что и подчеркивает Гюго.

Ареццо — крепость в Италии, у стен которой в 1289 г. произошло ожесточенное сражение между жителями Ареццо и флорентийцами.

Ариосто Лодовико (1474—1533) — выдающийся поэт позднего итальянского Возрождения.

Аристид (ок. 540—467 до н. э.) — видный афинский полководец и политический деятель, глава демократической партии, прозванный «Справедливым». В 483—480 гг. находился в изгнании.

Аррия (I в. до н. э.) — жена римского сенатора Цецины Пета; когда ее муж был приговорен к смертной казни, она с возгласом «Смотри, это не больно!» вонзила себе в сердце кинжал и умерла на его глазах. Воодушевленный ее мужеством, Пет покончил с собою.

Аспазия (V в. до н. э.) — выдающаяся по красоте и по уму гречанка, жена Перикла. Сократ называл ее своей учительницей.

Аттика — область древней Греции со столицей в Афинах.

Ахав — упоминаемый в библии иудейский царь, подвергнувший преследованиям пророков, которые обличали его деспотизм.

Бабьека — имя коня Сиды.

Базен Франсуа (1811—1888) — маршал Франции; при Наполеоне III возглавлял его захватнические военные экспедиции, участвовал в Крымской войне с Россией. Во время франко-прусской войны сдал пруссакам почти двухсоттысячную армию, был приговорен за измену сначала к смертной казни, а затем к пожизненному заключению, но бежал в Испанию.

Банкрофт Джордж (1800—1891) — американский буржуазный историк и дипломат. Во время франко-прусской войны 1870—71 гг., будучи послом США в Берлине, оправдывал прусскую агрессию.

Барбаросса Фридрих (1152—1190) — германский император, стремившийся путем захватнических войн подчинить себе соседние страны.

Барбе д'Оревильи Жюль Амедей (1808—1889) — французский писатель, воинствующий католик, автор ряда романов, написанных в традиции реакционного романтизма.

Барбес Арман (1809—1870) — французский мелкобуржуазный революционер, один из организаторов республиканского восстания в Париже в 1839 г.

Барра Жозеф (1780—1793) — мальчик-доброволец, сражавшийся в революционной армии против мятежников Вандеи. Захватившие его в плен роялисты потребовали, чтобы он кричал: «Да здравствует король!» Он же крикнул: «Да здравствует республика!» и был за это убит на месте.

Бассомьер Франсуа (1579—1646) — маршал Франции, с именем которого связано немало галантных походов, походов.

Бастарны — германское (или кельтское) племя, населявшее в древности бассейн Дуная.

Баярд Пьер дю Террай (1476—1524) — французский военачальник, прославившийся своей храбростью и крупными военными победами. Был прозван «рыцарем без страха и упрека».

Бел — верховный бог древних вавилонян.

Бем — (прозвище Карла Диановича) — уроженец Богемии, наемный убийца, активный участник резни гугенотов в Варфоломеевскую ночь, убийца Колиньи (см.). В 1575 г. был убит протестантами.

Бернардо дель Карнио — герой испанского народного эпоса, борец за освобождение Испании от мавров.

Блонден Жан Франсуа (1824—1897) — французский цирковой артист-акробат, поразивший современников тем, что неоднократно переходил Ниагару по канату, в том числе в толстом мешке, с ношей, в темную ночь и т. п. За эти бесстрашные акробатические трюки был прозван «героем Ниагары».

Бисетр — дом для инвалидов и душевнобольных в окрестностях Парижа.

Бленхейм — деревня в Баварии, где в 1704 г., во время войны за испанское наследство, англо-австрийские войска нанесли поражение французам.

Бобеш — известный в начале XIX века французский комический актер, исполнитель фарсов.

Боден Виктор (1811—1851) — врач, депутат Национального собрания, мелкобуржуазный демократ, убитый на баррикаде после государственного переворота Луи Бонапарта.

Боден Жан (1530—1596) — французский политический мыслитель, идеолог абсолютизма, сторонник централизации власти под суверенитетом монарха

Борджа Лукреция (1480—1519) — сестра Чезаре Борджа, жестокая и развращенная женщина, славившаяся своей красотой. Семейство Борджа использовало ее для осуществления своих планов политического господства, выдавая замуж за различных итальянских правителей, которые вскоре после брака погибали от рук убийц и отравителей, подосланных отцом или братом Лукреции. Гюго посвятил ей свою историческую драму «Лукреция Борджа» (1833).

Борджа Чезаре (1476—1507) — сын папы Алессандро Борджа, известный своим деспотизмом и развращенностью правитель Романьи. Ради достижения власти не останавливался ни перед какими преступлениями.

Боссюэ Жак Бенинь (1627—1704) — французский богослов, историк и оратор, идеолог католической реакции и абсолютизма. При нем и не без его участия был отменен Нантский эдикт, узаконивший протестантизм во Франции, и начались массовые преследования гугенотов.

Бочальд Луи Габриель, виконт (1753—1840) — французский политический деятель и публицист, один из главных идеологов феодально-католической реакции, сторонник неограниченной монархии.

Бощарис Марко (1789—1823) — герой национально-освободительной борьбы греков против поработивших их турок.

Браун Джон (1800—1859) — выдающийся американский abolitionист, казненный за попытку поднять негров на восстание.

Бренн — легендарный вождь галлов, совершивших в 390 г. до н. э. победоносный поход на Рим.

Бруно Джордано (1548—1600) — выдающийся итальянский философ и ученый, непримиримый борец против католицизма, материалист и атеист. Попав в руки инквизиции, не отрекся от своих взглядов и был сожжен на костре.

Брут Марк Юний (85—42 до н. э.) — римский республиканец, участник убийства Юлия Цезаря. Потеряв надежду на возможность сохранения республики, покончил самоубийством вместе со своей женой Порцией.

Брюмер — имеется в виду 9 ноября (18 брюмера) 1799 г., когда Наполеон Бонапарт совершил государственный переворот и сверг правительство Директории.

Брюн Гийом (1763—1815) — участник буржуазной революции конца XVIII в., затем маршал Наполеона I. В 1815 г., в период роялистского террора, был зверски убит в Авиньоне.

Брюнгильда — одна из героинь древнегерманского эпоса, девовоительница.

Буало-Депрео Николà (1636—1711) — французский поэт-сатирик, теоретик классицизма.

Бувин — селение на севере Франции, где в 1214 г. французские войска одержали победу над соединенными силами германского императора Оттона IV и графа Фландрского.

Бузирис — легендарный египетский царь, будто бы приносивший в жертву богам всех чужестранцев, появлявшихся на его земле.

Бурдалу Луи (1646—1726) — французский иезуит-проповедник, известный своим крайним фанатизмом и жестокими преследованиями гугенотов.

Бюжо Тома (1784—1849) — французский генерал, участник свирепого подавления парижского восстания республиканцев в 1834 г. и завоевания Алжира.

Бюффон Жорж Луи граф де (1707—1788) — знаменитый французский естествоиспытатель, директор Ботанического сада в Париже, где собраны образцы фауны, флоры и минералов со всего земного шара.

Валантен Мари Эдмон (1823—1876) — реакционный французский политический деятель, один из душителей Парижской Коммуны.

Валтасар — последний царь Вавилона, известный крайней

распущенностью и бесчестьем. Накануне падения Вавилона во время оргии на стене пиршественного зала выступили огненные буквы «мане, текед, фарес» (сочтено, взвешено, разделено), предвещавшие Валтасару смерть, а Вавилону гибель.

Валькирия (скандинавск. мифол.) — прекрасная дева с лебедиными крыльями, носившаяся в золотом вооружении по воздуху и определявшая во время битв, кто из воинов должен умереть.

Вандемьер — первый месяц французского революционного календаря. Тринадцатого вандемьера 4 года республика (5 октября 1795 г.) роялисты подняли в Париже мятеж, подавленный Конвентом.

Вандея — провинция на северо-западе Франции, где во время французской революции 1789—1794 гг. дворянство и духовенство, опираясь на реакционные слои местного крестьянства, подняли контрреволюционный мятеж.

Вантоз — шестой месяц французского революционного календаря (с 19 февраля по 20 марта).

Варавва — согласно евангельской легенде, разбойник, приговоренный одновременно с Христом к смертной казни, однако помилованный, когда по случаю пасхи одному из них было решено сохранить жизнь.

Варфоломеевская ночь — ночь на 24 августа 1572 г., когда католики учинили резню гугенотов в Париже и других городах Франции.

Веды — священные книги древних индусов.

Вейо Луи Франсуа (1813—1883) — французский католик-публицист, сторонник Луи Бонапарта, крайний реакционер.

Веледа (I в. н. э.) — прорицательница у древних германцев.

Венды — немецкое название западных славян, населявших Восточную Германию, а затем отесненных или истребленных немцами.

Вестготы — германское племя, захватившее и разграбившее Рим в 410 г.

Видукинд (IX в.) — вождь племени саксов. Возглавлял борьбу против Карла Великого, а затем был подкуплен и перешел на сторону завоевателей.

Виллар Клод Луи (1653—1734) — известный полководец, участник войн Франции против Нидерландов и Италии.

Винкельрид — швейцарский крестьянин, пожертвовавший своей жизнью в битве за освобождение Швейцарии от гнета австрийских Габсбургов (1386 г.).

Винуа Жозеф (1808—1880) — генерал, бонапартист, активный участник зверской расправы с коммунарами в 1871 г.

Вителлий (I в. н. э.) — римский император, известный своей развращенностью и прожорливостью.

Витербо — италийский городок неподалеку от Рима, принадлежавший папе с XI по XIX век.

Вишну — один из трех главных индусских богов.

Вооз — библейский персонаж, богатый вифлеемлянин, отличавшийся благочестием и добродетелью.

Вуглан Муайяр (1713—1781) — французский криминалист, придерживавшийся в вопросах права крайне реакционных взглядов.

Габсбурги — династия, царствовавшая в Германии, Австрии и Испании. В XIV в. Швейцария в борьбе с Габсбургами добилась независимости.

Гаво — председатель трибунала, судившего парижских коммунаров в 1871 г. Гаво был выпущен из сумасшедшего дома на время расправы с коммунарами и вновь водворен туда после ее окончания.

Гайнау Юлиус Якоб (1786—1853) — австрийский фельдмаршал, с крайней жестокостью подавивший итальянскую и венгерскую революции 1848—1849 гг.

Галгак — вождь кельтов Шотландии (а не германцев, как сказано у Гюго), героически отстаивавший независимость своей родины от римлян.

Галгал — древнепалестинский город; согласно библейскому преданию, первое место стоянки евреев в Палестине, явившееся опорным пунктом для завоевания всей страны.

Галиган — вдова Кончини (см.), обвиненная после смерти мужа в колдовстве и казненная в 1617 г. на Гревской площади; после казни ее тело было сожжено.

Галифе Гастон (1830—1909) — генерал, палач Парижской Коммуны.

Гама Васко де (1469—1524) — португальский мореплаватель, открывший морской путь из Европы в Индию.

Гамбетта Леон (1838—1882) — лидер буржуазных республиканцев, противник Второй империи. После революции 4 сентября 1870 г., будучи министром внутренних дел, принимал активные меры для организации обороны Франции.

Ганелон — персонаж французского героического эпоса; отчим Роланда (см.), предавший его в битве при Ронсевале (см.).

Ганна — у древних германцев — жрица-прорицательница.

Гарибальди Джузеппе (1807—1882) — итальянский народный герой, вождь революции 1849 г., один из активных борцов за освобождение Италии от австрийского владычества и феодально-католического гнета.

Гарпагон — главный персонаж комедии Мольера «Скупой»; имя его стало нарицательным для обозначения скряги.

Гаррас Франсуа (1585—1630) — клерикальный журналист, иезуит, осыпавший бранью «вольнодумцев» и «еретиков».

Гарун-аль-Рашид (786—809) — арабский халиф; согласно преданиям, совершал, переодевшись, прогулки по своей столице Багдаду, чтобы видеть и слышать, что думает и говорит народ.

Гарц — лесистый горный массив в Германии.

Гастингс — город в юго-восточной Англии, близ которого в 1066 г. норманны во главе с Вильгельмом Завоевателем разбили англосаксов.

Гемпден Джон (1594—1643) — один из лидеров нового дворянства и буржуазии во время английской буржуазной революции XVII в.

Герман (Арминий) (17 г. до н. э. — 21 г. н. э.) — вождь германского племени херусков, разгромивших римлян в Тевтобургском лесу (9 г. н. э.).

Гесиод (VIII в. до н. э.) — древнегреческий поэт, автор поэмы «Труды и дни», в которой воспевается трудовая жизнь на лоне природы.

Гизо Франсуа (1787—1874) — видный французский буржуазный историк, реакционный политический деятель Июльской монархии.

Гладстон Вильям (1809—1898) — лидер английской либеральной партии, будучи премьер-министром Англии во время франко-прусской войны, сочувственно относился к Пруссии.

Голконда — столица одного из царств древней Индии, славившаяся своими богатствами и роскошными зданиями; к XIX веку от нее остались только развалины.

Грахи Тиберий и Гай — римские политические деятели II в. до н. э., пытавшиеся провести реформы в интересах плебеев.

Грандьё Урбан (1590—1634) — французский священник, обвиненный в колдовстве и сожженный на костре.

Грант Улисс (1822—1885) — американский генерал; во время гражданской войны между рабовладельческим Югом и промышленным Севером командовал войсками северян. Будучи президентом США во время франко-прусской войны, поддерживал Пруссию.

Грин Роберт (1558—1590) — английский драматург, один из старших современников Шекспира, враждебно к нему относившийся.

Гус Ян (1369—1415) — вождь национально-освободительного движения в Чехии, сожженный на костре как еретик.

Гюго Шарль (1826—1871) — сын Виктора Гюго, публицист.

Дав — типический персонаж в древнеримской комедии, преданный и честный, но глуповатый слуга.

Девьенн Адриан Мари (1802—1884) — председатель кассационного суда во время Второй империи, один из ближайших сподвижников Луи Бонапарта.

Дезе Луи Шарль (1768—1800) — талантливый генерал, погибший в битве при Маренго.

Делангль Клод (1797—1869) — активный бонапартист, участник государственного переворота 2 декабря 1851 г., министр юстиции и внутренних дел Второй империи.

Дельфы — крупнейший религиозный центр древней Греции, там пребывал знаменитый дельфийский оракул.

Денен — город в Северной Франции, близ которого в 1712 г., во время войны за испанское наследство, французы разбили войска англо-голландско-австрийской коалиции.

Депрео — см. Буало.

Джефферсон Томас (1743—1826) — американский буржуазный просветитель и демократ, активный участник войны за независимость США, в 1801—1808 гг. — президент США.

Доминик — католический монах, живший на рубеже XII—XIII вв., основатель монашеского ордена доминиканцев, отличавшегося крайне суровым уставом.

Донно де Визе Жан (1636—1710) — второстепенный французский писатель, из чувства мелкой зависти резко нападавший на Мольера.

Дрез Иоганн (1787—1867) — изобретатель игольчатого нарезного ружья, состоявшего во время франко-прусской войны на вооружении прусской армии.

Дюбарри Мари Жанна (1744—1793) — любовница французского короля Людовика XV, обладавшая огромным влиянием на него в последние годы царствования. Казнена во время якобинской диктатуры.

Дюваль Эмиль Виктор (1841—1871) — рабочий-литейщик, член Парижской Коммуны, начальник полиции. Попал в плен к версальцам и был расстрелян по приказу генерала Винуа.

Дюнуа Жан (1402—1468) — полководец, успешно сражавшийся с англичанами во время Столетней войны.

Дюпен Андре Мари (1783—1865) — французский юрист и политический деятель-бонапартист, отличавшийся крайней беспринципностью своих взглядов.

Дюрандаль — название меча Роланда (см.).

Езекииль (Иезекииль) — один из библейских пророков.

Елачич Иосиф (1801—1859) — хорватский реакционный государственный деятель, один из душителей венгерской революции 1848—1849 гг.

Жанна д'Арк (ок. 1412—1431) — народная героиня, девушка, возглавившая освободительную борьбу французского народа против английских захватчиков. Попала в плен к англичанам и была сожжена на костре.

Жеронт — типический персонаж французской комедии XVII—XVIII вв., глуповатый старик.

Жиске Андре (1792—1866) — полицейский префект времен Июльской монархии.

Жоаннар Жюль (1843—1888) — рабочий, видный деятель I Интернационала, активный участник Парижской Коммуны.

Зара — город в Югославии; в средние века — крупный торговый центр Далмации. В 1209 г. Зара после длительной осады была взята крестоносцами.

Зенон Элейский (VI в. до н. э.) — греческий философ; боролся против тирана Демилоса и, попав к нему в плен, перенес жестокие пытки, но не выдал своих сообщников.

Иври — город северо-западнее Парижа, где в 1590 г., во время религиозных войн, Генрих Бурбон нанес сокрушительное поражение войскам католической Лиги

Игнатий — см. Лойола.

Иерихон — древнейший город в Палестине, стены которого, согласно библейскому преданию, рухнули от звука труб иудейского войска Иисуса Навина, осаждавшего город.

Изабелла — французская королева XV в. Изабелла Баварская, снискавшая печальную известность своей жестокостью и развращенностью.

Изида (Исида) — египетская богиня материнства и плодородия.

Иксион (греко-римск. мифол.) — царь горного племени лапифов, воспылавший страстью к супруге Зевса Гере и за это прикованный Зевсом к вращавшемуся огненному колесу.

Индра — бог войны у древних индийцев.

Иорик — шут, служивший при датском дворе, когда Гамлет был ребенком. В сцене на кладбище (акт IV) Гамлет, держа в руках череп Иорика, рассуждает о бренности земного величия.

Иорки — ветвь английской династии Плантагенетов. В 1455—

1485 гг вели упорную кровопролитную войну за престол против другой ветви Плантагенетов — Ланкастеров («Война Алой и Белой Розы»).

Иосафат — иудейский царь, согласно библейскому преданию, отличавшийся благочестием и весьма заботившийся о нуждах своего народа.

Ирминсул — языческое божество у древних саксов.

Исайя — один из главнейших библейских пророков, по преданию, не боявшийся говорить правду в лицо недостойным царям.

Каиафа — иудейский первосвященник, согласно евангельскому сказанию, осудивший Иисуса Христа на смерть.

Кайенна — город во Французской Гвиане (Ю. Америка), место политических ссылок.

Канробер Франсуа Сертен (1809—1895) — генерал бонапартист, один из инициаторов кровавой расправы с республиканцами в дни государственного переворота Луи Бонапарта в декабре 1851 г.

Калас Жан (1698—1762) — французский протестант, казненный по приговору церкви после чудовишных пыток за то, что будто бы он убил сына, чтобы помешать ему перейти в католичество. Благодаря вмешательству Вольтера дело Каласа было пересмотрено и он был посмертно оправдан.

Калибан — персонаж пьесы Шекспира «Буря», полудикарь, полу-чудовище, нравственный урод.

Камбиз — древнеперсидский царь, сын Кира Великого, царствовавший с 529 по 522 г. до н. э.

Кана — город в Палестине, где, согласно евангельскому сказанию, Иисус, присутствуя на свадебном пире, когда стало не хватать вина, совершил «чудо», превратив воду в вино.

Кантемир Дмитрий (1674—1723) — молдавский господарь, ученый-энциклопедист, сблизившийся с Петром I и долго живший в России. Ему принадлежит ряд трудов по истории Турции и магометанства.

Канут — имеется в виду Канут Второй — король Англии, Дании и Норвегии с 1014 по 1035 г., известный своим властным характером.

Караибы — индейские племена, населявшие Южную и Центральную Америку; были почти полностью истреблены испанскими и португальскими колонизаторами.

Карл Девятый (1550—1574) — французский король; есть сведения, что он лично принимал участие в избиении в Варфоломеевскую ночь (см.), стреляя из окна Лувра в гугенотов.

Картуш — главарь шайки бандитов, действовавшей в Париже и его окрестностях в XVIII в.

Карье Жан Баптист (1756—1794) — участник буржуазной революции конца XVIII в. Жестоко подавил роялистский мятеж в Нанте. Был казнен в период Директории.

Катилина (I в. до н. э.) — римский патриций, вождь движения, направленного против аристократической олигархии (т. н. «заговор Катилины») и подавленного сенатом.

Катон Младший или Утический (95—46 гг. до н. э.) — государственный деятель древнего Рима, вождь республиканской партии, сторонник сенатской олигархии, выступавший против Катилины.

Кекропс — легендарный основатель Афин, первый царь Аттики.
Кеслер Жан (ум. 1574) — швейцарский протестант, один из ревностных сторонников реформации.

Кибела (восточн. и греко-римск. мифол.) — великая мать богов; некоторые обряды культа Кибелы состояли из кровавого жертвоприношения быков.

Кинегир — брат Эсхила, участник Марафонского сражения; преследуя уходящие персидские галеры, бросился в воду и пытался задержать одну из них руками. Согласно легенде, когда персы отрубили ему сначала одну, а затем и другую руку, он вцепился в галеру зубами.

Клебер Жан Батист (1753—1800) — выдающийся полководец, подавлявший вандейский мятеж.

Клитандр — типический персонаж французской комедии, счастливый любовник.

Клозамон — название меча Оливье, друга Роланда (см.).

Коклес Гораций — легендарный римский герой; прикрывая отход своего отряда, один удерживал мост через реку против сильного врага. Лишился глаза, но спас своих товарищей.

Колардо Шарль-Пьер (1732—1776) — французский поэт и драматург, эпигон классицизма.

Колиньи Гаспар (1519—1572) — адмирал, глава гугенотов во время религиозных войн. Был зверски убит в Варфоломеевскую ночь.

Кольбер Жан Батист (1619—1683) — видный политический деятель, генеральный контролер финансов Людовика XIV, введший во Франции систему меркантилизма, способствовавшую укреплению французской экономики.

Коммод (180—192) — римский император, сын Марка Аврелия, жестокий деспот. Был убит во время восстания.

Конде Луи де Бурбон (1621—1686) — принц, крупный французский полководец, деятельный участник движения Фронды.

Кондорсе Жан (1743—1794) — один из вождей жирондистов во время революции конца XVIII века, ученый и философ. Выступая против якобинской диктатуры, был арестован и покончил самоубийством в тюрьме.

Конститусьонель — одна из наиболее популярных буржуазно-либеральных газет периода Реставрации.

Кончини (маршал д'Анкр) — военный и политический деятель XVI в., итальянец по происхождению. Был убит при Людовике XII в 1617 г.

Костюшко Тадеуш (1746—1817) — борец за национальное освобождение Польши, руководитель польского восстания 1794 г., активный участник борьбы за независимость Северной Америки.

Кошон — французский епископ-ренегат, в эпоху Столетней войны, вел следствие, а затем возглавил процесс, организованный англичанами против Жанны д'Арк (см.).

Крапп (I в. до н. э.) — римский военачальник, подавивший восстание Спартака. Подверг жестокой расправе всех пленных рабов, распяв их на крестах.

Кузен Виктор (1792—1867) — французский философ-идеалист, буржуазный либерал, министр просвещения Июльской монархии.

Куртиль — квартал в Париже, славившийся своими праздничными карнавальными процессиями.

Курций Марк — легендарный римлянин. Услышав от жрецов, будто образовавшийся на римском форуме провал исчезнет только после того, как в него будет брошено то, что составляет силу Рима, он сам на коне и при оружии бросился в провал.

Кутра — город в юго-западной Франции, близ которого в 1587 г., во время религиозных войн, Генрих Бурбон одержал победу над католиками.

Лабарр Жан Франсуа (1747—1766) — французский офицер, сожженный на костре по ложному обвинению в оскорблении религии. После вмешательства Вольтера дело Лабарра было пересмотрено, и он был посмертно оправдан.

Лагарп Жан Франсуа (1739—1803) — французский драматург и теоретик классицизма

Ладзарони — деклассированные, люмпен-пролетарские элементы в Италии.

Ламуаньон Кретьен Франсуа (1735—1789) — реакционный французский государственный деятель, президент парижского суда при Людовике XVI

Ланперуз Жан Франсуа (1741—1788) — известный мореплаватель. Погиб при кораблекрушении во время кругосветного путешествия.

Ла-Раме (Рамус) Пьер (1515—1572) — ученый и философ-гуманист. Сочувствовал гугенотам и был убит в Варфоломеевскую ночь

Латюд Жан Анри (1725—1805) — узник Бастилии, проведенный в тюрьме без всякой вины 35 лет по приказу маркизы де Помпадур.

Лафайет Мари Жозеф (1757—1834) — французский генерал, участник войны северо-американских колоний Англии за независимость.

Лафемас Исаак (ум. 1650) — французский адвокат, а затем государственный советник при кардинале Ришелье. За свою жестокость был прозван «палачом». Выведен в драме Гюго «Марьон Делорм».

Левер Шарль — супрефект одного из департаментов Франции, бонапартист и крайний реакционер.

Левиафан — упоминаемое в библии морское чудовище.

Лейпциг — город в Германии, близ которого 16—19 октября 1813 г. войска антифранцузской коалиции, несмотря на стойкость французских солдат, нанесли поражение армии Наполеона I.

Лелю Луи Франсуа (1804—1877) — французский медик, автор книги «Демон Сократа», где он пытался доказать, что Сократ был умалишенным.

Лепанто — город в Греции, на берегу Коринфского залива. В 1571 г. здесь произошло крупнейшее морское сражение, в котором соединенный флот Испании и Венеции разгромил турецкий флот.

Лесбия (I в. до н. э.) — возлюбленная римского поэта Катулла, воспетая в его стихах.

Лесдигьер (1543—1626) — маршал Франции; будучи сначала протестантом, он перешел затем в католичество и яростно преследовал гугенотов.

Летелье Мишель (1603—1685) — реакционный французский политический деятель, иезуит, ярый враг протестантов.

Линкольн Авраам (1809—1865) — выдающийся американский государственный деятель, президент США во время гражданской войны между Севером и Югом, непримиримый противник рабства. Был злодейски убит через несколько дней после победы над южанами агентом рабовладельцев и банкиров.

Лобардемон Жак Мартин (1590—1653) — государственный советник и следователь по особо важным делам при Ришелье, известный своими несправедливыми и жестокими приговорами.

Лойола Игнатий (1491—1556) — испанский мракобес-католик, основатель ордена иезуитов.

Локк Джон (1632—1704) — выдающийся английский философ.

Локуста (I в. н. э.) — римская отравительница. Отравила императора Клавдия, а затем, по приказу Нерона, — наследника престола Британика.

Лотрек Оде (1496—1528) — маршал, участник походов в Италию. Будучи губернатором Милана, своей жестокостью вызвал восстание населения и был вынужден бежать во Францию.

Лувау Франсуа Мишель (1639—1691) — государственный деятель, военный министр Людовика XIV; отличался крайней жестокостью, особенно в преследовании гугенотов.

Луи Тринадцатый (1610—1643) — французский король Людовик XIII.

Лукреций Кар (99—55 гг. до н. э.) — выдающийся римский поэт и философ-материалист, автор философской поэмы «О природе вещей».

Люкс Адам (1766—1793) — немецкий буржуазный революционер. Во время французской революции приехал во Францию, примкнул к жирондистам и был казнен якобинцами.

Мадзини Джузеппе (1805—1872) — знаменитый итальянский буржуазный революционер, один из вождей национально-освободительного движения в Италии.

Майнцский кудесник (ок. 1400—1468) — имеется в виду немецкий первопечатник Иоганн Гуттенберг, живший в г. Майнце.

Мальтус Томас Роберт (1766—1834) — английский буржуазный экономист. Известен как создатель человеконенавистнического «учения» о том, что голод, эпидемии и безработица, уносящие с собою бесчисленное количество человеческих жизней, на самом деле являются будто бы благодеянием, потому что они уменьшают несоответствие между народонаселением и средствами существования, которое Мальтус считает единственной причиной нищеты.

Мандрен Луи (1724—1755) — глава отряда во Франции, долгое время наводившего панический ужас на правительственных чиновников и богатей провинции Дофине.

Мане, текел, фарес — см. Валтасар.

Манин Даниэль (1804—1857) — итальянский буржуазный респу-

бликанец. Во время революции 1848 г. был президентом Венецианской республики, около года успешно сопротивлявшейся австрийским интервентам.

Мариньяно — селение в Северной Италии, близ Милана. Здесь в 1515 г. французские войска Франциска I одержали победу над наемными швейцарскими войсками миланского герцога.

Мария и Марфа — упоминаемые в евангелии сестры, одинаково ревностные последовательницы учения Христа, но отличавшиеся глубоко различными характерами.

Марон — Вергилий.

Мастаи — фамилия папы римского Пия IX.

Ментана — городок в Италии, поблизости от Рима, где 3 ноября 1867 г. произошло сражение между революционными войсками Гарибальди (см.) и соединенными папской и французской армиями. Битва окончилась поражением гарибальдийцев, потерявших 600 человек убитыми.

Мёрис Поль (1820—1905) — романист, драматург и переводчик, друг Гюго.

Местр Жозеф де (1754—1821) — воинствующий идеолог католической реакции; в своей книге «О папе» обосновывал притязания папы римского на светскую власть.

Мец — город в Восточной Франции. Во время франко-прусской войны, 27 октября 1870 г., маршал Базен изменнически сдал его пруссакам.

Мирмидонянин — принадлежащий к древнегреческому племени, упоминаемому в «Илиаде»; стало именем нарицательным для обозначения человека трусливого и ничтожного.

Моле Матье Луи (1781—1855) — французский государственный деятель периода Реставрации и Июльской монархии, умеренный либерал.

Мольке Гельмут (1800—1891) — немецкий генерал, начальник генштаба прусской армии во время франко-прусской войны.

Монгольфье Жозеф (1740—1810) и **Жак Этьен** (1745—1799) — братья, изобретатели воздушного шара.

Монжой — боевой клич в королевских войсках в средневековой Франции.

Монлюк Блез (1502—1577) — один из главарей католической партии во время религиозных войн. За свою чудовищную жестокость был прозван «королевским мясником».

Монморанси — знатный французский дворянский род, представители которого занимали с XII по XVII век видные государственные посты.

Монревель Клод (1521—1584) — французский католический священник, проявил крайнюю жестокость в преследовании гугенотов и был за это произведен в кардиналы.

Монфокон — предместье Парижа, где в XIII веке была воздвигнута виселица и где вплоть до XVII века совершались казни лиц, обвиненных в политических преступлениях.

Мопертью Пьер (1698—1759) — математик, ярый противник Вольтера.

Мор Томас (1478—1535) — английский политический деятель,

ученый-гуманист, автор «Утопии», один из основоположников утопического социализма

Мосх (II в. до н. э.) — древнегреческий поэт, писавший пасторали.

Муравьев Михаил (1796—1866) — русский генерал и реакционный политический деятель, беспощадно подавивший польские восстания 1831 и 1863 гг., за что получил прозвание «вешателя».

Нимрод — упоминаемый в библии основатель Вавилона, жестокий тиран.

Нивоз — четвертый месяц революционного календаря Французской Республики (с 21 декабря по 21 января).

Низар Дезире (1806—1888) — французский историк литературы и критик, бонапартист.

Нумансия — город в Испании, население которого оказало в I в. до н. э. героическое сопротивление осадившим его римлянам. Когда Сципион все же взял Нумансию, он приказал уничтожить город до основания, а жителей убить или продать в рабство. Однако, согласно преданию, жители города, не желая сдаваться, покончили самоубийством.

Обинье Агриппа д' (1552—1630) — французский поэт, гугенот, автор «Трагических поэм», описывающий бедствия народа во время религиозных войн во Франции.

Октавиан (I в. до н. э.) — имя римского императора Августа, установившего в Риме диктаторский режим.

Оливье — друг Роланда (см.).

Омар-Аль-Назафи (1068—1142) — арабский писатель, автор многих книг по мусульманской религии.

д'Онпед Жан (1495—1558) — председатель парламента в г. Экс, беспощадно истреблявший гугенотов. По его приказу в 1545 г. были сожжены два города и двадцать четыре деревни, населенные кальвинистами.

Паллас — приближенный римского императора Клавдия; пользовался при нем огромной властью и все же отравил его и помог занять престол Нерону, который вскоре заточил его в тюрьму.

Палермская победа — в 1860 г. Гарибальди во главе революционной армии овладел городом Палермо (Сицилия) и освободил его от королевских войск.

Панагия — нагрудный знак с украшениями, носимый на цепи лицами высших духовных званий.

Парьё Мари Луи (1815—1893) — реакционный государственный и политический деятель-бонапартист, автор клерикального закона о народном образовании.

Паскаль Блез (1623—1662) — знаменитый французский ученый, мыслитель и публицист, выступавший с резкой критикой иезуитов.

Пасквино — народное прозвище древней статуи в Риме, на цоколе которой с конца XV века вошло в обычай писать едкие эпиграммы на злободневные темы (отсюда произошло слово «пасквиль»).

Патуйе Луи (1699—1779) — французский публицист-католик, ненавидевший просветителей и едко осмеянный Вольтером.

Пексан Генрих — французский генерал, изобретатель особого типа пушки, названной его именем.

Пелайо (IX в.) — полулегендарный король Астурии, начавший реконкисту (отвоевание Испании от мавров).

Пелион (греко-римск. мифол.) — гора в древней Греции, которую титаны, борясь с богами Олимпа, взгромодили на гору Оссу, чтобы добраться до неба; они были, однако, низвергнуты богами в Тартар.

Пенн Вильям (1644—1718) — сын английского адмирала, основавший в Северной Америке колонию Пенсильвания, со столицей в Филадельфии.

Пий IX (Джованни Мاستаи, 1846—1878) — папа римский, реакционер и мракобес. Был изгнан из Рима народным восстанием 1848 г., вернулся в обозе французских войск, задушивших Римскую республику, и держался только при помощи солдат Наполеона III, оккупировавших Рим вплоть до падения Второй империи во Франции.

Пилон Жермен (1535—1590) — французский скульптор, произведениями которого украшены многие сооружения Парижа, в том числе Новый мост. Гюго высоко ценил драматическую напряженность и художественное совершенство скульптур Пилона.

Писарро Франсиско (ок. 1475—1541) — испанский конкистадор, завоевавший Перу; с чудовищной жестокостью истреблял туземцев.

Пифон (греко-римск. мифол.) — огнедышащий дракон, считавшийся сыном Земли и охранявший Дельфы до занятия их Аполлоном.

Планш Гюстав (1808—1857) — французский буржуазный писатель и критик, враг демократии.

Плиний Старший (24—79) — римский политический деятель, историк и естествоиспытатель. Наблюдал с близкого расстояния за извержением Везувия и погиб под лавой.

Плюц Ноэль Антуан (1688—1761) — французский литератор-иезуит, ярый враг Вольтера.

Поло Марко (1254—1324) — знаменитый венецианский путешественник.

Понт Эвксинский — древнегреческое название Черного моря.

Понтифик (понтифекс) — верховный жрец в древнем Риме, имевший право совершать жертвоприношения. Титул этот впоследствии перешел к римским папам.

Приматиччо (1490—1570) — итальянский художник и архитектор, долго работавший во Франции.

Прузий — царь Вифинии (Малая Азия III в. до н. э.); был верным союзником Рима.

Пуатье — город в западной части Франции, у которого произошли два крупнейших сражения: в 732 г. Карл Мартелл разгромил арабов, в 1356 г., во время Столетней войны, англичане нанесли тяжелое поражение французским войскам.

Пулайе — преступник, повешенный в 1785 г. во Франции.

Равальяк Франсуа (1578—1610) — фанатик-иезуит, убивший в 1610 г. французского короля Генриха IV; был за это казнен.

Рамзес II (1292—1225 до н. э.) — египетский фараон; вел частые кровопролитные войны.

Рамилли — селение в Бельгии, близ которого в 1706 г., во время войны за испанское наследство, французские войска были разбиты союзниками во главе с герцогом Мальборо.

Рей Даниель Мари (род. 1802) — видный французский политический деятель периода Июльской монархии и революции 1848 г., последовательный республиканец.

Рея — см. Сатурн.

Рибейроль Шарль (1812—1861) — французский публицист и политический деятель-республиканец, друг Гюго.

Риго Рауль (1846—1871) — прокурор Парижской Коммуны, активный участник борьбы с контрреволюцией и обороны Парижа от версальцев. Был захвачен версальцами и расстрелян без суда. Гюго дает ему совершенно неправильную оценку.

Риего Рафаэль (1785—1823) — видный испанский буржуазный революционер, вождь революции 1820—1823 гг., казненный после ее подавления.

Роланд — герой французского героического эпоса «Песнь о Роланде».

Ронсеваль — ущелье в Нижних Пиренеях, где в сражении с маврами погиб Роланд.

Романсеро — сборник испанских лиро-эпических поэм («романсов»).

Росбах — город в Германии, близ которого в 1757 г., во время Семилетней войны, Фридрих II Прусский одержал победу над франко-австрийскими войсками.

Рошфор Анри (1831—1913) — талантливый публицист, непримиримый противник Второй империи. Издавал журнал «Фонарь», пользовавшийся большой популярностью во Франции. В 1872 г. за сочувствие Парижской Коммуне был сослан на остров Новая Каледония.

Руэр Эжен (1814—1884) — министр юстиции до и после государственного переворота Луи Бонапарта, одним из организаторов которого он был; носил одно время титул «вице-императора».

Сагунт — город в Испании, севернее Валенсии. Осажденный карфагенскими войсками Ганнибала, Сагунт геройски оборонялся в течение 8 месяцев и был почти полностью разрушен (219 г. до н. э.).

Сад маркиз де (1740—1814) — французский писатель, автор эротических сочинений.

Салмоней — один из легендарных царей древней Греции, якобы стремившийся своим величием сравняться с богами, за что и был ими сурово наказан.

Санчес Томас (1550—1610) — испанский иезуит, один из жесточайших мракобесов, казуист, оправдывавший всякое лицемерие и даже преступление, если оно служило интересам церкви.

Санчо — персонаж романа Сервантеса «Дон Кихот» — Санчо-Панса.

Сатурн (греко-римск. мифол.) — древнейший бог небес. Согласно легенде, после изгнания его с неба Юпитером он вместе со своей женой Реей поселился в Италии; время его царствования было названо «золотым веком» или «веком Реи и Сатурна».

Сбригани — персонаж комедии Мольера «Господин Пурсоньяк». Участвует в мистификации Пурсоньяка и устраивает ему различные неприятности.

Сегюр Луи Гастон (1820—1881) — французский епископ, автор многочисленных книг и брошюр по богословию, крайний реакционер.

Седан — город в северо-восточной Франции, где 1 сентября 1870 г. капитулировал перед пруссаками и сдался в плен с армией в 83 тыс. человек Наполеон III. Седанская катастрофа была непосредственным поводом к революции 4 сентября 1870 г., положившей конец Второй империи.

Сезострис — народная форма имени египетского фараона, жившего в XIII веке до н. э., при котором Египет достиг внешнего политического расцвета.

Сен-Дени — аббатство в предместье Парижа, где находилась усыпальница королей Франции.

Сен-Лазар — исправительная тюрьма для женщин в Париже, некогда служившая больницей для прокаженных.

Серизоль — деревня в Пьемонте (Италия), близ которой в 1544 г. французы одержали победу над испано-германскими войсками.

Сид Кампеадор (1040—1099) — испанский национальный герой, крупный военачальник, прославившийся в борьбе с арабскими завоевателями. Был неоднократно воспет в народном эпосе и в сборниках народных романсов, где прославлялся как друг и защитник народа от иноземных захватчиков и произвола феодалов.

Силлабус — название буллы Папы Пия IX 1864 г., в которой он предал анафеме всю прогрессивную мысль человечества и формулировал реакционные притязания католической церкви на вмешательство в светские политические дела.

Синай, или Хорив — горный хребет в Азии, где, согласно библейскому преданию, пророк Моисей дал израильтянам свой закон.

Синон — древний грек, который, согласно легенде, предложил предательский способ взять Троию с помощью деревянного коня, в котором спрятались воины (так называемый «тroyанский конь»).

Сион — один из холмов, на которых стоит Иерусалим. Иногда так называют и весь город.

Сиссе Эрнест Луи (1810—1882) — генерал, участник зверской расправы с коммунарами.

Скапен — ловкий и плутоватый слуга из комедии Мольера «Плутни Скапена».

Софи (Сефевиды) — династия персидских шахов, правившая с XVI по XVIII век.

Стесихор (VII—VI вв. до н. э.) — древнегреческий поэт, автор мифологических и пасторальных песен.

Страсбург — город в Восточной Франции. 9 сентября 1870 г., после почти месячной осады, был захвачен прусскими войсками.

Таванн Гаспар (1509—1573) — маршал, ярый католик, свирепо расправлялся с гугенотами.

Тальбот Джон (1388—1453) — английский полководец, участник Столетней войны с Францией.

Таун (Таунус) — горный массив в Западной Германии.

Тевт (Теутатес) — верховный бог галлов.

Тацит Корнелий (I—II вв. н. э.) — знаменитый римский историк.

Терамен (V в. до н. э.) — афинский государственный деятель и оратор, часто менявший свои политические убеждения.

Тиберий (I в. до н. э.) — римский император, известный своей крайней жестокостью.

Титир — имя пастушка одной из эклог Вергилия, где он изображен лежащим в тени деревьев.

Тифон (греко-римск. мифол.) — стоглавое чудовище, изрыгающее огонь. Изнанный Зевсом в Тартар, он вызывает землетрясения и бури.

Толбиак — старинный город в Германии, где в 495 г. король франков Хлодвиг одержал решающую победу над алеманами.

Тор (скандинавск. мифол.) — бог грома и молнии, покровитель земледелия; изображался в железных перчатках с молотом в руках для борьбы с мраком и холодом.

Торквемада Томас (1420—1498) — основатель испанской инквизиции, одна из самых зловещих фигур католической реакции.

Тортони — известное парижское кафе.

Тразев Люций Пет — римский сенатор, мужественно выступавший против Нерона. Будучи приговорен к казни, покончил самоубийством.

Трафальгар — мыс в Испании, западнее Кадиса, близ которого 21 октября 1805 г. франко-испанский флот был разгромлен английской эскадрой.

Траян (I—II вв. н. э.) — римский император, при котором Рим украсился многими прекрасными зданиями. Среди воздвигнутых Траяном сооружений известна 40-метровая колонна, украшенная барельефами на темы победоносных военных походов императора («столп Траяна»).

Трестальон — главарь шайки роялистов, терроризировавших южные департаменты Франции в первые годы Реставрации (1815—1818).

Тримальхион — персонаж романа «Сатирикон» римского писателя Петрония (I в. н. э.), тип тупого и самодовольного богача, отличавшегося обжорством.

Трошю Луи Жюль (1815—1896) — генерал; после падения Второй империи — глава Временного правительства, прозванного народом за его капитулянтскую политику «правительством национальной измены».

Трюбле Никола Шарль Жозеф (1697—1770) — литератор-иезуит, высмеянный Вольтером.

Тулон — французский военный порт на Средиземном море. В декабре 1793 г. при освобождении Тулона от захвативших его англичан впервые отличился Наполеон Бонапарт.

Тьер Адольф (1797—1877) — французский политический деятель, историк и публицист, крайний реакционер. Премьер-министр и министр внутренних дел Июльского правительства; в 1849—1851 гг. руководил реакционной «партией порядка». В 1871 г. возглавил правительство и потопил в крови Парижскую Коммуну.

Тюрени Анри (1611—1675) — выдающийся полководец, одержал ряд блестящих побед.

Уголино — пизанский тиран XIII века. Его крайняя жестокость была причиной государственного переворота, в результате которого Уголино был отстранен от власти и заключен со своими детьми и внуками в башню, где умер от голода. (История Уголино изображена в «Божественной комедии» Данте, «Ад», песнь 33).

Ульм — город в юго-западной Германии, близ которого в октябре 1805 г. австрийские войска понесли тяжелое поражение от Наполеона I.

Уэсли Джон (1703—1791) — английский религиозный реформатор, основатель секты методистов; отличался крайним религиозным фанатизмом.

Фариначчи Проспер (1554—1613) — итальянский юрист, а затем прокурор, отличавшийся жестокостью и бесчестностью.

Фарсал — город в Греции, близ которого в 48 г. до н. э. Юлий Цезарь разбил войска Помпея.

Фельянтины — женский монастырь в Париже. Был упразднен во время революции конца XVIII века. В доме, принадлежавшем ранее этому монастырю, провел часть своего детства Виктор Гюго.

Феокрит (II в. до н. э.) — древнегреческий поэт, основоположник пасторальной поэзии.

Фердоуси (ок. 925—1020) — великий иранский поэт, автор поэмы «Шахнамэ».

Фермопилы — горный проход в Греции. Здесь в 480 г. до н. э. небольшой отряд под командованием царя Спарты Леонида героически оборонялся против целой армии персов.

Фивы — название двух знаменитых городов древности: 1) «Семивратные Фивы» — столица области Беотии в средней Греции; 2) «Стовратные Фивы» — столица Египта в период древнего и отчасти нового царств.

Филинт — персонаж комедии Мольера «Мизантроп».

Флуранс Гюстав (1838—1871) — видный революционер, член Парижской Коммуны; был убит жандармом.

Фокион (ок. 402—317 гг. до н. э.) — видный афинский полководец и политический деятель, один из вождей аристократической партии.

Фолар Жан Шарль (1669—1752) — военный писатель, участник многих военных походов. Его называли «французским Вегецием».

Фонтенуа — селение в Бельгии, где в 1745 г. французские войска одержали победу над соединенными армиями Англии, Австрии и Голландии.

Флореаль — восьмой месяц республиканского календаря (с 20 апреля до 20 мая), месяц цветов.

Форпу — город в Италии, близ которого в 1495 г. французские войска одержали победу над соединенными силами нескольких итальянских княжеств.

Форум — в древнем Риме рыночная площадь — место собраний, демонстраций, как правило — политический центр города. В дальнейшем форумом стали называть всякое место, где решаются общественные вопросы.

Форштевень — носовая оконечность судна, являющаяся продолжением киля.

Фосе Леон (1803—1854) — буржуазный экономист и крупный предприниматель; в 1849 г. был министром внутренних дел.

Франклин Бенджамин (1706—1790) — выдающийся североамериканский ученый и политический деятель.

Фрерон Жан (1719—1776) — реакционный французский публицист и литературный критик, известный своими нападками на Вольтера, которые тот остроумно парировал.

Фридрих II — король Пруссии в 1740—1786 гг., видный полководец, стратегия и тактика которого полностью отражала прусский абсолютистско-крепостнический строй.

Фрина (IV в. до н. э.) — греческая куртизанка, отличавшаяся выдающейся красотой. Была любовницей знаменитого скульптора Праксителя и послужила моделью для его статуи Афродиты.

Фультон Роберт (1765—1815) — американский инженер и механик, изобретатель парового судна.

Харон — в античной мифологии — перевозчик душ через реки подземного царства.

Хенералиф (Хенералифе) — мавританский дворец в Гранаде.

Хирам — царь Тира, согласно библейской легенде, помогавший царю Соломону в строительстве храма в Галилее.

Хлодвиг (V—VI вв.) — король франков из династии Меровингов, отличавшийся воинственностью и жестокостью. Объединил под своей властью обширную территорию.

Хорив — см. Синай.

Чимборасо — вулканическая гора в Кордильерах.

Шалон — город в северо-восточной Франции; близ него в 451 г. римский наместник Галлии Аэций нанес поражение гуннам во главе с Атилой, остановив этим продвижение гуннов на запад.

Шамфор Никола Себастьян (1741—1794) — литератор, участник революции конца XVIII века. Резко выступал против якобинской диктатуры и, не дожидаясь неминуемой казни, покончил самоубийством.

Шангарнье Никола (1793—1877) — французский генерал, монархист, участник завоевания Алжира, враг революции 1848 г.; претендовал на роль диктатора.

Шанп Клод (1763—1805) — инженер, изобретатель оптического телеграфа.

Шарантон — больница для душевнобольных в Париже.

Шаспо Антуан (1833—1905) — французский оружейный фабрикант, изобретатель игольчатого ружья, названного его именем.

Швиц — кантон Швейцарии. В XIII веке в союзе с кантонами Ури и Унтервальден начал борьбу против Габсбургов, которая в 1315 г. закончилась провозглашением независимости Швейцарии.

Шенье Андре (1762—1794) — поэт-лирик, казненный во время французской революции за поддержку монархии.

Шиндерханнес — глава бандитской шайки, терроризировавшей Рейнскую область в конце XVIII века, был казнен в 1803 г.

Шмитц Исидор Пьер (1820—1892) — генерал; во время франко-

прусской войны 1870—1871 гг. был начальником штаба французской армии, оборонявшей Париж.

Шпильберг — крепость в Австрии, куда был заключен итальянский писатель Сильвио Пеллико (1789—1854) за сочувствие карбонариям.

Экбатана — столица древней Мидии (VII—VI вв. до н. э.).

Элагабал (или Гелиогабал) (III в. н. э.) — римский император, известный своей жестокостью и развращенностью.

Эндорские призраки — чудовищные призраки, которые вызывала, согласно библейскому преданию, жившая в Эндоре колдунья.

Энкедад (греко-римск. мифол.) — один из титанов, боровшихся с богами Олимпа; его дыхание извергало вулканическую лаву.

Эльсинор — город в Дании, где происходит действие трагедии Шекспира «Гамлет».

Эмпедокл (ок. 485—425 гг. до н. э.) — греческий философ и врач. По преданию, он бросился в кратер Этны.

Эпафродит — см. Эпиктет.

Эпиктет (I в. н. э.) — философ-стоик; Нерон отдал его в рабство своему любимцу Эпафродиту, который отличался крайней жестокостью и подвергал Эпиктета страшным истязаниям.

д'Эстре Габриель (1573—1599) — любовница французского короля Генриха IV.

Эффиа Антуан д' (1581—1632) — французский военный и политический деятель, способствовавший укреплению финансов Франции и ее военным успехам.

Ювенал — древнеримский поэт-сатирик (42—125).

Юлий Второй — папа римский (1503—1515); в целях укрепления политической власти Ватикана не разбирался в средствах и действовал мечом, подкупом и интригами в такой же степени, как и религиозным авторитетом церкви.

Язон (греко-римск. мифол.) — герой, совершивший во главе «аргонавтов» экспедицию в Колхиду (на Кавказе) за сказочным «золотым руном». Считался покровителем мореплавателей.

СОДЕРЖАНИЕ

из книги «ГРОЗНЫЙ ГОД»

1872

Предисловие. Перевод Т. Хмельницкой	7
Пролог. 7 500 000 «да». Перевод Ю. Корнеева	9
«Я начал свой рассказ...» Перевод Вс. Рождественского . . .	16
Седан. Перевод Г. Шенгели	17
Выбор между двумя нациями. Перевод Н. Рыковой	24
Чорт на дьявола. Перевод Г. Шенгели	27
Достойные друг друга. Перевод Г. Шенгели	30
Осажденный Париж. Перевод Н. Рыковой	32
«Я, старый плаватель, бродяга-мореход...» Перевод Вс. Рожде- ственского	33
«И вот вернулись к нам трагические дни...» Перевод Вс. Рождественского	35
«Семерка. Страшный знак...» Перевод Вс. Рождественского . .	38
Вечером, на крепостной стене Парижа. Перевод Н. Рыковой .	40
Париж поносят в Берлине. Перевод Н. Рыковой	41
Всем этим королям. Перевод Н. Рыковой	42
Банкрот. Перевод Вс. Рождественского	45
«Твердить все о войне, мир утвердив сперва!» Перевод Вс. Рождественского	46
Епископу, назвавшему меня атеистом. Перевод В. Шора . . .	47
«А! Это — дикий бред!...» Перевод Д. Бродского	50

«О, что за жуть!..» Перевод Д. Бродского	51
Послание Гранта. Перевод В. Шора	53
Пушке «Виктор Гюго». Перевод Г. Шенгели	56
Форты. Перевод Н. Рыковой	58
Франции. Перевод А. Гатова	60
Наши мертвые. Перевод А. Гатова	62
1-е января. Перевод Вс. Рождественского	63
Письмо к женщине. Перевод Вс. Рождественского	64
Нет, нет, нет! Перевод И. Пузанова	67
Глупость войны. Перевод Павла Антокольского	69
Я требую. Перевод В. Давиденковой	70
Бомба в Фельянтинах. Перевод В. Давиденковой	72
Вылазка. Перевод Н. Рыковой	74
В цирке. Перевод Вс. Рождественского	76
Капитуляция. Перевод Г. Шенгели	77
Перед заключением мира. Перевод Павла Антокольского	79
Мечтающим о монархии. Перевод Павла Антокольского	81
Закон прогресса. Перевод Д. Бродского	83
Горе. Перевод Павла Антокольского	92
Похороны. Перевод Ю. Корнеева	94
Мать, защищающая младенца. Перевод Г. Шенгели	97
«О, время страшное!..» Перевод М. Донского	99
Вопль. Перевод М. Донского	100
Ночь в Брюсселе. Перевод Н. Рыковой	103
Изгнан из Бельгии. Перевод Д. Бродского	105
«Концерт кошачий был...» Перевод Г. Шенгели	110
«Нет у меня дворца, епископского сана...» Перевод Вс. Рождественского	111
Госпоже Поль Мерис. Перевод В. Давиденковой	113
Чья вина? Перевод Г. Шенгели	114
«Вот пленницу ведут...» Перевод Вс. Рождественского	116
«Рассказ той женщины был краток...» Перевод Павла Анто- кольского	118
«За баррикадами, на улице пустой...» Перевод Павла Анто- кольского	119
Расстрелянные. Перевод Вс. Рождественского	121
Тем, кого попирают. Перевод Вс. Рождественского	124
«Ты, генерал «Прошу!»...» Перевод Д. Бродского	129
Суд над революцией. Перевод М. Донского	131
Церковные витии. Перевод В. Левики	132
Во мраке. Перевод Павла Антокольского	137
Растление. Перевод М. Донского	139

ИЗ КНИГИ «ИСКУССТВО БЫТЬ ДЕДОМ»

1877

Victor sed victus. Перевод А. Арго	143
«Порой я думаю о мире с омерзением...» Перевод А. Арго . .	144
Весна. Перевод А. Курошевой	146
Открытые окна. Перевод Льва Пеньковского	148
«Когда я подошел, она в траве сидела...» Перевод И. Шафаренко	149
Вечернее. Перевод Льва Пеньковского	150
«Известный граф Бюффон...» Перевод А. Арго	152
«Таким мой создан дух...» Перевод Анны Ахматовой	155
Песня над колыбелью. Перевод Н. Зиминой	156
Шлепок. Перевод А. Курошевой	158
«Я друг лесов...» Перевод Льва Пеньковского	160
Жанна спит. Перевод Льва Пеньковского	162
Силлабус. Перевод М. Донского	163
По поводу так называемого закона о свободе образования. Перевод М. Донского	165
Настойчивость. Перевод М. Донского	167
Прогресс. Перевод А. Курошевой	169

ПАПА

1878

Перевод Леонида Мартынова	173
-------------------------------------	-----

ИЗ КНИГИ «ЧЕТЫРЕ ВЕТРА ДУХА»

1881

«Сатира нынче — песнь, с которой крик сплетён...» Перевод Д. Бродского	221
Опора империй. Перевод В. Давиденковой	225
Написано на первой странице книги Жозефа де Местра. Перевод Ю. Корнеева	227
Пускай клеветают. Перевод В. Давиденковой	229
Конченному человеку. Перевод В. Давиденковой	230
«Да, пушки делают счастливыми людей...» Перевод В. Дави- денковой	231
Бонзы. Перевод В. Давиденковой	232

Жрецам. <i>Перевод В. Давиденковой</i>	235
«О муза, некий поп...» <i>Перевод В. Давиденковой</i>	236
«О, древний демон зла...» <i>Перевод В. Давиденковой</i>	241
«Порой наш высший долг...» <i>Перевод В. Давиденковой</i>	242
«О, надо действовать...» <i>Перевод В. Давиденковой</i>	243
«Итак, все кончено...» <i>Перевод В. Давиденковой</i>	244
«Да, верно, я глупец...» <i>Перевод М. Замаховской</i>	246
«Мы все изгнанники...» <i>Перевод М. Замаховской</i>	248
«Вся низость клеветы...» <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	250
«Прямой удар меча, но не кинжала, нет!» <i>Перевод М. Замаховской</i>	251
Изгнание. <i>Перевод М. Замаховской</i>	252
«Пока любовь грустна, а ненависть смеется...» <i>Перевод М. Замаховской</i>	254
«Когда вставал Эсхил в защиту Прометея...» <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	256
«О жалкий сплав людских сует...» <i>Перевод М. Замаховской</i>	257
Парижанин предместий. <i>Перевод Д. Бродского</i>	258

РЕВОЛЮЦИЯ

Перевод Г. Шенгели

I. Статуи	263
II. Кариатиды	273
III. Прибытие	292

ИЗ КНИГИ «ЛЕГЕНДА ВЕКОВ»

1859—1877—1883

Предисловие к первой части. <i>Перевод Т. Хмельницкой</i>	301
Земля. Гимн. <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	307
Совесть. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	311
Львы. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	313
Спящий Вооз. <i>Перевод Н. Рыковой</i>	318
Речь гиганта. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	322
Три сотни. <i>Перевод И. Пузанова</i>	324
Гидра. <i>Перевод Валентина Дмитриева</i>	331
«Едва лишь Сид успел...» <i>Перевод Г. Шенгели</i>	332
Романсеро Сиды. <i>Перевод В. Левика</i>	333

Царь Персии. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	356
Двое нищих. <i>Перевод Анны Ахматовой</i>	357
Монфокон. <i>Перевод В. Бугаевского</i>	358
Льву Андрокла. <i>Перевод Д. Бродского</i>	364
Отцеубийца. <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	367
Сватовство Роланда. <i>Перевод Анны Ахматовой</i>	371
Зим-Зизими. <i>Перевод Д. Минаева</i>	376
Работа пленных. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	387
«Я наклонился...» <i>Перевод Г. Шенгели</i>	389
Реки и поэты. <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	390
Роза инфанты. <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	392
Ответ Момотомбо. <i>Перевод Павла Антокольского</i>	399
Кротость старинных судей. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	401
Эшафот. <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	402
Свобода. <i>Перевод Н. Вольгин</i>	404
«В Афинах — Архилох нам это подтвердил...» <i>Перевод</i> <i>Вс. Рождественского</i>	406
Вор — королю. <i>Перевод М. Донского</i>	407
Соломон. <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	412
Аристофан. <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	414
Петрарка. <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	415
Андре Шенье. <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	416
Крестьяне на берегу моря. <i>Перевод М. Донского</i>	418
«Я некогда знал Фердоуси в Мизоре...» <i>Перевод Г. Шенгели</i>	424
Новые дали. <i>Перевод Анны Ахматовой</i>	425
После боя. <i>Перевод А. Энгельке</i>	427
1851 — Выбор. <i>Перевод А. Куршовой</i>	428
Писано в изгнании. <i>Перевод В. Брюсова</i>	429
Узник. <i>Перевод Н. Курочкина</i>	430
Люди мира — людям войны. <i>Перевод Ю. Корнеева</i>	435
Бедные люди. <i>Перевод Е. Полонской</i>	438
Маленький Поль. <i>Перевод М. Донского</i>	446
Социальный вопрос <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	454

ИЗ КНИГИ «ВСЕ СТРУНЫ ЛИРЫ»

1888—1893 (П. смертное)

Надпись. <i>Перевод А. Арго</i>	459
Марабут-пророк. <i>Перевод А. Арго</i>	460
Талавера. <i>Перевод А. Арго</i>	462
Солдату, который стал лакеем. <i>Перевод А. Арго</i>	464

«Пятнадцать сотен лет...» <i>Перевод И. Шафаренко</i>	466
Две стороны горизонта. <i>Перевод В. Шора</i>	467
«Царила в городе жестокая вражда...» <i>Перевод И. Шафаренко</i>	469
Vigò maiòr. <i>Перевод В. Шора</i>	470
«Сколько неги и покоя!..» <i>Перевод А. Арго</i>	472
К Гернсею. <i>Перевод В. Брюсова</i>	474
Наступление ночи. <i>Перевод В. Брюсова</i>	475
Весна. <i>Перевод И. Шафаренко</i>	476
«Один среди лесов...» <i>Перевод И. Шафаренко</i>	477
Выйдя на улицу с номером «Constitutionnel» в руках. <i>Перевод Б. Лейтина</i>	478
Вечер. <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	479
«Уж воздух не пьянит...» <i>Перевод А. Арго</i>	481
Цивилизация. <i>Перевод В. Шора</i>	482
«Он не был виноват...» <i>Перевод Валентина Дмитриева</i>	484
«В напевах струн и труб есть радостные тайны...» <i>Перевод В. Брюсова</i>	487
«За далью снова даль...» <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	488
«Гомер под тяжестью судьбы...» <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	489
«Грусть искупленья, рок...» <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	490
«Лишь электричество тряхнет земли основы...» <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	491
«Стыд лжефилософам...» <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	492
Большому артисту. <i>Перевод А. Арго</i>	493
«Ваш удел — вдохновенье, собратья-поэты...» <i>Перевод А. Арго</i>	495
Смех. <i>Перевод Е. Полонской</i>	497
«Мадзини Тьер язвит...» <i>Перевод Г. Шенгели</i>	499
«Таков закон..» <i>Перевод Н. Вольпин</i>	503
«Ты, ясный ум иль мощный гений...» <i>Перевод Н. Вольпин</i>	504
«Сквозь дождевую сеть сиял закат, печален...» <i>Перевод И. Грушецкой</i>	507
Я работаю. <i>Перевод И. Грушецкой</i>	509
Post scriptum. <i>Перевод И. Грушецкой</i>	511
«Когда иду к высокой цели...» <i>Перевод Е. Полонской</i>	512
«Брожу ли в чаще вечерами...» <i>Перевод И. Грушецкой</i>	513
Жанне. <i>Перевод И. Шафаренко</i>	515
«Сухой, холодный долг — к спокойной жизни путь?...» <i>Перевод Н. Вержейской</i>	516
«Порядочность во всем — вот вся моя заслуга...» <i>Перевод Н. Вержейской</i>	517

Победа порядка. <i>Перевод В. Шора</i>	518
Третьестепенному королю. <i>Перевод А. Курошевой</i>	520
«Сан короля святой!..» <i>Перевод А. Курошевой</i>	523
«Зловещая жена!..» <i>Перевод А. Курошевой</i>	524
Социальный вопрос. <i>Перевод В. Давиденковой</i>	525
Длинные уши. <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	527

ИЗ КНИГИ «МРАЧНЫЕ ГОДЫ»

(Посмертное)

«Народ восстал от сна...» <i>Перевод Е. Полонской</i>	531
«Объединитесь же!..» <i>Перевод Н. Рыковой</i>	533
Башмачник. <i>Перевод Е. Полонской</i>	534
«Вы не подумали...» <i>Перевод Н. Рыковой</i>	536
Смеющаяся ненависть. <i>Перевод В. Давиденковой</i>	537
В совете министров. <i>Перевод Ю. Корнеева</i>	539
С благословения попов. <i>Перевод В. Давиденковой</i>	540
«Судья и поп твердят...» <i>Перевод Э. Линецкой</i>	542
Ментана. <i>Перевод Э. Линецкой</i>	544
Боден. <i>Перевод Ю. Корнеева</i>	554
Равнодушие природы. <i>Перевод В. Давиденковой</i>	557
За десертом. <i>Перевод Е. Полонской</i>	559
Обен. <i>Перевод Ф. Венцель</i>	560
Нищета. <i>Перевод Н. Рыковой</i>	563

ИЗ КНИГИ «ПОСЛЕДНИЙ СНОП»

(Посмертное)

Кузнецы. <i>Перевод М. Донского</i>	567
Посмертный кошмар. <i>Перевод А. Курошевой</i>	568
«Итак, мой юный друг...» <i>Перевод М. Донского</i>	571
Апрельский вечер. <i>Перевод Ю. Корнеева</i>	572
К статуе. <i>Перевод В. Шора</i>	578
«Едва забрезжит день...» <i>Перевод Э. Линецкой</i>	580
«Как призрак высится...» <i>Перевод Э. Линецкой</i>	581
«Известен ты иль нет...» <i>Перевод Н. Рыковой</i>	582
«Как всюду, о пришельце новом...» <i>Перевод И. Ивановского</i>	583
«Как! Отрицаешь ты...» <i>Перевод М. Донского</i>	584
Дряхлый город. <i>Перевод М. Донского</i>	585
Lyrnesi domus alta; solo Laurente sepulcrum. <i>Перевод М. Донского</i>	586

«Религии сверлят»	Перевод М. Донского	587
Одному критику.	Перевод М. Донского	588
Комментарии.	Д. Прицкер, Н. Таманцев, М. Трескунов	591
Словарь собственных имен и специальных терминов	Д. Прицкер, Н. Таманцев	624

Виктор Гюго
Собрание сочинений, т. XIII

Редактор М. Трескунов
Оформление художника С. Пожарского
Художественный редактор А. Ермаков
Технический редактор Г. Каунина
Корректор О. Семенови Тян-Шанская

Сдано в набор 22/XI 1955 г. Подписано к печати 20/III 1956 г. А-00500. Бумага 84 × 108¹/₃₂ — 40,75 печ. л. = 33,39 усл. печ. л. 26,83 уч.-изд. л. Тираж 150 000. Заказ № 586. Цена 12 руб.

Гослитиздат. Москва. Б-63, Ново-Басманная, 19

*
Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности. 2-я типография «Печатный Двор» имени А. М. Горького, Ленинград, Гатчинская, 26